Илья
Дубинский

Золотая
липа

Илья
Дубинский

ЗОЛОТАЯ ЛИПА

Роман

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1983

Р2
Д79

Дубинский И. В.

Д79 Золотая липа: Роман. — М.: Воениздат, 1983. — 400 с.

В пер.: 1 р. 70 к.

Роман воспроизводит страницы героической борьбы Красной Армии за освобождение Украины от банд петлюровцев и белополяков. Автор романа, писатель Илья Владимирович Дубинский — герой гражданской войны, воевал в составе корпуса червонных казаков.

Перед читателем оживают эпизоды гражданской войны, в частности знаменитый Проскуровский рейд, предстают люди того неповторимого времени.

Д $\frac{4702010200-020}{068(02)-83}$ 112-84

ББК 84Р7

Р2

Часть первая

НА ИНТЕРВЕНТОВ

Ой червоні козаки,
Не дивіться хмуро,
Вже тікає з переляку
До панів Петлюра.

Из песен киевских лирников, 1920 год

1

Село кишело, как муравейник. Впервые за все три года богатой событиями гражданской войны скопилось столько народа на его улицах. В Чабанах, лежавших на старинном гайдамацком шляху «из Крым в Ляхи», по которому, спеша к Збаражу, двигалась когда-то стотысячная орда хана Султан-Гирея — вероломного союзника Богдана Хмельницкого, — в один из июньских дней тревожного 1920 года остановилась, пользуясь дневкой, разведывательная сотня Червонного казачества.

В мае 1920 года червонные казаки, снявшись из-под Перекопа, где в весенних боях разгромили не один конный полк Врангеля, двинулись на запад, чтобы на полях Подолии, на берегах Золотой Липы и в долинах Карпат вместе с другими частями Красной Армии развеять своими клинками легионы захватчиков.

Испытанная во многих боевых делах, 8-я червонно-казачья дивизия, оставив позади широкие просторы Таврии и Херсонщины, подходила к новому фронту.

Вел дивизию ее двадцатитрехлетний начальник Анатолий Маркович Шостак[1].

Не все, кто шел с Шостаком, достигли Золотой Липы, не все, достигшие ее, возвратились назад. Но стремительные всадники украинской конницы, откликнувшиеся на зов народа, разгромив интервентов, первыми развернули ленинское знамя на берегах Золотой Липы — этой невзрачной, но всемирно известной реки.

По улицам Чабанов, щедро залитым июньским солнцем, на горячих сытых конях в разные концы неслись казаки. Громыхали зеленые фургоны, раскрашенные яркими цветами и груженные войсковым добром. Куда-то мчались, поражая селян резвостью бешеных троек, пулеметные тачанки. Несколько всадников в одних брюках с широкими красными лампасами, подставляя обнаженные спины под горячие лучи солнца, гнали стриженых лошадей на водопой. Скрипели журавли колодцев. Ржали жеребцы.

Где-то на краю села весело позванивала наковальня: сотенные кузнецы перековывали лошадей.

Преградив своим огромным телом вход в калитку, злой, с хищным оскалом пес ловчился схватить зубами плоский, с вшитым в него свинцом наконечник нагайки, зажатой в руке грозного желтолицего казака.

— По тебе, сатана, бачу, что твой хозяин куркуль, — гремел боец — фуражир сотни. Казак больно, с оттяжкой, хлестнул собаку: — Доберусь я, брат, и до твоего кормильца Порфирия Уха. Нам овса нет, а для Петлюры и пана Пилсудского, знаю, будь ласка.

Было похоже, что последний аргумент вместе с очередным взлетом казачьей нагайки подействовал: пес отступил в глубь широкого двора, открыв путь фуражиру.

У деревянной двуглавой церкви, прячась от невыносимого зноя под густой тенью ясеня, прямо на траве расположилась группа бойцов. Кто тачал развалившиеся сапоги, кто накладывал заплаты на рваные брюки, кто, орудуя шилом и сыромятным ушивальником, чи-

---

[1] Под этим именем в романе выведен Виталий Маркович Примаков.

нил седло. Иные, блаженно растянувшись на земле, подперев подбородок руками, внимательно слушали товарища, прислонившегося спиной к мощному стволу ясеня, с газетой в руках.

Чтец — среднего роста, горбоносый, в серой спецовке, перепоясанной боевым снаряжением, — отложил в сторону газету. Провел смуглой рукой по черным, свисающим вниз усам.

— Так вот, товарищи, как оно получается, — начал он мягким, бархатным голосом. — Значит, Первая Конная добре показала себя под Сквирою. Говорят, Буденный к Житомиру подбирается. Вся третья армия Пилсудского мотанула из Киева в коростенские леса. Тут и наш Шостак сладкую конфетку подкинет шляхте. Значит, давили мы контру, давили...

— А видать, товарищ Балабан, придется еще давить! — прозвенел высокий, почти мальчишеский голос из-за ясеня. К группе казаков подошел и остановился тоненький рослый кавалерист. Придерживая рукой длинную, висевшую на боку шашку, боец не спускал теплого взгляда с усача.

— Правильно говорит Ганка, — продолжал чтец, — будем мы с вами щелкать Антанту, как щелкали кадетов. Шляхта, видать, не хуже наших господ. Вот сюды им так и не удалось добраться, а на Подолии, как вы уже знаете из «Правды», какой-то пан Крачкевич воскресил собственность. Заставляет мужиков возвращать помещикам землю, хлеб, лес. Мало того, принуждает строить новые дворцы панам. А в Любаре граф Сангушко восемь часов держал на коленях тысячи людей, начиная вот с таких, — рассказчик поднял руку на метр от земли, — и до ветхих стариков. А кого определяли, что он из красных, обматывали соломой, поджигали и заставляли бежать, чтобы, значит, огонь шибче раздувало. Пленных наших шматовали колючей проволокой.

— Ничего, Ларион Ларионович, — отозвался, приблизившись к группе, седоватый желтолицый фуражир, — мы этого самого Сангушко трохи попотрошили в тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда с Шостаком влетели в Изяслав, и в двадцатом году до него доберемся. Я ушивальником притачаю ему руки пониже спины.

— А я, товарищ Борщ, думаю так, — перебил седого казака усач, — сами любарские селяне устроят ему

суд и расправу. Что ни говорите,— продолжал он, по временам посматривая на бойца, которого он называл Ганкой,— обратно продал этот Петлюра нашу Украину. Хоть и отгородился он от Польши по Збручу новыми желто-блакитными столбами, как я вам читал по газете, а хозяином здесь хочет быть Пилсудский. Не зря до петлюровского правительства назначен министром по земельному делу пан из Летичева.

— А мы этому Петлюре запоем.— Вновь зазвенел голос Ганки:

Не лізь, юдо, на Вкраїну,
Ховайся за пана,
Бо Червонеє козацтво
Задасть прочухана.

— Молодец, Ганка,— трескуче смеясь, похвалил разведчицу Борщ. Поискав кого-то глазами в гуще сидевших на траве бойцов, обратился к подростку, одетому в английский, не по мерке, мундир: — А ну-ка, Херувимчик, отслужи молебен. Давно уж мы не молились.

— Давай-давай, Шурка! — зашумели громкие голоса.

В круг вышел мальчик лет двенадцати. Подвернул широкие, свисавшие ниже пальцев рукава мундира и, откинув назад длинную шашку, поправил свой боевой инструмент — медную сигналку, висевшую на красном гарусном шнуре. Став лицом к слушателям, молодой казачок молитвенно закатил глаза. Чистым детским тенорком затянул «молебен»:

— Отче наш Петлюро, иже еси в Варшаве, да проклято будет имя твое, да не будет над нами воля твоя, хлеб наш насущный жрешь ты, бездушный, а увезенные из Киева казенные гроши верни нам днесь. Оставь нам нашу Украину, как мы оставляем тебя в Польше. И не веди нам больше Пилсудского до Киева, а сиди себе у лукавого пана в Варшаве, ами-и-инь!

— Ами-и-инь! — подхватили бойцы.

— Ну и молодец Шурка!

— Вот так пацан! — хватаясь за бока, хохотали казаки.

Не успел утихнуть раскатистый смех разведчиков, как за церковью послышался дикий, нечеловеческий крик. Кто-то, надрываясь, голосил во всю силу легких:

— Я вор!.. Я бандит!.. Я крал лошадей!..

Все насторожились. Бросили работу. Сложив аккурат-

но небольшой листок дивизионной газеты «Червонный казак», поднялся на ноги усатый разведчик.

Из-за церкви, направляясь к большой улице, показалась пестрая шумная толпа. Впереди босой, в куцых, чуть ниже колен, заплатанных штанах, с расстегнутым воротом домотканой засаленной рубахи, с ворохом давно не чесанных светлых волос шел, подымая пыль, щупленький паренек. На груди, приколотая куском проволоки, белела бумажка с коряво выведенными на ней словами: «Я вор, я бандыт». Подгоняя перепуганного паренька плетью, на светло-золотистом дончаке, играя шенкелями, в огромной бараньей папахе и в табачного цвета английском расстегнутом мундире гарцевал рябой всадник. Тонкий веревочный чомбур, притороченный одним концом к седлу казака, другим, завязанным в петлю, лежал на шее паренька, то и дело дико выкрикивавшего: «Я вор! Я крал лошадей!»

Рябой взмахнул плетью, заорал:

— Шибче гавкай, бандюга! Реви, стервы сын!

От свиста плети светло-золотистый дончак шарахнулся. Задрожал натянутый чомбур. Паренька рвануло в сторону. Метнув дикий взгляд на куцые изгороди улицы, словно ожидая оттуда помощи, несчастный прохрипел:

— Я бандыт. Я вор...

За этой необычайной процессией увязалось много любопытных. Из-за тынов, прячась в их тени, угрюмо следили за шествием селяне. Малолетка Шурка, доброволец-сигналист, захлебываясь от восторга, визжал, свистел и все время порывался вперед, чтобы лягнуть ногой того, кто так обреченно называл себя вором.

— Ишь петлюрик-мазурик! — по-детски наивно и в то же время зло выкрикивал Шурка.

Но как только паренек заорал: «Я вор!», юный сигналист, испугавшись нечеловеческого рева, метнулся в сторону и ударился спиной о стремя Гаманца — рябого казака.

Гурьба взорвалась оглушительным смехом:

— Что, спужался, пацан?

— Неужто он такой страшный?

— В штабу небось ты похрабрей!

— Это он прикидывается! — ухмыльнулся Гаманец.— Наш пацан из боевых.

Высыпали из дворов разведчики.

— Махно, откудова тигра такая?

Рябого почти никто не называл по фамилии. За прежнюю службу в разношерстных отрядах гуляйпольского батьки за ним укрепилась кличка Махно.

— Куды ведешь? Зачем? — посыпались нетерпеливые вопросы.

— «Куды», «куды»? Звестно, в штаб, до командира сотни, — хрипло, но с важностью ответил всадник. — На горячем зацапал, вот, — хлопнул он по вороной гриве дончака, — уже отвязал было его. Мало, шо они по ночам угоняют наших лошадей, а тут посередь бела дня начали...

— Так вот кто этим займается! — послышались возмущенные голоса бойцов.

— У здешних кулаков лишней кварты овса не купишь, — грозный фуражир Терентий Борщ помахал плетью в сторону только что покинутой им усадьбы, — а таскать наших коней — будь ласка.

— На кнопку его, гада! — крикнул кто-то из толпы.

— На кнопку! На кнопку!

— На кнопку! — Хищно загорелись глаза у Гаманца. — И в том числе, зарубать...

Сухая, костлявая рука легла на эфес шашки. Медленно пополз из ножен клинок. Паренек, порывисто повернув голову, увидел сверкнувшую на солнце синеватую сталь. Шарахнулся в сторону. Натянутый как струна чомбур впился в его длинную тонкую шею. Куда-то исчезли робко выглядывавшие из-за тынов угрюмые глаза.

От церкви широким шагом, зажав в руке газету, шел усатый казак. С трудом растолкав толпу, приблизился к бойцу, высоко взметнувшему над головой обнаженный клинок. Став между лошадью и пареньком, захватил рукой туго натянутый повод. Строго посмотрел вокруг, спросил:

— Что за карусель? Кого ведешь, товарищ Гаманец?

— Возьми глаза в зубы — увидишь! — сердито огрызнулся всадник.

Усатый разжал руку, отпустил повод. Сверкнув темными глазами, строго осмотрел с ног до головы бойца.

— Не зыркай, не спужался, много вас таких! — тем же хриплым, простуженным голосом ответил бывший махновец.

— Вот, товарищ Балабан,— подошел к усачу фуражир,— видишь, бандюгу сцапали.

— Кто он и откуда? И с чего это видно, что он бандит, спрашиваю,—пристально посмотрел Балабан на Гаманца.

Наступила мертвая тишина. Несколько секунд бойцы уничтожали друг друга глазами. Не выдержав испытующего взгляда Балабана, всадник опустил руку с клинком.

— Не слышишь, шо ли? — зашипел он. — Народ, кажись, точно поясняет, и, в том числе, почитай на афише — там все сказано.

— Кто собрал этот базар? Ты? Никак не можешь забыть махновские штучки?!

— А это не твоей мамы дело! — Гаманец низко перегнулся в седле: — Я тебе не подчиненный. Думаешь, как ты сотенный пулеметчик, то можешь и надо мной командовать? У меня свои начальники — взводный и товарищ сотник. А тебя поставили распространять середь казаков политику, то и займайся своим делом. Ко мне не лезь. Вот и весь мой сказ. А то в бою знаешь как оно случается: пуля дура — летит во все стороны.

— Ну-ну, ты полегче с этим! — вскипела Ганка.— Не забудь, где служишь, не у батьки Махна. Ты с Зарубаевым не знаком? То смотри, Шостак за такие слова враз тебя с ним познакомит.

— А шо оно за такое цабе Зарубаев? — выпрямился в седле Гаманец.

— Это такой дядька,— ответил с многозначительной улыбкой фуражир,— что сам выносит приговор и сам приводит его в исполнение. Ты вдумайся, Самойло, сама его фамилия все поясняет, и к тому же он трыбунал.

Паренек блуждающим взглядом, в котором страх перемежался с любопытством, искоса наблюдал за сцепившимися казаками и, пользуясь тем, что внимание всех переключилось на перебранку, стал разглаживать рукой натертую жестким чомбуром тощую шею.

Балабан, повернувшись на каблуках, подошел к пареньку, решительным движением снял с его шеи черный, как уж, аркан, вынул из кобуры наган, скомандовал:

— В штаб! Там разберут!

— Ларион Ларионович! Снял бы с него и ту квитан-

цию, — предложила Ганка, указав на бумажку, висевшую на груди пленника.

— Правильно! К черту махновские штучки.

Парень, все еще поглаживая шею, освободившуюся от страшной петли, подбодрился. Покорно пригнул голову, когда Ганка, помогая пулеметчику, снимала с его груди позорный плакат. Временами пленник, как пугливый медвежонок, исподлобья посматривал на своих избавителей.

— Они нас без лошадей оставляют, и, в том числе, капли молока у них не разживешься, а вы их покрываете, бандюков, тьфу на вас!

— Не горячись, Махно, — насмешливо посмотрела на него Ганка, — не плюй. Ты и так щербатый, а то и вкрай без зубов останешься — расплюешь!

Возмущенная частыми покражами толпа, которая только что готова была приветствовать быструю и жестокую расправу с конокрадом, притихла. Ее покорило строгое спокойствие Балабана. Внезапно все, как один, дружным смехом ответили на злую насмешку разведчицы Ганки, кто-то даже добавил:

— На что Махне зубы! У него вон какие клыки!

Вмиг потускневший разведчик сердито вогнал клинок в ножны. Еще раз сплюнул, проскрипел:

— Ну вас всех к бису. Знаете только плюхать языками. А оно все одно шо с поля ветер, с ноздри дым.

Заметив в толпе желтолицего фуражира, Гаманец направил на него коня:

— Шо, Терентий, тебя желтуха все еще не отпускает? Слухай, я говорил тут с одной бедовой бабкой-шептухой, она враз твою хворобу прижучит.

— Чем, шептанием или травами?

— Да травами, — лукаво усмехнулся всадник, — только ее травинки с ножками. Триста штук проглотишь — и будто рукой снимет.

— А что это за травинки с ножками? — простодушно спросил Терентий.

— Обнаковенная воха, товарищ Борщ. Бабка та специально ее разводит. И не много требует — рупь за штуку.

— Выручай, брат Самойло! — обрадовался боец и полез в карман за деньгами. — Вот-вот обратно встрянем в бой, а я от этой желтухи совсем никудышный.

— Ладно, — согласился пройдоха, пряча измятые бу-

мажки в карман. — Для тебя, Терешка, я на все готов. Только запомни, братуха, — рассмеялся Гаманец, — кто хоть раз побывал в аптеке, тот пропал навеки...

2

Окружив задержанного плотным кольцом, кавалеристы направились к штабу. Но постепенно, по мере продвижения вперед, все больше и больше таяла шумная толпа казаков. У каждого нашлось дело возле своей лошади, своего снаряжения, своей тачанки, своих сапог.

...Разрушенные многолетней войной, железные дороги едва справлялись подвозить харч, боеприпасы и двинутые с Дальнего Востока в помощь Украине сибирские полки. Как и 1-й Конной армии Буденного с Северного Кавказа к Сквире, так и Червонному казачеству многодневный марш из-под Перекопа к Хмельнику пришлось совершить походным порядком. Во время тяжелых и напряженных переходов сдавало снаряжение, подбивались кони, ломались повозки. Поэтому на дневках приходилось много времени уделять походному хозяйству бойца, сотни, полка.

Не отставал от задержанного, сгорая от любопытства, Шурка-пацан. Шла рядом, в ногу с Балабаном, разведчица Ганка. Конокрад ожил и стал даже искоса и украдкой разглядывать нежный профиль девушки-бойца.

Гаманец, взмахнув плетью, ударил скакуна. Дончак, взметая паруса пыли, понесся вдоль широкой улицы села. Холодным блеском замелькали дуги сизых подков.

— Смотри, Шурка, на Махна и запоминай, кто на нас бросает пятно! — Балабан указал на мчавшегося по улице всадника.

Молодой казачок, подтянув бившую по ногам шашку, виновато посмотрел на пулеметчика:

— Дядя Ларион, Ларион Ларионович, я никогда...

— «Никогда», «никогда»! — перебила его Ганка. — А под Каховкой, когда дивизия переправлялась через Днепр, у французских колонистов кто с Махно вино цедил? А не водил он тебя, треклятый, к веселым солдаткам?

— Водил, — смутился Шурка, — да я застеснялся.

— А меня за гимнастерку хватать не стесняешься?

— Так ты же своя! — озорно и глупо рассмеялся подросток.

— Эх ты, Херувимчик, — Ганка слегка потрепала светлый чуб мальчика, торчавший, как у большинства взрослых казаков, из-под папахи, — знала бы такое, не стала бы тебя отрывать от деда Гараськи.

Малолетка Шурка, служивший в разведывательной сотне третий год, попал в Червонное казачество благодаря Ганке. В январе 1918 года, когда Шостак ворвался через Куреневку в Киев и ударил в тыл войскам петлюровца Болбачана, казаки, разделавшись с серожупанниками, двинулись гурьбой к обжорному ряду Житного базара, чтобы подкрепить свои силы. У одного из рундучков Ганка заметила слепого лирника с двумя мальчиками-поводырями. Услышав, о чем поет старик, она разыскала Шостака и привела его послушать песни бродячего музыканта. Слепец, закатив невидящие глаза, выводил хриплым, надтреснутым басом:

Ой, Шостак, душа голоти,
Лицар ти залізний,
Потрощив без міри, щоту
Ворогів Вітчизни.

Закончив славословие «железному лицарю», лирник перешел на старинные песни, восхвалявшие подвиги Сагайдачного, Гонты, Сирка.

Один из поводырей, в заплатанной, позеленевшей от времени чумарке — поддевке, пользуясь скоплением народа, шнырял среди казаков с ящичком, на котором флегматично раскачивался пестрый попугай, звонким голоском выкрикивал:

— Наш бабай-попугай предсказывает планиду молодому и диду! Про службу и дружбу, про кражу-пропажу, про курочку рябу, про изменщицу бабу! Люди добрые, не зевайте, по карбованцу валяйте!

Мальчик понравился казакам. Они стали звать его с собой.

— Рубать петлюровцев сумеешь? — спросила Ганка.

— Я и на музыке умею, — стал хвастаться поводырь.

Взяв у слепца волынку, он, подражая ему, затянул песню о гетмане Дорошенко.

Шостак, велев своему штаб-трубачу сыграть седловку, передал трубу молодому лирнику. Мальчик, надув щеки, безошибочно повторил мелодию сигнала.

— Отпустите его с нами, дидусю, — обратился Шостак к слепцу.

— А кто ты такой будешь, добрый человек? — спросил лирник.

— Я и есть Шостак!

— Эх, Шостаче, Шостаче, если б дед Гарасько был помоложе да обратно стал зрячим, он бы сам пошел за тобой. Возьми моего Шурку, а мы уж со Степкой останемся одни.

С тех пор Шурка, не отставая от своих новых товарищей, проделал с ними в качестве штаб-трубача все походы на Дон, к Орлу, к Перекопу, а оттуда вместе с разведчиками пошел к Хмельнику.

Балабан слушал болтовню казачка, мягкие, негрозные укоры Ганки и, сжав сердитые складки на белом высоком лбу, думал о том, что лишь недавно еще он работал в Кадиевке, куда, как горняка, его после разгрома Деникина послали из Червонного казачества на трудовой фронт. И когда Донбасс, откликнувшись на зов партии, заявил, что «не обмяк еще кулак шахтера», он вновь добровольно вернулся в свою дивизию, чтобы вместе с ней громить наглых захватчиков.

Положив наган в кобуру, Балабан время от времени молча оглядывал арестованного, его домотканую расстегнутую рубаху, заплатанные, словно в пластырях, портки, босые, в трещинах ноги.

«Казнить, — думал пулеметчик, — преступника, тем более пойманного с поличным, по законам военного времени — дело недолгое. Но не в этом несчастном пареньке, захваченном на месте преступления, заключалось все зло, как это представлял себе бывший махновец Гаманец, чуть не лишившийся самого ценного, чем дорожит каждый казак, — боевого коня».

Недавно на одной из дневок комиссар дивизии Павловский собирал всех коммунистов Червонного казачества. Говоря о предстоящих боях, много внимания уделил оценке того района, по которому дивизия совершала свой многодневный и трудный марш. Этих зажиточных глубин Херсонщины, на сотни верст отдаленных от железных дорог, почти не коснулась гражданская война, перевернувшая все вверх дном в больших и малых городах, на железных дорогах и на широких трактах.

Верхушка села, захватив помещичьи земли и всячески эксплуатируя бедноту, осваивала с большой пользой для себя щедрые дары революции. Никакие законы

не признавались кулачьем. Голодали города, испытывала нужду армия, богатые урожаи снимались и прятались кулаками в тайные хранилища, в погреба, в ямы.

Из тех, кто мог в этих местах стать опорой Советской власти, многие погибли весной 1919 года от недолго гулявшей здесь анархии атамана Григорьева. Кое-кого безжалостно истребили отряды Деникина, двигавшиеся от Черного моря к Киеву. Иные ушли в Красную Армию, видя в этом единственное спасение. А тех, кто остался в живых, терроризировали атаманы и атаманчики, готовившие по заданию Петлюры благодатную почву для жадных оккупантов. Атаман Волынец на Подолии приготовил шляхте богатый подарок, захватив до прихода интервентов город Гайсин. Вот их-то — неогайдамаков, желтоблакитников — щедро поддерживали разжиревшие за годы революции кулаки, ибо в них, в атаманах, они видели защиту от бедноты, готовой в любой момент снова поднять голову.

Для них, для желтоблакитников, находилось все — и кров, и люди, и кони, и хлеб, и самогон. И лучшие лошади, которых нагло уводили из советских полков, тоже попадали атаману Заболотному — «хозяину» херсонских просторов. Как-то этот петлюровский кат заявил: «Херсонщина не будет ни нам и ни им. Здесь, как при татарах, ляжет дикое поле, по которому во славу крови из конца в конец загуляют вольные степные наездники».

«И этот край, — думал Балабан, все изучая паренька и вспоминая наставления Павловского, — должен прокормить несколько тысяч бойцов и их коней. И какой бы это был марш, если б дивизия не восстановила в деревнях и селах разгромленные бандитами организации бедноты и ревкомы и, завершив его, не пополнилась тысячью новых бойцов, готовых отдать свою жизнь за победу ее славных знамен. А знамена дивизии — это священные реликвии. Одно из них вручал сам Михаил Иванович Калинин за разгром деникинской гвардии, рвавшейся зимой тысяча девятьсот девятнадцатого от Орла к Москве».

И всегда было так. Когда червонные казаки шли освобождать Украину от немцев, гетмана и Петлюры, пополнение в их ряды поступало не с тыла, а ждало их впереди — в районе Чернигова, Полтавы, Казатина, Шепетовки. Наступая зимой 1919 года от Орла на Харь-

ков и дальше на Перекоп, дивизия впитала в себя тысячи молодых добровольцев.

— Зачем крал лошадей? — прервав свои размышления, вполголоса, по-заговорщицки, и этим как бы выражая сочувствие преступнику, спросил пулеметчик задержанного.

— Надо было! — злобно насупился паренек.

— Зачем крал, ну, говори? — рука усача дружелюбно легла на плечо конокрада.

— Чего допытываешься? Все одно кокнете.

3

Впереди весело зазвенела наковальня. Вскоре показалась коновязь с двумя рядами беспокойных казачьих лошадей возле нее. Балабан, велев остановиться конокраду, подошел к задымленным воротам кузницы.

— Эй, кто там есть живой? — загремел голос пулеметчика.

— Известно, в кузне—коваль, Ларион Ларионович,— отозвался один из казаков, расчищая деревянной лопаткой копыто своего гнедка.

Звон наковальни заглушал голос Балабана, и он крикнул громче:

— Кто там, в кузне, спрашиваю?

— Мы, — послышалось в ответ.

— Кто это «мы»?

— Мы с братом.

— Ступай ближе! — скомандовал Ларион.

— Ясли до коней не ходят, — донесся заглушаемый шумом горна ответ. — А если очень уж тебе не терпится, топай сюды. Но все одно тебе, товарищ казак, ничего не поможет. Десять коней я уже подковал, три на очереди. Будешь четырнадцатым.

— Не буду я ни четырнадцатым, ни пятнадцатым, — усмехнулся пулеметчик. — Я уже кругом подкованный...

Поняв, что ему таким способом с кузнецом недоговориться, незаметно кивнул Ганке, чтобы следила за пойманным, Балабан переступил порог.

Спустя минуту он вернулся, а следом за ним, с длинными кузнечными щипцами в руках, в черном фартуке, закопченный, кучерявый, с осевшей в волосах сизой окалиной, шел маленький, с узким носом на продолговатом лице, широкоплечий молодой кузнец.

Заметив босоногого парня, невольно отступил назад. Но вскоре, убедившись, что, кроме казаков, вблизи нет никого, успокоился.

Вынырнув из мрака кузницы, показался в дверях тоненький чумазый мальчик лет десяти. Заложив назад ручки, склонив набок голову, в испуге остановился у порога.

— Ты его знаешь? — спросил пулеметчик, указывая на конокрада.

Кузнец побледнел.

— Я... Мы... Конечно... Нет... Да... Ну я же вам давно говорю: нет, не знаю...

— Чего тушуешься, товарищ? — с теплотой в голосе сказал Балабан. — Мы же не бандиты, не Петлюра. Ты рабочий, и я рабочий. Между нами должно быть только согласие! Говори, вот только не слышал еще, как тебя звать, знаешь его?

— Ну, положим, меня зовут Шлемка, Шлемка Перчик, — криво улыбнулся кузнец, — а все же я вам скажу: вы не рабочий, вы казак.

— Эх ты, товарищ, — покачал головой Балабан. — Мы рядовые революции. Скажет мне Ленин: «Бери инструмент!» — и я обратно делаюсь рабочим, а крикнет: «Хватайся за клинок!» — и я уже ленинский казак. Понял, дружище?

Перчик, переложив щипцы из правой руки в левую, молча почесал пятерней густую свою шевелюру. Глаза его, круглые от испуга, с жалостью смотрели на несчастного конокрада.

— Говори, товаришок, не опасайся, — подбодрил кузнеца Балабан.

— Ну да я же говорю... Конечно, я его знаю. Так же знаю, как знаю все свои несчастья.

— И я тоже,—пискливо отозвался с порога малыш— помощник кузнеца. — Это Панько...

— Да, — подтвердил Перчик, — это Панько Курочка.

— А кто он, этот Курочка? — спросил Балабан.

— Кто он? Он себе парубок как парубок... Здешний...

— Ты, дорогой трудяга, — мягко улыбнулся пулеметчик, — не петляй. Из каких он? Середняк, бедняк или куркуляк?

— Я совсем не петляю, товарищ ленинский казак, — смелее стал отвечать кузнец. — Я же вам давно говорю, ну конечно, этот Курочка такой бедняк, что я вам даже

сказать не могу, какой это бедняк. На сходках даже староста всегда спрашивает: «А голота тут?» Это он так про него говорит.—Кузнец указал щипцами на задержанного. — Я бедняк, сами видите, — кузнец потряс своим прожженным во многих местах фартуком, — а он еще беднее меня. Что я вам рассказываю! — совсем оживился кузнец. — Он же круглый батрак. Этот Курочка служит на маслобойке у Порфирия Уха и ему носит золотые яйца.

По мере того как суровое выражение лица пулеметчика постепенно сменялось мягкой улыбкой, Перчик, словно испугавшись сказанного, черной ладонью прикрыл рот.

— Раз так, товарищ, тогда пойдем с нами в штаб.

— Зачем?.. Что вы?.. — переполошился кузнец.—Что вы?.. У меня вот тут же работа. И кони ваших казаков стоят еще не кованные.

— Ты не трясись, товарищ, — успокоила его Ганка,— там тебя долго держать не будут.

Заплакал малыш — брат кузнеца. Черные от копоти слезы потекли по худому бледному лицу.

— Ой, братику, братику, тебя уже поведут! Уже Шлемку моего тоже будут рубать, как бедного нашего тату! Что я буду один делать?! — Мальчик глазами, полными слез, обвел кузницу.— Кому я буду мех раздувать?

Ганка приласкала мальчика. Розовым платочком вытерла ему глаза. Достав из кармана брюк кусок сахара, протянула малышу.

Перчик, бросив на пол кузницы щипцы, вытер руки о фартук и пошел за пулеметчиком. Держась на почтительной дистанции с зажатым в руке гостинцем, направился за толпой и маленький Перчик.

Штаб разведсотни разместился на одной из боковых улиц села, в угловой, утопавшей в зелени хате. Дом священника, где обычно располагалось начальство, заняло командование артиллерийского дивизиона. И Федор Сероштан, знаменитый командир разведчиков, питавший некоторую слабость к поповнам, на сей раз вынужден был довольствоваться помещением, отведенным для него квартирьерами вдали от центра села.

Воткнутый в землю у ограды шелковый сотенный значок на тонкой металлической пике, соперничая яркостью красок с алыми мальвами, красовавшимися под окнами хаты, обозначал месторасположение штаба.

Шитая золотой канителью конская голова в серебряной подкове — эта изумительная по красоте работа — постоянно напоминала Серोштану вздыхавшую по нему чаплинскую поповну.

Гаманец уже давно вертелся возле штаба. Прислонившись к взмыленному дончаку, заломив огромную баранью папаху на затылок, самодовольно ухмыляясь, он слушал игривую беседу командира сотни Сероштана с дочкой хозяйки. Облокотившись на плетеный тын, румяная, в яркой вышитой сорочке девушка то и дело прикладывала к пылавшим щекам прохладную ветку сирени.

Сероштан, придвинувшись вплотную к собеседнице, играл серебряным наконечником кавказского пояска. Смушковая, с алым верхом папаха сотника висела на колу рядом с сушившимися на солнце крынками. Ясным золотом отливала волнистая, расчесанная на прямой пробор шевелюра командира. Голубые задумчивые глаза, прямой нос, мужественный подбородок, здоровый румянец на смуглом лице с глубоким следом сабельного удара под правым ухом — гордостью любого кавалериста — вместе с гибким, туго перетянутым в поясе станом легко объясняли многочисленные победы Сероштана над тоскующими сердцами девушек.

Сотник в отличие от всех разведчиков, облаченных в трофейную английскую форму, попавшую из деникинских складов в красноармейские обозы, носил синие, с лампасами галифе и такого же цвета бостоновую гимнастерку.

— Чего тебе, Христя, опасаться, — убеждал Сероштан девушку, — мы тебе лошадку подберем смирную, тихую, покорную.

— И что, — упиралась красотка, — буду я одна среди стольких мужчин?

— И вовсе не одна. Вот у нас служит Ганка Шамрай. Знаешь, какая она боевая...

— Что вы здесь, товарищ командир, Ганку Шамрай чи продаете, чи покупаете? — независимо зазвенел голос разведчицы, приближавшейся к штабу.

Гаманец, заметив выходивших из-за угла Балабана и конокрада, насторожился. Надвинув папаху на лоб, ударил плетью по сапогу.

— Товарища тебе сватаю, Ганка, вот девушку к нам

зову,— ответил сотник, чуть отодвинувшись от собеседницы.

— Что ж, если стоящий человек, зовите. А обо мне не хлопочитесь. У меня, товарищ командир, полна бригада товарищей.

Сероштан встал. Надел папаху. Спросил Балабана, заметив его спутников:

— Что за люди?

Гаманец еще раз хлестнул плетью по сапогу, сделал шаг вперед, дернув своего дончака. Запальчиво стал говорить:

— Это он и есть тот самый бандюга, про которого я вам, товарищ сотник, докладал. Вот он перед вами, стервы сын. А вот этот,— Гаманец зло посмотрел на Балабана,— заместо шобы взять к ногтю эту бандитскую морду, выгораживает его. Думает, как он сотенный пулеметчик, то он всякими распоряжениями должен распоряжаться.— Гаманец ударил себя в грудь кулаком:— У меня самого родной брат пулеметчик, и, в том числе, у Буденного взводом командует.

— Ну это ты зря!— усмехнулась Ганка.— Если у тебя самого нос кривой, то не хвались носом своего батька.

— Что произошло у вас, товарищ Балабан?..— начал было Сероштан официально.

— Я думаю, товарищ командир, с этим делом надо толком разобраться, по порядку. Парень голяк, и не ему нужны наши кони. А где военком? Где товарищ Квитень? Эй,— обратился он к Шурке,— пойди разыщи нашего военкома. Нехай идет сюды.

— Разбираться, разбираться!— вновь вспыхнув, перешел на крик Махно.— Пока вы тут будете с ним возиться, мы без коней останемся. А на чем ездить и, в том числе, воевать? На гилочках?[1] Казак без коня — сирота. К стенке его, стервы сына! На кнопку, и никаких.

Арестованный побледнел. Съежился. Подошел военком сотни Квитень — совсем еще молодой, одетый в холщовый защитный костюм, в такой же смушковой папахе, как и сотник. Собеседница Сероштана, зазвенев монистами, оторвалась от тына и скрылась в своей хате.

Еще раз выслушали Перчика, откровенно сожалевшего о беде, в которую попал его земляк Курочка. Но

---

[1] Палочках (*укр.*).

кузнец и после допроса не уходил, хотя его малолетний помощник, усиленно размахивая руками, настойчиво звал брата. Перчик, в нерешительности топчась на одном месте, обратился к военкому:

— Товарищ, хлестаните меня канчуком.

— Зачем? — удивился Квитень. — Что еще за блажь такая?

— Ударьте, я вас очень прошу. Иначе я не имею права уйти.

— Объясни, товарищ, почему не имеешь права уходить? — спросил удивленный Балабан.

— Ой, горе, несчастье мне. Если вы не ударите, то найдутся такие, скажут, что я помогал москалям. Вы уйдете, а меня люди Порфишки Ушняка убьют.

— Кто скажет? Кто убьет? Говори! — вспыхнула Ганка. — И каким москалям? — недоумевала она. — Мы большевики, украинцы. А московские большевики — наши братья.

— Ну все равно, — продолжал настаивать на своем кузнец. — Скажут — помогал большевикам. Ой, ударьте, я вас прошу, хоть разочек.

Балабан, взяв из рук Шурки казачью плетку, сильно размахнувшись, слегка опустил ее на спину Перчика. Подскочил Гаманец, подняв руку, изо всей силы хлестнул нагайкой кузнеца:

— На, Шлема, шоб не плакали дома!

— Вот гад! — обругала Ганка бывшего махновца.

— Стервы сына жалко стало. Пойди поцелуйся с Мойшей.

— Товарищ Гаманец! — крикнул комиссар. — Прекратите безобразие!

— Какое же безобразие, военком, — отозвался Гаманец, — если он сам захотел испробовать моего нагая!

— Знаешь что, Гаманец, — рассердился не на шутку Балабан, — давно пора за твои слова и твои делишки подвести под тобой черту, да думка есть, что ты еще принесешь пользу Червонному казацтву!

— Не меньше тебя! — огрызнулся Гаманец и вскочил в седло. — Ну, товарищ командир, — обратился он к сотнику, — мое дело было споймать вора, а если еще будут пропадать кони, то пусть ответит он, — кивнул он головой в сторону пулеметчика.

Сероштан вместе с военкомом приступил к допросу арестованного.

— Значит, — после путаного объяснения Курочки заключил Квитень, — прошлой ночью это ты увел лошадей? Твоя работа?

— Да, — отвечал конокрад.

— Куда же ты их увел?

— В Дубки, — опустив голову, тихо признался Курочка.

— А кто их там стережет, в Дубках?

Паренек замялся.

— Говори, — взял его за руку Балабан, — мы тебе не враги. И вот наш командир и комиссар свидетели: скажешь всю правду — останешься живой. Мы все за бедняков и тебя, наймита, если не будешь врать, не дадим в обиду.

Курочка вдруг горячо заговорил, повторяя слово в слово то, чем петлюровская пропаганда отравляла сознание простых людей:

— Какие вы заступники бедняков? Видите, в чем я хожу. Это у меня и для будней, и для свята. А на вас какая одежа? А сапоги? И кони какие у вас? А москали, евреи и всякие там латыши как зацапали нашу Украину, так из лап и не выпускают. Селянина как давили раньше, так и сейчас норовят придавить. Каждый является и прежде всего кричит «дай», а никто не придет и не скажет «на».

— Скажи, дружок, — перебил паренька Балабан, — а когда делили панскую землю, тебя разве обошли? Никто так и не сказал тебе «на»?

— Ну не обошли, — глядя исподлобья и словно выдохнувшись, отвечал допрашиваемый, — дали мне клаптик земли. А что ты на ней без своей худобы и без реманента поделаешь? Зубами ее не угрызешь. Так со своим куском и пошел до Порфирия Уха.

— А таким, как ты,—вмешалась в разговор Ганка,— прямой расчет сообща землю обрабатывать.

— Что, коммунию, скажете? Так все наши, кто был за коммунию, атаманом Заболотным под лед пущены. Там же и фронтовики, которые не хотели идти до Петлюры. Кто бы там в Херсоне ни держал власть, а тут над всеми голова мой хозяин Порфирий. Вот зимой стояли недалеко галичане. Тоже называли себя защитниками народа, а как потребовали наши незаможные кое-что сделать, всыпали им как следует. «Сечевики»

работали палками, а военные попы, по-ихнему — капелланы, какие приезжали с ними, стращали нас адом.

— Это те самые «сечевики», что снюхались с Петлюрой и открыли Пилсудскому дорогу на Киев? Слышал ты об этом, хлопче? — спросил Сероштан. — А Петлюра с шляхтой отблагодарили их крепко — в лагеря за колючую проволоку загнали. Изменников никто не терпит, — многозначительно посмотрел на задержанного сотник. — А ты всем нам изменник. И не будет тебе прощения, пока во всем не покаешься.

Курочка хорошо понимал, что за совершенное им преступление, да еще в такое горячее время, кара может быть лишь одна. А тут вместо скорого суда и расправы люди затеяли с ним длинную беседу и интересуются вовсе не обстоятельствами и подробностями совершенного им преступления, а тем, что, по его мнению, имеет весьма отдаленное отношение к тому, за что схватил его Гаманец. Его сбило с толку не только это, но и кисет с табаком, протянутый ему Балабаном, и почти дружеский тон допроса, и родная речь сотника, и военкома, и всех тех, кто допрашивал его.

Балабан доказывал:

— Ты еще шляхты не видал! А люди, те самые, которых Петлюра продал Пилсудскому, уже попробовали их...

— Как так «продал»? — удивился батрак-вор.

— Очень просто!—ответил пулеметчик.—Как мы отогнали Петлюру от Шепетовки, Пилсудский принял его до себя. Вот за квартиру, за харч, за одежу, за оружие Пилсудский потребовал себе всю Галичину и нашу Украину по самое Днипро. Намотай себе на ус, хлопче. Паны целуются, а у мужика горб трещит.

— А тут ходят балачки, что армия Пилсудского спешно вертается до Польши. Значит, отвоевала Киев и сдала его Петлюре — хозяину Украины.

Эта новость рассмешила всех. Только Курочка, сообщив ее, оставался серьезным.

— В Киеве, чудак, не Петлюра, там обратно Советская власть! — широко улыбаясь, сказал Балабан и стал накручивать ус. — А Пилсудский с Петлюрой спешно пятки мажут от Киева. Слыхал про буденновскую кавалерию, про чапаевцев, про богунцев и таращанцев? Вот они им дали там попить. А наши червонные казаки скоро добавят.

— Кто тебе сказал, что Петлюра в Киеве? — спросил Квитень.

Парень оглянулся. Понизив голос, сообщил:

— Тут, говорят, объявился недавно какой-то хорунжий. От него слух и пошел. Как будто сам Петлюра велел ему собрать войско в тылу красных. И если кто и знает об этом по-настоящему, то только Порфирий Ушняк, ну а по-уличному — Ухо.

— А где он сейчас, твой хозяин? Дома? — спросил Сероштан.

— Нет, — покачал головой конокрад. — Ухо там, где уведенные кони.

— А кони где?

— Кони там, где Порфирий Ухо. Берите ваших хлопцев, — вдруг решительно ответил Курочка, — я вас поведу!

4

Глубокой лощиной, поросшей лозняком, всадники добрались до глухого, темного леса. Взвод, сопровождавший Квитеня, спешился, на опушке оставил коноводов с лошадьми. Казаки, сменив штаны с лампасами на защитные, намочили чубы и, свернув их жгутами, пустили вдоль левого уха, чтобы походить на петлюровцев. Надели папахи задом наперед. По густому осиннику, следуя за Курочкой, подобрались к глухому урочищу Дубки — стародавнему заповеднику.

Люди тихо, опасаясь задеть сухую ветку или наступить на сучок, двинулись вперед. Квитень с Балабаном, следуя во главе взвода, не спускали глаз с проводника. Вскоре Курочка, вытянув руку, указал на кучки свеженабросанной земли.

Ускорив шаги, казаки приблизились к землянкам. Позади них, стреноженные, паслись кони: длинногривые — селянские, казачьи — со стрижеными хвостами и гривами.

Балабан с комиссаром спустились в кулацкое логово. Тусклый свет, падавший сквозь душник в крыше, освещал земляной пол и два ряда тесно прижавшихся друг к другу человеческих тел.

— Кто здесь живой, выходи! — глухо прозвучал голос Балабана.

— А вы из каких будете? — выбросив вперед куцак — винтовку со специально обрезанным стволом, — спросил рослый парень с накинутым на плечи кожушком. — Назад, палить буду!

— Я тебе, сукин сын, попалю! — ответил пулеметчик, повертев перед физиономией караульщика тяжелым своим кулаком. — Ослеп ты, что ли? Не видишь, кто со мной идет? Сам пан сотник. А где здесь Порфирий Ухо? У нас до него пакет от самого головного атамана.

— От самого батьки Петлюры? — поразился караульщик.

— А то как же, — важно ответил Балабан, — от него самого. Ну, козаче, — скомандовал Балабан, — зови его до нас! И шибче — одна нога здесь, другая там. Постой, постой, козаче, а что за народы тут в землянке?

— Сама сволота, пане добродию. Ото с великодня они у нас. Как завернет в село один или два краснопузых, мы их под капкан. Днем пособляют нашим мужикам в поле или по дворам, а на ночь — сюды. Тут в лесу дело надежное, потому верить этой сволоте невозможно — одна кацапня и матросы.

— Не бреши, Антошка, — раздался чей-то приглушенный голос с пола. — Тут не сама сволота, а сама соль земли...

— Кш, краснопузики! — громко, но незлобно зашумел караульщик.

— Они еще огрызаются — опасный, видать, народ. Дай, добродий Антоне, твоего обреза, — Балабан решительно взял из рук охранника оружие, — я тут их пока трохи пошурую, а ты сбегай за добродием Ухом.

Когда караульщик, поправив на плечах кожух, удалился, Балабан с Квитенем, достав карманные ножи, принялись поспешно освобождать связанных. Один из них, с копной густых рыжих волос на голове, став на ноги, радостно зашумел:

— Ребяты, свобода, наши пришли...

— Верно, воля. —Балабан продолжал, ловко орудуя ножом, освобождать людей. — Но почему ты, «сама соль земли», принял нас за своих? — спросил он.

— Как вы повернулись до нас затылками, я враз заметил на папахе звезду!

— Как звать тебя, товарищ? — спросил пулеметчик.

— Я токарь с Гельфериха-Саде, не горюю нигде! Все наши хлопцы с Журавлевки балакать ловки! — затара-

торил рыжий. — А по списку первой роты триста шестьдесят девятого полка сорок первой дивизии числюсь красноармейцем Панасом Бунчуком.

— Так вот, товарищ Бунчук, — распорядился Балабан, передавая нож рыжему, — освобождай товарищей, режь им всем путы. И не выходите, ждите команды. А мы пойдем встречать добродия Ухо.

— Только смотрите, — предупредил казака Бунчук, — держите ухо востро: Ушняк — хитрая лисица.

Из второй землянки вслед за караульщиком Антоном, не спускавшим с плеч кожушка, шел, чуть прихрамывая и в предвкушении интересной беседы широко улыбаясь, небольшой, с впалой грудью, но в то же время плечистый козлобородый дядька. Заметив шедших навстречу новых людей, остановился. Оглянувшись вокруг и шумно вздохнув, выступил вперед.

— Здоровеньки булы, — приветствовал Балабан диктатора Чабанов, сменившего в связи с приходом казаков свою резиденцию. — Мы, добродию, из повстанческого штаба, и нам нужно повидать пана хорунжего, который недавно прибыл до вас.

Порфирий Ушняк, прищурив глаза, засунул руки за пояс и заплетающимся языком ответил:

— Я знаю, шо вы из штаба, только не из повстанческого, а того, шо стоит в Чабанах. Я ночью бегал до села и приметил там тебя, — указал он на Балабана. — По твоим усам тебя признать нетрудно. А я, Порфирий Ушняк, кое-шо видел. У самого сын — охвицер! Так шо поворачивайте ваши папахи звездами наперед. Это вы могли только малахольного Антона обмахорить. — Тут Ушняк грозно посмотрел на караульного, легко поддавшегося обману. Тяжело дыша и едва ворочая языком, он прохрипел незадачливому Антону:

— Тащи воды, бисов сын... в глотке все пересохло...

Привыкший к повиновению «бисов сын», поправив на плечах рваный кожушок, бросился выполнять приказание. Балабан, повернув на голове папаху, нагнувшись к выходу, крикнул в землянку:

— Бунчук, хлопцы, валяйте сюды!

Щурясь от света, обитатели темницы, полураздетые, обросшие, с бледными лицами, вывалили наружу. Показался и караульщик с ведром в одной руке и с желтой от ржавчины кружкой — в другой. Поставив ведро на

землю, подошел к своему хозяину и, зло ухмыляясь, выплеснул ему в лицо полную кружку воды:

— Пей, бисов батько...

Рыжий Панас, токарь с Гельфериха-Саде, подступив вплотную к кулаку, злым взглядом смерил его с головы до ног:

— Пить, гад, захотелось? Сними шапку, перекрестись, а тогда и воду получишь! Ты же верующий!

— Крестись, крестись! — зашумели все узники Порфирия Уха.

— Бросьте, товарищи, — стал их унимать Квитень.

— Пусть знает, почем фунт лиха, паук. Это он дал приказ по селу: ни одному красноармейцу ни капли воды, ни куска хлеба, пока не снимет шапку и не перекрестится. Хотя и знает, что мы неверующие.

— А вы крестились? — спросил Балабан.

— Чего таить. Бывало, когда кендюх пустой, то и покривишь душой, — лукаво улыбнулся Бунчук.

В это время Антон сбросил с себя кожушок и, растянув его в руках, ловким движением накинул сзади на голову Порфирия Уха:

— Бей его, гада!

Вмиг замелькали готовые обрушиться на голову бородача кулаки.

— Стой, стой! — закричали Квитень и Балабан.— Никаких самосудов!

— И ты, видать, кривил душой?— спросил караульщика военком сотни.

— Это вы насчет «сволоты»? Так я сам из той же категории. Спросите кого угодно, — ответил парень, вновь набрасывая на плечи рваный кожушок. — Только зажал нас всех Порфирий Ухо. Никому ходу не было через него и через его кумпанию. Хотишь не хотишь, а стереги его батраков, — указал он на освобожденных красноармейцев. — Паси его табуны. А там, как бы не вы, заставил бы вступить в банду. Он и лошадей припасал для этого.

— А где же тут ховается атаман будущей банды, какой-то петлюровский хорунжий? — спросил Балабан.

— Этого я не знаю, — захлопал глазами Антон. — Спросите его, — указал он на кулака, — потому он перед нами не очень-то раскрывался.

— Где хорунжий? — строго посмотрел на Ушняка Квитень.

— Никакого хорунжего я не знал и не знаю. Отступись от меня, сволота. Ишь голодранцы! — насупил глаза кулак. — Разгулялась боса команда. Гуляйте, гуляйте. Атаман Петлюра с союзниками вам покажут. Ждать осталось недолго. Варшавы вам захотелось, а другого не хотите?

— Связать ему руки! — распорядился Квитень. — А теперь, хлопцы, по коням! — скомандовал он. — Верхом умеете ездить? — спросил он бывших невольников Ушняка.

— Тут у нас все, — ответил за всех Бунчук, — красноармейцы, если не кавалерия, то артиллерия, ну а которая пехота — «левой, правой, черт кудрявый», — то та за хвосты уцепится и от нас, считаю, не отстанет.

Пленные ринулись в землянку за веревками и, связывая на ходу недоуздки, направились к стреноженным лошадям.

Пестрая кавалькада всадников, покинув лесной заповедник, двинулась просекой на Чабаны. В середине колонны, со связанными руками, с низко опущенной головой, бултыхался в строевом седле окончательно протрезвившийся Порфирий Ушняк. Спустившись в лощину, заросшую молодым осинником, разведчики затянули песню:

Казак пана не знал сроду,
Он родился на степях...

Рыжий Бунчук, вырвавшись на неоседланном коне вперед, галопом нагнал голову колонны. Спросил военкома:

— А нам, деревянной кавалерии, можно петь?

— Вы же, верно, все голодные, — ответил военком.— Какая это песня на голодный желудок?!

— А голь только и поет, когда она голодная!—улыбнулся рыжий и тут же, подавая команду своим товарищам, затянул:

Ой що то за шум учинився,
То комар та на мусі оженився...

В лощине показался человек. От неожиданности конь военкома, запрядав ушами, шарахнулся в сторону.

Квитень, свернув с дороги, остановился. Разглядывая

выцветшую холщовую гимнастерку встречного, его лохматую, без фуражки голову, босые ноги, спросил:

— Кто и откуда?

— Я красноармеец шестидесятой дивизии пятьсот сорокового полка третьего батальона девятой роты. Иду из госпиталя после ранения. — Засучив рукав, он показал следы свежезажившей раны. — Под Вознесенской какая-то банда раздела меня. Сняла шинель, чоботы. А вчера еще какие-то сукины сыны гнались за мной, я — в лес. Спрятался досветла.

На миг оживились глаза Ушняка, а потом, словно одолеваемый куриным сном, он вновь опустил свои дряблые веки.

— Документы есть? — спросил военком.

— Вместе с шинелью забрали. Сволота... Вот только успел спрятать, — продолжал встречный, не без гордости протянув на широкой ладони маленькую пятиконечную звездочку.

— Как звать?

— Звать меня Максимом. Максим Черноус! — бойко отвечал путник, тряхнув светлым, давно не чесанным чубом.

— Ну ступай с нами. — Квитень показал Черноусу на одного из свободных коней, а сам, согнувшись в седле, галопом обогнал колонну.

— Работать, лацюги, не хотят, — услышал он позади себя нагловатый голос Порфирия, — на готовый кусок все зарятся! Пополненцы! — Кулак, оглянувшись, порыскал глазами, стараясь увидеть того, кого он назвал «пополненцем».

Бунчук, следуя в одном ряду с Черноусом и искоса поглядывая на соседа, затараторил:

— Как звать, а если не звать, то как дразнят? Скорее скажи свое звание и геть до нашей компании. Мое вам, а ваше пускай с вами.

— По мундиру, видать, и ты из новичков? — Черноус пренебрежительно посмотрел на лохмотья рыжего.

— Так точно. Не тушуйся, товарищ. Сейчас нам суконные фрачки раздадут, полботиночки с шиком и ботфортики с рыпом. Напьемся у тетки молочка, чтоб была сила, как у бычка. — Помолчав с минуту, спросил: — А не знаешь, в какую это мы сухожелезную, всегда утекаемую дивизию попали?

Черноус, вслушиваясь в бойкую речь соседа, не сразу ответил. Похлопав ладонью по шее коня, сказал:

— Тут вижу кое-кого при лампасах. Допустимо, что это червонцы — червонные казаки.

— Ну, кавалерия Шостака? — обрадовался Бунчук.

— Ты чего? — спросил Черноус.

— Давно мечтал попасть до них. Еще зимой тысяча девятьсот девятнадцатого года они влетели к нам в Харьков. Красота. Молодец к молодцу. Ну и тикали ж от них кадеты! А кони? В гривах красные банты, а в хвостах пучки золотых погон — это что посдирали с белогвардейцев. И чем гуще в хвосте погон, тем больший почет казаку. Хотел я еще тогда попроситься до них, так старуху мать не на кого было бросить.

— Подцепил бы какую-нибудь девку. Она б осталась заместо тебя со старухой.

— Эх! — вздохнул тяжело Бунчук. — Как обжегся на одной миркизетовой барышне, больше уже не пытался.

— А что это за миркизетовая барышня? — спросил Черноус.

Бунчук пристально посмотрел на соседа:

— Мало тебя еще знаю, человек, чтоб стал перед тобой раскрываться.

— А сейчас матери не жалко? — поинтересовался Черноус.

— Померла, бедная, — взгрустнул токарь с Гельфериха-Саде, — теперь я вольная птица.

С бойкими песнями, с удалым свистом запевал колонна вошла в село.

5

К вечеру притихло село, окутанное облаком розовой пыли, поднятой стадом коров. Тишина нарушалась лишь протяжным лаем собак да несмелыми аккордами двухрядок. Походные гармонисты готовились к вечерней гулянке.

У церкви, сдерживая горячих коней, остановилась пестрая кавалькада. Начали спешиваться всадники — все в серых с красными верхами папахах, в синих с лампасами штанах.

Позже всех слез с маленького коня, выделявшегося точеной головой и упругими прожилками под шелковой

кожей, молодой всадник. Его бледное безусое лицо с серыми проницательными глазами, небольшим носом с тонкими ноздрями казалось чем-то рассерженным. Всадник, ловко перебросив ногу через голову коня, соскользнул с седла наземь, бросил повод казаку. С повязкой на одном глазу, рыжий Исмаил, хмурый, никогда не улыбавшийся, подхватил поводья и отошел с Соколом в сторону.

Тонконогого порывистого Сокола знала вся дивизия. В Червонное казачество он попал неожиданно в 1918 году под хутором Михайловским вместе со своим прежним хозяином — командиром Баварского гусарского полка. Щорс, а потом и Боженко предлагали за него Шостаку сначала одну, а затем три пушки, но обмен не состоялся. Почти два года, разделяя со своим всадником все тяготы походов и превратности боев, Сокол верно служил Шостаку.

На восьмисоткилометровом марше от Перекопа к границам Подолии во время редких дневок Шостак со своим полевым штабом объезжал поочередно все части дивизии. Здесь без всякой волокиты и бумажной писанины разрешались неотложные дела, а главное — острый вопрос комплектования и пополнения полков. Тяжелые бои под Перекопом с кавалерией Морозова и Улагая, с офицерскими десантами Деникина под Хорлами и Преображенкой унесли из рядов Червонного казачества немало бойцов. Надеяться на тыловое пополнение, тем более сейчас, когда дивизия уходила из состава 13-й армии и поступала в распоряжение 14-й, не приходилось.

Кое-кто пытался пополнить убыль простым способом. На пути от Перекопа к Каховке попадались кавалерийские полки пехотных дивизий, конные разведчики полков. Их соблазняла шумная, с громкой боевой славой семья червонных казаков. Кое-кому нравились и серые папахи, и брюки с красными лампасами. Не было отбоя от всадников-летунов, стремившихся в ряды 8-й кавалерийской дивизии. Они рассчитывали на то, что их, попавших на далекий фронт, скоро забудут в своих эскадронах и полках.

Но штаб Шостака в корне пресекал эти партизанские поползновения. Другое дело—добровольцы. Молодежь с охотой шла в дивизию, слава о которой гремела по всей Украине. Старые, показавшие себя во многих

боях казаки брали под свое крыло новичков, приучали их к коню, к оружию, к трудностям походов и неожиданностям боев. Месяц-другой такой отеческой заботы — и уже было не отличить молодого воина от старого рубаки...

В начале Октябрьской революции Шостак по заданию партии поднял вооруженное восстание в одной из петлюровских частей, квартировавших в Харькове в Москалевских казармах. В декабре 1917 года из восставших солдат и харьковских рабочих был создан первый полк Червонного казачества. Шостак стал его красным атаманом.

Закаляясь в непрерывных боях с врагами молодой Советской Республики, полк, пополнивший свои ряды немалым количеством коммунистов, бывших подпольщиков, в январе 1918 года, пройдя ночью по днепровскому льду в Киеве, на Куреневке, обрушился на крикливые курени «вільного козацтва», теснившие к «Арсеналу» красногвардейские отряды. После этого червонные казаки воевали против немецких оккупантов, гетманцев, Петлюры, Деникина, Махно, Врангеля и, приняв под свои знамена сотни и тысячи сынов трудового народа, выросли из небольшого отряда в боевую, грозную для врага Советской власти шестиполковую кавалерийскую дивизию, а потом и в двенадцатиполковой конный корпус.

Стихийно возникали и, не выдержав тяжелых испытаний суровой эпохи, бесславно гибли, разъедаемые микробами партизанщины, десятки полков и бригад кавалерии. Блеснув на боевом небосклоне, бесследно исчезли кавбригады партизана Гребенки, чеха Завотного, матроса Черновоза и многих, многих других.

А дивизия Шостака, успешно справившись со всеми недугами тревожного времени, делаясь с каждым днем, после каждого боя, все более грозной и неустрашимой, стала наконец красой и гордостью всей красной конницы. Это случилось потому, что в каждой ее мельчайшей частице, в каждой сотне, полку и во всей дивизии непрестанно чувствовались воля, разум и дух большевиков.

На траве, под ясенем, на том самом месте, где утром Балабан проводил беседу с казаками, высокий черноглазый Нежинский — начальник штаба дивизии и правая рука Шостака — раскинул походную карту, испещ-

ренную цветным карандашом. Сдвинув на затылок папаху, он растянулся на траве и при помощи курвиметра — прибора с циферблатом и зубчатым колесиком-ножкой — определял величину завтрашнего марша.

Адъютанты начдива Фомичев и Петренко расположились тут же.

Небольшого роста, горячий и вспыльчивый комсомолец Борис Фомичев, сын вдовы, ткачихи с московской «Трехгорки», привязался к Шостаку, как к родному отцу. Коля Петренко — флегматичный верзила — находился в постоянной готовности, так как знал, что начдив, не любивший расставаться с Фомичевым, в первую очередь пошлет с приказом его. Сын священника, он с первых дней революции стал ее верным солдатом.

Вместе со штабом приехал и светловолосый, с голубыми глазами военком дивизии Евгений Павловский. Найдя Квитеня, пошел с ним в ревком. Там созывалась сходка. Предстояло вместо арестованного председателя ревкома Порфирия, которого в Чабанах попросту называли старостой, выбрать более достойного кандидата.

С докладом к начальнику дивизии, крепче затянув кавказский поясок, явился сотник Сероштан. Стали сходиться казаки, прослышав о появлении в селе Шостака. Подошла Ганка. Шостак, хорошо знавший ее, тепло поздоровался с ней.

Уже толпились в стороне и новички, лишь недавно вырвавшиеся из кулацкой неволи. Все они, бывшие красноармейцы, слышали и о Червонном казачестве, и о его славном командире.

Шостак поздоровался и стал с ними беседовать.

— Это кто будет?— пригнувшись к уху Ганки, тихо спросил Бунчук.

— Это и есть наш начальник дивизии товарищ Шостак.

— Ну? — удивился рыжий.— Такой молодой, вот это здорово, — продолжал он полушепотом. А затем, осмотрев еще раз с головы до ног командира Червонного казачества и остановившись взглядом на его серебряной кубанской шашке, выпалил Ганке в лицо: — Чи Шостак, чи Шостака, а, видать, добрый рубака.

—Тише ты, сорока-рыжебока, — отшатнулась от него Ганка.

С другого конца села, узнав о появлении в Чабанах

дивизионного начальства, прискакал командир артиллерийского дивизиона Иван Гандзюк.

Коренастый, с выпуклой грудью, большим светлым чубом, с кривой кубанской шашкой на кавказском ремне, Гандзюк из захваченных у немцев пушек, быстро освоенных неустрашимыми партизанами Черниговщины, создал грозную артиллерию 8-й червонноказачьей дивизии.

На первых порах, когда все силы Шостака состояли только лишь из пяти конных сотен, роль начальника артиллерии исполнял помощник атамана полка Андрей Волынский.

Волынский огнем своих четырех легких орудий так умел допекать гайдамаков, что они, бессильные что-либо сделать ему, бывшему киевскому наборщику, бесчеловечно расправились с его сыном, выколов ему глаза.

Поддерживая атаки полка, как правило, прямым огнем, Волынский не щадил и себя. За короткое время он получил шестнадцать ранений, за что казаки окрестили его метким прозвищем Ружпульпарк. Под конец Шостак вынужден был чуть ли не силой отправить его в тыл, где он занялся формированием маршевых сотен для пополнения Червонного казачества.

После Волынского начальником артиллерии стал Гандзюк.

Был такой период в строительстве армии, когда многие командиры, стремясь к пополнению своих сил, соблазняли Гандзюка разными благами, предлагая ему перейти к ним. Но огневой бог 8-й дивизии ни за какие сокровища не расстался бы ни с Шостаком, ни с милым его сердцу лихим Червонным казачеством.

Гандзюк, широко улыбаясь и показывая свои выпирающие вперед зубы, подкрался и изо всей силы хлопнул по спине начальника штаба.

— Хамство! —выпалил Нежинский, поправляя папаху. — Такое хамство может себе позволить только один человек в дивизии! Ну да, я не ошибся, — добавил он, посмотрев добродушно на начальника артиллерии. — Садись, Иван, потолкуем о завтрашнем марше.

— Некогда, Сеня, у меня серьезный разговор с Анатолием, — ответил Гандзюк, направившись к Шостаку.

— Здравствуйте, товарищ начдив! — отчеканил Гандзюк, приложив руку к папахе.

Поздоровавшись с начальником артиллерии, Шостак продолжал разговор с Сероштаном:

— Так сколько у тебя, Федя, новичков? Павловский мне говорил — у вас здесь большая удача.

— Да, товарищ начдив. Как разрыли это петлюровское гнездо, повалил к нам народ. Уже больше сотни, а еще идут. И все с лошадьми. Есть которые и с винтовками. Только вот беда, Анатолий Маркович, седел нет.

— Ну, Федя, — улыбнулся Шостак, — беда не очень-то большая. Казаки ездят, как тебе известно, не на интендантском добре. Наши седла взяты в бою, и новички там их возьмут. У пана Пилсудского кое-что для нас припасено.

— И много разутых, — продолжал свой доклад командир разведчиков.

— Известно, незаможники, — улыбнулся начдив. — Думаю, что и обувку для них приготовило французское интендантство. Нам только добраться до богатых обозов.

— Анатолий,— сердито заговорил Гандзюк,— кто же тебе будет стрелять из орудий? Думаешь — дядя? Людей-то у меня выбило. Сам требуешь стрелять с открытых позиций, не отставать от кавалерии ни огнем, ни колесами, а пополнения не даешь. Дай мне эту босую команду, хоть и без седел, и без сапог.

— Ну и будут они у тебя ходить босиком.

— Положим, — возразил начарт. — Твои же полки после первого боя их обуют и оденут.

— Это за что же, Ваня? За твои красивые глаза?

— За мои глаза, знаю, никто и рваного лаптя не даст. А вот за нашу красивую работу под Фатежем третий полк завалил нас английскими шинелями и английскими бутсами. Сам знаешь!

— Нет! — твердо сказал Шостак.— Сероштан получил от меня задание развернуть свою сотню в дивизион. И из этого пополнения тебе ничего не перепадет. Вот на следующей дневке отведут тебе отдельное село, там и набирай себе подмогу.

— Вижу я, Анатолий, — рассердился Гандзюк, — хочешь ты, чтоб тебе стрелял дядя! — Казалось, узко поставленные глаза артиллериста от негодования еще ближе подвинулись к носу. — Смотри, Анатолий, я начну ругаться по-настоящему, калена-матрена...

— Что ж, — продолжал невозмутимо ухмыляться начдив, — я люблю таких, которые умеют ругаться по делу. Продолжай, Ваня, раз начал, пали из всех стволов.

— И запалю. Тебе все шуточки, Анатолий, а мне не до смеха. Сам знаешь, эти пилсудчики — не деникинский сброд. У них прусская школа. И моя артиллерия хочет, должна и обязана перекрыть их.

Со стороны, слушая эту перебранку, можно было подумать, что субординации здесь отведено последнее место, что подчиненные позволяют недопустимые вольности, таящие в себе много страшного для дружной, согласованной работы. Но тот, кто сделал бы такой вывод на основании беседы между начальником дивизии и командиром артиллерийского дивизиона, впал бы в большую ошибку.

Каждое слово Шостака и в бою, и вне боя было для всех неоспоримым законом, и сам Гандзюк был одним из тех многих червонных казаков, которые, не задумываясь, шли в огонь и в воду по приказу начдива-большевика.

Необычные отношения между этими людьми сложились не здесь, не в рядах 8-й кавалерийской дивизии. Их дружба началась в то трудное время, когда вся нынешняя верхушка Червонного казачества входила в подпольный революционный кружок, поставивший себе целью борьбу не на живот, а на смерть с царским самодержавием.

Членами этого революционного братства являлись и ученики Черниговской гимназии Семен Нежинский, Евгений Павловский, Анатолий Шостак, и черниговский биндюжник-тяжеловоз, присвоивший себе навсегда подпольную кличку Иван Гандзюк.

Нежинский и Гандзюк вступили в Коммунистическую партию в 1912 году, а Шостак и Павловский — в 1914-м, когда им было всего по шестнадцать лет.

А может ли быть более крепкой и нерушимой дружба, чем та, которая выкована в тяжелой подпольной борьбе?

Обстоятельства сложились так, что самый молодой из черниговского революционного кружка оказался более подготовленным к тому, чтобы возглавить один из первых вооруженных отрядов молодой Советской республики. Старшие по возрасту, здраво оценив дарова-

ние своего младшего товарища, беспрекословно признали авторитет Шостака и создали вокруг него тот костяк, который вел в бои и сражения славное Червонное казачество.

Шостак, мальчиком еще прислушиваясь к горячим дебатам, которые велись в доме его отца — сельского учителя, — и мечтая о борьбе с царским произволом, готовил себя к другому поприщу. Ему казалось, что он послужит своему народу пером, как эти неумирающие гиганты Украины — Шевченко, Франко, Коцюбинский, чьи книги вместе с творениями Горького пользовались особым почетом у отца и у его верных друзей.

В 1914 году Анатолий Шостак отважно бросил в лицо своим судьям из Киевского военного окружного суда: «Да, мы распространяли прокламации и вели среди солдат агитацию против войны! Но это ставим себе не в вину, а в заслугу и честь перед народом».

Попав в сибирскую ссылку, семнадцатилетний революционер работал столяром, а потом молотобойцем. Освобожденный Февральской революцией из ссылки, Шостак вернулся в Киев, где впервые и осуществилась его давнишняя мечта: он стал журналистом. Но ненадолго. Партия приказала ему вступить добровольцем в армию Керенского. Вскоре солдаты 13-го пехотного полка, покоренные его революционным пылом и красноречием, послали молодого Анатолия на II Всероссийский съезд Советов.

В горячие дни Великого Октября красногвардейский отряд речкинских паровозостроителей во главе с делегатом съезда Шостаком у Пулковских высот громил контрреволюционных казаков генерала Краснова. И съезд Советов, воздав должное первой военной удаче бывшего царского узника, избрал его членом ВЦИК — верховного органа власти Советской республики.

27 декабря 1917 года Шостак, будучи уже членом ВЦИК, в Харькове по заданию партии проник в петлюровское логово, где с помощью советски настроенных солдат разоружил 2-й Украинский полк и увел второй его батальон. Из него-то, в противовес «вільному козацтву» Петлюры, Шостак и создал первый отряд Червонного казачества, призвав в его ряды молодежь харьковских заводов.

С декабря 1917 года, закаляясь в боях на полях Полтавщины и на подступах к Киеву — против гайда-

маков, в Донбассе, у хутора Михайловского, — против гетманских и кайзеровских полков, на Волыни и Подолии — против Петлюры, в кавалерийских сражениях с деникинской казачней — под Грищино, Черниговом, Орлом и Харьковом, в перекопских атаках — против врангелевской офицерни, шостаковский отряд вырос в грозную для врагов 8-ю червоннказачью дивизию.

В некоторых ее полках каждый третий казак являлся членом, кандидатом или сочувствующим Коммунистической партии. В этом, как и в сильном, крепко спаянном командирском костяке, крылся секрет боевой славы Червонного казачества.

— Ваня,—заговорил мягко Шостак, обращаясь к остывшему уже Гандзюку,— тебя ведь не надо учить. Сам набирай народ, только не так, как под Каховкой. Общипали блюхеровскую пехоту... Оркестр увели. До сих пор телеграммы из Москвы идут. Словно в Днепр канули музыканты...

— Что я, вор? — Гандзюк насторожился. — На что мне сдались те тухлые барабанщики. Вот если б пушечки! Это другой разговор. Моему оркестру как раз не хватает мелкокалиберного кларнета и трехдюймового баса. Чуть что, товарищ начдив, вы сразу на меня. — Артиллерист вытащил наполовину клинок и сердитым толчком снова вогнал его в ножны. — Пусть не спят. Гандзюк, как вам известно, товарищ начдив, не вор, да, не вор!

— Ну ладно, — успокоил его Шостак. — С тобой, Ваня, все. Мне вот надо потолковать с товарищами. — И начдив пошел навстречу Балабану, протянув ему руку: — Здравствуйте, товарищ Балабан. Как живем?

— Живем прохладно — нет ничего, и ладно.

— Чего это вы до сих пор без лампасов? Не считаете себя червонным казаком?—спросил разведчика Шостак.

— Просто не разжился еще кумачовой наволочкой, товарищ начдив.

— Эй, Борис! — Шостак повернулся к церкви, где отдыхали его адъютанты. — У меня в полевой сумке лежат суконные лампасы. Отдай-ка их Лариону. Пусть не позорит разведчиков.

— Прямо генеральские, — с восхищением выпалил пулеметчик, принимая щедрый дар Шостака.

— Ну и цепляй их, товарищ, на страх врагам.— Начдив, положив руку на плечо пулеметчика, прижал его к себе: — Давно пора тебе, Ларион, взять взвод, сотню. Ты же шахтер, партиец, имеешь опыт.

Шостак внимательно следил за действиями коммунистов. Хорошо знал мнение казачьей массы о каждом из них. Мало-мальски боевого товарища выдвигал на командную работу. Одного нового комиссара, отставшего от полка во время боя и освистанного за это казаками, перевел в каптенармусы. Разжалованный объяснял свое поведение тем, что ему надо было контролировать штаб. «В Червонном казачестве командиры нуждаются в товарищеской помощи военкомов, а не в их контроле,— ответил ему комиссар дивизии Павловский. — Не может быть, чтобы вам этого не сказали в политуправлении армии! И я вам, помнится, говорил: казаки чтят только того комиссара, который до боя действует словом, а в бою — клинком».

Чувствуя себя не совсем ловко в объятиях начдива, польщенный Балабан ответил:

— Как будто, Анатолий Маркович, я числюсь неплохим пулеметчиком. Боюсь быть плохим командиром.

— Не святые горшки обжигают. Командиры нам нужны. Вашу сотню развертываем в дивизион, и тебя, Ларион, мы решили сделать взводным. Лучше мне поставить на взвод проверенного казака, нежели непроверенного офицера.

— А Сероштан? — не стесняясь присутствия сотника, спросил Балабан.

— Ну, Ларион! Сам знаешь, Федя — это другое дело. Побольше б нам таких Сероштанов. — Начдив лукаво посмотрел на командира сотни, в смущении теребившего кончик своего кавказского пояса: — И у него есть слабость, эти... как их...

— Что, поповны? — закончил вместо начдива Сероштан. — Знаете, товарищ начдив, местных поповен оккупировал штаб Гандзюка.

— Только не Гандзюк, — презрительно отозвался артиллерист.

— Не дуйся, Ваня. Знаем, знаем, — успокоил его Шостак.— Ты этим делом не страдаешь, ты у нас монах.

Подошла к церкви девушка, та самая, с которой утром любезничал Сероштан.

— Товарищ командир,— чуть покраснев, обратилась она к сотнику, — мама зовут вечерять. И вас, и ваших товарищей, что приехали.

Нежинский, оторвавшись от своих карт, осмотрел девушку и задорно спросил:

— Красавица, а сметана к вечере будет?

— Обязательно, — прыснула Христя. — И еще коечто, — лукаво взглянула она на Шостака.

— Спасибо, милая,— поклонился ей начдив. — От вечери не откажемся, а что касается другого, то это зря. Мы непьющие.

— Тогда я пойду до хаты, — поклонилась всем девушка и, взглянув напоследок на Сероштана, направилась к широко раскрытой калитке.

Шостак с едва уловимой грустью в глазах посмотрел ей вслед. Он вспомнил недавно умершую от родов жену Оксану. Дочь известного писателя-черниговца, чьими книгами он упивался, будучи еще мальчиком, стала его недолговечной подругой жизни. Не только своим нарядом — вышитой сорочкой, лентами в косе, но и большими светлыми глазами она сильно походила на эту, только что скрывшуюся за калиткой девушку.

— Вот это дело! — воскликнул Шостак, отгоняя думы о тяжелой утрате. — Махнул бы ты, Федя, рукой на всех поповен. Такая славная девица, как эта, была бы тебе милой женой и верным товарищем. И казаков наплодит нам на смену.

— Пока мои казаки подрастут, — усмехнулся Сероштан, — люди уже воевать не будут. Все станут кузнецами и хлеборобами.

— Как сказать, — повел плечом Шостак. — Пока нас одна шестая, а остальные пять шестых только и думают, как бы нас проглотить.

6

Штабные вместе с сотником и Гандзюком пошли в хату к гостеприимной хозяйке. Балабан, торопясь на сходку селян, попрощался с Шостаком и направился вдоль улицы в помещение ревкома.

В сумерках две тени из-за угла преградили ему дорогу. Готовый ко всяким неожиданностям, пулеметчик сразу же полез в кобуру, но нагана не вытащил, так как услышал знакомый голос сельского кузнеца.

— Товарищ! — начал Перчик. — Вот мы с Паньком решили. Мы тоже хочем до вас, в сотню, значит, к казакам. Что мы — хуже от других? Наши хлопцы уже на конях, а кто и с лампасами уже гуляет. Кузнец я хороший. Пускай Панько скажет. Может, буду неплохим казаком.

— А я предполагал двинуть тебя в члены ревкома от рабочего класса, — ответил Балабан.

— Ну вот, товарищ, какой из меня ревком? С меня больше пользы будет у вас. Увидите. — И, не дожидаясь ответа пулеметчика, добавил: — Я еще с собой возьму братика. Слыхать, мы пойдем через Вознесенск. Я его оставлю там у тетки.

— Кто это «мы»? — спросил пулеметчик.

— Как «кто»? — удивился кузнец. — Мы, — значит, наше войско.

— А ты же еще не в войске, дружок. Я могу только сказать военкому, а решают они с сотником.

— Ну пусть они себе решают там как угодно, военком с сотником. А вам, знаю, товарищ Балабан, кузнец-таки нужен. Ваш кузнец хоть и постарше меня, а с двумя сотнями не управится.

— Какими двумя сотнями, какими? — прикинулся наивным Балабан.

— Ой, не морочьте мне голову. Уже все село знает, что Шостак хочет иметь не одну сотню разведчиков, а аж две. И что вы, товарищ Балабан, уже не пулеметчик, а таки будете взводным начальником, тоже нам известно.

— Ну ладно, парень. Как твоя фамилия, что-то я ее не запомнил?

— А шо, а?

— Ты не акай. Казак должен отвечать на вопрос сразу, не акать, не шокать, не переспрашивать.

— Ладно, не буду переспрашивать. А вам нужно знать мою фамилию?

— Да, а то как же я о тебе доложу военкому?

— Ну так знайте — моя фамилия Перчик. А полностью — Соломон Евсеевич Перчик. И как вы себе там хочете, товарищ взводный начальник, — стал уже льстить кузнец, — а я ваш. Иду собирать свою торбу. И еще до вас серьезный вопрос: надо что-нибудь сделать с этим парубком. — Перчик указал на своего компаньона.

Курочка стоял в стороне, низко опустив голову.

— А что с ним делать, Соломон? По закону ему полагалась шлепка. За признание — полнаказания, а его ж совсем простили. Одно — что незаможник, другое — он помог раскрыть петлюровскую шатию.

— Так вот через это самое, — продолжал кузнец,— ему тут оставаться никак нельзя. Ему или петлю на шею, или через плечо портупею.

— А ты уже знаешь, что такое портупея?

— Каждый казак, — ответил кузнец, — должен знать, на что цепляют шашку.

— Что, Панько, — обратился Балабан к Курочке,— добровольцем хочешь?

— Если будет ваше согласие, то я пойду. А за пакость свою отслужу, увидите, отслужу.

— Хорошо, — ответил Балабан. — Пойдемте, после схода решим.

У ревкома — небольшой хаты, где в царское время помещалась так называемая расправа,— собралось почти все село. Дядьки в домотканых свитках, молодежь в вышитых рубахах, бабы в светлых платочках густо облепили походную тачанку. С этой импровизированной трибуны начал свою речь военком дивизии Павловский.

Как и все ораторы того периода, он говорил горячо, с душой. Время от времени он поправлял падавшие на лоб светлые волосы. Его молодое лицо раскраснелось от возбуждения. Искусный оратор, выступавший сотни раз и перед товарищами-студентами в Киеве, и перед рабочими «Арсенала», и перед бойцами своей дивизии, еще взбираясь на тачанку-трибуну, он уже чувствовал усиленную пульсацию крови в жилах и тот подъем, который заранее обеспечивал успех выступления. В те времена, когда ход многих событий определялся настроением народа, одна удачная речь стоила десятка иных приказов.

— Товарищи селяне, и вы, товарищи селянки,— начал Павловский, выбросив вперед тонкую руку,— вот вы жалуетесь: не стало соли, керосину, спичек...

— И краму тоже нема,— дополнил оратора женский голос из задних рядов.

— Верно,— согласился Павловский,— нет и мануфактуры.

— Где там манухвактура! Простого ситца и того не

найдешь! Скоро нечем будет закрывать срамоту! — сердито голосила та же женщина.

— Я и говорю...— попытался продолжать оратор.

— Ты хоть говори, хоть не говори, а с того времени, как приезжала до нас на машине Григория атаманова баба, и куска краму не видели. Спасибо ей, с машины бросала нам ситец кусками. Подумала о нас, бедных.

— Вот тем крамом хитрая атаманша и рассчитывала замазать вам глаза! — повысил голос Павловский.— То один лишь обман!

— Считай то обманом, а мне на спидныцю перепало...— не унималась женщина.

Но селяне, собравшиеся у ревкома, хотели услышать, для чего же созвали их военные, и стали сдерживать свою чересчур бойкую односельчанку:

— Та годи, Горпына, тебя и до утра не переслухаешь.

В наступившей тишине оратор продолжал:

— Кто был тот Григорьев — александрийский царек,— я вам много говорить не буду. Хватит того, что такой бандит, как Махно, убил своего брата бандита. Всем известно — застрелил он атамана Григорьева. Может, и верно то, что атаманша кидала вам отрезы с машины, господа привыкли бросать своим лакеям подачки, а Советская, народная власть не может так поступить. Ленин учит нас, что народ обманывать нельзя. Ему надо говорить правду. Вот я вам всем откровенно и говорю: керосину, спичек, соли, краму нет и скоро не будет.— Распаляясь, Павловский говорил все громче и громче, усиленно жестикулируя:— А почему нет и почему скоро не будет, тоже надо правду сказать. Народ должен знать все. Война разрушила наше хозяйство. Рабочий, который все производит, с оружием в руках пошел защищать свое государство, свою власть. Против прежнего мы добываем угля только третью часть. И работают только те фабрики и заводы, что дают нашей армии оружие, боеприпасы, шинели, сапоги, чинят паровозы, вагоны. Без них тоже много не навоюешь. Иначе быть не может, потому что Ленин говорит: «Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны». Вот и получается — мы не только не можем сейчас что-либо дать селянину, а вдобавок еще просим его: дай армии своих лучших людей, дай лошадей, повозку, дай хлеб красноармейцам, овес — лошадям. А все

это добро, идущее для победы, такие, как ваш Порфирий Ушняк, прячут по лесам, ярам, скупают за бесценок хлеб у селян и зарывают в ямы, а на наших заготовителей натравливают собак. Но Советская власть помогла селянам избавиться от помещиков, она им поможет сбросить и ярмо ушняков.

— Мы согласны вам дать,— раскрыл рот какой-то бородач, стоявший у самой тачанки.— Как-никак власть. Смотри, со временем рассчитается. Только уж шибко часто они меняются, эти самые власти. И каждому дай. Вам дай, Петлюре дай, Деникину дай, каким-то галичанам, которых мы сроду не видели и не знали, и тем дай. Хорошо, как не допустите вы сюды пана Пилсудского. А то он и себе потребует.

— И не пустим. Это я вам твердо говорю,— продолжал военком.— Отобьем у шляхты охоту воевать. Ленин предлагал им мириться. По всем спорным вопросам нужно договориться за столом. А они полезли. Тем хуже для них. Захотелось им Украины, Киева им захотелось. Но на Киеве они уже обожглись, обожгутся и на Украине. Не отдадим мы нашей земли, сахарных и винокуренных заводов графу Потоцкому, графине Браницкой, Радзивиллу. Конечно, получили они от французов пушки, танки, пулеметы. И золота немало. Америка и та не осталась в стороне — посылает помощь Пилсудскому. Думают капиталисты: если Деникин, Юденич, Петлюра не отвоевали для них донбасский уголь и криворожский металл, то это сделают для них паны пилсудские. Но они и на сей раз просчитаются. Отобрали мы у Деникина английские танки, отберем у шляхты и французские пушки.

Конечно, глядя на нас, зашевелились и польские рабочие. Жаль, не все из них идут за коммунистами. Имеются в Варшаве такие, которые называют себя борцами за рабочий класс, а на деле защищают Пилсудского. Вместе с ним они шумят: «Восточные границы государства должны быть начертаны мечом». Шляхта подняла меч, от меча она и погибнет. Чего больше всего боятся Пилсудский и его хозяева в Париже, Лондоне, Вашингтоне? Об этом нам сказал товарищ Ленин: они не хотят, чтобы через Вислу протянули друг другу руку наш и немецкий рабочие. В Германии тоже не совсем спокойно.

Вы слышали, верно, товарищи селяне,— при полной тишине излагал свою речь, словно по писаному, не сби-

ваясь, не останавливаясь, Павловский,— что в марте работал в Москве Девятый съезд нашей партии. Съезд утвердил единый хозяйственный план, значит, чтоб снова пустить в ход фабрики и заводы. Съезд принял программу строительства электростанций, потому что без электричества нам туго придется. Весной мы перевели много дивизий в Донбасс на добычу угля, на восстановление железных дорог. Но вновь помешала война. И мы должны поскорей разделаться с новым врагом, чтоб приступить к выполнению великого плана работ, намеченного съездом партии. Вот тогда, товарищи,— сказал военком дивизии,— Советская власть завалит и города, и села керосином, спичками, солью и другими необходимыми товарами. Наши новые заводы дадут селу тысячи и тысячи новых машин. Уйдет в вечность тяжелый, изнурительный труд крестьянина. Пахать, сеять, молотить будут машины. Мы покажем дорогу вашим детям к свету, к знаниям. Широко для них раскроются двери школ, университетов. Сейчас один Ушняк может учить своего сына в Киеве, а мы боремся за то, чтобы могли получить образование десятки и сотни ваших детей. И так оно будет, ибо этого хочет наш великий Ленин, хочет вся партия большевиков. А теперь, — закончил свою речь Павловский,— надо вам выбрать новую власть. Старый ваш ревком попал в холодную.

— Ну ничего, держал Ушняк других в кордегардии, пускай сам ее попробует, — сердито заговорил бородач, стоявший у тачанки.— Не очень-то она сладкая, та кутузка!

— Слово для предложения имеет товарищ Квитень.— Павловский сошел с тачанки, уступая место военкому разведывательной сотни.

— Оно хотя и червень[1] сейчас,— засмеялся бородач,— а послухаем, что скажет Квитень[2]. Слухаемо вас, товарищ Квитень,— задрал старик голову, рассматривая нового оратора.

Военком сотни говорил недолго. Перечислив задачи, стоявшие перед сельской властью в связи с войной, он стал называть кандидатов в члены ревкома. Он так подробно перечислял достоинства и слабости каждого, что вызвал удивление селян. Но недаром же он бесе-

---

[1] Июнь (*укр.*).
[2] Апрель (*укр.*).

довал и со стариками, и с молодежью, собирая отзывы о своих кандидатах. На председателя выдвигался тот самый человек в кожушке, который с обрезом охранял в землянке пленных красноармейцев.

Чтоб подкрепить свою характеристику, Квитень, обращаясь к сходке, в которой участвовали и бывшие невольники Ушняка, спросил:

— Что вы о нем скажете?

— Что скажем? — ответил за всех Бунчук, токарь с Гельфериха-Саде.— На словах это был зверь. Лаял он нас на все этажи. Матерщиной добирался до всех тонкостей нашей требухи. Бывает, иной назовет тебя дружком, а в середке все захолонет, а этот скажет: «Сволота!» — и будто погладит по башке. Одним словом, вкратцах сказать, если б не Антон, давно бы мы отдали концы. Тайно от всех подкидывал нам то кусок хлеба, то луковицу. Ну а про самосад и говорить не приходится. Кто сидел, тот понимает, что значит табачок: самое первое средство от тоски-заботы.

Выборы долго не затянулись. Кто-то спросил нового председателя:

— Ну а ты, Антоне, как?

— Я как? Раз надо, так и быть, отслужу за народ. Только одно попрошу,— обратился Антон к Квитеню,— дайте мне какой-нибудь ствол или верните мой обрез. Потому как дружки Порфирия иль его сын — у Петлюры он офицером,— если узнают, что плеснул ему в физику кружку воды,— не пощадят...

— Что ж, получите, товарищ, трофейный карабин,— послышался из задних рядов мягкий голос, — и пусть он вам служит так же верно, как вы сами будете верно служить народу.

Все обернулись. Позади всех вместе с неразлучным адъютантом Фомичевым стоял Шостак. Селяне расступились, образовав дорожку к тачанке. Начдив, кланяясь в обе стороны, подошел к трибуне, взобрался на нее, стал рядом с Квитенем.

— Позвольте мне сказать несколько слов,— заложив правую руку за портупею, обратился к селянам Шостак. На груди его, оттененные атласной розеткой, блестели два ордена Красного Знамени и эмалевый значок депутата верховного органа власти — ВЦИК.

— Просим, просим, говорите, товарищ! — послышалось в ответ.

Шостак еще раз поклонился сходу и тихим голосом, не горячась, как Павловский, отчеканивая каждое слово, каждую фразу, начал свою беседу с селянами:

— Товарищи, прежде всего благодарю вас от всего сердца,— он положил руку на грудь,— благодарю за вашу помощь нашему общему делу. Из ваших Чабанов поступило к нам много охотников. Пройдет время — и они по примеру старых красноармейцев станут крепкими защитниками нашей советской земли. Червонное казачество призвано защищать нашу Родину и охранять мирный труд ее граждан. Наши сабли хоть и порубили много деникинских, петлюровских, махновских голов, но еще не притупились. Скоро их попробует Антанта. Мы войны не хотели, но, раз она нам навязана, надо изо всех сил стремиться к победе. Интервенты напали на Украину, и вся наша великая страна спешит уже ей на помощь. По приказу Ленина лучшие дивизии, разбившие Колчака, вот-вот прибудут из Сибири на подмогу, а с Кавказа — войска, покончившие с Деникиным. Наши враги думают, что война с белогвардейцами нас измотала, но зря они на это надеются. Советскому народу есть чем их встретить. И не только встретить, но и проводить. Как-никак у нас сейчас не шесть, как было в прошлом году, а только два фронта. В прошлом году нас было триста тысяч коммунистов, а в этом шестьсот. Недавно мы еще воевали плохо, опыта не было, а сейчас кое-чему научились. Москва, Петроград, Киев, Харьков, сотни других городов шлют на фронт своих лучших людей — рабочих, коммунистов. Пятого мая товарищ Ленин на параде в Москве дал клятву не допустить победы наглой Антанты, капиталистов. Так оно, товарищи, и будет. Вот что я хотел вам, товарищи, сказать,— мягко улыбнулся Шостак.

Столько было сдержанности и такта в его веских словах, так спокойно он их произносил, что трудно было себе представить, что здесь, на тачанке, стоял тот самый бесстрашный начдив Шостак, который водил свои полки против озверелых орд белогвардейцев под Харьковом и Орлом.

— Вот и все,— повторил молодой начдив,— а остальное вам сказал наш военком товарищ Павловский.

Появление на тачанке начдива вызвало сначала большое оживление селян. Сход заколыхался. То новые казаки, бывшие невольники Ушняка, в основном красноар-

мейцы пехотных дивизий, не раз слышавшие о Червонном казачестве и об его командире, действуя локтями и плечами, протискивались вперед. Бунчук, успевший уже облачиться, правда, в старенькое обмундирование и выцветший картузик с большой красноармейской звездой, слушал речь с широко раскрытым ртом. И как только начдив кончил говорить, он крикнул в восторге:

— Ура, ура Шостаку!

— Этого не надо, — замахал на него руками Шостак.— Побереги, товарищ, это «ура». Скоро оно тебе пригодится. Потом,— обращаясь уже ко всему сходу,— завтра, товарищи, мы двинемся дальше. Не давайте ушлякам ходу: их время прошло. Теперь пришло наше время, время народа.

Когда Шостак, взяв под руку Павловского, собрался уже покидать сход, к ним подошел Балабан с Квитенем. За ними неотступно, как тень, следовал Курочка. Балабан указал на него начдиву.

— Это тот, что уводил наших лошадей? — спросил Павловский.

— Он самый,— ответил Квитень.— И просится к нам в отряд.

— Можно его принять в Червонное казачество?— спросил Балабан.

— А как ты думаешь, Ларион?

— Думаю, что надо его принять. Только дать ему в товарищи хорошего бойца.

— Вот и возьми его к себе во взвод, Ларион. Только условно, до первого боя. Не проявит себя как следует — отошлем в обоз.

Балабан повел новичка к штабу сотни, чтоб занести его в списки. У ворот сотникова двора стоял, покуривая, Гаманец. Он беседовал с другим добровольцем, чубатым Черноусом — новым ездовым на штабной тачанке. Черноус, подготовившись к завтрашнему походу, дежурил у ворот, стараясь увидеть Шостака, о котором, как он сказал Гаманцу, пришлось ему много слышать.

Балабан, заметив Гаманца, расправил пышные свои усы и добродушно обратился к нему:

— Видишь, товарищ Гаманец, сколько народу добавилось?! Вот и этот,— указал он на Курочку,— поступает в сотню. А ты хотел, сдается, зарубить этого «бандита».

— И зарубаю! — рассердился Гаманец.— Пусть где

только сдрейфит, первый воткну ему клинок. А ты, Ларион, как в коммунии состоишь, то и стараешься. В большие начальники пробиваешься. Говорят, Шостак тебя во взводные выпихнул. Валяй, валяй, Ларион! От нас, большевиков, оторвался, в коммунисты лезешь?

— Чудак, это ты большевик? — послышался вблизи звонкий голос Ганки. Она возвращалась в штаб с каким-то пакетом.

Балабан, махнув рукой на Гаманца, направился в глубь двора. Там, в клуне, со своими бумагами расположился сотенный писарь.

— Да, я — большевик и, в том числе, не потерял совести лезть в коммунисты.

— Ну и большевик! — крикнула разведчица.— Знаешь, кто ты? На копейку большевик, на девяносто девять махновец.

— Много ты в политике располагаешь! —горячился Гаманец.— Подумаешь — полмахно, полбольшевик. Вот ты хоть наполовину баба, а как...

Послышался сдержанный смех Черноуса. Ему понравилась оживленная перебранка разведчиков. Он с особым любопытством рассматривал Гаманца. Ганка, подступив к бойцу вплотную, со всего размаху стремительно прошлась по его щеке.

— Что за залп? — послышался голос Сероштана. Он давно уже проводил из села Шостака и ожидал во дворе хозяйскую дочь, краснощекую Христю.

Боясь насмешки, Гаманец, решив обратить все в шутку, ответил:

— Товарищ командир, Ганка тут упражняется. Знаете, она, стервы дочь, такая же быстрая на руку, как и на язык.— И вполголоса прошипел, обращаясь к разведчице: — Твое счастье — баба да люди кругом...

— Ты, девка, видать, того, боевая,— похвалил разведчицу Черноус.

— А ты запомни! — вплотную подступила к новичку Ганка и смерила его с головы до ног.— Забудь это слово, если не хочешь, чтобы сотник еще раз спросил, что то за залп. Никому я не девка, а тем более тебе.

— Поживем — увидим,— благоразумно отступив на шаг, развязно ответил Черноус.

Наконец и здесь все утихло. Только где-то вдали лаяли собаки да в разных концах села исступленно заливались походные казачьи гармошки.

7

И только лишь умолкли звуки уставших гармошек, как, тревожа предрассветную мглу, понеслись над селом звонкие аккорды походной трубы.

Шурка, сотенный штаб-трубач, шагом на сером, как и положено строевым музыкантам, коне объезжая сонные улицы села и раздувая свои еще детские щеки, артистически выводил на трубе томную мелодию сигнала седловки.

Потревоженные необычной музыкой, залаяли в разных концах села собаки. Зашевелились дневальные, зашумели у клунь, сеновалов — этих излюбленных солдатских ночлежек,— поднимая лишь недавно уснувших казаков. Еще немного — и над всеми хатами высоко в небо заструился из труб сизоватый дым. Селянки провожали своих недолговечных постояльцев.

Балабан давно уже был на ногах. До выступления новому взводному пришлось проделать немалую работу. Нынче в поход выступала не одна сотня разведчиков, а две — целый дивизион. Новый командир взвода хотел участвовать в подборе людей, с которыми ему придется в дальнейшем делить тяготу походов и радость побед. Вчера еще с Шостаком было решено: в каждую сотню войдут поровну и старые разведчики, и новички.

В любом полку, в каждой сотне находились свои патриоты части. Они свято хранили дорогие предания и неустанно прививали новым, не обстрелянным еще бойцам боевые традиции Червонного казачества. С пеной у рта, а когда надо — не жалея живота, заступались за честь дивизии, хотя, не в пример другим, чураясь партизанского искушения, называли себя не шостаковцами, а червонными казаками.

Одним из таких патриотов дивизии являлся пулеметчик Ларион Балабан. Старый коммунист и красногвардеец Донбасса, он с 1917 года с оружием в руках боролся против донской контрреволюции. Особенно памятными остались бои с отрядами казачьих офицеров Чернецова и Фицхалаурова. В Червонное казачество он попал в июне 1919 года.

Деникин, поняв, что самым сильным и страшным оружием против красных является конница, бросил в наступление свои кубанские, донские, терские и белоингушские конные полки.

Фронт советских армий, лишенный кавалерии, дрогнул. По требованию ставки главком Украины перебросил из-под Славуты, где шли бои с Петлюрой, Червонное казачество, сообщив в ответ на требование Москвы, что он посылает в Донбасс против белой конницы лучшую свою часть.

Бригада Червонного казачества состояла тогда всего лишь из двух полков: одним командовал московский рабочий, бывший царский унтер-офицер, Петр Петрович Георгиев, другим — барвенковский кузнец Пантелеймон Романович Остапенко.

Тридцатипятилетний Остапенко, высокий, коренастый, с косинкой в одном глазу, с копьевидными, как у Вильгельма II, усами, считался стариком среди боевиков Червонного казачества. С виду командир 2-го полка, имевший за спиной тяжелую жизнь сельского кузнеца и полный превратностей путь революционера, мог сойти за отца начальнику дивизии Шостаку. Бойцы, в основном молодежь, не чаяли в Пантелеймоне Романовиче души и между собой называли его «наш Остап», «наш батько». Достаточно было во время спора кому-либо заявить: «Так сказал Остап» — и спорщик без всяких проволочек сдавался.

Когда бригада завязала в районе Гришино первые бои с бешеными головорезами Шкуро, неожиданно из Барвенкова в ее расположение явилась сотня свежих всадников. Барвенковцы, узнав, что под Гришино, придя с Волыни, бьется с беляками их Остап, решили послать ему подкрепление. Остапенко знали не только его земляки, не только червонные казаки. Он, отсидевший десять лет в Орловском каторжном централе за участие в революции 1905 года, пользовался в Донбассе и во многих частях Красной Армии большой популярностью.

Новую сотню барвенковцев привел Балабан — земляк командира 2-го полка. Остапенко тогда же предложил Лариону возглавить сотню, но тот твердо заявил:

— Пантелеймон Романович, спасибо за честь. У вас дело регулярное, теперь не восемнадцатый год. За себя одного отвечу в любое время, а тут как-никак цельная сотня. Пулемет — это мое святое дело.

В рядах 2-го полка Балабан со своим «льюисом» прошел тяжелый бранный путь от Гришино к Чернигову, от Орла до Перекопа. Балабана ценили. Многие шахтеры в 1917 году впервые взялись за оружие, а Балабан —

бывший солдат 52-го Виленского его высочества Михаила Александровича полка — воевал в Галиции, дрался на реках Серет, Золотая и Гнилая Липа, на Сане и в Карпатах у Кимполунга. Брал Броды, Львов, Перемышль. Год провел в австрийском плену в знаменитом лагере Бриксбомен, в Чехии. Бежал из плена, но не для того, чтобы снова залезть в окопы и пьяному от криков «ура» колоть штыком австрийских солдат. Он попал в Харьков в запасной полк, где быстро собрал вокруг себя противников чуждой народу войны. По заданию партии он организовал на Богодуховщине земельные комитеты, делил землю помещика Коллонтая, а после этого вернулся в Барвенково, где создал первый отряд Красной гвардии.

Каждый раз, попадая в трудное положение, Балабан вспоминал о первой репрессии, которой он подвергся, будучи еще школьником. На вопрос законоучителя: «Что такое мощи?» — он ответил без запинки: «Засушенный архиерей». За это был выгнан на целую неделю из школы.

Ларион помнил кулацкое «вільне козацтво», черных запорожцев из петлюровской гвардии, черношлычников, чисто говоривших на его родном языке о «вильной Украине», о ее прошлом и будущем и заливших ее настоящее кровью ее тружеников. Он хорошо знал этих людей, продавших себя и Украину сначала немецкому кайзеру, затем французским биржевикам, а теперь пану Пилсудскому.

А кто они были? Кто командовал сотнями, куренями, кошами имени Кармелюка, Гонты, Зализняка, позоря своими действиями имена народных героев?

Вот Колесников — бывший пограничный корнет, гуляка и бабник в золотом пенсне, сын домовладельца и помещика; прапорщик Кайола — кулак и сын кулака; Нестеренко — штабс-капитан, сын нотариуса и зять архиерея. Этот нотариус взяток не брал, но построил в городе три каменных дома, оригинальным способом собрав для этого необходимый капитал. Считая деньги клиента, он жаловался на одолевшую его чесотку и, поскребывая шею, опускал за воротник зажатые меж пальцев полтинники, а иногда и рубли.

Находился между ними и такой экземпляр — Мишель Мармельштейн — сынок управляющего имениями графини Браницкой из Белой Церкви, выгнанный из мно-

гих гимназий и школ. Наконец он обосновался в коммерческом училище в Юзовке, где ошеломлял тихих жителей городка шумными и скандальными попойками. Не успев соскочить со школьной скамьи, надел офицерскую форму и, назвав себя «поляком Моисеева закона», ушел добровольцем к Деникину.

Сначала они присягали гетману, а потом с золотыми погонами на плечах эти доморощенные чингисханы примчались вместе с разбойничьими ордами Деникина усмирять трудовую Украину...

Не они ли, возглавляя карательные отряды, гонялись за ним, Балабаном, по лесам и ярам? Не они ли истребляли десятки, сотни, тысячи лучших людей из народа во имя Петлюры, гетмана и кайзера Вильгельма?..

Казаки уверенно шли в любые атаки, когда на фланге, прикрывая их огнем «трещотки», следовал Ларион Балабан.

Ненадолго он сменил свой «льюис» на отбойный молоток. Однажды, вернувшись из забоя, он прочитал в газете: «Коммунисты! На передовую линию фронта, на обстрел врага, в органы снабжения армии, на продовольственную работу на селе против кулаков, для руководства кровавой и бескровной борьбой трудовых масс, против открытых и скрытых, вооруженных и невооруженных врагов! Компартия Украины должна дать 3000 своих лучших сынов».

Балабан попросился на фронт. Он нагнал дивизию на марше, когда она, оторвавшись от Перекопа, подходила к Днепру. Шостак, подбирая в разведчики самых смелых, самых сознательных бойцов, встретил с радостью старого пулеметчика и направил его в разведывательную сотню, потерявшую под Преображенкой в последней схватке с белочеченцами Улагая многих своих коммунистов.

Для того чтобы кто-либо в Червонном казачестве мог возглавить сотню или полк, помимо положенных для того знаний требовалось еще негласное мнение казачьей массы о личной храбрости кандидата. И ни военком, ни парторг или секретарь партбюро — эти представители партии в массе — не могли рассчитывать на влияние, если в первом же бою не показали своей отваги и пренебрежения к опасности. Червонные казаки, которым, как и всем людям, присущи были обыкновенные челове-

ческие слабости, смотрели сквозь пальцы на многое, но малодушия, трусости и шкурничества не прощали никому.

Военком Павловский без сомнений и колебаний выдвинул Балабана в парторги к разведчикам — самым отчаянным, самым бесстрашным бойцам червоннозачьей дивизии.

Предаваясь этим размышлениям по дороге в штаб Сероштана, Балабан, поглаживая пышные усы, под аккомпанемент сотенного штаб-трубача напевал под нос давно уже заученные им слова сигнала седловки:

Всадники-други, в поход собирайтесь,
Трубные звуки ко славе зовут...

На площади у церкви толпился народ. Обычно, позавтракав и приготовившись к выступлению, всадники по сигналу «сбор» всем взводом следовали на сборное место. Нынче, как только зашевелилось село, новички, кто на коне, кто и пешком, поспешили к штабу, словно опасаясь, что в суматохе обычных дел забудут о них. Безлошадных явилось немного. Первыми претендентами на захваченных в лесу кулацких лошадей считались бывшие красноармейцы — пленники чабановских кулаков. Большинство местных добровольцев, выделяясь пестротой одежды, привели своих лошадей. Седел не было ни у одного, но каждый приспособил вместо седла подушку с перекинутыми через нее веревочными стременами на веревочных путлищах.

Более счастливым оказался Панько Курочка, которого по приказу Шостака зачислили в строй условно. Его немецкое седло представляло собой ободранный ленчик — остов без подушки, но с сохранившимися на стременах меховыми карманами. Кайзеровское интендантство, готовя в поход на Украину кирасирские полки, снабдило их этим приспособлением для защиты от невыносимых степных холодов.

Но меховые чехлы не спасли предусмотрительных баварцев и пруссаков. На Украине они столкнулись с чем-то более для них страшным и гибельным, нежели пресловутые русские морозы.

Седло вместе с гнедым уже стареньким конем, изъятые нынче Курочкой с помощью нового председателя ревкома Антона из хозяйства Ушняка, принадлежали когда-то немецкому фуражиру. Отделившись неосмотрительно от колонны, поспешно отступавшей осенью

1918 года из Херсона на запад, он попал в лапы Ушняку. Отобрав у фуражира коня, оружие и все боевое снаряжение, Ушняк, не причинив немцу никаких других неприятностей, выпроводил пешего оккупанта за село. Этот и другие незначительные факты такого же порядка позволили Ушняку сразу же после освобождения Украины выставлять себя перед уездными руководителями в качестве борца за народ и пролезть в председатели ревкома.

Конечно, григорьевская вольница, как и многих кулаков, увлекла бы и его в свой водоворот, но помешал этому сыпной тиф. Прикованный к постели, Ушняк оказался вне страшных событий поздней весны 1919 года. Его единственный сын Семен, бывший студент, офицер григорьевской банды, ставший впоследствии адъютантом Юрка Тютюнника, во время григорьевщины руководил разрушением железной дороги, согнав для этого более тысячи пар волов. После разгрома Григорьева Семен недолго подвизался со своей бандой на Вознесенщине. Приход деникинцев, захвативших Черноморье, заставил его умчаться на Подолию, где он поступил под крылышко бывшего начальника штаба Григорьева — Тютюнника, чудом спасшегося от Махно, когда тот, разыгрывая из себя революционера, собственноручно расправился с александрийским царьком атаманом Григорьевым.

С большой торбой из прокопченного брезента через плечо, пеший, явился на сборное место, тщательно смыв с лица сажу и копоть, кузнец. Из вздутой, заполненной инструментом торбы торчали ручки кузнечных щипцов. Вместе с кузнецом, цепко ухватившись за его руку, пришел и его младший брат в длинном, до пят, стареньком пиджаке с подвернутыми рукавами и в большом, не по голове, картузе.

Курочка, не выпуская из рук поводьев, обратился к земляку:

— Если только до Вознесенска, Шлемка, то давай хлопчика до меня в седло. Как-нибудь довезу.

— Спасибо, Панько! Хлопчик поедет с тобой, если товарищ Балабан не найдет другого места. Ему,— поправил он картуз на голове брата,— много не надо. Он себе сядет где-нибудь в куточек на фуре — и все.

А малыш, подняв вверх свои большие, с синевой глаза, просил брата:

— Смотри же, Шлема, не обмани меня. Через неделю приезжай за мной до тети. Без тебя я, Шлема, умру, так и знай!

— Хорошо, хорошо, обязательно приеду, — успокаивал мальчика кузнец.

В штабе Балабан застал всех на месте. Еще издали он заметил: Сероштан и Квитень необычно взволнованы. Вытянувшись, стояли перед ними дежурный по сотне и часовой, охранявший кутузку. Явился в штаб и Антон — председатель ревкома. Ночью из-под стражи сбежал Ушняк. Часовой Терентий Борщ с огромным синяком под глазом сбивчиво рассказывал:

— Я и не разобрал, как оно подкралось до меня. Подкралось и как даст сзади по кумполу — я с копыток долой. Только хотел крикнуть «гвалт», а оно уже накинуло мне рядно на голову, а в другой раз как дало мне под глаз — я и потерял паморки. Только когда заиграли седловку, очухался. Кричать не могу — во рту квач. Хочу подняться — а руки, ноги в мотузках. Ну вот, пришли они, — указал Борщ на дежурного,— размотузили меня, вот этот квач вытащили. — Он показал синий, в белых полосках платок.

— Эх ты, баба! Разгильдяй первой гильдии! — накинулся на Борща Гаманец.— Наглотался с вечера и спал, как сурок, а гада проворонил.

Дежурный доложил Сероштану:

— Пришла чуть свет баба арестованного. Принесла передачу мужику. Я и понес ему узелок в кутузку. Прихожу, а часовой лежит связанный, мычит, бельмами только ворочает. Я его развязал. Прошли в кутузку — она порожняя, запор сломан.

— Так то та проклятая Порфириха для отвода глаз принесла харчи! — возмущался Антон. — Будьте спокойные, тут кто-то из его артели крутится. И с бабой Ухо повидался, до того как уйти из села. Видать, и у меня был, смотрите.— Председатель ревкома протянул Квитеню записку, в которой значилось: «Что, поймал Ушняка? Думаешь, опять попадусь? Ищи ветра в поле. Сегодня твоя власть, а завтра обратно моя будет. А тогда, подлюка Антоне, жди пули».

Черноус — новый ездовой сотника — укладывал на тачанку штабное добро, неказистые чемоданчики начальства. Набросав на заднее сиденье сухого сена и прикрыв его грубым полосатым рядном, приспособил место для

своего пассажира — писаря сотни. Поглаживая запряженных лошадей, проверял постромки, шлею и, не сводя глаз с ворот, напряженно вслушивался в разговор Сероштана с дежурным по сотне. Новичок, только лишь вчера поступивший в часть, сразу сделался свидетелем интересных событий.

Как только по сигналу «сбор» на площади стали выстраиваться казаки, Сероштан выделил взвод для поимки беглеца, а по настоянию Антона пять виднейших кулаков — приятели Ушняка — были взяты как заложники. Сам председатель ревкома приготовился в путь, чтоб во время прохождения дивизиона через Вознесенск сдать заложников в уездную Чека.

— Если мы этого не сделаем, — убеждал он Квитеня,— от каждого из них можно ждать обещанного Ушняком «подарка».

Гаманец, осадив своего дончака возле штаба, злорадно ухмыляясь, бросил Балабану:

— Ну шо, кто из нас прав? Этих гадов надо сразу брать на кнопку и, в том числе, даже пускать в расход.

Балабан спокойно ответил разведчику:

— Нет, товарищ Гаманец, ты не прав. Мы — не отряды батьки Махно, мы — регулярная советская армия Советского государства, где есть порядок и закон. Беззаконием мы уничтожим одного гада, а тысячи людей оттолкнем от себя.

— Это, Ларион, ты шо-то закрутил дуже умно. Я понимаю так: влип, голубчик, — пожалуй до стенки.

— А ведь ты тоже когда-то влип в Махно, а теперь с нами. Значит, и тебя к стенке?

— Я же теперь всей душой, а старое пусть сгинет!

Гаманец вдруг заметил кузнеца. Подъехал к нему:

— И ты здесь, Мойша?

Перчик удивленно посмотрел на всадника. Равнодушным взглядом смерил его, начиная с красного флюгера на кончике пики и до точеных копыт дончака. Спокойно ответил:

— Я вас не знаю, казак. Кто вы такой?

— Я — Махно. Не спужался?

— Меня, казак, пугали и не такие, как вы, а как вы в самом деле Махно, то вам здесь не место.

— Ну-ну, тише, не лопочи, Мойша! А то знаешь...— И Гаманец направил на Шлемку злую морду дончака.

Младший Перчик в испуге отступил назад, потянув за собой брата.

— Я не Мойша, казак. Меня зовут Соломон.

— Ну это положим, — ответил Гаманец. — Соломоном у меня будешь, как увижу, какой ты в бою. А пока ты Мойша и Мойша.

— Эх, товарищ казак! — покачал головой кузнец.— Вы много так о себе понимаете, а правая задняя, — указал он на ногу дончака,— вот-вот раскуется. Такие копыточки у коня, не копыточки, а конфетки, а вы их не соблюдаете. Ваша лошадка за это не скажет вам спасибо, даже если б она умела говорить.

— Вижу, ты отличаешь копыто от колен, а посмотрим, как ты отличишь голову от хвоста.

— Голову от хвоста, может, даже не отличу, — ответил раскрасневшийся Перчик,— а вот человека от ишака — сразу.

— А шо это за ишак, Мойша?

— Ишак — это такое, что ревет даже тогда, когда его никто не трогает. И если вы уж так хотите посмотреть на ишака, станьте против зеркала и поклонитесь ему. Он вам сразу ответит.

— Так шо же, по-твоему, выходит, я ишак? — Гаманец замахнулся было плеткой, но, заметив Балабана, опустил ее. Зло бросил кузнецу:— Мы еще с тобой встренемся!

— Конечно, встренемся. Вы же сами, казак, до меня приведете вашего красавчика. В пехоте сапожника, а в кавалерии кузнеца никто не пропустит.

Балабан привел неоседланного коня и передал повод кузнецу:

— Будешь в моем взводе, Перчик. А паренька твоего я посажу на тачанку.

Малыш, подняв на пулеметчика доверчивые глаза, не выпуская зажатого под мышкой узелка, смело пошел за Балабаном.

Новый ездовой Черноус с лихо взбитым светлым чубом, едва сдерживая пару сытых вороных, выкатил со своим выездом в широко раскрытые ворота. Вдев ногу в стремя, ловко влетел в седло Сероштан. Нежно улыбаясь, прощался у порога хаты с дочерью своей гостеприимной хозяйки.

С взволнованным, необычно бледным лицом, подняв высоко руку, девушка, благословляя сотника, перекрестила его:

— Да убережет вас бог от пули и от сабли, от смерти, от болезни, от дурного глаза, от коварной души...

Сероштан, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь увидеть свидетеля этого нежного и трогательного расставания, согнулся в седле, приблизив свои смеющиеся глаза к строгому лицу девушки:

— Я же неверующий, Христя, зачем?

— Вы будьте сто раз неверующий, а я за вас прошу и буду просить бога.

— Это все пустое, милая. А на обратном пути обязательно заеду.

— Где там, забудете, — ответила Христина. — Таких, как я, повстречаете еще не одну.

— Нет, заеду! — повторил Сероштан.

Не все благословляли его так, как она — простая крестьянская девушка, — но всем на прощание он неизменно повторял эти слова: «На обратном пути обязательно заеду».

...Прошло еще полчаса, и разведывательный дивизион Червонного казачества, покидая место своей шумной дневки, с веселыми песнями выходил из села.

8

Справа и слева от разведчиков широким фронтом в полсотни километров двигались к намеченной цели все шесть полков шостаковской дивизии. Много дней подряд в грохоте железа, в топоте коней, в звуках походных оркестров по широким шляхам Украины и глухим ее проселкам в несколько колонн текла полнокровная конная лавина.

Откликаясь на зов братьев, попавших в неволю к шляхте, по этим самым путям сотни лет назад, пользуясь безотказным средством передвижения — конем, шли на запад вольнолюбивые рыцари запорожских степей.

А теперь, летом 1920 года, накапливая с каждым днем и километром все больше и больше сил, так необходимых для предстоящих боев, по этим в старину еще протоптанным трактам спешила к Хмельнику червонноказачья дивизия.

Тридцать дней занял этот великий поход из-под знойного Перекопа к благодатным берегам Буга. Поездами можно было перевезти дивизию со всеми ее тылами в два дня. Но в то время подобная задача была не под силу разрушенному железнодорожному транспорту страны.

После киевской катастрофы, повлекшей за собой неисчислимые потери, научившаяся уважать противника армия интервентов, отдав в три дня то, что она завоевала в течение месяца, на линии Новоград-Волынский, Бар залезла в окопы, заслонившись от наступавших красных дивизий водными рубежами и проволочными заграждениями.

29 апреля 1920 года Петлюра, подписывая в Варшаве кабальный договор, отдававший навечно Пилсудскому Галицию с ее восьмимиллионным украинским населением, и соглашаясь на оккупацию иностранцами всего Правобережья до Днепра, напыщенно похвалялся: «Мы не принадлежим к числу тех беспочвенных теоретиков, которые прекрасно ориентируются в своих кабинетах и попадают в тупик при первом столкновении с настоящей жизнью».

Казалось, что последовавший за этим захват Киева войсками Пилсудского оправдал громкие слова головного атамана. Но удары 1-й Конной армии под Сквирой, 12-й армии на Бородянку, а Золочевской группы на Фастов и Белую Церковь сразу же загнали в тупик не только «почвенного теоретика» Симона Петлюру, но и его покровителя в Варшаве.

Пилсудский все свои надежды возлагал на киевский поход. Щедро вооружая «пана коменданта», Антанта, рассчитывая добиться своим третьим походом того, чего не дали ей ни первый, ни второй походы против Страны Советов, рисовала перед ним радужные картины. Почему Пилсудский — «таран против Советской России» (Ленин), — стремившийся разбить большевиков, не выбрал для этого кратчайшее оперативное направление от Борисова на Москву, а двинул свои силы на Украину?

Прежде всего, французским и английским концессионерам не терпелось поскорее добраться до криворожской руды и до угля Донбасса. Им казалось, что из завоеванной Пилсудским Украины можно будет сразу же двинуть через Одесский порт хлеб, сахар и свинину для голодающей, измотанной шестилетней войной Европы. При

решении вопроса о месте главного удара учли и требования магнатов Галиции — хозяев фольварков и акционеров дрогобычских и бориславских нефтепромыслов, нефтеочистительных заводов, владельцев озокеритных шахт.

Самому Пилсудскому, для того чтобы поднять свой, пока еще слабый, авторитет «начальника государства», хотелось поскорее замазать рот шовинистической шляхте землями, лежавшими по ту сторону Збруча. О границах 1772 года вопили лидеры ППС. Двигаясь на Украину, незадачливый полководец рассчитывал и на контакт с Врангелем, засевшим в Крыму. А главное — за Збручем можно было не только использовать продажную желто-блакитную армию, но и целую свору атаманов, орудовавших на Правобережье во славу батьки Петлюры. Волынец у Винницы, Шепель у Литина, Гулый возле Умани, Полищук в Христиновке, Заболотный в Балте, Лихо в Тульчине, Грызло в Звенигороде, Мордалевич под Житомиром, Маруся Соколовская вокруг Казатина причиняли немало хлопот советскому командованию.

И не только это обещало успех. Пилсудский, двинув на Украину армию в составе шестидесяти тысяч, хорошо знал, что Красная Армия, занятая разгромом Врангеля, в начале операции могла выставить против него всего лишь тысяч пятнадцать бойцов.

Рассчитывая на легкий успех под Киевом, Антанта лелеяла мечту о полном разгроме Красной Армии, которая, как ей казалось, была измотана и небоеспособна после изнурительной гражданской войны.

Но первые же неудачи на Правобережье подняли на ноги всю страну. На Украину двинулись свежие силы из Сибири, с Волги, Кавказа и даже из-под не освобожденного еще Крыма.

Дивизия Шостака, совершенно готовая к бою, после скрытного ночного перехода, собравшись в кулак, 29 июня разместилась всеми своими частями и командами на опушке густого леса впереди Старой Синявы.

Командарм Иероним Кухаревич много надежд возлагал на червонных казаков. Лишь восемь месяцев назад, возглавляя 14-ю армию на подступах к Туле, а значит, и к Москве, он, собрав по настоянию Ленина Ударную группу из лучших соединений страны — Латышской дивизии Матусевича, пластунской бригады

Павлова и бригады червонных казаков, — вместе с Серго Орджоникидзе через брешь в деникинском фронте, проделанную латышскими стрелками, отправлял во вражеский тыл Шостака для удара по Кромам.

Осенняя операция 1919 года под Орлом увенчалась успехом, так же как и действия конного корпуса Буденного под Воронежем. Враг, отдав Орел, дрогнул и, преследуемый Ударной группой Кухаревича, хлынул на юг.

И сейчас командарм прибыл сюда, к Старой Синяве, из Умани, чтобы проводить Шостака в неприятельский тыл. Кухаревич помнил: после Кромской операции Червонное казачество совершило рейд на Фатеж, Поныри, столь же гибельный для деникинских сил, как и Кромский. Командарм не сомневался в том, что первый рейд на новом фронте принесет громкую славу дивизии Шостака и даст возможность 14-й армии нанести сокрушительный удар неприятельским силам. 14-я армия своими пятью стрелковыми дивизиями растянулась на фронте от Шепетовки до Черного моря. Справа от нее действовала 1-я Конная, а дальше к северу — 12-я армия, граничившая в Полесье с Западным фронтом.

Командарм Кухаревич имел перед собой крепкую 6-ю армию со штабом генерала Ромера в Проскурове, а против левого фланга — петлюровские силы. Их командарм генерал-хорунжий Омельянович-Павленко базировался в Каменце. Там же находилось кочующее правительство Петлюры. Еще левее, если стать лицом к западу, застыла, как изготовившаяся к нападению росомаха, румынская королевская армия, дожидаясь удобного случая для беспроигрышного прыжка на тяжелораненого противника. Надо было иметь в виду и эти невоюющие силы, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могли обратиться в воюющие.

Только три из пяти стрелковых дивизий — 45, 60 и 41-я — представляли собой полноценные боевые организмы, на которые командарм мог рассчитывать. У них были свои традиции, своя история и своя боевая слава. Боевые качества этих соединений высоко ценило не только наше командование, но и противник. Особенно гремела в те времена 45-я дивизия кишиневца Бунара, созданная еще в 1919 году в низовьях Днестра из молдавских, бессарабских и одесских партизан. С ними плечом к плечу действовала кавалерийская бригада Гри-

гория Котовского, которая до прихода Шостака являлась основной единицей оперативной конницы 14-й армии.

Стремительное бегство из-под Киева 3-й армии на время отбило охоту от крупных операций у Ромера и Омельяновича-Павленко, загнавших свои войска в окопы, прикрытые с фронта глубокими рвами и колючей проволокой. Но задача заключалась в том, чтобы эту охоту отбить у них навсегда.

Там еще, в своем штабе в Умани, думая об этом, командарм рассчитывал, что в решении этой задачи помогут ему испытанные не раз казаки Шостака.

Недостаток в артиллерии не позволял, обнажив второстепенные участки, собрать ее в необходимом количестве для разрешения основных задач наступления. Если при всей чрезмерной растянутости дивизионных участков и можно было сосредоточить достаточные силы для прорыва фронта, то для развития успеха не хватало ни пехотных, ни кавалерийских частей. Отдельные стрелковые полки занимали фронт в двадцать километров и более.

Об этом, придя с Шостаком на вершину старой казацкой могилы, превращенной в комадный пункт, думал Кухаревич и теперь.

Впереди могилы, на подступах к двум небольшим деревушкам — Икве и Мессиоровке, находились исходные позиции пехоты. Из своих девяти полков начдив малоизвестной сводной дивизии собрал на участке в два километра шесть полков, а на остальных двадцати пяти километрах дивизионного фронта оставил три.

Ночное сосредоточение Ударной группы и выход ее частей по пересеченной местности на исходные позиции остались незамеченными для противника, и это было немудрено, так как в каждом полку после недавних тяжелых боев осталось — этому даже трудно поверить — по сто штыков. Но дружные залпы из многих пушечных стволов и поднявшиеся в атаку после короткого обстрела цепи раскрыли глаза генералу Ромеру. Далеко за Мессиоровкой заговорили тяжелые французские пушки. Взметая огненно-черные фонтаны земли, разрывались крупнокалиберные снаряды то у самого подножия казацкой могилы, то впереди речушки Иквы, за которой чернели окопы врага. Наконец тяжелые снаряды — дар

Пилсудскому от Пуанкаре — накрыли своими разрывами атакующих.

Протяжный и все нараставший вой снарядов действовал угнетающе. Но тот, кто, подвергаясь одинаковой с бойцами опасности, направлял или вел их в бой, неся ответственность за его результаты, ни единым словом, ни движением, ни взглядом не обнаруживал естественного для каждого человека страха перед смертельной опасностью. Неверно, что храбрецы рождаются бесстрашными. Чувство страха присуще всем. Но не все способны справиться с ним, и особенно так, чтобы не обнаруживать внутренней мобилизации воли для его подавления. Тот, кто выработал в себе путем короткой или длительной (кому как удастся) тренировки это качество, тот заслуженно получает имя героя.

На склоне могилы ахнул снаряд. С комариным зудом во все стороны брызнули осколки.

Командарм, сняв пенсне, протер его белоснежным платком. Осмотрев поле боя и лес позади казацкой могилы, приказал Шостаку:

— Анатолий Маркович! Велите изготовиться дивизии. Как только пехота ворвется в окопы, следом пускайте ваши полки. Сделаем так, товарищ Шостак, головная бригада расширяет прорыв, а другие идут прямо на Проскуров. — Командарм улыбнулся: — Не ждет там Ромер дорогих гостей.

— Есть, товарищ командарм! — ответил Шостак и пристально взглянул на адъютанта.

— А кто идет в голове? Бригада Георгиева?

— Нет, — ответил Шостак, — пойдет третья бригада Сакулина. Это новички, бывшая тринадцатая бригада, влившаяся к нам под Перекопом. Хотя за ними кое-что и числится, но пусть клинками освящают свое новое звание червонных казаков.

— Это они отличились под Тюп-Джанкоем,—спросил Кухаревич, — конники из Шахтерской дивизии?

— Вот именно!

— А кто это гарцует на опушке? Нехорошо! — Командарм повернулся к лесу. — Наблюдатели в Мессиоровке не слепые. Сразу догадаются, в чем дело.

— То нашим курдам не сидится, узнаю их по черным буркам. — Шостак, еще раз посмотрев на адъютанта, бросил короткое приказание: — Ступай прямо к Сакулину. И курдов загони в лес. А ты, Ваня, — обратился

он к Гандзюку, вызванному на командный пункт,— срочно выкати свои пушки, вон, видишь, на те огневые позиции, надо подавить вражескую артиллерию.

— Вот тебе раз,— оттопырил губы начарт,— что я, казенный, чтоб на всех стрелять! Мои хлопцы должны обслуживать только нашу дивизию.

— Товарищ командир артиллерийского дивизиона,— строго отчеканил Шостак,— через пять минут ваши пушки откроют огонь!

— Есть, товарищ начдив! — брякнул каблуками Гандзюк и, подхватив кубанскую шашку, согнулся, чтобы бежать в лощину, где замаскировался его дивизион.

— Товарищ Гандзюк! — остановил его командарм.

— Слушаюсь!

— Я против вас пионер,— улыбаясь, начал Кухаревич,— совсем еще молодой член партии, а вы, как мне известно, коммунист с тысяча девятьсот двенадцатого года. Какой же вы мне сейчас показали пример?

— Виноват, товарищ командарм, но мы идем в тыл, а снарядов у нас в обрез.— Гандзюк, оправдавшись, прикусил в смущении губу.

— Ладно. Исполняйте приказ. И не хуже, чем под Кромами.— Кухаревич крепко пожал руку Гандзюку.

— Служу революции! — выпалил Гандзюк и со всех ног бросился с кургана.

Вскоре из зеленого ракитника, где находились огневые позиции, донеслась протяжная команда:

— Дистанция сто двадцать, трубка ноль-ноль, двенадцать Ива́нов, огонь!

Приняв от своего предшественника, однорукого Волынского, батарею, Гандзюк, к своему удивлению, обнаружил, что все четверо наводчиков носят одинаковое с ним имя. И в первом же бою, став сразу на короткую ногу с артиллеристами, полюбившими своего командира за простоту и бесстрашие, он подал команду:

— Четыре Ивана, огонь!

Впоследствии, добавляя к своему хозяйству новые стволы, он подбирал к ним наводчиками своих тезок.

Вдоль выступа леса, в котором, готовясь к броску, остановился дивизион Сероштана, рота за ротой, в размычку, шли расчлененные взводы 2-го эшелона сводной дивизии; проходя мимо притаившихся в кустах разведчиков, по-дружески махали им руками. Балабан, Перчик, Курочка, Гаманец и Ганка кричали вслед:

— Дайте им жару, товарищи! А мы уж подсыплем угольков!

Исхудалые, высушенные знойным солнцем и южными ветрами безвестные воины, старые, молодые и совсем еще юноши, трудового рода и племени, с разных концов страны, в выцветших, помятых, почти белых холщовых картузах, в огромных сапожищах, в бутсах, а кто и в лаптях, в узком мытом-перемытом невзрачном обмундировании, с давно небритыми лицами, подбадриваемые дружескими восклицаниями кавалеристов, крепче зажав в руках винтовки, зашагали веселей.

Сколько раз подъем сменялся упадком, а упадок — священным порывом! Шесть лет войны, голода и напряжений! А сколько еще впереди таких трудных лет?

Сначала был Краснов, затем Деникин, потом пришли Петлюра, Юденич, Врангель, и казалось, что каждый из них — последний. Теряя близких, друзей, неразлучных товарищей, дрались с ними до исступления, отстаивая свободу, заводы, пашни, луга. Казалось, что уже покончено навсегда со всеми мыслимыми и немыслимыми фронтами и можно наконец воспользоваться заслуженной свободой и осваивать добытые кровью заводы, поля. Так нет! Пришли незваные интервенты. И этот белопольский — тоже последний фронт. Сколько их впереди, последних фронтов?! А если это даже последний, то разве всем доведется увидеть желанный конец?

Пехота шла. Двигались вперед цепи, а с ними — их командиры — простые, невзрачные на вид, неотличимые от бойцов боевые товарищи. Среди них много молодежи, и всего-то командирского в них — чересплечные ремни и наганы на боку. Истощенные, в выцветших обмотках, с шершавыми облупленными лицами, вели за собой стрелков коммунисты. Всех волновала и подбадривала близость славной червонноказачьей дивизии. То, что на командном пункте, управляя боем, находился сам командарм, придавало отваги бойцам сводной дивизии.

Тяжелые снаряды ложились в самую гущу цепей.

— Ловко работают! — похвалил вражеских артиллеристов командир пехотного полка, поправляя на плечах мохнатую черную бурку.

— Не чета Деникину, — ответил его адъютант.

— Вперед, товарищи! — Бурка, словно шалаш на быстрых ногах, устремилась вперед. — Ура-а-а!..

— Нажмем, ребята-а-а-а!..

— Ура-а-а-а!..

Цепи, подхватив «ура», рванулись к окопам. Шарахнули залпами винтовки. Отбивая редкий такт, заработали пулеметы врага.

Нервы кавалеристов напряглись до предела. Предбоевая лихорадка, известная всем участникам войны, трепала всадников.

Балабан, вслушиваясь в методический речитатив вражеских пулеметов, авторитетно заявил:

— Кольта́ бьют!

— Да, — согласился с ним Сероштан, вслушиваясь в звуки вспыхнувшей схватки и готовый вот-вот крикнуть: «Хлопцы, по коням!», — кольт — это немецкая машина. Значит, перед нами не простые легионеры, а познанские. У них, кроме немецкого, никакого оружия нет.

И Балабан с загоревшимися глазами, зажав в руках ручной пулемет, с которым он решил не расставаться даже в новом положении взводного, стремился всей душой туда, где под ударами кольтов падали только что приветствовавшие разведчиков красноармейцы.

Громовое «ура» то вспыхивало там, за казацкой могилой, то вновь угасало, а ординарца с желанным приказом все нет и нет.

Осторожно, как крот, вылез на опушку новый ездовой сотника. Напряженно всматривался и прислушивался ко всему, что творилось у казацкой могилы.

— На кого тачанку бросил? — загремел сердитый голос Сероштана. — Ступай назад!

Черноус повернулся и, злобно выругавшись, скрылся в чаще березового молодняка.

9

На одной из вырубок, среди свежих березовых пней, Перчик с молотком и щипцами в руках осматривал лошадей сотни, хотя накануне, пользуясь помощью своих земляков-добровольцев Панька Курочки и Юрка Дубенки, тщательно подготовил к предстоящему походу и коней, и те несколько повозок, с которыми разведчики собрались в неприятельский тыл.

Сероштан хорошо знал, что значит кавалерийский рейд. В Хмельнике, где находились тылы дивизии, он

оставил все лишнее, что снижало подвижность дивизиона и могло ослабить его молниеносный удар. В поход шли штабная тачанка Черноуса, две повозки для раненых, одна двуколка с боеприпасами и подрывным добром. Шостак — мастер рейдов — неоднократно повторял своим подчиненным: «Берите с собой побольше ног, поменьше колес».

На одном из пней Гаманец, бросив на землю баранью папаху — такие шапки носила лишь одна курдская сотня 4-го полка, — с помощью обломка бруска точил лезвие сабли.

— Товарищ казак, — приблизился к нему Перчик, — зачем вы это зря потеете?

— «То-ва-рищ»! Твои товарищи рылом огороды роют, и, видишь, острю я шаблюку на их головы. На острую косу — много сенокосу.

— А я думал, на головы гайдамаков и других наших врагов, — горько улыбаясь, ответил кузнец.

— И петлюровцы, и еще кое-кто мою шаблюку попробуют.

— А вы слышали, Гаманец, как объяснял вчера на собрании наш политком товарищ Квитень? Он говорил: «Все трудящиеся — наши братья, все эксплуататоры — наши враги».

На полянке военком, собрав партийцев, говорил, что новички после первого же боя должны поверить в себя, а враг — почувствовать силу казачьего клинка, поэтому место коммуниста всегда впереди.

Гаманец, скривив рот, не опасаясь, что его услышит Квитень, громко забрюзжал:

— Языком они все горазды молотить, видал я таких! А чуть шо — в кусты. Комиссары паники! Пока до первой атаки — он для меня комиссар паники, а после боя, может, себе откажу, а ему отдам последний кусок и назову его «товарищ начальник».

Квитень, недавно назначенный к разведчикам, услышав реплику Гаманца, пропустил ее мимо ушей. Он хорошо знал, что некоторые казаки, возможно кем-то обманутые в своих лучших ожиданиях, каждого новичка политработника называли «комиссаром паники».

В декабре 1919 года, выйдя из деникинского подполья, Квитень — студент технологического института — в Харькове, занятом Латышской дивизией и кавалерией Шостака, вступил добровольцем в 1-й червоннокзачий

полк. В качестве рядового политработника он участвовал с полком во многих боях.

Дрался он крепко, мстил белым за отца — учителя, замученного деникинской контрразведкой. Квитень вскоре завоевал сердца старых рубак своей отвагой и рассказами о самоотверженной работе харьковских подпольщиков, сумевших пристроить своих людей в штаб деникинского сатрапа генерала Май-Маевского. Из политбеседчика Квитень вскоре превратился в любимого всеми казаками политрука, а когда под шашками улагаевских чеченцев скатилась голова комиссара отдельной разведывательной сотни, военкомдив Павловский послал к разведчикам проверенного в боях и в работе Леонида Квитеня.

— Думаю, что наш Квитень не из таких, — не соглашался с бойцом Перчик.

— Много ты знаешь, — высокомерно отозвался Гаманец. — Думаешь, как вчера получил шашку и обзавелся папахой, то ты уже много понимаешь в наших делах. Серый. Вижу, шо скоро и лампасы нацепишь, липовый казак.

— И нацеплю, — улыбнулся Перчик. — После первого боя, если вернусь, обязательно нацеплю. — Кузнец опустил руку в карман и извлек оттуда широкие из алого сукна ленты.

Гаманец спросил с ехидством:

— Шо? Краля подарила?

— Что это значит — «краля»? — с изумлением посмотрел на старого разведчика Перчик.

— Вот чудак! А солдатки? Мало мужиков за войну перебито?

— Я, казак, этим не займаюсь, — ответил Шлема. — В Хмельнике одному панку наладил два замка и дно вставил в бачок. Он принес мне за мою работу целый аршин этой шматы. Курочке я отрезал, Юрку Дубенке, Ганке дал, Шурке-музыканту...

— А мне дашь, Соломон?

Перчик, услышав впервые свое имя из уст Гаманца, широко улыбнулся. Свернул в рулон полоски алого сукна, отдал их разведчику.

— А ты?

— Я? Знаешь, Самойло, сколько впереди еще неисправных замков и дырявых цибарок! Кому-кому, а ковалю рады и в городе, и в селе.

Перчик, круто повернувшись, направился к одной из повозок. Вскоре он вернулся с небольшим точилом, специально устроенным им для своих кузнечных нужд. Поставив его на пень, подошел к Гаманцу, забрал из его рук клинок и приказал разведчику:

— Крути, товарищ!

Гаманец покорно взялся за рукоятку точила. Завертелся камень, подымая из деревянного желоба струи мутной воды. Кузнец, чуть согнувшись, поднес обеими руками лезвие сабли к наждаку. От прикосновения стали заискрился, тонко запел камень. Кузнец, высунув кончик языка, перебрасывая эфес шашки то в одну, то в другую руку, чуть касался точила то жалом клинка, то его серединой, особенно тщательно обрабатывая место, которым умелый кавалерист стремится поразить врага. Гаманец молча, с восхищением наблюдал за работой точильщика.

— Где ж ты был раньше? — спросил, не разгибаясь, кузнец. — Я вчера переточил шаблюки всем казакам.

— Видать, ты старательный! — ответил Гаманец, не отрывая глаз от стального полотна сабли, покрывшейся множеством тончайших лучей — следов наждака.

— Знаешь, — на один миг кузнец перевел свой взгляд с клинка на лицо разведчика, — убивать тоже надо по-человечески. Увидишь, после твоей шашки каждый беляк тебе спасибо скажет.

— Если только успеет, — ответил разведчик.

— Надо, чтоб успел. Если не мучить человека и голову не сечь тупой сталью, как капусту, а смахнуть ее одним ударом, она еще живет несколько секунд.

— Можно подумать, шо тебе самому рубили голову.

— Кое-что и я попробовал, — горестно усмехнулся кузнец, поднося казаку на обеих руках готовый к работе клинок.

Рябой вырвал из лохматой своей папахи волосок и ловким взмахом клинка споловинил его.

— Вот это да! — теперь уже восхищался разведчиком Перчик. — Насчет этого самого, вижу, у тебя золотая рука.

— Не только насчет этого, — ответил польщенный кавалерист.

Гаманец, вогнав клинок в ножны, надвинул глубоко папаху и, отстраняя кузнеца, отнес на место точило, сел на пенек, спросил:

— А шо ты попробовал, Соломон? Скажи!

— Знаешь, Гаманец, меня раз повесили. Да-да, не веришь, повесили.— Кузнец провел рукой по тонкой своей шее.— Залетели к нам григорьевцы — самые его шибенники-верблюжцы. Встрели аккурат возле церкви моего батька и засекли его шашками. Какой-то бородатенький подхорунжий тупой шашкой сек ему, сек голову и никак не мог свалить. Подошел какой-то ихний атаман и наганом прикончил моего батька. А когда узнали, что он кузнец, стали ругать того подхорунжего, нашли меня, потащили в кузню, заставили ковать ихних лошадей. Я отказался. Говорю: «Батька моего зарубили, рубайте и меня». Что они ни делали, а я так-таки и не стал им ковать лошадей. Тогда они там же, в кузне, подобрали веревку, накинули на меня петлю и повесили на косяке.

— И ты остался в живых? — с широко раскрытыми глазами спросил Гаманец.

— Меня спас один человек. А знаешь кто? Батько Христи.— Кузнец лукаво посмотрел на Гаманца.

— Наш Сероштан нигде не прозевает. А дивчина — настоящая картинка,— глубоко вздохнул Гаманец.

— Вот, вот,— продолжал кузнец.— Еще когда верблюжцы сучили пеньку, тот дядько заступился за меня. Говорил, село останется без кузнеца. Они не послушали его. Как только они ушли, он вынул меня из петли и отходил. И не только отходил, но еще неделю прятал в погребе. А Христенька носила мне туда харчи.

— Где же ее батько? Что-то я его не видел в Чабанах.

— Загонял его Ушняк. Как только требуют для войска подводу, он сразу же его. Ну и послал он его прошлой зимой к галичанам. А их как раз душил тиф. Говорят, двадцать тысяч сечевиков померло. Тогда Христин батько заразился от тех галичан и помер.

— За что же Ушняк травил его? Что он, незаможник, большевик был или партейный?

— Где там партейный! Просто был честный и справедливый мужик, всем резал правду в глаза. Так что, Самойло, врагов можно себе нажить у богатеев не только борьбой, а и правдой.

С гаечным ключом в руках, вынырнув из кустов, подошел Максим Черноус. Еще издали показывая кузнецу ключ, строго спросил:

— Эй ты, коваль, не найдется ли у тебя в запасе такой штуковины? Как им пользовался старый ездовой? Видишь, лопнутый.

— А что значит «эй ты»? — обиделся Перчик. — Ты тоже не большое цабе, возишь бебехи начальства и сам ты такой же рядовой, как мы все.

Ездовой сверкнул глазами. Скривив рот, хотел было сказать вслух то, что вертелось на языке — «не совсем такой», — но сдержался.

— Ну ладно, — ответил он, — ты, видать, из гордых. А я человек простой и люблю все по-простому. — Он посмотрел на Гаманца, словно ожидая от него поддержки. — Вот, — поднял он высоко ключ, — пустяк, а без него ни в какую...

Перчик взял ключ из рук Черноуса, осмотрел его, вернул:

— В первом же селе, где будет кузня, принесешь, я его тебе сварю, — и добавил: — Кому что. Вот этому, — указал он на Гаманца, — нужна острая шаблюка, а твое оружие, — посмотрел он насмешливо на Черноуса, — видать, хорошее пужално и гаечный ключ.

Ездовой хотел что-то ответить, но тут подошел Бунчук. Увидев новенькие лампасы Черноуса, спросил:

— Эй ты, пристяжная шлея, куды люды — туды я, и ты в казаки пристроился?

Черноус побледнел и с гордостью ответил:

— Я, брат, казак с деда-прадеда...

— Ты чего цепляешься до человека, — стал защищать ездового Гаманец.

— А через то, — ответил с задором Бунчук, — что мне сдается, его дед был в самом деле казак, а батько, само собой понятно — сын казачий, а он... он хвост собачий!

Черноус злобно сверкнул глазами, но смолчал, проглотив обиду.

Перчик, посмотрев внимательно на ездового, неуверенно пробормотал:

— А где-то, мне думается, я вас видел, товарищ. Вы давно у нас служите?

Черноус, поправив картуз и взбив чуб, засунул ключ в карман штанов.

— Шо ты, не знаешь? — вступил в разговор Гаманец. — Товарищ из новичков. Это из тех, шо подобрали в Дубках.

— А-а-а, я и не знал. Но все же мне кажется, что я вас где-то видел. А вот где, хоть убей, не вспомню. Вы сами откудова?

— Я? Я не близкий,— глядя в упор на кузнеца, ответил Черноус.— Я с Волыни.

— Нет, там я не бывал,— покачал головой Перчик.— Что нет, то нет.

— Где же ты бывал, Шлемка? — поинтересовался Гаманец.

— Где? Кроме как своего села и города Вознесенска, я больше ничего не нюхал.

— Видишь? — с гордостью воскликнул Черноус.— А ты говоришь — встречал.

Повернувшись, ездовой направился в кусты, где, спрятанная от неприятельских взоров, стояла штабная тачанка.

10

Шурка, рыскавший по опушке, с сигналкой за спиной, подобрал под кустами ракитника пачку листовок. Не зная грамоты, отнес их к Балабану.

— Казакам на курево пригодится? — спросил он, глядя снизу вверх на пулеметчика.

Подошли Ганка, Бунчук, а за ними появились и другие бойцы сотни. Они окружили Балабана. Ганка протянула руку к листкам. Пробежав быстро глазами один, начала читать вслух:

— «Мобилизованный солдат Красной Армии! Ты можешь свободно с этим пропуском пройти в плен. Тебя никто не тронет. Наоборот, тебя покормят и отправят в тыл, где ты можешь работать на заводе. Будешь получать жалованье. Не хочешь — можешь работать на селе, вместо того чтоб страдать в Красной Армии. Все равно эта армия будет разбита. Нам помогают такие сильные страны, как Франция, Англия. Мы встаем не против вас, не против России, а против большевиков и коммунистов. Прогоните их — и кончим войну. Если сам не желаешь, передай пропуск другому».

Ганка, кончив читать, смеющимися глазами обвела разведчиков.

— Ну, кому дать пропуск?

— Дай мне! — попросил Бунчук.

Получив листовку, он стал рвать ее на узкие полоски.

— Молодцы пилсудчики, подумали там, в Варшаве, о нашей курящей ораве. Табачок еще водится, а завертки нет. А может, в самом деле,— спросил он, лукаво взглянув на разведчицу,— сходить к ним по этому приглашению?

— Приглашают, только не меня,— с деланной обидой ответила Ганка.— Там сказано: «Мобилизованный солдат...», а я тут по собственной воле.

— Вот еще одна грамота запорожцам от турецкого султана.— Балабан поднял руку с зажатой в ней листовкой.— Называется «Правдивые известия». Ну посмотрим, что за правдивые известия. «Спасайтесь,— читал взводный,— вам лгут большевики, утаивают правду о фронте. Вы попадаете в мешок. Броневая кавалерия заходит к вам в тыл. Ваш левый фланг уже обойден...»

— Тикай, хлопцы!— притворно бросился в кусты токарь с Гельфериха-Саде.

— Скорей, Панас,— смеялись бойцы,— а то уланы малиновы совсем рядом!

— «...Не сегодня, так завтра,— продолжал читать Балабан,— огромная железная армия ударит вам в спину. Медлить нельзя, мешок затягивается, к черту вшивый, сыпнотифозный, комиссарский красный фронт! Расходитесь по домам. Идите праздновать Первое мая. Не забудьте заветов Февральской революции. Революционный комитет рабочих и крестьян Польши».

— Опоздали!— выпалила Ганка, дослушав до конца содержание листовки.— Мы Первое мая отпраздновали под Преображенкой. Долго тот праздник будут помнить врангелевцы. Устроим мы такое же и пилсудчикам.

— Дай, взводный, мне,— протянул руку Гаманец. Получив листок, виртуозно выругался.— А я сегодня же этим пером,— он наполовину обнажил сверкающий клинок,— там,— кивнул он в ту сторону, где палили орудия,— распишусь.

— Сулят неплохо,— сплюнул сквозь зубы Бунчук.— Дом, квартиру, две бочки сыру, булочек тыщу и сала пудище, золота мешок и дурной рыбке — крючок.

— На,— протянул Балабан пачку листовок Ганке,— поясни хлопцам, а потом раздай на курево. И пусть скажут спасибо Пилсудскому.

— А может, отдать их комиссару?— спросила осторожно разведчица.

— Что ж ты, Ганка, нашим людям не веришь? Пусть читают эти глупости и досыта посмеются над ними. И смех — неплохое оружие.

— И то верно, Ларион, — ответила разведчица, остановив долгий, выжидающий взгляд на пулеметчике.

Принимая от него листовки, подумала: «И так всегда». Он старался больше всех нагружать ее всевозможными поручениями. Знал, что она их выполнит быстро и безотказно. И всегда лицо у него серьезное, голос строгий. Хоть бы раз улыбнулся. Поговорил бы с ней по душам! А на стоянках всегда тысяча дел. Для всех у него находилось время, но только не для нее. Неужели он, чуткий товарищ, так и не поймет, что волнует ее, не заметит ее тоскливых взглядов?! И, словно опасаясь злых языков, Балабан сторонился Ганки.

«Неужели, — думала она, — девушку, сменившую спокойную работу штукатурщицы на тревожную жизнь красноармейца, он может считать никчемной пустышкой?» А она, хоть и допекал ее Гаманец своими откровенными намеками, умела держать себя с достоинством.

Однажды на ночевке в каком-то лесу Ганка не постеснялась самому сотнику дать по рукам. Поэтому-то Серостан и не очень удивился, когда в ответ на вопрос: «Что это за залп?» — услышал: «Это Ганка старается». «Нет, — решила она, удаляясь с пачкой листовок в руках, — Ларион какой-то особый человек. Может, и не гордец, но вместо сердца у него камень». Она почти ежедневно слышала откровенное признание то одного, то другого разведчика. Но это не волновало ее. «Вот если бы хоть одно такое словечко сказал мне Ларион!» — подумала она, еще раз с грустью взглянув на взводного.

Штурм, начатый с утра жиденькими полками сводной дивизии, не увенчался успехом. Атака захлебнулась у первой линии вражеских проволочных заграждений.

Здесь интервенты, опираясь на мощные полевые укрепления, решили превратить неудачу атакующих в свой успех.

Из-за широких клунь Мессиоровки, устремившись вперед, двинулись голубые колонны познанцев. Массированный огонь всех стволов сводной и 8-й кавалерийской дивизий, обрушившийся на вражескую пехоту, не сломил ее дружного наступательного марша.

В французских голубых мундирах, вымуштрованная лейтенантами прусской службы, бывшая кайзеровская инфантерия, крещенная в артиллерийском аду под Верденом, ротными колоннами-клиньями хлынула вперед.

Перемахнув через окопы, оставляя десятки раненых и убитых у тесных проходов в заграждениях, колонны-клинья обрушились на сводную дивизию. Тяжелым ударом штыков опрокинули поднявшихся навстречу красноармейцев и, наступая на их пятки, взяли курс на казацкую могилу.

Кухаревич, руководивший советскими боевыми силами в сложной обстановке бурного наступления деникинцев и еще более стремительного их бегства, привык ко всякого рода превратностям боевой судьбы. Он с одинаковой выдержкой встречал их в своем армейском штабе, где ему лично ничего не грозило, и на поле боя, где его жизнь, как сегодня, ежеминутно подвергалась опасности. Спокойствие полководца — половина успеха его полков.

Командарма не смутила успешная атака познанцев и не устрашило их быстрое приближение. Внешне казалось, что все это только радовало его. Сняв пенсне, близорукими глазами в упор посмотрел на Шостака:

— Вот сейчас можно им поднести и сюрпризик. Киньте на них, Анатолий Маркович, полчок. А потом на их же плечах — да в Мессиоровку.

Широко раздулись тонкие ноздри начдива. Не спуская глаз с густых линий врага, Шостак ответил:

— Товарищ командарм! У меня есть сотня, которая стóит полка. — Шостак по старой привычке называл дивизион разведчиков сотней.

Не прошло и минуты, как на опушке леса тонко и тревожно запела сигналка. Едва сдерживая гарцующего коня, почуявшего в первых звуках трубы нечто необычное, Шурка своей боевой мелодией словно снимал чары с сонного массива. Лес зашевелился. В разных его концах, вторя трубе Херувимчика, бойко заговорили сигналки полков.

Медленно, шаг за шагом, отходила под натиском оккупантов та самая пехота, которая утром, мобилизовав все свои силы и волю, веря в успех, ринулась на укрепления врага. Отстреливалась и отступала, отступала и отстреливалась. А враг, опьяненный успехом, пренебрегая потерями, рвался вперед.

С казацкой могилы в бинокли сразу заметили необычную тревогу в стане врага. Господа офицеры, размахивая руками, старались привести в порядок расстроенные бурным наступлением ряды. Опытное ухо легко отличало певучие мелодии кавалерийской трубы от постных звуков пехотного рожка. А у пилсудчиков во главе взводов, рот и батальонов стояли хорошо вымуштрованные прусской школой лейтенанты, гауптманы, майоры. Не то что у нас — вчерашний наборщик сегодня вел в атаку кавалерийский полк, недавний журналист возглавлял дивизию Червонного казачества, а командарм вступил в Красную Армию, сняв с плеч погоны поручика. Но не так-то легко остановить опьяневшую от успеха пехоту. Уже колонны-клинья, развернувшись в густые цепи, начали обволакивать разрозненные группки красноармейцев. Еще одно-два усилия, и можно, устремив вперед плоские лезвия немецких штыков, грянуть врукопашную.

Из Мессиоровки, не сомневаясь в боевой удаче головной колонны, сверкая на солнце штыками, тронулся на поле боя второй эшелон.

Сигналки, расшевелившие лес позади казацкой могилы, не умолкали. Рой за роем вылетали из сосняка всадники, строились на ходу, смыкались, и, послушные зову трубы, сомкнутые взводы, образуя на ходу линию колонн, широкой рысью понеслись к Мессиоровке.

Сероштан, сжимая своего скакуна шенкелями, лишь раз обернулся, окинув хозяйским взглядом все восемь взводных колонн дивизиона. Глухой топот конских ног, бряцание железа сливались в монотонный гул, усиливавшийся звуками артиллерийской канонады.

У Сероштана и в мыслях не было и не могло быть, чтобы сегодня в первом бою стать где-нибудь на командном пункте, послать сотни вперед, управляя ими с тыла через посыльных. И при таком управлении не исключался успех. Людей повели бы в атаку испытанные командиры. Но он хорошо знал, что для успеха атаки разведчики, среди которых находилось много новичков, должны видеть его впереди. И не только его, но и комиссара.

В своих старых бойцах он был уверен, а в молодых можно было и сомневаться.

Не доходя Мессиоровки, выскочив из низины на бугор, осмотрел поле боя, скомандовал:

— В лаву, шашки вон, пики к бою!

Когда разомкнутые линии сотен, загнув правый фланг, выскочили на бугор, он вылетел на галопе вперед и с криком «ура» дал волю горячему коню.

Блеснули на солнце клинки, зарокотала страшная лавина, и тяжелые комья земли полетели из-под копыт. Зазвенела испытанная сталь мастеров Златоуста, отбивая удары вражеских прикладов и штыков. Падали кони, увлекая за собой всадников. Потерявшие своих седоков скакуны с диким ржанием носились по широкому полю, шарахаясь в стороны при каждом разрыве снарядов. Но конная атака, стоившая немалых жертв червонным казакам, потрясла и ряды заносчивых интервентов. Не успевал утихнуть один бурный шквал, как за ним уже следовал другой.

Подбадривая солдат, молодой ксендз в длинной рясе, с немецким шлемом на голове носился по рядам с крестом в руках, выкрикивая неистовым голосом:

— Нех бендзе похваленный пан Езус!

С шашкой наголо подскочил к ревностному служителю Ватикана Гаманец.

— Твое счастье, духовенство, что ты со спасителем, не с карабином, запомнил бы ты повек червонного казака Гаманца.

Ксендз, устрашившись не столько занесенного над ним клинка разведчика, сколько его страшного от ярости лица, подняв еще выше распятие, зашептал бледными губами:

— Нех згине червонный дзябл, нех бендзе похваленный пан Езус!

Гаманец, сердито сплюнув, понесся с обнаженным клинком дальше. Какой-то офицер, стараясь привести в порядок дрогнувшие ряды пехоты, неистово орал на французском языке:

— En avant! En avant![1]

Это был один из девятисот капитанов, которых послал Пуанкаре вместе с маршалом Вейганом в помощь Пилсудскому.

— Какой я тебе Аван? Я не Иван, а Самойло! — Подскочив к французскому офицеру, Гаманец взметнул над головой клинок: — Киева тебе захотелось? Яйки

---

[1] Вперед! Вперед! *(фр.)*

и млеко? Теперь можешь кричать: «Пей, мусью, млеко, червонный казак далеко!»

Солдаты-галлерчики, входившие в состав дивизий, сформированных на средства парижских биржевиков генералом Галлером во Франции, отличались своей стойкостью, особенно когда в их распоряжении были глубокие окопы, прикрытые с фронта несколькими рядами колючей проволоки. Галлерчики славились и штыковыми атаками, но в открытом поле против стремительной шостаковской конницы они, даже удерживаемые офицерами и ксендзами, оказались беспомощными.

Конные атаки потрясли и сокрушили интервентов, до сих пор встречавшихся лишь с пехотой. Здесь, на мессиоровских полях, на чужой им земле, где из-под каждого кустика можно было ждать появления страшных всадников, галлерчикам казалось, что их штурмуют какие-то бесы.

Командарм, довольный первым успехом конницы, не расставаясь с биноклем, внимательно следил за тем, что делалось на поле боя. Он глубоко верил в то, что, стремясь разгромить легионы Пилсудского, он помогает соседнему народу найти правильный путь. Кухаревич с чистой душой стал во главе одной из армий большевиков, как в свое время возглавил оборону Парижской коммуны его ровесник — пламенный революционер и воин Ярослав Домбровский.

Об этом человеке, наблюдая за мессиоровским боем, думал командарм, выдвинутый Лениным из офицерских низов за его талант и знания, за стремительность и порыв, за честность и преданность. Так уж повелось: туда, где больше всего угрожала опасность республике, посылали командарма Иеронима Кухаревича.

Когда разведчики обезоруживали пленных, подбирали своих убитых и раненых, из-за левого крыла сводной дивизии показалась лава 5-го полка. С пиками наперевес, с блестящими клинками, оглушая противника громовым «ура», казаки навалились на другую группу противника, отрезая ей путь к отступлению.

В центре резервной колонной, пересекая цепи сводной дивизии, снова поднявшейся в атаку, вел свой 4-й полк пылкий, неудержимый Никонов.

А левее, на Икву, двинулся 5-й полк. Командовал им Чалышев — печатник из Карачева, бывший подпрапорщик царской кавалерии. Спокойный, уравновешенный,

вдумчивый, хорошо знающий кавалерийское дело, он еще осенью 1919 года в 5-м Алатырском полку командовал взводом. Своей неустрашимостью и спокойствием в бою, отеческим отношением ко всем без исключения бойцам заслужил любовь красноармейцев и уважение начальников. После взвода недолго командовал эскадроном, был помощником командира полка, а затем получил полк. С ним ранней весной 1920 года по рыхлому льду Сиваша совершил ночной набег на Керчь-Еникальский полк Деникина. Разгромил его полностью, а опекаемую им батарею тяжелой артиллерии вывел из строя. Оставшиеся в блиндажах офицеры покончили жизнь самоубийством.

Затем во время знаменитых апрельских боев под Перекопом из английского танка «виккерс», вылезшего из-за Турецкого вала, Чалышева ранили в ногу. Но, отправившись с этим ранением в обоз, скоро, прихрамывая, вернулся в строй. Под Перекопом перед выступлением на белопольский фронт с полком вошел в Червонное казачество.

Боем под Мессиоровкой 3-я, новая бригада, в которую входил полк Чалышева, освящала, по выражению Шостака, свое новое звание. А звание червонного казака в то время обязывало ко многому.

Об этом бойцам 3-й бригады повседневно говорили их командиры и комиссары. И сами кавалеристы, надев новую форму, старались своей боевой работой подняться до уровня старых полков Червонного казачества.

Чалышев, обнажив клинок, взмахнул им дважды над головой. Сотни из резервной колонны молча построили развернутый фронт. Сам Чалышев, подняв коня в галоп, устремился вперед, нацеливаясь на центр свежего батальона, выдвинувшегося из Иквы.

Тот, кто видел Чалышева в этой атаке и в других, надолго запомнил его невозмутимое спокойствие и выдержку перед лицом опасности. Казалось, что он вел своих людей не в грозный бой, а на прогулку. Уверенность и хладнокровие командира передавались бойцам. К Чалышеву, после того как он прославился тюп-джанкойским делом под Перекопом, пришло много новых людей. Целый полк, 3-й Орловский, вошел в его состав.

Атакованный с фронта и с тыла, недолго сопротивлялся второй клин интервентов. Передовая линия, прикрывавшая колонну, пала, раздавленная конями и ис-

крошенная саблями 5-го полка. Офицеры пытались было согнать солдат в каре, но они, оглушенные атакой молодых червонных казаков, сбились в кучу и сдались кавалеристам.

Четыреста пленных гнали всадники Чалышева к казацкой могиле, с которой наблюдал за сражением командарм.

Вот-вот 4-й полк Никонова и двинувшаяся вслед за ним пехота сводной дивизии, воспользовавшись разгромом двух колонн противника, овладеют его укреплениями на реке Икве, захватят Мессиоровку и, прорвав фронт интервентов, дадут возможность всей дивизии, хлынув в прорыв, двинуться в Проскуров, где стоял штаб генерала Ромера.

Как ураган, молча, лава за лавой, с грозным топотом мчались на село конные сотни 4-го полка. Казалось, что под их бешеным натиском рухнет все, что стояло на пути к цели.

Но быстро забегали впереди голубые фигурки. Тяжелыми переплетенными колючей проволокой рогатками заслонили проходы, которыми лишь недавно воспользовались неудачно брошенные в атаку вражеские батальоны.

Никонов прибыл в Червонное казачество под Орлом со свежей, не обстрелянной еще, только-только сформированной в Туле кавалерийской бригадой. Офицер времен Керенского, Никонов очень любил свой полк и всячески старался завоевать для него громкую боевую славу. Воевал в рядах дивизии под Кромами, Орлом, Харьковом, Перекопом. Стремясь к своей цели, всегда шел напролом. Рвался в самые опасные места, увлекая за собой людей. И если он носил еще голову на плечах, то только лишь благодаря своему комиссару, который умел своевременно охладить не всегда оправданный пыл командира.

Никонов, не встречая сопротивления, первым подскочил к преграде. Бешеными взмахами острого клинка рассек колючую проволоку. Следуя его примеру, еще несколько смельчаков бросились к заграждениям, и вдруг долго выжидавшие пулеметы врага заговорили, осыпав кавалеристов дождем пуль.

Сраженный в сердце, пал на подступах к мессиоровским укреплениям порывистый Никонов. Обнюхивая се-

дока, конь низко опустил голову. Крупные слезы закапали из его больших печальных глаз.

Познанцы короткой пулеметной очередью уложили рядом со всадником и его верного коня.

Сорок пять казаков 4-го полка отдали свою жизнь на берегах невзрачной речушки Иквы.

Пораженные гибелью любимца командира, всадники, не стыдясь командарма и начдива, ринулись назад.

4-я — курдская — сотня полка во главе с сотником Имамом Шалаевым завопила. Казалось, что они справляли, по восточному обычаю, шумные поминки по своему командиру полка. С безумными криками «Ай-вай!», «Машынка, машынка!» курды обгоняли весь полк. Азиатские наездники Имама Шалаева, с кинжалами в зубах гнавшие целые полки и бригады врага, дрожали, как дети, перед неожиданным огнем одного пулемета. Их порыжевшие, выцветшие бурки, застрявшие в водоворотах войны с 1915 года, видавшие Галицию, Дон, Орел, Курск, Харьков и Перекоп, вихрем неслись по мессиоровским полям.

В своем приказе командарм писал: «Обращаю внимание всего комсостава, что проволочные заграждения противника сравнительно слабы и не могут представлять серьезного препятствия для решительной пехоты».

Но командарм имел в виду решительную пехоту, а не безумную конницу...

Хоть пилсудчики, испробовав силу удара шостаковских полков, и поплатились крепко за свою вылазку, но червонным казакам, этим лихим советским конникам, пленившим около тысячи солдат, недешево обошелся первый бой с наемниками Антанты.

И если оказался неудачным втихомолку подготовленный удар, то рассчитывать на успех сейчас, когда карты были раскрыты, не приходилось.

11

Участок неприятельского фронта, где болотистая речушка Иква с сооруженными вдоль нее окопами, капонирами, пулеметными гнездами и проволочными заграждениями защищались стойкой познанской пехотой, оказался непреодолимой преградой для соединенных усилий малочисленной сводной и полноштатной 8-й ка-

валерийской дивизий. А упорная в обороне и страшная своими штыковыми ударами лучшая пехота Пилсудского в открытом поле показала свою беспомощность против сабельного удара советских полков.

Неизвестно, ждал ли у себя генерал Ромер в Проскурове шумных гостей, которых пытался к нему направить командарм Кухаревич из-под Старой Синявы, но, почуяв недоброе, с разных направлений, вздымая густое облако пыли, спешили к Мессиоровке новые батальоны врага.

Опьяненные удачей, разведчики — они первые обрушились своими клинками на спесивых интервентов — горделиво приводили себя в порядок позади казацкой могилы. Заслоняясь лошадьми, сбрасывали с себя потемневшие в боях и походах табачные английские френчи, а новички — деревенские косоворотки и холщовые портки. Торопясь, влезали в нежно-голубые французские мундиры и шаровары — свежую, узаконенную войной добычу, взятую на одной из захваченных фурманок.

Бой под Мессиоровкой обошелся недешево обеим сторонам. На поле, у невзрачной речушки Иквы, лежали вперемежку тела галлерчиков и казаков. Освещенные лучами заходящего солнца, они казались косарями, которых среди истоптанной множеством ног не созревшей еще ржи свалил тяжелый, изнурительный труд.

Дивизион разведчиков в новеньком обмундировании, без лампасов на голубых французских шароварах, стал неузнаваем. Одни лишь папахи с алыми верхами выдавали его принадлежность к дивизии Шостака. Издали всадники напоминали французских драгун.

Сероштан лихо подал команду. Командарм, взглянув на преображенную часть, улыбнулся.

— Анатолий Маркович, — обратился он к начдиву, — теперь, отправляясь в неприятельский тыл вот с этими, — указал он на разведчиков, — не придется вам их переодевать, как под Орлом, когда вы преобразились в шкуровцев.

— Верно, — ответил Шостак. — Вот только с языком дело обстоит посложнее.

Командарм, любуясь боевой выправкой и задорными лицами разведчиков, снял со своей груди орден. Протянул его Шостаку:

— Дайте тому, кто больше всего его заслужил.

— Я считаю, — твердым голосом ответил начдив, — орден заслужили многие.

Это был первый орден на новом фронте. Был такой период в жизни дивизии, когда своего рода наивный пуританизм побуждал ее бойцов — командиров и рядовых — отказываться от боевых наград. Бытовала даже такая фраза: «Мы воюем за революцию, а не за ордена». Впрочем, этой «детской болезнью «левизны» в начале гражданской войны страдали многие. Но все чаще и чаще стали поступать приказы Революционного Военного Совета Республики о награждении героев. Первыми из них были слесарь из Подмосковья Блюхер и революционер-профессионал Фабрициус — начальники дивизий. Перестроились и в 8-й конной. И все же не было случая, чтобы кому-нибудь дали орден за один подвиг. Боец или командир должен был многократно проявить свою отвагу, чтобы удостоиться высокой награды. На новый фронт с двумя орденами Красного Знамени пришел лишь один Шостак. А такие выдающиеся командиры, как Георгиев, Остапенко, Чалышев, на счету которых числилось много славных боевых дел, имели лишь по одному ордену. И даже эта единственная награда возвышала их в глазах всей казачьей массы.

Военком дивизии, слушая беседу командира с Шостаком, задумался. Он хорошо знал, что присуждение награды не совсем достойному кандидату вызовет ненужные толки. А впереди предстояло много боевых дел.

— Я считаю, — мягко, как всегда, заговорил военком, — заслужили его многие, а он лишь один. Есть поговорка: голос народа — глас божий, — улыбнулся Павловский. — Я предлагаю: давайте спросим бойцов. Думаю, что их решение совпадет с нашим желанием.

— Вот это верно, — согласился командарм. — Посмотрим, кому «глас божий» присудит мой орден. А знаете, — широко улыбнулся командарм и снял с носа пенсне, — вот вы в царских окопах не были, — посмотрел он на Шостака и Павловского, — а там был такой обычай. Иногда начальство предоставляло солдатам право присуждать Георгиевский крест. И этот Георгий назывался «голосовой».

Спустившись с кургана, все трое приблизились к разведчикам. Командарм поблагодарил бойцов за смелую атаку, а Шостак, подняв высоко руку с орденом Красного Знамени в алой розетке, обратился к строю:

— Решайте, товарищи, кому из вас его дать.

Минуту люди, не спуская глаз с ордена, словно загипнотизированные им, молчали. Первым подал голос Терентий Борщ:

— Считаю, Балабану надо дать.

Словно давно ожидая этого предложения, из рядов зазвенел тонкий голосок:

— Балаба-а-ану!

Взводный круто повернулся в седле, сверкнул глазами.

— Ну вас до биса! Чего раззевались? Сероштану! — крикнул Балабан. — Вот кто заслужил орден!

— Сероштану! Сероштану! Сероштану! — зашумели казаки.

Послышался хриплый выкрик Гаманца:

— Братва, я бы дал товарищу Квитеню!

Стоявший ему в затылок во второй линии строя Перчик бросил вполголоса ядовитую реплику:

— Самойло, это «комиссару паники»-то?

Гаманец, широко улыбаясь рябым лицом, повернул голову:

— До боя он был для меня комиссар паники, а сейчас это совсем другой табачок.

— Товарищ начдив! — поднял высоко руку Балабан. — Позвольте, я скажу. Я считаю так: если мы присудим орден кому-либо из казаков, мы отметим только его храбрость. А как дадим Сероштану — то выйдет, что награжден весь дивизион. Предлагаю, товарищи, — повернулся он к строю разведчиков, — дать орден Сероштану.

— Вот это «глас божий», — усмехнулся командарм.

— Товарищу Сероштану! — подхватил весь строй.

— Сероошта-а-ану!

— Командиру дивизиона!

— Нашему сотнику! — величая по-старому Сероштана, бушевала масса.

Кузнец Перчик с разбитой ляжкой — работа рослого, упитанного жолнера — вопил пуще всех:

— Товарищу Сероштану, товарищу Сероштану! Сероошта-а-ану!

Курочка — земляк кузнеца и его подручный на стоянках — заглядывал в широко раскрытый рот своего соседа по звену.

— Вот не ожидал... Ты, чертяка, шаблюкой колдуешь не хуже, чем кувалдой...

— Ой, Панько, — ответил возбужденный необычайными впечатлениями дня кузнец, — ты же знаешь, я пришел сюды и коней ковать, и за свободу постоять.

— Правильно, товарищ! — ответил Курочка. — И я сегодня порубал. Хай им бис, аж рука гудит. Сдается, и шашку не высмыкну. Думаю, Пилсудский больше не захочет Киева.

— Один человек правильно сказал, — задумчиво ответил кузнец. — На острую косу — много сенокосу.

Шостак без колебания выполнил волю еще не остывших после горячей схватки людей. Ему не жаль было ордена для храброго командира, как и не было жаль отдать Сероштану — вовсе не ветерану первого отряда червонных казаков — вновь сформированный дивизион.

...Еще во время войны Федор Сероштан служил конторщиком на крупном лесном складе в Полтаве. В начале 1917 года его призвали и, как закончившего в свое время городское училище, послали в военную школу. Оттуда он вышел «прапорщиком Керенского» и попал в запасной полк. Получив взвод, он считал, что командовать им ничуть не сложнее, чем вести конторские книги на лесном складе. Но это оказалось не так. Люди его взвода, которым по всем воинским правилам полагалось беспрекословно слушаться командира, не проявляли стремления к безоговорочному послушанию. Каждое распоряжение вызывало бурные дебаты. Говорили почти все. И почти все говорили по-разному. То, что одним казалось верным, другие считали ложным; законное в мнении одних являлось преступным в глазах других. В этих спорах его, командира взвода, вовсе не считали высшим и непогрешимым судьей. И как он мог судить, если, слушая доводы одного, считал его абсолютно правым и тут же соглашался с другим оратором, говорившим противоположное.

Летом с маршевой ротой его послали на фронт. Каким-то образом он, пехотинец, попал в конный корпус графа Келлера. В нем, вдали от поля боя, он провел четыре месяца.

Осенью 1917 года армия разваливалась, рассыпалась и его часть. Пошатнулась, как ему казалось, и вся Россия. Но когда товарищи по полку — офицеры — отправлялись на Дон, как они говорили, «спасать Рос-

сию» и звали его, он с ними не поехал. И, не зная, где правда, не примыкал ни к одной, ни к другой стороне. Хотел было он вернуться в свою контору лесосклада, но штабеля досок давно уже лежали нетронутыми. Они не нужны были никому, казался ненужным и он сам. Лишившись средств к существованию, сделался продавцом газет, но бойкие мальчишки-газетчики вытеснили его с этого ненадежного поля деятельности.

Пробовал он торговать иголками — на них был большой спрос. Кое-что удалось заработать, но двое пройдох в офицерской форме, околпачив его, продали ему вместо двенадцати дюжин пачек сверток с железными опилками. После этой операции, сулившей ему беспечную жизнь в течение полугода, неудачливый коммерсант и вовсе вылетел в трубу.

О роскоши не могло быть и речи. Он думал о куске хлеба и тарелке борща. В одной из кофеен он понравился молодой кельнерше. Несмотря на потрепанный офицерский мундир, своей внешностью он все же производил хорошее впечатление.

Временная возлюбленная подкармливала его, но, когда она предложила ему пойти под венец, он отказался и от нее, и от ее турецкого кофе. Была еще сестра. Хоть и трудное наступило время, но она охотно принимала за своим столом брата. Муж ее — чиновник банка, человек с катаром желудка, — восхищаясь аппетитом Федора, именно во время обедов укорял деверя за его политическое равнодушие. Он считал, что место Сероштана там, где его собратья-офицеры, принося жизнь на алтарь отечества, спасают Россию. А Федору казалось, что зять, скрывая настоящие мысли, укорял его за каждую ложку борща. Он отказался от дома сестры, так же просто, как и от кофе настойчивой кельнерши.

Прочтя как-то, после разрыва с домом сестры, книгу Гамсуна «Голод», он убедился в том, что мог бы коечем дополнить жуткое повествование норвежского писателя.

Не желая больше воевать и не зная, где найти службу, Сероштан испытывал острую нужду. Голод привел его на товарную станцию. Грузчики со свисающими с головы чувалами, заметив молодого широкоплечего крепыша, пригласили его к превращенной в обеденный стол пузатой бочке. На ее днище, соблазняя Федора,

высилась вокруг полной бутыли гора свеженарезанных помидоров. Насытившись после длительной и мучительной голодовки, он пошел вместе с хлебосольными дружками на работу. Сероштан надолго пристал к грузчикам. Среди них находились и офицеры, люди без руля и ветрил, такие же, как и он, перекати-поле, перегоняемые с одного места на другое сильными ветрами той бурной поры.

Федор быстро свыкся со своим новым положением, которое обеспечивало ему сытое, бездумное существование. Его уже не терзали мысли о куске хлеба, а главное — не приходилось решать, слушая новых товарищей, трудную задачу, кто из них прав, кто не прав. Без особого напряжения справляясь с тяжелой ношей, он так же радостно воспринимал сияние солнца и дыхание благодатных, суливших покой и сердечные радости сумерек, как и тогда, когда только лишь нацепил на новенький френч золотые погоны. «Всюду жизнь», — думал он, перекатывая по трапу тяжелые бочки с сахаром, с сельдями.

Но вот однажды — это было во время немецкой оккупации — поступили под разгрузку запломбированные вагоны с тяжелыми ящиками. Вечером, во время расчета, явился гетманский капитан в сопровождении немецких солдат. Начался допрос. Оказалось, что при разгрузке пропало одно место.

Всю бригаду увели в тюрьму, обвинив в передаче украденного ящика с пистолетами подпольному большевистскому штабу. Сероштана не столь потрясли побои, полученные им во время дознаний, как синие от шомполов спины бородатых селян, заполнивших не только нары, но и весь пол довольно просторной камеры.

В краже, к которой Сероштан не имел никакого отношения, никто не сознался. Грузчиков выпустили. Но горечь от всего испытанного в течение нескольких страшных дней заключения надолго осела в душе Федора.

Там, в тюремной камере, он впервые понял, что́ принесла его народу немецкая оккупация и власть гетмана Скоропадского. Из головы не выходили прочитанные им однажды пушкинские строки:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет...

Тем не менее Федор еще долго оставался вдали от борьбы, которую вел народ против оккупантов. Выпущенный на волю, он вернулся на товарную станцию.

12

Немцев и их ставленника — гетмана Скоропадского прогнали. Расправились и с Петлюрой. Красная Армия расширила пределы Советского государства на западе до Збруча, на юге — до Черного моря. Но враг не дремал. С Кавказа хлынула конница Деникина. Головорезы Шкуро подходили к Полтаве. Сероштан вспомнил о синих, исполосованных шомполами спинах селян. Вот так, подумал он, его бывшие товарищи-офицеры спасают Россию. Через Полтаву после боев у Карловки отступал полк червонных казаков — последняя часть, отходившая к северу под натиском лучших офицерских полков Деникина.

Сероштан нашел штаб. Явился к Шостаку.

— Примите меня к себе.

— Кто вы? — спросил Федора военком полка Павловский.

— Я офицер, прапорщик Керенского, — добавил он, когда все штабные с изумлением посмотрели на него.

— Вашему благородию, как видно, надо полк, — начал над ним издеваться Гандзюк. — Так у нас место командира полка занято, — глядя на Шостака, усмехнулся он.

— Постой... — остановил артиллериста атаман полка и повернулся к бывшему офицеру.

...Здесь, на мессиоровских полях, в голове Сероштана, когда он смотрел на тонкие пальцы Шостака, закреплявшие на его груди орден командарма, вихрем промчалась вся прошлая жизнь.

Там, в Полтаве, эти же небольшие белые руки Шостака спокойно лежали на испещренной цветными карандашами топографической карте, словно стараясь прикрыть начертанную на ней диспозицию от постороннего взгляда. Тогда Сероштан ничего не видел перед собой, кроме небольших, почти юношеских рук и серых, чем-то озабоченных глаз советского атамана.

Там, в Полтаве, Гандзюк, не скрывая презрения к бывшему офицеру, дотронувшись до его густо прони-

танной потом и рыбьим рассолом брезентовой робы, ехидно спросил, зачем это понадобилась ему такая грубая маскировка и давно ли их благородие Сероштан с Дона.

Среди командного состава червонноказачьего полка не находилось тогда ни одного офицера. Получая упреки в партизанщине, Шостак под разными предлогами не принимал даже тех бывших офицеров, которых ему посылали высшие штабы. Слишком долго, и не без оснований, жило в частях Красной Армии предубеждение против них. Бывший биндюжник Гандзюк, получивший за свой острый язык немало офицерских пощечин, особенно не любил тех, кто носил при царе золотые погоны.

Шостак, услышав от Сероштана, что он не претендует на командную должность и хочет пойти рядовым, усадил Федора против себя и спросил, как же он мог в течение полутора лет, будучи офицером, оставаться вне борьбы. Сероштан не утаил ничего, кроме своей неудачной коммерции с иголками.

— Если б я пошел к вам, — откровенно заявил он, — когда вы сломили Петлюру и заняли всю Украину, кто-нибудь сказал бы: этот из «партии КВД», то есть куда ветер дует. Пришел на готовенькое. А сейчас вы отходите. И еще будете отходить. И где остановитесь — тоже неизвестно. И никто не скажет мне — примазался. Я уже давно убедился, что солнце одинаково светит и командиру, и рядовому бойцу. — Выпалив все это единым духом, Сероштан покосился на Гандзюка.

Шостак направил новичка, как тогда говорили в полку, к рабочему классу, к разведчикам Ганжи. О том, что в их ряды вступил добровольцем офицер, сразу же узнали разведчики. Прислушивались, присматривались к нему, следили за каждым его шагом. Кое-кто попробовал измываться над ним, но сосед по звену пулеметчик Балабан, узнав прошлое Сероштана, не давал его в обиду. Однажды на походе Гандзюк, обгоняя разведчиков, заметив в строю Федора, не расставшегося еще со своей робой грузчика, сказал Ганже:

— Я б тебе посоветовал: возьми себе того золотопогонника в коноводы. Ты же был вестовым у прапорщика, а теперь бывший прапорщик будет холуем у бывшего денщика. Вот потеха будет на весь Украинский фронт.

Сероштан услышал ответ взводного:

— Знаешь, Иван, у тебя батарея, а здесь разведчики. Не суйся куда не след.

Полк отступал с тяжелыми боями. Неся потери, сдерживал натиск пьяных от вина и успехов белогвардейцев. Большие тяготы выпали на долю всех подразделений полка, а особенно доставалось разведчикам. Сероштан осунулся, похудел. Не слезать сутками с коня оказалось труднее, нежели таскать на спине пятипудовые тюки. Особенно мучило желание спать. Временами казалось, что за час сна можно было бы отдать десять лет жизни.

Не участвуя никогда в бою, здесь, в полку, Федор впервые услышал свист пули. Первое время в дозоре, вдали от глаз товарищей, попав под обстрел, он весь сжимался, а то и просто гнул спину к шее коня. Казалось, что каждая пуля — это его. Но на людях, стараясь не уронить своего достоинства, собирал всю волю и подавлял приступы животного страха. Это достоинство стоило уронить лишь только раз, а потом уж никакие усилия и никакие жертвы не смогли бы его восстановить. То, что простили бы другому, ему, бывшему офицеру, пусть сейчас и рядовому бойцу, не простили бы никогда.

Многому он научился у старых казаков, но еще больше — у соседа по звену пулеметчика Балабана. Но боевое крещение, после которого он уже почувствовал себя по-настоящему своим среди отчаянных разведчиков, он получил в рейде на Фатеж и Поныри, когда бригада Шостака выросла в дивизию, а взвод Ганжи — в сотню.

Стремясь узнать расположение белых, сотник Ганжа послал Сероштана, переодетого ротмистром, во Льгов, в штаб Алексеевского полка. С ним в качестве ординарца отправился Балабан. Солидные усы, давно не бритая борода делали его похожим на мобилизованного «братушку». В роли шкуровского сотника Сероштан, отметив на своей карте дислокацию белых, грохнув шпорами, стал прощаться, но в это время в помещение вошел какой-то капитан. Всмотревшись в Балабана, узнал в нем солдата-земляка, срывавшего с него погоны в 1917 году на станции Юзовка.

Когда капитан, выхватив наган, скомандовал: «Руки вверх!», Сероштан бросился на стоявшего к нему спи-

ной деникинца и тяжелой рукой грузчика ударом в затылок свалил его с ног. Крикнул Балабану: «Ларион, лимонку!» Когда разорвавшаяся бомба своим ярким светом озарила разбитые стекла белогвардейского штаба, разведчики уже были около своих лошадей. Под покровом ноябрьского мрака им среди общей паники без особого труда удалось выбраться из Льгова.

Этот случай еще больше сблизил Сероштана с пулеметчиком. Теперь уже бойцы, обращаясь к бывшему офицеру, называли его просто Федя. И даже Гаманец, первое время измывавшийся над ним, ни разу не назвал его, как бывало раньше, «ваше благородие».

Шостак неоднократно интересовался поведением бывшего прапорщика. После отличных отзывов Ганжи во время боев под Харьковом начдив дал согласие на выдвижение Сероштана во взводные. Это был первый офицер, допущенный к командованию в Червонном казачестве.

В ожесточенных декабрьских боях под Лозовой сложил голову сотник Ганжа. Растеряв мобилизованные крестьянские полки, как это и предвидел Ленин, отборные офицерские и казачьи дивизии люто отбивались от натиска советских войск. Их ожесточение вызывало ответную ярость. В одной из таких схваток с ингушами и чеченцами «дикой» дивизии погиб командир сотни разведчиков.

Вечером, когда бой утих, к расположению червонноказачьих частей, развернув белый флаг, подкатил броневик. Адъютант генерала Геймана, командира «дикой» дивизии, привез на бронемашине вместе с запиской простреленное во многих местах с иссеченной до неузнаваемости головой тело убитого сотника. В генеральском послании значилось: «Похороните вашего храбреца со всеми воинскими почестями. Если бы это зависело от меня, я бы его сначала наградил всеми четырьмя крестами как героя из героев, а потом расстрелял бы как большевика».

Адъютант генерала, чувствуя себя в безопасности при исполнении столь рыцарской миссии, вручая письмо, добавил от себя:

— Наш генерал, следивший за боем, подошел к убитому, ткнул его носком сапога и сказал офицерам: «Учитесь, господа, умирать у этой сволочи».

Разведчики молча, но одобрительно восприняли назначение Сероштана на место геройски погибшего, любимого ими Ганжи. Все знали, что об этом выдвижении сильно хлопотал секретарь партийного бюро Балабан.

Роль сотника не вскружила голову Сероштану. Не обижался он, если на стоянке, оставаясь один на один, какой-нибудь разведчик называл его по старой памяти Федей. Он с большим уважением относился к начдиву Шостаку, к начальнику штаба Нежинскому. Воздавая должное таким ветеранам Червонного казачества, как Георгиев, Остапенко и Сидорчук, он преклонялся перед их боевой славой, хотя сам уже в качестве командира отдельного подразделения кое в чем себя проявил. По-прежнему оставались натянутыми отношения с Гандзюком. Сероштан не мог забыть первой с ним, полтавской, встречи.

К тому времени, когда Шостак развернул из полка бригаду, а потом и дивизию, кроме Сероштана в рядах Червонного казачества служили уже несколько бывших офицеров. 2-й бригадой командовал ротмистр Творожников — сын известного петербургского адмирала Творожникова. Бывший подполковник Сакулин возглавлял 3-ю бригаду, адъютантом при нем состоял бывший поручик — сын священника из Карачева. 4-м полком командовал подпоручик Никонов. И очевидно, что при нехватке командиров, особенно в коннице, несшей огромные потери, даже при том обстоятельстве, что в дни наступления Деникина наблюдались массовые измены бывших офицеров, было бы большой ошибкой пренебрегать мудрыми указаниями Ленина о необходимости широко использовать военных специалистов.

Бывший военком разведчиков, убитый под Перекопом, ценя отвагу, знания и накопленный Сероштаном опыт, полушутя, полусерьезно укорял его в слабости к женщинам. Военком считал, что эти быстропроходящие походные увлечения отвлекали в какой-то степени сотника от его прямых дел.

— Я водки не пью, — смеясь, отвечал Сероштан, — хотя в грузчиках попил ее вдоволь. Не потому, что Шостак очень строг по этой части. Я дал себе слово: напьюсь, когда кончим войну. Сначала нахлестаюсь здесь с нашей братвой, а потом поеду в Полтаву к

своим ладыгам. Что касается прекрасных созданий, я не виноват, сами липнут. Знаю, Шостак, наш молодой вдовец, и тот не прочь улыбнуться милому личику. А раз так — стараюсь сегодня не упустить того, чего, возможно, я буду лишен завтра. Жизнь-то наша знаешь какова!

И тут же обычно угрюмый и молчаливый сотник начинал подпевать вполголоса игривый мотив, услышанный им однажды с подмостков кафе:

Живи, пока живется,
И пой, пока поется,
Время летит, как сон...

...Перебирая в памяти пережитое, Сероштан, уводивший от казацкой могилы возбужденных разведчиков, время от времени склонял голову, чтобы полюбоваться своей первой боевой наградой. И как хотелось бы, чтобы именно сейчас его увидела возникшая в памяти приветливая Христя, так нежно благословлявшая его в далекий поход.

На линии недавнего боя всхлипывали пулеметы, и нет-нет, нарушая сумрачную тишину, долетали звуки одиночных выстрелов.

На обратном скате кургана Нежинский с помощью своего адъютанта — познанского немца Хайера допрашивал пленных офицеров. Прибыли к казацкой могиле командиры и комиссары всех трех бригад Червонного казачества. Сухопарый Георгиев со своим комиссаром Гуренко Романом Авраамовичем, бывшим киевским железнодорожным рабочим. Творожников со Степаниной Саввой Захаровичем — высоким, с классическим лицом запорожца, бывшим политкаторжанином. Степанина недавно вернулся в строй после тяжелого ранения, полученного им при ликвидации офицерского десанта в Хорлах. Осколок снаряда, пробив легкие, так и застрял где-то под ребрами комиссара. Явился и высокий, богатырского сложения Сакулин с комиссаром Рынвой-Рынальским, бывшим лодзинским ткачом, членом партии с 1905 года.

Кухаревич и Рынва-Рынальский, не прибегая к помощи переводчика, вели беседу с курносым белобрысым познанцем. Его голубой, недавно полученный из цейхгауза французский мундир был подпоясан широ-

ким немецким ремнем с медной, сиявшей на солнце бляхой с вытесненными на ней словами «Gott mit uns»[1].

— Фамилия? — спросил по-польски Рынва-Рынальский.

— Пан Чоха! — четко ответил солдат и почему-то тронул рукой свое неимоверно оттопыренное правое ухо.

— Как? — удивился комиссар. — Сын графа Панчохи из Познани?

— Нет, — покачал головой легионер, — сын графа — офицер. То пан Панчоха, а я просто пан Чоха. Я форналь графа Генриха Панчохи, батрак.

— Ну тогда другое дело! — рассмеялся командарм.

— Ты воевал в ту войну? — спросил Рынва.

— Так, пан.

— А что ты получил за нее?

— Я получил две раны под Верденом. Зато ойчизна получила Варшаву, Силезию, Галицию, Познань, — с гордостью ответил солдат.

— Почему же тебе приходится батрачить? — развел огромными руками рослый комиссар. — Неужели в большой Познани не нашлось для тебя маленького клочка земли?

— О нет, пан. Земля имеет хозяина. А чужую собственность сам пан бог не тронет.

— Хорошо, товарищ, — продолжал беседу командарм. — А сейчас зачем ты пошел воевать?

— Я защищаю ойчизну. Русские снова хотят забрать под себя Польшу.

— Ну а твой пан Панчоха тоже пошел защищать ойчизну?

— Нет, он старик. А сын его воюет. У пана Панчохи есть десять фольварков в России. И он обещал, если мы разобьем русских, дать нам, батракам, по два морга земли и лошадку.

— Значит, считай, пропала твоя земля и лошадка, — усмехнулся командарм, — не разбили вы русских.

Пленный свысока посмотрел на человека, изъяснявшегося с ним на его родном языке. Показал рукой на запад:

— Вы разбили только полк. А у нашего пана маршалека их много. И Франция за нас...

[1] С нами бог! (*нем.*)

— Ишь ты какой! — покачал головой комиссар бригады. — Но тут только одна часть большевистской кавалерии, а там, — повернулся Рынва на восток, — для пана маршалека приготовлено ее немало.

— Пан! — осмелев, спросил пленный. — Вы варшавяк?

— А чего тебе? — удивился вопросу Рынва-Рынальский.

— Я так считаю, что только варшавяк, не познанец, может стать большевиком.

— Ничего, товарищ, — ответил ему командарм, — поживешь у нас — увидишь и познанцев большевиков. Сам, может, им станешь!

— Брони боже! — перекрестился форналь.

— А ты, пан Чоха, молодчага, — сказал легионеру командарм, — видать, ты не из пугливых. Смелости в тебе много.

Солдат сморщил свой куцый и вздернутый нос:

— Я потому, пан комендант, смелый, как мне осталось жить недолго. Ваши казаки зарубят меня. Мне терять нечего.

— Откуда ты это взял?

— Нам об этом говорили офицеры.

— Врали вам ваши офицеры, — ответил Рынва-Рынальский. — Во время атаки это верно — мы знаем свое дело, а после боя мы обыкновенные люди. Пленных не обижаем.

— Ах, пан большевик, зачем вы рвете на куски сердце бедного форналя, он уже совсем подготовился к переходу в царство пана Езуса, где нет ни вражды, ни тревоги.

— Чудак ты, пан Чоха, — успокоил батрака комиссар. — К пану Езусу никогда не поздно попасть. Мы тебя и еще двоих, кого укажут сами пленные, отправим лучше к своим, вот только скажем вам несколько теплых слов. А там, в Мессиоровке, вы расскажете, убивают ли большевики пленных или нет.

Пан Чоха, вытянувшись в струнку, широко раскрытыми глазами смотрел на поляка большевика.

Обезоруженных легионеров отвели к лесу. Там, на северной его опушке, они выслушали первую обращенную к ним дружескую речь. Говорил с познанцами лодзинский ткач Рынва-Рынальский.

Комиссар бригады, стараясь сразу же привлечь внимание земляков, начал свое выступление не совсем обычно. Утопая тяжелыми сапогами в рыхлой макушке муравьиной кучи — единственного возвышения, оказавшегося на опушке леса, — он, приветливо улыбаясь, спросил, обращаясь к пленным, обступившим его плотным кольцом:

— Панове жолнежи! Есть ли среди вас хоть один из Радзивиллов, Потоцких, Сангушко, Замойских?

Пленные в недоумении переглянулись. Затем все, как один, повернулись в сторону солдата Чохи. Зная подробности его беседы с большевистским начальством, очевидно, подумали, что Чоха, спасая свою шкуру, наболтал чего-то лишнего.

— Нет, пан комиссар, — отвечали познанцы. — Из этого сословия среди нас нет никого!

— И я знаю, что нет, — еще шире улыбнулся Рынва-Рынальский. — Зачем им нести свои головы под казачьи клинки? Они сунули вас и еще тысячи обманутых, как и вы, рабочих и крестьян Польши. Сунули вашего товарища Станислава Чоху, чтоб отвоевать своему хозяину его десять фольварков. А хозяйский сынок пан полковник Юзеф Панчоха преспокойно хлещет житнювку в Пляцкирове в штабе генерала Ромера. Если пан Станислав откажется стрелять в русских, пан Юзеф бросит его в подвал армейской дефензивы.

— Меня пан Юзеф не тронет, — насупившись, ответил Чоха. — Я солдат и выполнял приказы командиров.

— Значит, ты, пан Станислав, стрелял в русских? А за что?

Чоха, надеясь все же вернуться к своим, молчал. Посмотрел на рядом стоящих товарищей. Казалось, что его глаза говорили: «Не я один стрелял».

— А я вот не стрелял в русских, — продолжал комиссар. — Мало того, стрелял в вас. Стрелял и стрелять буду, хотя я сам и поляк. Стопроцентный поляк. В январе девятнадцатого года я командовал в Лодзи красногвардейским отрядом ткачей. Пилсудский объявил меня изменником и обещал сто тысяч злотых за мою голову. А я считаю, что изменник Польши не я, а пан Пилсудский.

Солдаты затаили дыхание. Услышав крамольные слова, начали оглядываться по сторонам, словно опасались

вездесущих соглядатаев пана Панчохи. Заметив мирно покуривающих казаков конвоя, успокоились.

— Пан Чоха, — обратился комиссар к батраку, — вот вы солдат польской армии, а чей вы носите мундир?

Чоха, тронув дрожащей рукой пуговицы голубой куртки, упорно молчал.

— Вы молчите, пан Станислав, а я скажу: мундир на вас французский, а в вашем ранце лежат консервы американские, и ваши гарматчики стреляли сегодня по нас из пушек английских. Вот за все эти подачки Пилсудский продал нашу Польшу иностранным капиталистам. Кто хозяйничает сейчас в Варшаве? Вы это знаете хорошо без меня. Как только появилась в Варшаве военная миссия союзников, Пилсудский начал громить Советы рабочих депутатов, а Рыдз-Смигла захватил Ковель, Брест, Минск, Барановичи. Создается правительство так называемого «социалиста» Морачевского, и тут же наемные провокаторы убивают членов советского Красного Креста. Это сделал не польский народ, а его палачи, которые для обмана народа назвали себя «рабоче-крестьянским» правительством.

Кругом вас обманывают. Вот Станислав Чоха говорил мне, что большевики хотят уничтожить Польшу. Вам это каждый день вколачивают в мозги офицеры, полковые ксендзы. Это ложь, как ложь и то, что мы убиваем пленных. Поймите, товарищи, как это большевики станут уничтожать наше государство, если благодаря Советской России возникла самостоятельная Польша. Кто угнетал наш народ? Царские генералы. А Пилсудский, начав военный поход против Советской республики, помогает царскому генералу барону Врангелю. И советский сейм — ВЦИК заявил: «Русские рабочие и крестьяне признали независимость Польши... Вы заклепываете кандалы у себя на ногах и увековечиваете свое рабство».

А вождь мирового пролетариата Ленин говорит: «Свобода Польши невозможна без свободы России». Поймите, если б только Деникину или Врангелю удалось захватить Москву, они тут же наложили бы свою лапу на Варшаву. Это понимаем мы, польские коммунисты, понимают это и многие рядовые пепэсовцы. Мы хотим, чтобы это понял и весь обманутый пилсудскими и морачевскими польский народ.

Пленные, стараясь не пропустить ни одного слова, проталкивались поближе к муравьиной куче, другие, насупившись, не подымали глаз.

— Первого мая, — продолжал Рынальский, — на улицы Варшавы вышло пятьдесят тысяч трудящихся. В то время когда легионы Пилсудского рвались к Киеву, варшавские рабочие требовали: «Долой войну! Мир с Россией!» Кто любит свой народ, идет не с Пилсудским против России, а с Россией против Пилсудского. Потому и я стал советским комиссаром. Иван Фостецкий, беспартийный товарищ, командует у нас полком, и в каждой советской дивизии есть сотни и сотни настоящих поляков.

Так вот, панове. Я тороплюсь в бой и долго не стану держать вас под солнцепеком. Топайте себе на все четыре стороны, пшепрашам... И с богом, панове жолнежи!.. Хотя и знаю, что никому из вас не поможет ни пан Езус, ни ваш самый главный пан — пан Юзеф, если вы сами о себе не подумаете.

Тут на взмыленном коне подскочил к опушке, где происходило напутствие, разгоряченный всадник. Штаб требовал скорейшего возвращения комиссара. Но Рынва-Рынальский сказал пленным еще несколько слов:

— Надо, чтобы вы и ваши дети, а не отпрыски Потоцких, Чарторыйских, не дети пана Панчохи, чтобы твои дети, пан Чоха, пользовались всем тем, что создано мозолистыми руками поляков... Правда, пока еще свистят пули, рвутся снаряды, звенят клинки. Но верю — скоро настанет иное время. Рабочая рука, протянутая с берегов Волги и Днепра, по-дружески сомкнется с рукой, поднятой над Вислой и Бугом. И тогда рядом со страной Ленина будет жить и расцветать под нашим белым орлом еще одна республика Серпа и Молота — наша независимая, вольнолюбивая, демократическая Польша...

Обернувшись к своему спутнику, комиссар подал ему знак. Тот сразу же вручил старосте пленных довольно увесистый пакет.

— Это вам на дорогу, панове жолнежи. Курите наш советский табачок и крепко подумайте о том, как дальше вам жить. Еще хочу вам сказать: вот тот товарищ, который снабдил вас табаком, тоже из наших. Его фамилия Томаш, и состоит он при политотделе нашей ди-

визии. Ну, панове жолнежи, топайте... И крепко подумайте, как вам жить дальше.

...С южной опушки, сохраняя полную тишину, уходили окрыленные первым, хоть и нелегким успехом боевые полки Шостака. Дивизия, совершив ночной марш, шла рокадными путями вдоль фронта, чтобы перед рассветом еще сосредоточиться в рощах и перелесках вблизи станции Комаровцы, где командармом намечался новый, более эффективный удар.

Часть вторая

ПРОСКУРОВСКИЙ РЕЙД

> Залили ви злим магнатам
> Сала поза шкуру,
> Як ви рушили, чубаті,
> Рейдом на Проскурів.

13

Пустынный большак, придавленный холодными сумерками, сизой лентой лег среди широких пшеничных полей. Этот старинный, прямой как стрела казацкий шлях уходил вдаль, и казалось, что там, где позолоченный закатом косогор пламенел пестрыми полосками гречихи, он вдруг обрывался.

С кнутами в руках и с торбами для харчей шли по дороге в широких соломенных брилях, в домотканых свитках два селянина — один постарше, другой помоложе. Смуглое лицо старшего носило на себе следы перенесенной оспы.

Они шагали бодро, как в строю, не сгибаясь.

В стороне, по давно не хоженной, заросшей татарником тропинке, чуть отстав от двух путников, следовавших большаком, плелся щупленький разутый подросток. За его спиной на палке болтался небольшой узелок. В нем мальчик нес сапоги — все свое достояние.

Ни единый посторонний звук не долетал до этого уголка. Вечерняя тишина нарушалась лишь назойливым треском кузнечиков. Бесшумно колыхались не испытавшие еще на себе грозного смерча войны тяжелые колосья пшеницы. Казалось, что, чуя зловещий топот опустошительных полчищ, они своим тихим покачиванием выражали безысходную предсмертную скорбь.

Из-за перевала, как вихрь, отчетливо выступая черными силуэтами на золотом поясе неба, появилась группа всадников. Нахлестывая коней, широкой разудалой рысью понеслись по скату косогора. Крестьяне встрепенулись и, зажав покрепче торбы под мышками, продолжали свой путь. Мальчишка, почуяв опасность, сойдя с тропинки, нагнал путников.

Всадники, сдерживая коней, остановились. Один из них, очевидно старший, в сером глухом жупане, в черной папахе со свисающим до пояса желтым шлыком, преградил дорогу прохожим.

— Далеко, хамлы, прете?

Рябоватый селянин нетерпеливо повел плечом, в упор посмотрел на серожупанника:

— Это шо, новое постановление, шоб украинцев хамлами обзывали? Шановный батько нашей Украины Петлюра не мог такого приказа пускать...

— Подавись своим боталом, габло! — Всадник, рассвирепев, направил морду коня на рябого. Желтошлычники плотным кольцом окружили его товарищей. — Спрашиваю — откудова и куды? Отвечай, не гавкай.

— Шо куды — то правильно, — пристал к разговору второй путник, — а откудова, как будто и не было беседы.

— Шагаем мы из-под Ярмолинец, — степенно заговорил рябой, — а располагаем попасть в Проскуров, до панов, в главный, самый главный ихний штаб. Вот тут квитки. — Старший селянин достал из-за пазухи, долго рывшись там, засаленные, написанные по-польски бумажки. — Кабанцев легионцы взяли, а гроши — гейгей...

Начальник разъезда взял квитанции, помял их в руках, пробурчал что-то под нос и вернул бумажки селянину. Сняв с головы смушковую с тяжелым хвостом папаху, провел рукой по свежевыбритому затылку, по висевшему от макушки пучку волос — оселедцу и довольно миролюбиво спросил:

— Добре, мужики, а чи не попадались вам где-нибудь по дороге красные повстанцы?

Оглянувшись по сторонам, словно опасаясь чужого уха, рябоватый путник, прищурив глаза, вполголоса, по-заговорщицки, прошептал, обращаясь к старшему серожупаннику:

— Если по правде сказать, хлопцы, то шо-то на пантиклетке обогнало и понеслось далее бог знает куды.

— Эх ты, габло, — презрительно сплюнул петлюровец, — та то проскуровской комендатуры вестовой, а у тебя я про повстанцев любопытствую.

— Бог с вами, — отвечал рябой, набожно творя крест, — откудова такие красные повстанцы, когда повсюду, слава богу, наши спасители паны-уланы и кругом полный спокой.

— Брось давать представление! — дернулся на коне серожупанник. — С Ярмолинец идешь и не знаешь! Кажи правду, а то враз пройдусь по твоему решету! — Разгневанный всадник концом плетки коснулся лица путника.

Перепуганный мальчик, сняв с плеч палку, взял в руки узелок. Как у пойманного мышонка, быстро забегали его глаза.

Молодой, еще безусый всадник перегнулся через седло:

— Балабонят, три уезда повстало. Большевики и евреи раскаламутили сволоту. Одних конных больше как пять тысяч!

— И командует ими какой-то генерал, балабонят, из немцев, — присоединился к безусому его сосед. — Продался, говорят, большевицкому царю Ленину. А действует тот немец под нашей фамилией — Шостак — для обмана, значит, громады.

— Ну раз вы уже знаете, то скажу, чего слыхал, — ответил рябой. — Конных, кажут дядьки, те, которые их видели, конечно, не пять, а полных десять тысяч, и слух такой, что действительно Шостак с генеральской породы: был в генеральской экономии пастухом.

— А говоришь — не видал!

— Самозрительно не видал, а шо мужики брешут, так как будто действительно. Потому и поспешаем, покудова штаб в Проскурове, а то плакали наши грошенята. А вы шо ж, казаки, — спросил рябой, — больше насчет ихней кавалерии любопытствуете?

— Ну да ж. Раньше тут всякая деревянная кавалерия моталась. Наши только свистнут — и они уже цикорий сыплют. А зараз уж очень строгая у них конница пошла действовать. Слыхать, под Синявою до ноги вырезали целый полк наших панков. И откудова она у них только берется?! — с изумлением воскликнул начальник разъезда. Посмотрев на мальчика, строго спросил: — А что то за хлопчик с вами?

— Это мой младший братуха, — ответил, умиленно улыбаясь, рябой. — Может, шо случится — рисково теперь, знаете, — он и известие может моей бабе подать. Ну иди, иди ближе, — придвинул он паренька к себе, — не бойся, эти дядьки хорошие. Они для красных только вот, — рябой грозно потряс кулаком, — а нашего брата мужика они не чипают. Защитники наши!

Старший петлюровец, польщенный словами рябого, ухмыльнулся, а безусый всадник спросил, обращаясь к начальнику разъезда:

— А через что, пан старшой, они не в армии? Самый сок мужики!

— Ну это ты, казак, того! Легионеры их до себя не возьмут — Пилсудский не позволяет, а чтоб нам объявить мобилизацию, он опасается, как бы у нашего пана головного атамана не оказалось войско посильнее, чем у него. Только одно дозволяется — вступить своей охотой.

— В добровольцы я бы со всей душой! — воскликнул рябой. — Мне очень нравится ваша боевая справа, ваши жупанчики. А лошадки чего стоят! Люблю конячек!

— Так в чем же дело, хлопцы? В Проскурове, на сахарном заводе, недалеко от вокзала, стоит штаб нашего мазепинского полка. Конный запорожский имени гетмана Мазепы полк. Сыпьте туды одним духом и зачисляйтесь без никаких.

— Бачишь, — рябой широко раскрыл рот, — на казенных буханках все кусалки растер. Через те проклятые фронта кишка сквозная поделалась, порции не держит. А этот, — указал он на своего спутника, — мой сосед, контуженный, только не думайте, не снарядом — кобыла задом вдарила. Небеседливый он человек.

Старший скомандовал:

— Мазепинцы, вперед!

— Да, — повернулся рябой, — имейте на памяти, у

повстанцев пики, на каждого повстанца по пике. Вот повстанец — вот и пика. Вот пика — вот и повстанец.

— А откудова у них те пики?

— Брешут мужики, большевики с ероплантов поскидали.

Начальник разъезда вдруг вскипел. Подняв руку, пригрозил плеткой:

— Ну-ну, габло, не лопочи! Язык вырву, через кишки его вытяну!

Желтошлычники зарысили по большаку. Они искали красных, желая и боясь этой встречи. Одно имя «большевик» наполняло злобой их кулацкие сердца. Среди мазепинцев — этой петлюровской гвардии — было немало таких, кто неустанно, не теряя надежды на месть, только и думал о возврате отцовских усадеб и хуторов.

Один из всадников вернулся и, велев раскрыть торбы, забрал у путников сало. Пощупав узелок мальчика, разочарованно посмотрел на его ноги и со словами: «Твое счастье, малые» — хлестнул нагайкой коня и бросился вдогонку разъезду.

— Цикорий крутит, — сплюнул молодой путник, с горечью увязывая опустошенную торбу, — заплясали камаринского от нашей красной кавалерии.

— Сильна рать воеводою — так говорит народ, — ответил рябой. — Шостак хоть из грамотеев, а геройский командир. Он сам-то ничего, а есть которые у меня в печенке сидят.

— Это кто же? — поинтересовался молодой путник.

— Хотя бы взять нашего нового взводного, а потом «их благородие» Сероштан.

— Да ты сдурел, что ли? Самый товарищеский, думаю, по всей Красной Армии командир. С каждым казаком за ручку здоровкается.

— Шо с того, шо здоровкается, Махно тоже здоровкался. Смотри, у Сероштана свой ординарец, две лошади под седло, да какие! Одна в одну. Тачанка под барахло. Точно у царского офицера. А еще называется равенство и братство. Только то, шо у него, как у Шостака, нет своего рыжего кашевара... Раз начальник — подавай ему первое положение. Через это самое вышло у нас с батькой Махно несогласие, я смазал от него пятки. А возьмем начальника штаба дивизии! Знаете он из каких?

— Ну и что же, — ответил на эту тираду молодой, — коваль Шлемка с того же корня, а ничего!

— Наш Шлемка? Это правильный человек. Ничего против не скажу. Он большой спец. Шаблюку мне здорово подрепертил. Как взмахну, так одной башки нет. А самое, кого моя душа не терпит, — это всякое начальство из политиков. Вот как наш Балабан... Я и так, кажись, самой жизнью наученный, а оно берется еще меня учить...

Курочка, слушая необычно откровенное высказывание спутника, несколько перетрусил. Панько хорошо помнил, как, заарканенный Гаманцом, он чуть не поплатился жизнью. Их троих, вызвавшихся добровольно пойти на опасную вылазку в тыл врага, послал сам Шостак. Перед нападением на Проскуров надо было узнать, что делается в стане интервентов, каковы подступы к городу и как они охраняются. Гаманца, как очень пронырливого и бесстрашного, посчитали наиболее подходящим для такого смелого дела. Курочка, зачисленный в разведку условно и в первой же атаке зарубивший вражеского пулеметчика, считал, что, выполнив лишь очень опасное поручение, каким являлась миссия лазутчика, он отслужит свое прошлое. Шостак уважил и его просьбу. Вызвался на рискованное дело и Шурка-сигналист. Полагали, если лазутчики, добыв сведения, встретят на обратном пути затруднение, то Херувимчик, прикинувшись простачком, легче, чем взрослый, проберется сквозь все преграды.

Курочка, искоса поглядывая на своего спутника, нехорошо подумал о нем. Вкрались сомнения: сейчас Самойло делает все как полагается, а там заведет его с Шуркой в город и, сдав их петлюровцам или пилсудчикам, наденет на голову папаху с длинным шлыком. Ведь ушел же он от батькиной своры к красным. Может уйти от красных к петлюровцам.

Гаманец махнул рукой в ту сторону, куда удалился разъезд.

— Видно, щирый, стервы сын! — выругался он.

— Ты про кого?

— Про кого? Спрашиваешь еще? Про того, у кого башка с фитилем, про начальника разъезда.

— А что значит «с фитилем»? — удивился Курочка.

— С оселедцем, вот что значит! — зло ответил бывший махновец.

Это было сказано настолько горячо и искренне, что Курочка уже не сомневался в неподдельной ненависти своего спутника к петлюровцам. Но в то же время кое-что его смущало в нем.

— Начальства не любишь? — спросил Курочка. — А все же послухал Шостака. Мог бы не идти. Без тебя много хлопцев просилось.

— Плешь бы меня кто послал, кабы не моя воля. Я повсегда интересуюсь рисковать, потому мне интересно, кто кого перелукавит: чи мужик пана, чи пан мужика. А потом, раз отчаянное дело, так и знай, если не растеряешься, всегда что-нибудь сюда перепадет. — Гаманец хлопнул себя по карманам штанов. — А шо касаемо после войны, держитесь тогда всякие цабе и цабенята. Мы их труханем как следует... — Гаманец, потрясая кулаком в неопределенном направлении, кому-то погрозил. — Я тут воюю, а там мою бабу до нитки, может, обдирают... Знаешь, продразверстка кому-кому, а нашему брату не сладкая...

— Кто же твои батьки? — поинтересовался Курочка.

— У меня батьков не было, нет и не знал их никогда сроду! — отрезал разведчик.

Гаманец давно лелеял мысль о том дне, когда страна, закончив войну, утвердится на своих старых границах. Тогда он со славой героя-красноармейца вернется домой, и не с пустыми руками... Для чего же он столько раз рисковал жизнью за Советскую власть, проливая чужую и свою кровь? Там, в тылу, думал боец, сидит немало здоровых лбов, а он с беззубым ртом, защищая «тыловых», не имеет ни минуты покоя. Вот сейчас, если он вернется из Проскурова с удачей, разве это не заслуживает того, чтобы с ним считались не только в дивизионе, но и там, куда он вернется после войны?! Война войной, но и себя не следует забывать...

Растравив себя, как ему казалось, вполне справедливым негодованием, Гаманец, размахивая кнутовищем, шел молча. Не нарушали тишины и его спутники.

Впереди у развилки дорог на небольшом бугорке выросла фигура — деревянное распятие на чугунном кресте. На всех дорогах Подолии верующие католики воздвигли во имя Христа множество таких скромных памятников. Вдали, за бугром, как вздыбленный пушеч-

ный ствол, торчала в синеватом вечернем небе мертвая труба сахарного завода.

У фигуры путники решили разойтись в разные стороны. Гаманец взялся обследовать центр Проскурова и расположение штаба армии. Шурка, изображая сироту, должен был, бродя по окраинам и выпрашивая у солдат подаяние, высматривать, как охраняются подступы к городу. Курочка нацелился на железнодорожную станцию. И хотя до развилки оставалось немного, каких-нибудь четверть километра, не больше, новое обстоятельство расстроило план тройки. За спиной путников, все приближаясь и нарастая, послышался топот копыт. Какие-то люди, торопясь, очевидно, попасть в город до ночи, гнали лошадей вовсю.

— Хай им бис! — выругался Гаманец, заткнув кнутовище за пояс. — Ну вы, ребята, не оглядывайтесь. Ступайте вперед. — Разведчик достал из кармана зеркальце, поднес к глазам и, хотя спустившиеся сумерки не позволяли далеко видеть, все же перехватил отображение приближавшихся людей.

— Двое! — шепотом сказал он, обращаясь к своим товарищам.

— Обратно мазепинцы? — спросил Курочка.

— Хоть мазепинцы, хоть нет, а скажу одно: осточертели мне эти дорожные знакомства. И помните, кто бы они ни были, молчите, толковать с ними буду я. Знайте себе одно: молчи да дышь, говори, что спишь. — Он огляделся по сторонам. — Ну скажите на милость! Чего это дядьки как раз на этом месте посеяли гречку? Была бы тут кукуруза, плевать бы нам на всех. Знаете, сколько народу спасла та кукуруза или, скажем, соняшник, он же подсолнух? В прошлом году как пошли нас гонять шкуровцы — мы в кукурузу. А в ней не то что человека, в том числе, полк и тот спрячешь! Есть такой Щусь. Это махновская правая рука. Он говорил: «Самый надежный союзник батьки Махна — кукуруза».

Между тем путники, приготовившись к новой встрече и новым расспросам, уже чувствовали на своих затылках тяжелое дыхание разгоряченных коней.

— Стой! — раздался за спиной разведчиков грозный окрик. — Что за шатание по ночам?

— До ночи еще далеко как будто, — ответил Гаманец, подняв глаза на кавалеристов, перегородивших им

путь. — Вы знаете... — начал было он излагать историю о свиньях и запустил руку в карман, чтобы достать свои измятые квитанции.

Один из всадников со знаками петлюровского хорунжего, приняв Гаманца за ходатая, каких в те времена немало шаталось по дорогам, рассматривал его спутников.

— А ты кто? — спросил хорунжий, ткнув плеткой в сторону Курочки, надвинувшего свою шляпу на глаза.

Разведчик, силясь стать менее заметным, прятался как мог за спиной Гаманца. Только теперь, услышав голос хорунжего, он уяснил себе значение кукурузных полей, о которых несколько минут назад так самозабвенно рассказывал бывший махновец. Помня его наставления, Панько не раскрывал рта. Вместо него заговорил Гаманец:

— И этот идет по свинскому делу...

— Не суйся! — оборвал его офицер. — Пускай сам выгораживается.

Но Курочка, словно лишенный языка, молчал. Теперь уже не в силу наставлений Гаманца, а от обыкновенного животного страха. Такого он не испытывал даже тогда, когда Гаманец вел его с веревкой на шее по улицам Чабанов.

Всадник, толкнув коня шпорами, надвинулся на разведчика. Плеткой сдвинул с его головы шляпу.

— Скидывай брилы! — загремел всадник. Увидев перед собой Курочку с обнаженной головой, он зло зашипел: — Так вот где ты, сволота, попался! Сегодня же ты почувствуешь карающую руку Ушняков, христопродавец! — Офицер что было силы хлестнул разведчика по голове.

Панько, закрыв руками больное место, застонал. Следующий удар пришелся по его пальцам. Панько вскрикнул:

— Брось, Симон!

— Какой я тебе, габелон, Симон. Я для тебя пан хорунжий! — И снова свистнула в воздухе офицерская плеть. — Мало, продал наше святое народное дело, батька моего, который тебя кормил-поил, сдал москалям. Ты нас, Ушняков, голыми руками не возьмешь. Уже твой ревком Антон лежит в Вознесенской больнице с пулей в брюхе. И тебя, гада, она ждет. Обрадую я тебя, Панько, твою хату наши попалили. И Антонову

хибарку, и хату Христи, которая миловалась с твоим краснопузым сотником. Со мной, гадина, не захотела пойти под венец, а с москалем снюхалась! Еще не то будет, как подойдем мы опять до Днепра. Но ты, Панько, уже того не увидишь. Прощайся с небом — сегодня твой последний день, а перед концом ты у меня еще попляшешь на горячем. Скажешь, чего тебя понесло на Проскуров, большевистский прихвостень.

— Пан хорунжий, — раздался полный ужаса голос Гаманца, — всыпь ему еще! Я с ним встрелся сегодня утром. И за день такого от этого шпиона наслышался, шо мороз по спине до сих пор ходит.

Курочка вздрогнул. Значит, его опасения начали сбываться. Попав в безвыходное положение, Гаманец, отказываясь от своих, вот-вот предастся врагам. Шурка, ощутив острую боль в сердце, не расставался все же с надеждой выпутаться из трудного положения. Он инстинктом чувствовал, что петлюровец, охваченный гневом на отцовского батрака, не обратит на него внимания. Главное — из всех сил надо доказывать версию Гаманца, что они встретились на дороге, а до сего момента друг друга не знали. Веря в свое спасение, он содрогался от мысли, что Курочка, осыпаемый зверскими ударами, падет жертвой случайной встречи со своим земляком.

— Сейчас погоним вас до штаба, там все и выложишь, — повернулся к Гаманцу всадник.

— Конечно, все выложу, — ответил Гаманец, глядя то на офицера, то на его молчаливого джуру — вестового. — А главное, скажу, шо этот гад про вас, именно про вас говорил, пан хорунжий, — таинственно зашептал разведчик. — Как услышите, то вы, пан хорунжий, не то шо пули, а в том числе, и снаряда на него не пожалеете.

Сообщение Гаманца, сделанное полушепотом, с таинственным придыханием, задело любопытство офицера.

— Крой смелей, послушаю, — подбодрил он разведчика.

— Но... пан хорунжий, я не утаю ничего... Хоть, может, то все и неправда, шо брехал этот сукин сын, а нехорошо, когда ваш джура перескажет то вашим казакам.

— Отваливай! — скомандовал офицер, обращаясь к вестовому.

— А вы трохи в сторону, — обратился Гаманец к своим спутникам, — чего поганы рты порастулили?

Сжигаемый любопытством, всадник приблизился к разведчику. Гаманец стал говорить тем же таинственным тихим голосом.

— Громче! — крикнул на него офицер. — Я ничего не разберу, что ты там бормочешь?

— Та я вам еще хотел рассказать про краснопузых, но опасаюсь, шоб тот сукин сын, который обидел вашего папашу, не услышал...

— А ну давай-давай! — еще больше оживился офицер. — Ты что, с той стороны?

— Мало того, шо с той стороны, — захлебываясь, ответил Гаманец, — я прямо из конного корпуса Шостака! Горяченький, можно сказать.

— Ну? — радостно вскрикнул молодой Ушняк. — Ну говори, что там у них. Говори, я тебя поведу прямо до нашего полковника.

— Конечно, скажу. У меня в печенках сидит ихняя продразверстка. Душа горит — так мечтаю ее прикончить.

— И прикончим! — поддержал разведчика офицер. — Ну, кажи, что знаешь! — Повернувшись к вестовому, скомандовал: — Посматривай там, особо за той подлюкою. Подъезжай до него ближе.

— Ну буду говорить. Ухо, давайте ухо.

— Какой я тебе Ухо! — возмутился офицер. — Моя фамилия Ушняк.

— Так нет, пан сотник, я знаю, шо вы Ушняки и ваш папаша Ушняк, а вы до меня ближе с вашим ухом, потому сейчас такое буду выкладывать, шо вас за эти новости сам атаман Петлюра до себя вытребует.

— Та говори уже! — нетерпеливо и раздраженно ответил всадник и, рисуя себе картину радостного свидания с грозным тезкою, который своими руками прикрепит ему знаки сотника и орден Михаила архангела, перегнувшись в седле, наклонился к разведчику.

В этот самый миг навстречу Ушняку с быстротой молнии устремилось самое страшное оружие, каким располагает невооруженный человек, — рогатка из двух негнущихся растопыренных пальцев. Гаманец владел в совершенстве этим вернодействующим средством напа-

дения. Твердые концы пальцев, угодив в глазные яблоки, вмиг ослепили хорунжего. От страшной боли тот дико взвыл, а Гаманец, ухватившись за снаряжение Ушняка, дернул его из седла. Петлюровец повис на коне, так как застрявшие в стременах ноги не позволили разведчику довести до конца задуманное. Не растерявшись и сейчас, Самойло гаркнул безоружным своим товарищам:

— Хлопцы, пали из наганов!

И этого было достаточно, чтобы джура Ушняка, замолотив изо всех сил ногами по бокам коня, бросился прочь от фигуры с деревянным распятием.

— Давай бог ноги! — крикнул рябой, вызвав в сердцах своих друзей, только что проклинавших его, чувство благодарности и восхищения.

Разведчики кинулись врассыпную к гречихе, оставляя за собой довольно приметный след. Но выбора у них не было. Лишь быстро наступившая ночь помогла им добраться до окраины города. Они верили в то, что если двое из них провалятся, то третий, уйдя от возможного преследования, постарается выполнить важное задание начдива. На три стороны уходили разведчики.

И планы чудом спасшихся шостаковских людей стали еще дерзновенней.

14

В одной из комнат нижнего этажа Проскуровского реального училища, занятого штабом армии, усердно перелистывал дела довольно еще молодой офицер. Плотные шелковые шторки и росшие за окном старые клены до некоторой степени ослабляли невыносимую июльскую духоту. Низкорослый, почти лилипут, щупленький, стриженный ежиком, рыжеватый, с разноцветными глазами пан Панчоха трудился на своем ответственном посту в мундире с расстегнутым воротом. Лишь занимая высокий бесконтрольный пост, мог себе позволить эту вольность офицер, прошедший не русскую, не австрийскую, а прусскую школу выучки.

Армейская дефензива, возглавляемая пестроглазым контрразведчиком, боролась со шпионажем и не менее рьяно — с шаткими элементами армии — объектами весьма умелой и непрестанной пропаганды коммунистического подполья Польши и Украины.

В германской армии лейтенант Панчоха специализировался на армейской разведке, прослушав курс лекций самого бога кайзеровского шпионажа — Николаи. Этого было достаточно, чтоб теперь, когда молодая шляхетская республика создавала свои органы управления, Панчоха, почувствовав влечение к поприщу контрразведчика, получил для себя широкое поле деятельности в них. Армейской дефензивой контролировалось не только военное ведомство, но и все гражданское управление театра военных действий в пределах разграничительных линий 6-й армии.

Сам «начальник государства» пан Пилсудский, подписывая документ о производстве в полковники Иосифа Панчохи — великолепного знатока славянских языков и специалиста по Востоку, — наставлял своего выдвиженца:

— Мы возьмем Киев и твердой ногой станем на Днепре. То, что не удалось Яну-Казимиру, сделаем мы. Это пока, а потом видно будет. До создания гражданских органов вся власть над новым краем будет в ваших руках. Сумейте сплотить там все живые силы. Хлопы потребуют землю — обещайте. Рабочим захочется свободы — сулите. Опирайтесь на церковь, Ватикан — это огромная сила. Сейчас такое время. Надо всюду кричать: «Народ, народ!» Но помните основную премудрость: громите Радзивиллов на словах, а на деле опирайтесь на них. У них — хлеб, деньги, люди. Следите за Ромером и за каждым, кто мнит себя вождем. Сейте семена раздора между Ромером и Сикорским, Галлером и Рыдз-Смиглой. Чем больше они будут драть друг друга, тем чаще они будут обращаться ко мне, как к своему верховному судье. Это необходимо в интересах нашего большого исторического дела, в интересах Речи Посполитой.

Но, когда Пилсудский, обращаясь к своей креатуре, посоветовал ему лучше изучать настроение офицеров, Панчоха, как всегда поражая патрона своими сентенциями, ответил:

— Тот, кто призван господствовать, не изучает, а сам создает настроение.

После этих слов «начальник государства» проникся еще большим доверием к своему ставленнику.

«Демократ» Пилсудский, стремившийся привлечь к себе влиятельную шляхту для более успешного подав-

ления революционно настроенных масс Польши, не зря выдвигал на видные посты знатного отпрыска старинного рода.

Высокомерный и надменный со своим окружением, пан Пилсудский к своему тезке относился покровительственно. Выпущенный по требованию победительницы Антанты побежденной Германией из тюрьмы, Пилсудский, получив задачу оттеснить всех претендентов на власть, стал искать человека, хорошо знакомого с расстановкой политических сил в государстве. Ему порекомендовали лейтенанта Панчоху. Сначала Пилсудский недоверчиво отнесся к карлику — «специалисту по Востоку». Однако вскоре он убедился, что никто лучше Панчохи не знал всей подноготной многочисленной плеяды лидеров, боровшихся за верховную власть.

Лейтенант Панчоха сопровождал главу молодого государства во всех его поездках по стране. Будучи большим специалистом по разведке, Панчоха, аккуратно занося в особое досье все высказывания и каждый шаг своего патрона, старался угодить ему во всем. Подавая ему шинель, делал вид, что считает это актом простой вежливости. Правда, для этого пришлось заказать портативный складной стульчик, с которым он никогда не расставался. А подносить человеку, утомленному непосильными трудами, чай — крепко настоянную гербату с красным вином, любимый напиток Пилсудского, — Панчоха сделал своей прерогативой.

Советник по Востоку не успевал менять знаки отличия. За полтора года с лейтенанта он дослужился до штаб-офицера, а в Проскуров он уже ехал с погонами полковника. Не случайно армейские офицеры инфантерии, кавалерии, артиллерии, которым чины доставались нелегко, лишь после законной выслуги, величали между собой Панчоху «полковником от гербатерии».

Нужно отдать должное начальнику дефензивы 6-й армии. Он всеми силами старался оправдать доверие своего покровителя. Да и других интересов, кроме служебных, у него не было. Один из богатейших познанских женихов, он сочетался браком с красавицей Брониславой Ржепецкой. Но этот альянс не принес ему личных радостей. С юных лет окруженная свитой блестящих поклонников, Бронислава, по настоянию родителей став пани Панчоха, с первых же дней возненавидела своего невзрачного мужа, не только не импонировавшего ей

своим тщедушным видом, но и не сумевшего дать ей тех радостей, на которые она с ее внешностью могла претендовать.

Из поколения в поколение Панчохи верно служили прусским королям. И свою неудачу в браке отпрыск знаменитого магната старался восполнить успехами на служебном поприще. Прежде всего военная фуражка с высокой тульей до некоторой степени восполняла то, чего, поскупившись, не захотела дать для молодого Панчохи природа. Военная форма придавала известную респектабельность даже его карликовой фигуре. Высокий пост в разведке предоставил почти неограниченную власть над более счастливыми созданиями природы — армейскими красавцами и донжуанами, трепетавшими и заискивавшими перед ним — миниатюрным «полковником от гербатерии».

Однажды какой-то лейтенант, присланный в дефензиву с пакетом, заметив в коридоре штаба Панчоху с накинутым на плечи пыльником, обратился к нему:

— Эй ты, шпингалет, не скажешь, как разыскать полковника Панчоху?

— Я полковник Панчоха, — ответил начальник дефензивы, презрительным взглядом измерив вестового.

— Пошел ты к дьяволу, пся крев! — выругался лейтенант. — Мне не до шуток. Говори толком, пока я тебе не своротил скулу, мышиный жеребчик.

Панчохе пришлось сбросить с себя пыльник и показать полковничьи знаки отличия. Тогда лишь ошарашенный лейтенант понял свою роковую оплошность.

Все мелкие дела проходили у многочисленных помощников. А таким серьезным вопросом, как расшифровка подростка-шпиона, задержанного у одной из сторожевых застав, начальник армейской дефензивы занялся сам.

Шурку, босого, в драной одежде, с разбитым лицом, доставили в просторный класс, затененный шелковыми занавесками. Упитанный, с длинными обезьяньими руками легионер, втолкнувший его в помещение, принес и сапоги мальчика. Как особую драгоценность, бережно поставил их на стол пана полковника. А обычно за пылинку, обнаруженную на чернильном приборе, Панчоха, став на складной стульчик, отвешивал своему рослому денщику несколько оплеух.

Легионер вышел, а паренек, качаясь от голода и перенесенных побоев, остался в классе на том самом месте, где его поставил солдат, — в трех шагах от стола. Не дай бог, опасный шпион накинется на следователя и ловким ударом пальцев вышибет разномастные глаза пана Панчохи! Не со следователем, а с хорунжим, фронтовиком и то получилось такое. Ушняк еще счастливо отделался. Мазепинцы, поднятые по тревоге джурой, нашли его в гречихе вместе с конем. Только к обеду он пришел в сознание и сразу же бросился на поиски своего обидчика и отцовского батрака.

Начальник армейской дефензивы спокойно курил и безразлично, словно от нечего делать, рассматривал сапоги-маломерки, оставленные на столе караульным солдатом. Погасив папиросу, офицер, не торопясь и не обращая внимания на арестованного, продолжавшего стоять в тягостном ожидании, взял из лежавшей на столе коробки марципан и небрежно бросил его в рот.

Мучительно заныло под ложечкой. Новый приступ голода сжал сердце разведчика. Сразу, когда штаб-трубача привели в дефензиву, какой-то поручик пробовал его задобрить ласковым словом и конфетами. Но мальчик не поддался на приманки. Он отрицал все. Тогда вместо ласковых слов и конфет его осыпали такими гостинцами, от которых до сих пор ныло тело и шумело в голове.

Подавляя приступы голода, усиленные коровьей жвачкой офицера, Шурка, взглянув на сапоги, удостоившиеся особого внимания ката, стал перебирать в памяти события последних дней, начиная с атаки под Мессиоровкой, когда по сигналам его трубы дивизион Серооштана, выйдя из леса, обрушился на галлерчиков.

Восстановил он в памяти ночной переход дивизии, воспользовавшейся короткой летней ночью, чтобы скрытно перекинуться всеми своими полками из района Старой Синявы в леса под Комаровцами. Во время марша и на стоянке всю ночь напролет разведчики только и говорили о дневном бое за курганом, подсчитывали, кто скольких зарубил, вспоминали оставшихся на поле боя, жалели тех, кто очутился безлошадным, так как казак без коня — сирота, восторгались теми, кто выручал в трудную минуту товарища, хвалили новичков-добровольцев, нового комиссара Квитеня, не отставшего в атаке от Сероштана.

Лес под Комаровцами кишмя кишел пехотой. Там командир дивизиона, от которого Шурка не отходил ни на шаг, неожиданно встретил своего земляка — командира одной из бригад 60-й дивизии Левку Крученко. Хлопая друг друга по плечам, вспоминали, как они, будучи малышами, в Полтаве, у памятника Славы, целыми ватагами, вооружившись снежками, давали бой ученикам 2-й гимназии, прозванным «баклажанами» за красные дворянские околыши на фуражках. Вспоминали торговлю газетами. Только Крученко продавал их до того, как стал прапорщиком, а Сероштан — после.

Последние дни и ночи пронеслись, словно чудный головокружительный вихрь.

Командарм запретил кавалеристам высовываться из леса. После короткого артиллерийского налета где-то там, на железнодорожной насыпи, загрохотали бронепоезда «Гроза» и «Смерть паразитам». Задолго до рассвета из леса тронулись полки второго эшелона пехоты. Шли они такой же сплошной массой, как и латышские стрелки, атаковавшие 14 апреля Перекоп и захватившие траншеи Турецкого вала.

Обгоняя полки 60-й дивизии, ринулись на проволочные заграждения интервентов густые цепи бородатых партизан. Среди них находились и те, которых пан Крачкевич — подольский воевода — заставлял отстраивать сметенные революционным ураганом панские поместья. Многие из них — нынешних партизан — помнили и изяславльского графа Сангушко, который продержал их целый день на коленях в Любаре.

Яростный натиск крепкой советской пехоты и подольских, озлобленных против шляхты повстанцев смел все на своем пути. Бронепоезда, а вслед за ними пехота ворвались на станцию Комаровцы. В руки красноармейцев попал целиком штаб резервного пехотного полка вместе со знаменем...

Глаза Шурки, устремленные на искривленные задники сапог-маломерок, вдруг расширились. Чудные видения из недавнего прошлого одно за другим возникали перед его восторженным взором.

Развороченные снарядами окопы... Обрывки колючей проволоки... Прорыв... Стремительное движение шумных полков Шостака... Перекличка голосистых труб. Бархатный шепот развернутых знамен... Появление на исковерканном блиндаже знакомой фигуры командарма. Его

приветствие кавалеристам... Улыбнулся он и ему — незаметному сигналисту... Его труба, бросающая в атаку разведчиков... Торопливый марш голубых колонн из глубокого резерва, из Ярмолинцев, Проскурова. Блеск клинков и мелькание пик, перехвативших за Комаровцами свежие силы врага... Звон сабель всех шести червоннноказачьих полков... А потом эти родные украинские деревушки и села. Всюду радостные, приветливые селяне, в слезах, с хлебом-солью встречающие освободителей — червонных казаков. Из-за этого одного не жаль идти на любой риск, а если нужно, отдать и жизнь... В то время когда по дорогам Проскуровщины неустанно звенели казачьи сабли, генерал Ромер тоже не спал... Звуки ожесточенного боя, долетавшие с тыла, со стороны Летичева и Бара, растревожили бойцов: а вдруг Ромер прихлопнет прочной заслонкой комаровскую щель?.. Но старые казаки подбадривали новичков: «Шостак завел, Шостак и выведет...» Дивизион у Ивановки построился к бою... Вот сейчас Сероштан зашумит: «Шурка, труби в атаку...»

И тут в самом деле зашумел... голос мучителя, возвращая паренька из мира прекрасных грез к жуткой действительности:

— Эй ты, хлопец, хочешь жить, так скажи, что это значит? — Офицер схваченной со стола деревянной линейкой брезгливо ткнул в порыжевшие голенища Шуркиных сапог. Впившись неподвижным взглядом в обезображенное лицо разведчика, продолжал, стараясь придать нотку сочувствия своему голосу: — Ты же совсем мальчик, тебе надо жить и жить. Скажи правду, всю правду, дам денег. А захочешь, отдам тебя в гимназию. Станешь учителем или доктором. Разве это плохо? Ну говори, говори правду. Ты шел вместе с Курочкой от Шостака. И кто это был с вами третий, скажи?

«Полковник от гербатерии» допрашивал разведчика на чистом украинском языке. Пан Панчоха владел в совершенстве и русским языком. Знание не только истории, быта, нравов, но и языка соседей для разведчика школы Николаи было обязательным. И не только сам начальник армейской дефензивы, но и Бронислава Францевна — его супруга — под благотворным влиянием мужа до тонкости изучила языки восточных соседей.

Шурка, стараясь выдержать сверлящий взгляд следователя, переступил с ноги на ногу.

— Я ведь вам говорил, я сирота. Отца и матери нет, и никого другого нет. Раньше водил слепцов, а сейчас, как война, они сидят по домам, хожу один. Живу тем, что подадут. И никакого Шустака не видел. Не видел и не знаю. И за что меня бьют? Отпустите меня...— Глаза Шурки налились слезами. Он стал громко всхлипывать.— Отпустите меня... я... я...

— Не реви. Это тебе не поможет. Знаешь вашу пословицу: «Москва слезам не верит»? А я добавлю от себя: Москва не верит слезам, а Варшава не верит словам. Ты, я вижу, молодой, но артист. Но и я тоже кое-что понимаю. Хорошо, ты Шостака не знаешь, а это что?— Панчоха снова тронул линейкой сапоги Шурки.— Откуда они у тебя?

— Я вам сказал уже,— разведчик вытер ладонью мокрые глаза.— Это мои сапоги.

— Знаем, что твои,— спокойно продолжал допрос офицер.— Твои не только потому, что ты сам в этом сознаешься, но еще и потому, а это самое главное, что у каждого кавалериста на голенищах вот эта полоса от путлищ. Мало этого, там вон, на заднике, следы от шпор. Это ты уже носил шпоры для форсу, потому что казаки шпор не признают. Они разговаривают с конем при помощи плетки.

Панчоха ничего не преувеличивал. Улика была налицо. Казалось бессмысленным отрицать явное.

В Немчинцах еще Сероштан, направляя разведчиков, строго-настрого приказал им сменить сапоги на какую угодно обутку. Но перед выходом не проверил узелка сигналиста. А Шурка, не найдя ничего подходящего, решил взять свою обувь с собой, надеясь в случае чего отбрехаться.

— Мне подарил сапоги один галичан... Прошлой зимой... В Деражне.

— Врешь. Это маломерки. Галицкая армия, хоть она вся сопливая была, таких сопляков, как ты, не держала.

— Он мне и подарил потому, что его сапоги стали маломерками.

— Что ты плетешь?

— Я не плету... Он их помыл... Поставил в печку сушить и забыл... Они скорежились. На ногу ему не полезли. Он мне их и подарил... Я их — в березовый деготь... А потом и надел...

— Хм...— неопределенно хмыкнул полковник, в котором жестокость Торквемады соединялась с коварством Лойолы. Небрежно развалившись и расстегнув еще одну пуговицу на кителе, он вновь уставился на Шурку и, сделав вид, что поверил ему, почти дружелюбно спросил: — А ты, верно, заметил, что носит Шостак — сапоги или краги?

Сигналист на мгновение представил себе начдива. Вот он стоит перед ним — небольшой, коренастый, в заломленной назад смушковой папахе, с кубанской шашкой на боку, с орденами. А что у него на ногах, он и впрямь не заметил. Очнувшись, сам себе сказал: «Ловушка, хитер офицер». Но он, Шурка, в ловушку не сядет.

— А что это за штука такая — краги? — спросил он.

— Краги — это такие отдельные голенища к ботинкам.

— Я и не знал! — наивно раскрыл глаза мальчик.— Я думаю так — вот поймаете того Шустака, сами увидите, что на ём...

Панчоха вновь стал нервничать. Взмахнув линейкой, сбил со стола сапоги Шурки.

— Тебя щенок, поймали! Словим и всех ваших собак! Ты не огрызайся, гнида, а лучше скажи, сколько у Шостака полков и сколько в каждом полку сабель?

— Я не знаю никакого Шустака и не считал его полков.

— Вот я сейчас с тобой поговорю по-иному,— следователь поднялся, направился к разведчику,— сразу все скажешь, торба с дерьмом.

У Шурки напряглись все жилы. Цепко захватив подол вылезшей наружу рубашки, не спускал глаз с мучителя. Полковник, размахнувшись, полоснул линейкой разведчика, но он, крепче стиснув зубы, не проронил ни единого звука.

— Молчишь, большевистская зараза! — распалился офицер и, рванув ворот рубахи, обнажил плечо мальчика.— Говори, куда идет ваша дивизия — на Проскуров, на Могилев или на Волочиск?

— Я ничего не знаю... Какая такая дивизия?.. Мне как бы добыть кусок хлеба... Я сирота... А вы еще мучаете сироту... За что?.. За что?.. Бог вам не простит...

Панчоха раскраснелся. Духота и злоба одолевали его. Он снял мундир. Остался в белоснежной, с мала-

хитовыми запонками рубашке. Подошел к столу. Зажег спиртовку. Поднес к ней ватный тампон, предварительно намоченный спиртом.

— Узнаешь, отродье, за что. Вот хорунжий Ушняк приведет сейчас Курочку и его дружка, они уже во всем сознались. За полное признание мы их пощадим, а тебя, гнида, раздавим. — Коротыш замолчал, ожидая, что это сообщение, ошеломив малолетнего лазутчика, развяжет ему язык.

Шурка, еще больше разволновавшись, допустил, что и те двое пойманы, но понял, что от них ничего не добились. Зачем бы иначе так мучили его, выколачивая сведения о дивизии Шостака. И в то же время, следя за страшными приготовлениями следователя, он весь замер. Сердце забилось, вот-вот готовое выскочить. Почему-то страшно заныл низ живота. Но он помнил наставления покойного сотника Ганжи: «Попался — рассчитывай только на двух товарищей: первый товарищ — это полное отрицание, второе — время». На первого Шурка крепко надеялся, а вот выручит ли его второй — неизвестно.

— Руку! — скомандовал офицер, подступив к сигналисту. Сорвав с него остатки рубахи, крикнул громче: — Подыми руку, пся крев!

Мальчик послушно выполнил приказ. От невыносимой боли закружилась голова. В помещении запахло паленым. Шурке казалось, что вот-вот он свалится. Но, сделав над собой усилие, устоял на ногах.

— Ну что, скажешь теперь, куда идет дивизия? — зашипел офицер, а потом взвизгнул: — Скажешь — тебя накормят, оденут и отпустят на все четыре стороны!

Перед сигналистом в каком-то тумане качалось бледное, искаженное лицо мучителя, глаза которого, то и дело менявшие окраску, напомнили ему беляка офицера, убившего его отца. Мальчик подумал о дивизии, ждавшей у Немчинцев его возвращения.

— Делайте что хотите, — простонал он. — Я ничего не знаю... Я ничего не скажу... — Шурка опустил голову и тут впервые заметил неимоверно высокие, похожие на когти ворона, тонкие каблуки следователя. Как и прусская тулья на конфедератке, они прибавляли несколько дюймов к карликовому росту Панчохи.

— Ну ладно! — вытирая носовым платком лоб, вздохнул начальник дефензивы и уселся в кресло. — Не хо-

чешь говорить про Шостака, скажи, пся крев, кто это там у вас Рынва-Рынальский?

Лодзинского ткача, комиссара 3-й бригады, знали все казаки. После того как он под Перекопом одним взмахом сабли раскроил надвое князя Кантакузена — командира врангелевского кирасирского полка, — кто-то в шутку назвал его паном Зарембой.

Начальник армейской дефензивы Панчоха лично беседовал с отцовским форналем Чохой, отпущенным к своим червонными казаками. Спрашивал, что говорил Рынальский пленным познанцам, чисто ли изъяснялся по-польски, как он выглядит, во что одет. Возвращение в полк трех стрелков, попавших под Мессиоровкой в плен к большевикам, доставило дефензиве немало хлопот. Среди солдат-познанцев — этого надежного оплота Речи Посполитой — появились очень и очень нездоровые разговорчики. Болезнь следовало ликвидировать в зародыше.

Панчоха вновь заговорил миролюбиво:

— Ну говори, знаешь ли Рынву?

— Рынвы [1] видел только на постройках в Ярмолинцах, а по деревням, где я ходил, никаких рынв нет.

— Сволочь! — взорвался офицер и швырнул в разведчика пепельницу. — Ты еще будешь издеваться надо мной! Изворачиваешься, подлец! Ничего, как поставим тебя к стенке, запоешь по-иному. Не запоешь, а завоешь. Видал я вашего брата. Храбрые, пока не станете под дуло...

Подскочив к мальчику, Панчоха скомандовал:

— Нагнись, сволочь!

И когда Шурка, выполняя команду, нагнулся, недомерок-полковник изо всей силы отвесил разведчику звонкую оплеуху.

Где-то за городом затрещал пулемет. Офицер, покосившись на окно, достал папиросу. Закурил. Без стука, широко раскрыв дверь, ворвался в класс бледный, взъерошенный майор.

— Пан пулковник! Пан пулковник! — выпучив глаза, выпалил он. — За Бугом стрельба. Не пора ли укладываться?

— Пан майор! Что за паника? Вечно вы ворчите, как старая пантуфля. Вы, надеюсь, не забыли последнее

[1] Водостоки *(укр.)*

распоряжение пана коменданта? Я его знаю на память, как и все сказанное нашим вождем. Слушайте: «Мною отдан приказ о расстреле на месте всех солдат, позорящих имя честного воина в бою. Я не воздержусь перед применением смертной казни и к офицерам, поддающимся трусости и паникерству».

Майор, конечно, не хуже Панчохи знал это повеление Пилсудского, вызванное размерами недавней киевской катастрофы, но высокомерие «полковника от гербатерии» затронуло его панскую спесь. Не обращая внимания на избитого мальчика, он, надув губы, стал возмущаться:

— Я майор! Я старше вас и годами, и стажем! Честно служу ойчизне. И не желаю, чтоб меня обзывали пантуфлей! Ваш отец — познанский помещик, я тоже не кто-нибудь. Под Винницей и у меня немалый фольварк.

Панчоха, как и все познанцы, недолюбливавший соотечественников-зависляннев, презрительно посмотрел на майора:

— Наш пан комендант выдвигает тех, кто с ним пошел первый. Помните это. — Указав на разведчика, властно бросил, не глядя на своего подчиненного: — Уведите! В подвал! Ночью допросим его вместе с Курочкой. И велите, майор, явиться той петлюровской сопле — хорунжему Ушняку.

Майор, пыхтя, ушел и потащил с собой едва стоявшего на ногах Шурку.

Панчоха крикнул в полуоткрытую дверь:

— Базиль!

В кабинет вскочил чистенький, аккуратно одетый солдат.

— Собрать чемоданы, кофры. Снять в квартире все скатерти, занавески, одеяла.

— Что, пан пулковник?

— Носорог! — рванулся с места офицер. — Хозяйские, все занавески и все, что можно.

— Слухам, пан пулковник!

— Пшел! Нет... Стой, Базиль. Возьмешь для погрузки солдат из мазепинского полка... Они способны только перетаскивать барахло, а Шостака никак не могут нащупать.

Снова вошел пожилой майор:

— Пан пулковник! Пленные!

— Давайте сюда.

В помещение ввели двух светловолосых красноармейцев, рослых, в выцветших картузах, без звезд.

— Вы, панове, поляци? — запел вежливо Панчоха.

— Так, пан офицер.

— Вас в Красную Армию мобилизовали?

— Так, пан офицер.

— И карабины вам дали?

— Дали, пан офицер!

— А номера их помните?

— Да, — ответил один, — номер моего карабина двенадцать тысяч триста пять.

— А у меня, — сообщил второй, — тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть.

Контрразведчик подошел к пленным.

— Твой кончается шестеркой — получай шесть, — наслаждался Панчоха, нанося удары линейкой. — А тебе только пять. Скажи спасибо большевикам, что не дали тебе карабина с номером двенадцать тысяч триста шестьдесят девять.

— Ну а кричали вы «даешь Варшаву»? — злорадствовал палач.

Пленные молчали. Панчоха нанес им еще по нескольку звонких ударов, приговаривая:

— Это вам вдобавок — за Варшаву. В подвал! — повернулся он к майору. — Взять их на карандаш, а заметите что за ними — тогда и на мушку.

Майор увел пленных, вытиравших на ходу окровавленные лица, а через некоторое время, подталкивая в класс нового человека, доложил:

— Начальник станции. Большевик. Отказался изучать наш язык.

— До дзябла! — разгневался начальник дефензивы. — Всыпать ему пятьдесят шомполов! Снять с работы, выбросить из казенной квартиры. Поставить на его место легионера.

После начальника станции притащили фотографа.

— Вывеску держит на русском языке, — сообщил майор.

— Оштрафовать, заставить в двадцать четыре часа сделать настоящую вывеску.

— Доставили пленного коммуниста, — продолжал докладывать майор.

— Откуда видно, что коммунист?

— В мешке у него газеты, пан пулковник. И сам брюнет.

— Раз мы загнали всю компартию в подполье, то и этого бросайте в подвал.

— С ним еще маренаж, флотский.

— Ах, пан майор! — устало опустился в кресло Панчоха. — Я вам сто раз говорил: всех пленных матросов, коммунистов, комиссаров, китайцев, евреев, башкир, поляков надо давить, как блох. В подвал маренажа! Потом скажу, что с ним делать.

— В карцере, — продолжал неутомимый майор, — содержится легионер пятого полка. Взят за то, что слушал недозволенные анекдоты.

— Как он там числится, этот легионер, в ваших досье?

— Второе дело, пан пулковник. Первый раз он читал большевистские листовки.

— Расстрелять! И помните: наше дело победит лишь тогда, когда мы добьемся, чтобы люди не только боялись говорить правду, но и слушать ее.

— Как, — удивился майор, — так и расстрелять? Можно в тюрьму, в концлагерь.

— Вот вы какой жалостливый! Хотите выиграть эту страшную войну не на жизнь, а на смерть в белых перчатках? Думаете, так просто можно вернуть ваше винницкое поместье? Заразу надо вырывать с корнем. А это кровь. Кровь там, — указал полковник в сторону фронта, — кровь тут. Ведь вы не кто-нибудь, а майор контрразведки. Каждый майор дефензивы должен себя чувствовать выше любого генерала-армейца.

Полковник Панчоха не жалел для отечества ни своих нервов, ни сил. А кровь? Да, он будет проливать кровь! Только не на фронте, а в армейском тылу. И не свою, а чужую! Все дефензивы, вместе взятые, не истребили столько людей, сколько один «полковник от гербатерии» Панчоха.

Майор повернулся, собираясь уходить.

— Э-э... — остановил его Панчоха, — депутация в Варшаву готова? Смотрите, старшего пришлите сюда. Я его лично исповедаю. А остальных членов напутствуйте сами. Если депутация попросит как следует, то пан комендант согласится присоединить Проскуров к нашей ойчизне... А...

— Конечно, — подобострастно ухмыльнулся винницкий помещик. — Мало, что подписали договор с Петлюрой. Не отдавать же этому гайдамаку-самостийнику нашу цветущую Подолию.

Панчоха порывисто вскочил на ноги. В эту минуту он невзлюбил самого себя. Он — звезда контрразведчиков — не смог сломить упорства какого-то щенка! С чем он, начальник армейской дефензивы, явится к генералу Ромеру? Что он ему скажет о коннице Шостака? Но есть еще разведчики, посланные на юг, восток, север. Эти продажные шкуры, наверное, служат и нашим и вашим. Принесут они, конечно, много интересного, но уже никому не нужного. Теперь не прошлая окопная война, где армии годами сидели друг против друга. Нынче события меняются калейдоскопически. Если б в армейской дефензиве нашелся хотя бы один такой агент, как этот босоногий малыш!

— Поймал Ушняк тех двоих? — поинтересовался Панчоха.

— Где там! — скривил обрюзгшее лицо майор. — Несколько раз нападал на их след. И все напрасно. Словно сквозь землю проваливаются.

15

Время шло. Шостак, ожидая возвращения лазутчиков, не сидел сложа руки. Хотя дивизия проскочила через линию фронта еще до рассвета, но бои с резервами в глубине расположения интервентов у Михайловки, между речками Волк и Ушица, могли раскрыть глаза генералу Ромеру.

Не зря командующий 6-й армией так настойчиво требовал от начальника армейской дефензивы полковника Панчохи перекрестно проверенных данных о 8-й кавалерийской дивизии. Появление перед фронтом армии соединения Шостака причинило генералу немало хлопот. Сначала он полагал напустить на эту свежую кавалерию конные части Петлюры. «Пусть, — думал он, — «вольные казаки» Тютюнника сшибаются лбами с червонными казаками Шостака. Не впервой». Но тогда правый фланг 6-й армии от Дунаевцев до Днестра, то есть до румынской границы, останется оголенным. И если нынче у красных нашлась Первая Конная ар-

мия и 8-я кавалерийская дивизия, то не двинут ли они завтра против правого фланга те конные силы, которые создаются по всей Украине под девизом «Незаможник, на коня!»?

Генерал оставил конницу своих союзников там, где она находилась с самого похода на Киев, — на крайнем правом фланге всей белопольской армии.

Ромер не сомневался в своих силах. На главных участках сражались стойкие познанские части. Им не уступали и галлерчики — полки из той семидесятитысячной армии, которую создал во Франции генерал Галлер, разбивший в 1919 году галицийские войска диктатора Петрушевича. На второстепенных направлениях занимали оборону пилсудчики и дивизии, укомплектованные людьми из бывшей русской и австрийской Польши.

Генерал Ромер рассчитывал, что эти силы вместе с петлюровскими отрядами Омельяновича-Павленко сдержат натиск большевистской пехоты и 8-й кавалерийской дивизии на фронте Старая Синява, Могилев-Подольский, пока он, выполняя директиву Варшавы, подготовит и реализует очень важный и хитрый маневр. Потеряв Киев и значительную часть живой силы 3-й армии, Варшава к этому времени правильно оценила значение 1-й Конной как мощного и весьма мобильного тарана большевиков. Конная армия, прорвавшись сквозь фронт у Сквиры и захватив большой район Бердичев, Житомир, устремилась в глубь Волыни. Ее марш, в обход Сарненско-Ковельской лесисто-болотистой полосы, на Ровно, Дубно и дальше на Люблин, представлял собой довольно ощутимую угрозу главным силам, защищавшим Варшавский район.

И вот теперь, пока конница Буденного не успела еще углубиться в просторы Волыни, генерал Ромер, собрав в кулак лучшие войска, задумал из района Староконстантинова ударить во фланг буденновским дивизиям, наступавшим из Житомира на Новоград-Волынский, Шепетовку.

Первые сведения, полученные в разгар подготовки ответственной операции, не смутили генерала. Под Мессиоровкой легло около двух полков лучшей пехоты, но конницу все же отбили. Не дали ей пройти в тыл. Сообщение о прорыве фронта под Комаровцами заста-

ло полки ударной группы Ромера на марше. Головные части подходили к Острополю.

Генерал здраво оценил угрозу, созданную Проскурову. Но он отдал ударной группе все лучшее, чем располагал. Ни остановить, ни ослабить ее в пользу Проскурова он уже не мог.

Ромер понимал всю сложность, всю рискованность создавшегося положения, но... он помнил слова Наполеона: «Qui ne risque, ne gagne rien» [1]. И генерал рискнул, подбадривая себя тем, что он неукоснительно выполняет веление ставки. Командующий 6-й армией, как и варшавская ставка, хорошо знал, что важнее ликвидировать отдаленную угрозу Варшаве, чем близкую угрозу Проскурову. К тому же движение Шостака на Ярмолинцы, Дунаевцы и усиленно распускавшиеся слухи о том, что червонные казаки идут на Каменец, чтоб расплатиться с Петлюрой по старым счетам, сыграли какую-то роль в дезориентировке Ромера.

Если бы полковнику Панчохе удалось что-нибудь выжать из попавшегося в его лапы подростка-разведчика, быть может, генерал Ромер по-иному оценил бы обстановку. В то время когда голодный и избитый разведчик, свернувшись калачиком в подвале реального училища, легко, с чистой совестью готовился к смерти, генерал Ромер на втором этаже, в кабинете своего генерал-квартирмейстера, дал приказ петлюровскому сечевому полку, спешившему к Староконстантинову, разгрузиться из вагонов и занять оборону на подступах к городу. Конечно, один батальон не то что познанцев, а даже галлерчиков стоил двух петлюровских полков, но на большее ради успеха главной операции командарм Ромер не решался.

Четвертого июля, к вечеру, Шостак, подтянув из Городка и Дунаевцев далеко ушедшие вперед части, собрал в Немчинцах и вокруг них, в лесах и глухих хуторах, всю дивизию. Немчинцы были им заранее, еще тогда, когда он отправлял лазутчиков во вражеский тыл, избраны как исходный пункт нападения на связь и штаб 6-й армии и основные тылы врага. Туда же после выполнения задачи с добытыми сведениями приказали вернуться лазутчикам.

---

[1] Кто не рискует, ничего не выигрывает *(фр.)*.

Уже тронулись в путь головные части дивизии, а посланные в Проскуров люди словно канули в воду. «Значит, неудача,— подумали в штабе.— Казаки Сероштана попали в руки врага или же в связи с какими-то сложными обстоятельствами не смогли прорваться к своим. Теперь, готовя нападение на штаб Ромера, следует полагаться на данные войсковой разведки, а во время самой операции — на смекалку командиров и на их здравый смысл».

Поздним вечером, перед самым выступлением основных сил, от разъезда 6-го полка, посланного на Проскуров, пригнали в штаб двух конных петлюровцев. Конвоиры сообщили дежурному, что пойманные двигались на Немчинцы по балочкам, в стороне от дороги. Атакованные казаками разъезда, они не сопротивлялись. Но это никого не удивило, так как среди желтоблакитников находилось много таких, которые только и ждали удачного момента, чтоб, освободившись от постоянного надзора контрразведчиков пана Чеботарева, прозванного самими желтоблакитниками Малютой Скуратовым, вырваться из петлюровских лап. Удивило казаков то, что пленные, не желая ничего сообщить о себе, требовали срочно вести их к Шостаку. Ни уговоры, ни угрозы начальника разъезда ни к чему не привели. Пришлось доставить пойманных в штаб.

Пленных ввели в помещение. Суконные серые жупанчики, шаровары с напуском, папахи с длинными шлыками говорили о том, что они принадлежали к отборной, привилегированной части. Но Нежинский, ждавший от них много ценного, не успел раскрыть рта. Раздался хрипловатый голос одного из петлюровцев:

— Здравствуйте, товарищ начдив.

— Гляди, гляди! — крикнул Гандзюк, отрываясь от карты.— Это же Махно.

— Здравствуйте, Гаманец,— ответил улыбаясь Шостак.— Что за маскарад? — спросил он, уставившись на куцый жупанчик разведчика.

— Знаешь,— продолжал Гандзюк,— попался бы ты в этом виде в мою панораму, не пожалел бы снаряда.

— Товарищ Гандзюк,— ответил Самойло,— если где и лежит снаряд на Гаманца, то не в ваших зарядных ящиках.

— Молодчина, молодчина,— похвалил разведчика Шостак.— Ну докладывай, только короче и самое глав-

ное. Подробности расскажешь мне на походе, я тебя вызову. Да, вижу, вас вернулось двое. А где же Шурка?

Казак вздохнул, переглянулся со своим товарищем. Наконец поднял полные скорби глаза на Шостака:

— Товарищ начдив, наш Херувимчик в ихних лапах. Сидит в армейской дехвензиве. Они его, гады, сразу почему-то накололи. Наверное, шо-то пронюхали и тут же прилепили ему хвоста. А тот хвост его выследил возле одной ихней батареи.

— Эх, жаль Херувимчика, — вздохнул Нежинский.

— Но что с ним? Жив он? — с тревогой в голосе спросил комиссар Павловский.

— Пока жив! Сердце подсказывает — жив... — ответил Гаманец.

— Так вот, — твердо отрубил Шостак, — ночью будем в Проскурове, и тебе, Гаманец, главная задача — найти Шурку и вырвать его из дефензивы! А теперь рассказывай, что там видел, что слышал, что узнал.

И разведчик спокойно, как будто вернулся из гостей, изложил все, что узнал он и его спутник Курочка. Сообщил о местонахождении штаба армии, о подходах к нему, о выгрузке эшелона «сечевиков», об эвакуации станков и оборудования сахарного, лесопильного и чугунолитейного заводов, о батарее, занявшей позиции на подступах к городу со стороны Гречан.

— А какие там части Петлюры, не уточнил? — спросил Нежинский.

— Как же? — с некоторой обидой отозвался разведчик. — Первый полк Херсонской дивизии.

— Старые знакомые, — усмехнулся военком Павловский. — Это из той самой Херсонской дивизии, что мы порубали в тысяча девятьсот девятнадцатом на Кузьминском озере под Староконстантиновом.

— Вместе с командиром дивизии доктором Луценко — личным другом атамана Петлюры, — добавил Нежинский. — Ну что ж, со старыми знакомыми приятно встретиться.

В штаб вызвали командиров бригад, чтобы уточнить с ними задания, сообщить сведения, добытые лазутчиками. Шостак что-то шепнул адъютанту. Фомичев отлучился, а через несколько минут коновод начдива Исмаил, бывший лавашник из Алушты, нес уже на сизом шомполе добрый десяток горячих чебуреков.

Курочка, следуя примеру товарища, принял угощение и, прежде чем отведать его, благодарно посмотрел на Шостака:

— Спасибо вам, товарищ начдив, что послали меня в Проскуров, думаю, что я немного отслужил за свое прошлое.

— Тебе спасибо от меня и всех товарищей. — Шостак встал и крепко пожал руку взволнованному Курочке. — А зря... если б Гаманец тогда тебя зарубил...

— Что тогда? — заговорил Гаманец, с трудом прожевывая пищу. — То пустяки. А вот сегодня я его чуть не срасходовал.

— За что? — удивился Павловский.

— Только я это появился на станции, иду к эшелону, где выгружаются херсонцы, а от пакгауза, слышу, шаги. За мной кто-то топчется, в том числе, прикидываю: выследили, гады! Я за шаблюку и враз на месте кругом — арш. Хочу рубать. Смотрю, а это наш Панько. Хоть и наказывал ему строго: в тылу мы не знакомы.

— Мне не терпелось рассказать про Шурку.

— А я уже сам знал: сидит в подвале, под ихним штабом. Как ночью не срасходуют, значит, останется жив наш пацан. Только как бы ему язык не развязали.

— Ну а в каком цейхгаузе выдали тебе жупан, папаху со шлыком? — поинтересовался Гандзюк.

— В околобужском, — усмехаясь, ответил разведчик.

— Где же это такой?

— Пошел я, значит, до костела. Знаю, там можно кое-что ухом подцепить. И вправду, я там узнал: тикают паны, в том числе проскуровские буржуи. Кто грузится на поезда, а кто хваетонами своим ходом до Волочиска. Только хочу это топать далее, петлюровцы пригнали купать лошадей. Разделись — и в Буг. Я тоже рассупонился в кустах — и к ним, к гайдамакам, значит. Слышу разговор: хвалят бога, шо Шостак пошел не на Проскуров, а на Каменец. Про шпиона толковали, который окалечил хорунжего Ушняка. Про это я вам уже рассказывал. Один смотрит на меня и спрашивает: «А ты откудова взялся, рябой?» Я ему: «Из «куреня смерти» — значит, из полка черных запорожцев. Пригнал коня генералу Ромеру от генерала Тю-

тюнника в подарок, значит. Выкупался, считаю: пора вылезать. Вышел из воды, надел вот эту кумедию, — указал он на свой необычный костюм, — а другой кумплект засунул в торбу. Пригодится, думаю. Нацепил шаблюку и пошел на станцию. Ну там я развязал торбину, одел Курочку. Идем два боевых казака между херсонцами. А они рады: значит, и мазепинцы с ними. Походили, походили и пошли в город, к штабу армии. Нас никто, и мы никого. Только возле штаба смотрим: у коновязей какие-то лошадки газетки читают. Мы их отвязали — в седло и тихонько поехали. Ехали, ехали, пока не попали в лапы к хлопцам шестого полка.

— Ну и хитрости же в тебе! — восхищался Гандзюк лазутчиком.

— Что я вам по чистой совести скажу, товарищ начальник артиллерии, — отозвался польщенный разведчик, ткнув себя в грудь пальцем, — Махно!

— Да, — взглянул на Гаманца Шостак, раскуривая свою коричневую, из вишни, походную трубку. — Чего-чего, а хитрости у того, у настоящего Махно на целую губернию хватит.

Гаманец, изложив в точности все свои приключения в неприятельском тылу, кое о чем умолчал. По дороге от костела к вокзалу он завернул на сахарный завод. Из его широких ворот тянулась вереница фур, груженных станками и машинами. Вывозилось и собственное имущество из домов заводской администрации. Особенно много телег и экипажей заметил разведчик у каменного особняка, выделявшегося среди прочих домов стеклянной галереей. Там хозяйской прислуге помогали грузить и солдаты-петлюровцы. Гаманец, смешавшись с ними, с особым рвением принялся таскать сундуки, узлы, чемоданы. В суматохе, воспользовавшись удобной минутой, вскрыл отмычкой ящики комода. Обнаружив в одном из них саквояж, засунул его в свою торбу, где лежал второй комплект петлюровской формы. Улучив подходящий момент, через заднее крыльцо выскользнул из особняка. По пути к вокзалу свернул в городскую рощу, где, выбрав укромный уголок, закопал саквояж. Вскинув на плечо торбу, довольный собой и удачей, направился к станции. Несколько раз обернулся, запоминая путь к клену, под которым зарыл драгоценный свой клад.

16

Дивизия тронулась из Немчинцев двумя колоннами. Одна — с Сакулиным и Рынвой-Рынальским во главе — в составе 3-й бригады, дивизиона разведчиков и артиллерии Гандзюка получила направление на северо-восток, к Проскурову. 1-я бригада Георгиева, штаб дивизии, а за ним, в резерве, 2-я бригада Творожникова, составляя другую колонну, пошли на север, к Черному Острову.

Нельзя сказать, что 3-й и 4-й полки, входившие во 2-ю бригаду, уступали в отваге остальным частям дивизии. Но Шостак не решился пустить их в дело при довольно сложной ситуации, да еще ночью.

Комбриг Творожников, ученик старой школы, вынужденный условиями прошлой, позиционной войны слезть с седла и забраться в окопы, в отличие от своего коллеги комбрига Сакулина долго не верил ни в возможность, ни в эффективность кавалерийских рейдов. Да и во фронтовых столкновениях он не принадлежал к тем лихим конникам, вроде покойного Никонова, которые ради интересной атаки готовы пожертвовать своей головой. Гвардейский ротмистр командовал бригадой умело, грамотно, но не самоотверженно. Если он еще допускал возможность рейдирования против белых войск, то откровенно сомневался в безнаказанности подобных действий в тылах регулярной, руководимой опытными офицерами польской армии.

В теоретических спорах, возникавших в момент затишья, Шостак ссылками на генералов Шеридана, Ли, Стюарта — инициаторов знаменитых рейдов времен гражданской войны в Америке — доказывал свою правоту. А Творожников настаивал на своем, подкрепляя доводы уроками малоудачного рейда Мищенко на Инкоу в 1905 году и рейдов генерала Келлера на австрийском фронте в 1914 году.

— Эта кавале'ийская 'омантика уме'ла вместе с 'ождением пулемета, — утверждал бывший ротмистр, на гвардейский манер пропуская в словах букву «р».

— Эта романтика стала реальностью с рождением нового, революционного бойца, — настаивал на своем бывший журналист.

Творожников, очутившись со своей бригадой в глубоком вражеском тылу, растерялся. Часто менявшаяся

обстановка не позволяла ему сосредоточиться. Некоторые его решения шли вразрез со здравым смыслом. И он откровенно говорил своему комиссару Степанине:

— Савва Заха'ович, у меня голова не ва'ит. Командуйте вы.

При таком положении Шостак, отправляясь на серьезную ночную операцию, не мог поставить 2-й бригаде активной задачи.

Бывший подполковник Сакулин шел в Проскуров, как на большой праздник. 5-й полк из его бригады показал уже себя под Мессиоровкой. Без сомнения, в бою за Проскуров и 6-й полк поддержит честь бригады. В Чалышеве — командире 5-го полка — комбриг был уверен, как в себе. Но как покажет себя Квасов, недавно назначенный на 6-й полк? Доходили слухи, что все хлопотные дела на походе от Перекопа к Хмельнику, подменяя Квасова, решал его комиссар полка.

Казаки окрестили Квасова Губернатором. В Каховке, где дивизия, следуя на запад, переправлялась через Днепр, комполка, угостившись у французских колонистов старым вином, набивая себе цену, стал хвалиться тем, что он побочный сын вятского губернатора. На самом деле он — каменщик первой руки — благодаря прекрасному сложению и росту попал в царские кирасиры, где дослужился до унтера. Стремясь его просветить, комиссар полка Горлинский — в прошлом учитель — во время длинных переходов прочел несколько лекций по истории, космографии, языку. Чувствуя крупные изъяны в своих приемах командования, Квасов старался замазать их не простым, а, как говорят, простецким обращением. Но и этим он не завоевал расположения кавалеристов. К прежней кличке — Губернатор — добавились новые, взятые из яркого лексикона командира полка...

Если бывший ремонтный рабочий Георгиев, наборщик Чалышев, кузнец Остапенко и шахтер Сидорчук, окунувшись в гущу революционных дел, повседневно расширяли свой кругозор, то интеллектуальный уровень Квасова, кирасирского унтера, оставался неизменным.

Положение командира полка, да еще в Червонном казачестве, льстило ему. От своей должности он бы и не подумал отказаться, считая, что в силу свершившихся в стране коренных перемен именно он, бывший унтер, как и сотни других его сотоварищей, существует

для того, чтобы возглавить созданные революцией новые полки. И в то же время, в силу какого-то здорового начала, заложенного в нем, он понял, что целый ряд повседневных вопросов его комиссар решал лучше и быстрее, чем он — командир. С молчаливого согласия Квасова по самым важнейшим делам шли не к нему, а к Горлинскому. На походе еще можно было с таким положением мириться, но не в бою, где от того или иного решения командира зависит не только успех столкновения, но и жизнь многих людей.

На походе Квасов, останавливая встречных селян, затевал с ними один и тот же диалог:

— С какого села?

— С Петропавловки.

— С Петропавловки? Отлично! А не помнишь с той войны меня, полковника Квасова? Стоял у вас с кирасирским полком!

Селяне с удивлением слушали чудака. Однажды среди них все же нашелся один, который узнал Квасова.

— А как же, признал! Тебя, Степку Квасова, помню, помню: состоял в денщиках у ротмистра князя Уварова. Недалеко от меня и квартировал — через одну хату.

После такого ответа, вмиг облетевшего всю колонну полка, Квасов не стал уже останавливать встречных.

Комбриг Сакулин, оставаясь при 5-м полку, организовал марш правой колонны, исходя из особенностей подчиненных ему частей. Вперед был послан дивизион Сероштана. Помимо разведки ему ставилась задача прорваться к штабу Ромера и разгромить его. Следом шел полк Чалышева, нацеливаясь на железнодорожную станцию. Квасов получил приказ: после захвата района казарм с 6-м полком вскочить вслед за разведчиками в город и отрезать противнику путь отхода на Каменец и Волочиск.

В балочке возле Гречан в засаду к казакам Балабана попал разъезд мазепинцев. Ничего не скрывая, они подтвердили все данные, добытые в Проскурове Гаманцом и Курочкой. Кое-что сообщили и новое, что также могло пригодиться атакующим.

У фигуры, где произошла памятная встреча лазутчиков с хорунжим Ушняком, Чалышев в сопровождении одной из батарей Гандзюка, свернув направо, взял

курс на станцию. Сероштан отклонился влево, к Гречанам.

Там, на возвышенности, где разветвлялись дороги, уже чувствовалось тревожное дыхание придавленного тяжелым мраком города. Казалось, что могучие глыбы тьмы завалили все входы в предместье. Кое-где, обозначая центр и его расплывчатые контуры, мерцали багровые огоньки. Доносились хриплые гудки маневровых паровозов, глухое грохотание обозов, переходящий в завывание тревожный лай городских собак. Проскуров не спал.

У Гречан, там, где в железнодорожное полотно упирался правый фланг херсонцев, вдруг запрыгали голубые светлячки и вслед за этим затрещали винтовки. А уговор был: без единого выстрела, навалом взять на ура. Как и следовало ожидать, подкрепляя ружейный огонь, застрекотал впереди пулемет.

Всадники, разомкнувшись в непроглядной тьме, потеряли друг друга из виду. Они только слышали вызванное необычностью обстановки тяжелое дыхание лошадей и звонкий шелест пересохшей гречихи под их копытами.

С головной, первой сотней разведчиков шел военком Квитень. Звуки неожиданной стрельбы заставили его насторожиться. Затяжной бой на любом участке мог привести к срыву задуманной операции и к лишним жертвам. Лишь решительный натиск обещал благополучный исход дела. Он обернулся в седле. Бросил отрывистую команду:

— В шашки, марш-марш!

Много времени прошло с тех пор, как он весь съежился, услышав звук первого выстрела. Отвык он и от мысли, что какая-то из пуль предназначена ему. Другое владело им в эти минуты атаки: он — комиссар.

Люди, ожидая от него многого, следили за ним, за каждым его движением, за каждым взмахом руки. И Квитень бросался в самые опасные места, не уступая в отваге смельчакам разведчикам.

Закусив удила, зло зафыркали нетерпеливые кони. Пуще зашелестели под их ногами сухие стебли дозревшей гречихи. Люди склонялись к гривам, стремясь еще крепче слиться с животными. Словно насыщенный тугой силой, вспыхнул и помчался по полям неукротимый ураган. Кто-то вскрикнул, падая вместе с конем.

Тяжело вздохнула земля. Тьма разинула необычно яркую, почти кровавую пасть. На один лишь короткий миг возникли очертания двух полевых орудий, людей, суетившихся у их лафетов. И вновь все окунулось в сплошной мрак. Кого-то сбила упругая грудь коня. Кого-то полоснула холодная сталь сабли. Ночь ответила отчаянным воплем:

— Панове, не рубайте, панове, я ваш!

Сдерживая горячих лошадей, спешились люди. В темноте трогали тела орудий, панорамы. Казаки прикладами дробили точные приборы наводки, камнями коверкали орудийные замки.

Истошные крики доносились и справа: со второй сотней разведчиков рвался к городу Серошган.

На востоке, там, где недавно сквозь пролом фронтовой линии ввалилась дивизия Шостака, чуть посветлело небо. На его широком фоне выступили смутные очертания проскуровских казарм. Недалеко от них, на еврейском кладбище, кипел пулеметный бой. Из-за каждого надгробного камня, преграждая путь спешенным казакам Квасова, вели огонь познанские стрелки.

А далеко, за громадами казарм, не давая всадникам Чалышева подойти к станции, тяжело вздыхая, загудели башенные орудия бронепоезда «От можа до можа». О нем лазутчики ничего не сообщили Шостаку. Генерал Ромер подтянул его вечером из-под Комаровец, где после тяжелых боев с полками 60-й дивизии свежим резервам с трудом удалось заделать брешь, сквозь которую проникли в армейский тыл червонные казаки Шостака.

Стремясь нанести из Староконстантинова фланговый удар по коннице Буденного, Ромер, обеспокоенный тревожными симптомами в собственном тылу, старался сделать все возможное для защиты Проскурова. Но у командарма, захваченного бредовой идеей покончить с Буденным, этих возможностей оставалось немного.

Сотня разведчиков во главе с Квитенем, бесшумно смяв прислугу орудий и петлюровское ее прикрытие, у Белгородских казарм напоролась на два ряда колючей проволоки. Заметив всадников, вывалили из казарм пленные красноармейцы. Тощие и оборванные, они радостно приветствовали освободителей.

— Куда же вы, куда? Не бросайте нас, товарищи!

Квитень с разведчиками по пешеходному мосту, на-

висшему над железнодорожным полотном, проник в город. Пилсудчики — солдаты и офицеры — открыли стрельбу из-за укрытий. Но Квитень, пренебрегая огнем, летел вперед. Тут почему-то он вспомнил ходячий афоризм одного эскадронного балагура: «Храбрость — это умение скрывать свою трусость».

Фаэтоны, экипажи, тачанки, крестьянские подводы, солдаты в одиночку и группками метались в предрассветном тумане. Выскакивали заспанные, обалделые денщики из сонных, затерявшихся в густых садах особняков.

— Казаки! — взвизгнула обезумевшая толпа.

Разведчики, подхватив это страшное для врагов слово, врезались в гущу толпы. Кавалеристы рвались к двухэтажному дому — штабу генерала Ромера.

Какой-то серожупанник, спасаясь на коне по тротуару, ухватился обеими руками за верхушку высокого забора. Высвободив ноги из стремян, сделал усилие, чтобы подтянуть грузное тело. С головы гайдамака свалилась шапка с длинным желтым шлыком.

— Здоров, хамло! — крикнул Гаманец, узнав в желтошлычнике начальника разъезда. — Слава мазепинцам! — прохрипел разведчик. Его клинок обрушился на бритую, с оселедцем голову и застрял в заборе. Тяжелое тело петлюровца рухнуло на тротуар.

В Заречье, за Бугом и его болотистой долиной, лихорадочно ладился один из армейских транспортов. Через единственный, довольно ветхий мост мчались из города к Заречью экипажи, повозки, одиночные всадники. Ушел, считая себя не предназначенным к уличным боям, мазепинский полк, подтягивая по крутому извозу свои растянувшиеся сотни. Эта еще не отрезанная дорога на местечко Николаев представляла собой единственную пока спасительную щель.

Но вот завозились под мостом, мелькая квадратными тульями конфедераток, подрывники. Умоляющие руки потянулись к офицеру-саперу. Мольбы беженцев оказались напрасными. Мощный взрыв потряс город. Взметы багрового пламени, озарив предместье, оградили транспорт от опасности. Полыхая зловещим огнем, закружились на улице факелы. И, вмиг охваченная со всех сторон пламенем, затрещала водяная мельница на Заречье. Четко выделялись на ее стенах агитационные плакаты с многообещающими призывами: «Войско

Речи Посполитой приносит покровительство и безопасность всем жителям Украины без различия класса, происхождения и религии». И другие.

Ночь вместе с мазепинцами в жутком зареве пожаров уходила за Буг.

17

Сотня разведчиков, торопясь выполнить задание, клинками прокладывала себе путь к штабу генерала Ромера. Улицы окраин и центра запрудили обозы. Возчики-обыватели, селяне многострадальной Подолии, понукали затертых колесами и вклинившимися в гущу обоза броневиками испуганных, отчаянно храпящих лошадей. Со всех сторон доносилось страшное слово «казаки».

Из штаба с карабинами на изготовку выскочили молоденький поручник-галлерчик, французский майор, усатый петлюровский пан сотник. Заметив разъяренных червонных казаков, уронили карабины и сквозь узкую калитку бывшего реального училища удрали во двор.

Следуя их примеру, двое часовых, стоявших у входа в штаб с французскими стальными шлемами на голове, бросили пост и кинулись в боковую улицу.

Из окон штаба лихорадочно застрочил пулемет. Балабан с «льюисом» в одной руке и с гранатой в другой влетел в помещение, дал очередь вдоль коридора. Квитень с Ганкой, ворвавшись в штаб, принялись ломать забаррикадированную дверь. Гаманец с Курочкой нырнули в подвальное помещение — царство пана Панчохи. Прикладами взломали двери. Выскочили в коридор заключенные, закрывая глаза от света. В одной из камер Гаманец нашел сотенного трубача. Избитого, ослабевшего от истязаний и голода Шурку он взвалил на плечо. Очутившись на улице, бросились во все стороны узники армейской дефензивы.

Курочка, выбежав на улицу, услышал крики:

— Скорей, броневик!

То шумели разведчики, занявшие подступы к реальному училищу, пока их товарищи хозяйничали внутри.

Гаманец окликнул Балабана, продолжавшего строчить по коридорам и многочисленным комнатам штаба. Разведчики, спасаясь от броневика, бросились наутек. Мимо ушей то и дело свистели пули. Казаки, огляды-

ваясь назад, махали руками, приветствуя спасенного сигналиста:

— Здоров, Херувимчик!

Из окна штаба раздался истошный крик:

— Панько, получай!

На этот зов обернулись почти все всадники сотни. Не только Курочка, услышав свое имя, задрал голову. Гаманец, увидев в окне знакомого — хорунжего Ушняка с перевязанным глазом, погрозил ему кулаком:

— Один глаз я тебе вышиб, готовь второй!

Одноглазый петлюровец, волнуясь, промахнулся. Пуля, предназначенная чабановскому батраку, сразила лошадь его соседа.

Сзади, не прекращая стрельбы, наседала бронемашина. Разведчики уходили от преследования сквозь гущу объятых паникой солдат и подводчиков. Прикрываемые с тыла пулеметным огнем Балабана, они, вырвавшись на простор, помчались галопом к пешеходному мостику, переброшенному через полотно железной дороги. Вот уже показались очертания его тонких перил. Вытянувшись гуськом, сотня, чувствуя на хвосте броневик, ринулась вперед. Со стороны Белгородских казарм, захваченных всадниками Квасова, полоснул пулемет. Почти прямым попаданием сразило лошадь военкома и Курочки. Налетая друг на друга, скучились на мосту разведчики, встреченные спереди пулеметами своих и подгоняемые сзади огнем бронемашины. Оставалось одно: прыгать вниз, на железнодорожное полотно. Но Гаманец с Шуркой на плече, подняв высоко руку с белым платком, вырвался вперед. Квасов, руководивший боем, заметил парламентера. «Едут сдаваться петлюровцы», — подумал комполка. Но Гаманец, подскочив к нему вплотную и наседая своим Буяном на коня Квасова, неистово ругался:

— Нашего комиссара чуть не срасходовал! Коня его срезал! Кабы моего Буяна, я бы тебе показал, Губернатор!

Квасов, ошеломленный обстановкой необычного боя в глубоком вражеском тылу, смешался. Он стоял среди своих людей без шапки, не помня и не зная, где он ее потерял.

— Черт вас понес! — оправдывался он. — Я думал — петлюровцы!

Квитень, успокоив разбушевавшегося Гаманца, проверил людей сотни. Все, кроме разведчицы Ганки, оказались налицо. Комиссар бросил тревожный взгляд в сторону мостика, за которым виднелись смутные очертания вражеского броневика. Ему казалось, что вот-вот из-за серой глыбы машины вынырнет тонкий стан разведчицы, неизвестно когда отставшей от своей сотни.

— Жаль девки! — послышалось из притихших рядов.

— Жаль товарища!

Минуту всадники стояли молча, пасмурно. Балабан, отделившись от строя, слез с коня, отдал его Курочке, а сам, спустившись по крутому откосу, бросился назад, в город.

Затихла ожесточенная канонада в районе станции. Бронепоезд «От можа до можа», двигаясь по дну глубокой выемки, лишенный возможности действовать из-за высоких откосов, отошел на Черный Остров. В разных концах захваченного города хлопали лишь одиночные выстрелы.

На Каменецком шоссе, у выхода из города, выполнив боевую задачу, собрался отряд Сакулина. Под хатами отдыхали спешенные сотни 6-го полка. У одной из высоких повозок, окрашенных в серо-зеленоватый цвет, выстроилась длинная очередь. Какой-то хозяйственник раздавал обмундирование. Протягивая казаку комплект новенькой голубой униформы, неизменно повторял:

— Получай подарок от самого пана Пилсудского!

Без шапки, потерянной в суматохе боя, шел, блуждая глазами, Квасов. Раскидав сотни по многим объектам и выпустив из рук нити управления, он уже не верил в то, что ему вновь удастся собрать свой полк. Вдруг из рядов спешенных казаков вырвался резкий, пронзительный свист. Кто-то крикнул:

— Сапожни-и-ик!

И вмиг заулюлюкали, засвистели все сотни 6-го полка.

Комбриг Сакулин, не сходя с шоссе, скомандовал:

— Смир-р-р-рно!

В наступившей тишине отчетливо зазвучал его твердый и спокойный голос:

— Товарищ Квасов, сдайте полк вашему комиссару товарищу Горлинскому.

Сотни присмирели. Они, очевидно, и сами не ожидали, что их недовольство Квасовым, продемонстрированное столь откровенно и простодушно, вызовет такую реакцию у командира бригады. И вмиг громогласно высказанное пренебрежение сменилось нескрываемой жалостью к свергнутому командиру.

Разведчики привели под уздцы лошадей генерала Ромера, доставшихся ему в 1918 году из конюшен немецкого генерала Макензена.

— Шостаку! Шостаку! — грянули казаки, увидев неспокойных, гарцевавших на месте золотистых красавцев.

— Ладно, товарищи! — усмехнулся Сакулин. — Были бы кони, а ездоков хоть отбавляй!

— А мы говорим — Шостаку! — загудела масса.

— Будет и Шостаку! — успокоил людей Рынва-Рынальский.

— Кто-то должен отбивать, а кто хочет — тот и распоряжается.

— А что, товарищи, если командарму Кухаревичу оставим одну лошадку? — задорно спросил комбриг.

— Командарму можно. Ему не жаль. Но только чтоб Шостаку обязательно.

Вернулся Балабан. Его сразу обступили разведчики.

— Эх, согласен потерять всю руку, — тужил командир взвода, зажав окровавленную кисть, — лишь бы найти Ганку. Нашел я ее коня с пятью ранами. Только хотел снять седло, а тут из окна кто-то как даст, и вот... — Балабан приподнял раненую руку.

Квитень, отвязав от ножен шашки индивидуальный пакет, собрался оказать взводному первую помощь. Но Перчик, расталкивая народ, вел за собой голубоглазого, в очках, рослого пленного с фельдшерской сумкой за плечами.

— Ну, пан, раз остался после такой каши живой, то лечи нашего взводного, — сказал Сероштан.

Робкая радость засветилась в голубых испуганных глазах пленного. Сбиваясь, он лихорадочно заговорил:

— Я верил, что останусь живой. Когда моя старушка мать отправляла меня из Познани на войну, она сказала: «Казимеж, дай слово, что не прольешь ничьей крови». Я то слово дал. Ну, верно, ее молитвы дошли до нашей матки боски, и я, Казимеж Вальтер, слава пану Езусу, остался живой.

Покончив с перевязкой, пленный фельдшер, подняв задумчивые, словно подернутые голубой эмалью, глаза, сказал, приветливо улыбаясь:

— Через неделю рука будет здорова.

Сероштан, обращаясь к пленному, спросил:

— На коне ездить умеешь?

Фельдшер утвердительно покачал головой.

— Тогда поедешь с нами. Будешь лечить наших казаков. Согласен?

— О, пан! — радостно ответил пленный. — А как же там? — Он повел рукой в ту сторону, где под сильной охраной толпились офицеры штаба Ромера.

— Это я улажу, — ответил командир дивизиона. — Ты только скажи, Казимир, почему у тебя фамилия не польская?

— Я, пан командир, чистокровный поляк. Только нас в Познани много лет старались онемечить. Отсюда и немецкие фамилии.

— А вы учились на фельдшера? — спросил пленного Квитень.

— Нет, — покачал головой познанец. — Кому-то надо перевязывать солдат, вот меня и назначили. Я музыкант и не терплю строя. Я воспитан на божественной музыке нашего великого Шопена, и мне трудно шагать под грубый барабан бывших прусских фельдфебелей...

— Ну раз не любите шагать под барабан, будете ездить под звон наших сабель, — усмехнулся Квитень.

Сакулин с Рынвой-Рынальским, следуя к Каменецкому шоссе, собирали одиночных всадников. Пришло время покидать город. У Черного Острова после выполнения задания должны были собраться все части дивизии.

Откуда-то до слуха комбрига донеслись частые пистолетные выстрелы. Хлопок следовал за хлопком.

— Слышите, товарищ комиссар? — спросил Сакулин Рынальского.

— Балуются наши казаки, товарищ комбриг!

Сакулин остановил коня. Напряг слух.

— Поедем! — бросил он комиссару и направился в ближайший переулок.

Рынальский последовал за командиром. Вскоре их глазам представилась страшная картина. В тени одного из развесистых кленов стояла, выстроившись в очередь, вереница легионеров. Торопясь, словно боясь опо-

здать, они по одному подходили к галлерчику-офицеру, прислонившемуся спиной к стволу клена, и подставляли висок под дуло его пистолета. Тут же следовал выстрел, и у ног палача падали трупы офицеров. Этих трупов уже валялось на траве много.

Рынальский, дав шпоры коню, выхватил клинок. Что было сил загремел на польском языке:

— Прекратить бойню!

Офицер, расстреливавший военных, вздрогнул. Вскинув револьвер, пустил себе пулю в висок.

— Что, это? Дефензива? — спросил комиссар, обращаясь к перепуганным, сбившимся в кучу офицерам.

— Нет, — ответил рыжеусый легионер. — Нам все одно смерть. Решили умереть по-офицерски. Тащили мы жребий, а вот этому, — указал он на самоубийцу, — выпало перестрелять всех нас. А ему последняя пуля.

— Какая же это офицерская смерть? — скривил губы Сакулин. — Подставлять голову, как бараны, под чужую пулю. Что, у вас нет своих пистолетов?

— У самих не поднималась рука, — промямлил легионер.

— Эх вы, вояки, — покачал головой Рынальский, пряча клинок в ножны. — Становитесь в строй! Марш вперед!

— Куда? — всполошились офицеры. — Будете нас рубать?

— Нет, панове офицеры, марш в плен. В плен к большевикам.

Где-то около тюрьмы, из которой только что выпустили заключенных, радостно гудела толпа. Но вот беспорядочно затрещали выстрелы, вдали замелькали силуэты всадников. С оглушительным треском вырвалась из боковой улицы грузовая машина и, круто развернувшись, понеслась по шоссе к переезду железной дороги.

С бортов грузовика стрекотали ручные пулеметы. Всадники сакулинской бригады и разведчики прижались к оградам и стенам пригородных хат.

Балабан вскинул пулемет. Скривившись от боли в руке, дал очередь и остановился: в кузове машины он узнал своего разведчика. Два офицера, завернув назад руки бойца, крепко держали его.

Ошеломив своим внезапным появлением кавалеристов, беглецы, воспользовавшись открытым переездом, перемахнули с машиной через железнодорожное полот-

но и, оставляя за собой густое облако пыли, умчались на Каменец-Подольский. Лишь этой небольшой группке штабников Ромера удалось вырваться из захваченного казаками Проскурова. А сам Ромер, теперь уже командарм без штаба, прилетев на самолете из-под Староконстантинова, где его ударная группа, нацеленная на Шепетовку, собиралась нанести удар по флангу 1-й Конной армии, покружил над городом и понял — в нем не все благополучно. Он пролетел низко над головами червонных казаков, оставлявших город и двигавшихся в направлении Черного Острова.

Одним из последних ушел из Проскурова Самойло. В городской роще он извлек из-под клена зарытую им накануне добычу. Теперь уже содержимое саквояжа переместилось в переметные сумы походного седла Гаманца.

18

Муками и слезами трудового народа Украины отмечен путь захватчиков и хлынувших вслед за ними на тучные долины Буга, Случи и Горыни бывших владельцев фольварков, винокуренных и сахарных заводов...

Не только бронепоезд «От можа до можа», но и десятки эшелонов с интендантским и боевым добром, отправленные из Проскурова на запад, выскользнув из-под удара Сакулина, были встречены отрядом Георгиева.

Георгиев, бросив в лобовую атаку две сотни, повел бригаду в обход Черного Острова и, не дав опомниться гарнизону, атаковал конно и пеше полк из резерва командарма Ромера, защищавшего местечко. Познанцы — самая стойкая пехота Пилсудского — не выдержали стремительного натиска червонных казаков.

Не желая уступить законного первенства бригаде Сакулина, прославившейся мессиоровским боем, казаки самой старой, 1-й бригады Червонного казачества поработали на славу. Сотни солдат, десятки офицеров, пять полковников и три генерала попали после этого боя в руки Георгиева.

Шостак, подписывая оперативный документ на атаку Черного Острова, на полях приказа сделал надпись карандашом: «Петя, покажи Пилсудскому, на что спо-

собно Червонное казачество». Комбриг Георгиев, читая эту короткую директиву начдива своим командирам полков Сидорчуку и Остапенко, знал: пожелание Шостака, переданное казакам, будет выполнено в точности.

Бывший шахтер из Бахмута, Сидорчук, отслуживший в царской кавалерии девять лет унтер-офицером, считался мастером кавалерийского боя, а Остапенко — барвенковский кузнец — лучше кого бы то ни было умел проводить пешие атаки. Оберегая полк от лишних потерь, он непрестанно внушал своим бойцам: «Самоокапуйся, хлопцы».

Остапенко различал три степени боеспособности части: морды коней выше холки — с полком можно идти на любое дело; морды выше лопаток — сотни могут провести еще две-три атаки в конном строю; морды ниже колен — часть годится только для пешего боя.

Под вечер искровая станция 8-й кавалерийской дивизии приняла приказ 14-й армии. Командарм благодарил червонных казаков за блестящее выполнение рейда и указывал Шостаку новую задачу: ударом от Черного Острова на Староконстантинов сорвать операцию ударной группы Ромера.

Уже в сумерки, когда отряд Сакулина, выполнив задачу по разгрому штаба и управления Ромера, подходил к Черному Острову со своим небольшим обозом, в котором находилось лишь минимальное число повозок с боеприпасами, ранеными и пленными офицерами (солдат отпустили, чтобы не загромождать колонну), все небо над местечком пылало.

Глухие взрывы снарядов и частый треск выстрелов, усиливаясь с каждой минутой, свидетельствовали о страшном разгроме ромеровских тылов.

На путях горело все добро интервентов — десять эшелонов обмундирования и два эшелона боеприпасов. Ни отправить куда-либо, ни взять с собой все это богатство дивизия, рейдировавшая по тылам противника, не могла. Оставалось одно — отдать все в жертву огню. Каждому было ясно, что, лишившись управления и потеряв основной источник питания, дивизии генерала Ромера, бросив укрепления на Случи и Буге, должны будут отойти на новый оборонительный рубеж. А таковым могла стать лишь линия старой пограничной реки Збруч.

Это вынужденное отступление спесивых захватчиков, начавшееся сразу, как только Ромер оценил силу разгрома, учиненного в его тылах, и возвращение Украине территории между бассейном Буга и Збруча явились неоспоримой заслугой конной дивизии Шостака.

После тяжелого ночного марша разведывательный дивизион Сероштана расположился на ночлег в деревушке Михеринцы у большака Черный Остров — Купель. Где-то позади, в двадцати — тридцати километрах, после напряженных боевых трудов отдыхала вся дивизия. Набираясь сил для новых дел, червонные казаки могли ждать неприятностей лишь с востока и с севера, со стороны отступавших колонн интервентов. На север по приказу штаба дивизии Сероштан двинул целый веер разъездов, а подступы с востока защищали дозоры от 2-й бригады Творожникова, находившейся все время в резерве.

Первые сведения об отходящих с фронта неприятельских силах поступили от разъездов 2-й бригады, заночевавшей в Ставчинцах. Комбриг Творожников, прочитав донесение, разбудил комиссара.

— Вот, Савва Заха'ович! — забрюзжал комбриг, уставившись выпученными глазами на комиссара. — Кто-то зава'ил кашу, а нам п'идется ее 'асхлебывать. П'оску'ов, Че'ный Ост'ов — это пустяки, а вот как навалится на нас дивизия познанцев, и косточек своих не собе'ем.

— Без паники, командир, — ответил Степанина, подымаясь с пола. — Вели играть сбор. Пойдем им навстречу.

Комбриг, в офицерской защитной фуражке, с вдавленным по моде козырьком, с головкой лошади, вмонтированной в серебристую подковку на околыше — звезды Творожников не носил, — натянув лайковые перчатки и взяв тонкий стек, с которым он, как бывший лейбгвардии гусар, никогда не расставался, вышел на улицу. На ходу напевал любимую песенку:

А там, чуть подняв занавеску,
Лишь па'а голубеньких глаз
Искала с'еди уходивших
Виновника милых п'оказ...

По сигналу быстро собрались у штаба полки: 3-й — Фостецкого и 4-й — Карачая. Но не пришлось им идти

навстречу противнику. Новый посыльный от разъезда сообщил, что глуховская бригада «сечевиков» идет в полном составе, чтобы сдаться Шостаку.

На всякий случай, по совету комиссара, Творожников вывел полки за село. Выставил пулеметы, направив их стволы на большак, откуда уже доносились глухие голоса людей и грохот большого обоза.

Вскоре в сопровождении начальника разъезда появилась группа чужих всадников. Один из них, очевидно старший, приблизился к крайней хате, возле которой, верхами на конях, стоял Творожников со своим штабом.

— Нам нужен Шостак!..— с волнением в голосе, сбиваясь, начал было старший.

— А зачем он вам? — спросил спокойно Степанина.

— Глуховская бригада из армии Петлюры пришла сдаться. Наши люди постановили умереть здесь, на Украине, а не идти снова на чужбину. Думаем, что Шостак не обидит своих земляков, и мы хотим с оружием в руках искупить свою вину.

— Давно пора было взяться за ум, — ответил петлюровцу комиссар. — А вот если насчет землячества, то я для вас больше земляк, чем наш начальник дивизии.

— Что, вы глуховские?

— Работал я и на шахтах в Донбассе, трудился и в самом Глухове. Был даже первым советским министром финансов Глуховской республики.

— Так вы Степанина, Савва Захарович! — захлебываясь от радости, воскликнул петлюровец, надвигаясь со своим конем на комиссара. — Я вас знаю хорошо.

— Меня глуховские все знают, — продолжал комиссар.

— Я еще мальчиком был, — перебил Степанину его собеседник, — бегал к Народному дому, где вас судили за бунт крестьян. Это было в тысяча девятьсот шестом году.

— Ну ладно! — остановил петлюровца комиссар.— Время идет. Вот что! — повернулся он к Творожникову. — Двиньте третий полк в село, за ним пойдут «сечевики», а следом — четвертый полк. А вас попросим,— обратился к петлюровцу комиссар, — как придете в село, сложите все оружие на площади. Знаете, у нас закон такой: ночью мы не верим никому. Вашим людям придется переночевать в церкви. А там кому что понравится. Верующие могут помолиться, очиститься от

всех грехов и утром с чистой совестью повести с нами деловой разговор. Давайте командуйте! — строго приказал комиссар, обращаясь и к комбригу, и к петлюровцу. — Да, — продолжал он, — ваши люди голодные?

— С утра борща похлебали...

— Ладно, накормим.

Через час бригада Творожникова уже снова отдыхала на своих местах. Земляки комиссара, сложив оружие в кучу, послушно направились вместе со своими начальниками на ночевку в церковь. Староста села, вызванный комиссаром, без особых колебаний взялся накормить перебежчиков.

Степанина, скинув сапоги, лег на охапку соломы посреди хаты. Творожников не раздевался, нервничал.

— На что нам эта обуза? — брюзжал он, обращаясь к комиссару. — Це'ковь не тю'ьма, 'ешеток там нет. Выбе'утся оттуда голово'езы, схватят свое о'ужие и пе'ебьют нас, как ку'опаток. Давайте лучше, Савва Заха'ович, выведем их по десяткам и по'убаем. Или подкатим к це'кви пулемет. Сам команда'м возле Кома'овец гово'ил: не давать никому пощады. Пусть, суки, надолго запомнят клинки че'вонных казаков. Мы их пожалеем, а та це'ковь сыг'ает 'оль т'оянского коня.

— А что то за конь такой? — спросил комиссар.

— Д'евние г'еки, видя свое бессилие п'отив Т'ои, со'о'удили де'евянного коня и подвезли его к во'отам к'епости. Т'оянцы затащили его к себе, 'адуясь удаче. А тем в'еменем г'еки, выб'авшись из б'юха коня, отк'ыли во'ота и впустили в к'епость своих.

Степанина рассмеялся.

— Ложился бы ты лучше спать, комбриг. Завтра дел будет много. А ты морочишь голову и себе, и мне какими-то троянцами. История не всегда повторяется. И плох тот командир, который каждый жизненный случай подводит под исторический факт. Историю знать — это не плохо, но поступать надо, полагаясь на здравый смысл. А здравый смысл давно мне говорит: нельзя зря проливать человеческую кровь. Вот ты, комбриг, знаю, в царскую войну воевал много. Подвергал жизнь опасности. Десятки раз могли тебя убить. Но это не то, когда ты сидишь под расстрелом и каждую минуту ждешь смерти, как баран, как курица, бессильная что-либо сделать для своего спасения. В бою надежда ни

на минуту не покидает тебя, а в камере смерти человек делается мертвым до того, как его расстреляли.

— Но вы же, Савва Заха'ович, вык'утились из каме'ы сме'тников.

— Это случайность, которая бывает раз в сто лет. Три раза, вечер за вечером, являлись черниговские тюремщики со списком забирать людей на казнь. При фонаре глядят в список, как дойдут до моей фамилии, читают: «Степанов». А я молчу. Там хоть и значилось «Степанина», а они полагали, что это какая-то ошибка, и все читали: «Степанов». Так было, пока Щорс не наскочил на Чернигов и освободил не меня одного, а многих смертников.

Творожников, не раздеваясь, опустился на постель рядом со своим комиссаром.

19

Разведчики дивизии, заняв Михеринцы, расположились по хатам, клуням и сеновалам.

Тридцать часов в седле, ночной бой в Проскурове и тяжелый марш в изнурительное июльское пекло до крайней степени измотали людей и животных.

Полевые караулы и сторожевые посты чутко охраняли все подступы к деревне. Далеко впереди, раскинувшись широким веером, шли на поиски противника боевые разъезды. Воодушевленные неожиданным появлением своих, деревенских парней, захватив дробовики, бросились на шляхи и проселки гонять обозы, тыловые части, одиночных солдат противника.

Сероштана всю ночь будили посыльные от разъездов. Командир дивизиона, завернувшись в мохнатую кавказскую бурку, спал на сене позади одной из деревенских клунь. Рядом с ним, натянув на голову шинель, похрапывал комиссар дивизиона Квитень.

Задолго до рассвета завозились у печей бабы. Накануне, как только узнали во всадниках долгожданных освободителей, извлекли из сокровенных тайников пожелтевшее от времени сало, свернутые кольцами домашние колбасы, яйца. Но даже славившийся на весь дивизион своим аппетитом Панас Бунчук, отказавшись от угощения, сразу же завалился спать.

Зато после короткой ночи поднялся он чуть свет, потревоженный соблазнительными ароматами утренней

стряпни. Стряпали, пекли блины, жарили пироги и пидпалыки во всех хатах деревни.

Предвкушая удовольствие, Бунчук, чтобы скоротать время до завтрака, засучив рукава, приступил к мойке штабной тачанки. В связи с неожиданным исчезновением Черноуса Сероштан сделал его ездовым. Бунчук нетерпеливо поглядывал на порог хаты, ожидая появления радушной хозяйки. В рейдах питание бойцов зависело от настроения местных жителей, так как в обозах, кроме боеприпасов и раненых, ничего не возили.

Отмывая с большим рвением грязь с колес тачанки, Бунчук больше всего опасался одного — выступления по тревоге. Прощай тогда блины, сало, колбаса и румяные пидпалыки.

Не раз, особенно в 1919 году, когда появился этот головорез Шкуро, вареники, приготовленные для красных солдат, доставались шкуровцам. Мысли голодного ездового были заняты одним — картиной предстоящего завтрака. Передряги вчерашнего дня, опасности будущих схваток, колонны врага, которые вот-вот могут навалиться на дивизию, — все казалось пустяком, недостойной внимания мелочью в сравнении с интересной работой, которая предстояла за утренним столом. Хотя хозяйка, как это понял Бунчук, решила тряхнуть своим искусством, но и он удивит кое-кого. В Проскурове, несмотря на строгий запрет загружать тачанку, он спрятал под сиденье брошенное каким-то пилсудчиком-интендантом добро — несколько банок консервов, коробку с сигарами. По этикеткам он легко распознал, где находилась свинина, где сгущенное молоко. Но вот некоторые банки с выведенным на них непонятным словом «сасао» озадачили его.

Прервав сладкие мечтания ездового, во двор со звоном и скрипом вкатился неуклюжий желтый, запряженный гнедой парой, допотопный тарантас. Окружив его со всех сторон, на приставших, покрытых засохшим потом конях плелись трое разведчиков.

Бунчук с мокрой тряпкой в руке подскочил к спавшему Квитеню. Начал его тормошить:

— Товарищ комиссар! Вставайте, не зевайте. Пожаловал до нас в гости дядя Андрей и с ним бочка дочерей. Тетя Ульяха, а на ней модная бляха.

Утомленные тяжелой дорогой, выбрались из экипажа его пассажиры—розовый пухлячок, одетый в чесу-

човый пиджак, круглолицая, с двойным подбородком, пожилая женщина и худенькая, бледная от страха девушка-подросток.

— А вы, мамзель? — зло спросил Гаманец, обращаясь к молодой черноглазой женщине, оставшейся в тарантасе.

— Мне и здесь неплохо, — непринужденно ответила черноглазая.

Вскинув длинные ресницы, мамзель приветливо улыбнулась, обнажив при этом белоснежный набор точеных зубов. Играя веселыми ямочками щек и пухлого подбородка, вызывающе смотрела в суровые глаза разведчика.

Подошел Сероштан, осмотрел с головы до ног странных гостей. Встретившись взглядом с черноглазой, смутился, расчесал пятерней взбившуюся шевелюру, погладил рукой давно не бритые щеки, стряхнул приставшие к брюкам стебельки сена.

Дозорные Курочка и Перчик рассказали, как тарантас, избегая дорог, по лощинам и перелескам пробирался на местечко Базалия. Заметив издали дозорных, розовый пухлячок стал вовсю нахлестывать своих рослых, кормленых коней. Но от бешеной скачки по ухабам и кочковатой, неезженой целине сломалось дышло, и начавшие уже было сдавать разведчики настигли тарантас.

— То, что вы убегали в Польшу, — ясно. Давайте не будем об этом говорить. Кто вы? — спросил, оправляя гимнастерку, Квитень.

— Я приказчик пана Сангушко. Сжальтесь, я бедный служащий. Тут со мной жена, дочь... Я всегда был за бедных...

Бунчук, подморгнув приказчику, с притворным сочувствием простонал:

— За бедных страдаю, по три дня голодаю.

Откуда-то донесся глухой, изобличающий голос:

— Не обманывай, пан графский приказчик. А кто тыкал в морду хлопов? Кто называл их пся крев?

Приказчик смутился. Его розовое лицо побелело. Бойцы обернулись, желая увидеть разоблачителя.

— Да это конь балакае, на хозяина хрякае! — рассмеялся ловкий чревовещатель Бунчук. Казалось, что голос в самом деле шел оттуда, где стоял тарантас.

— Довольно чудить! — оборвал ездового комиссар.— Видишь, у человека душа давно в пятки стучится.

Разведчики, поражаясь искусству Бунчука, хлопали его дружно по плечу:

— От черт!

— Э, брат, с таким талантом ты не один кусок сала отхватишь!

— У тебя, Панас, в животе не кишки, а богатство!

— Кишка не кишка, а кормит сподтишка, — самодовольно улыбнулся рыжий. — На день хватает, а там опять гукну, и играет.

Сероштан, увидев раз черноглазую, почувствовал, что его так и тянуло взглянуть на нее еще и еще. Слушая доклад дозорных, он, как бы невзначай, поглядывал в сторону тарантаса.

— Обыскать! — указал Квитень на панского приказчика.

Строгий голос комиссара переполошил в тарантасе мамзель.

— Я у них служу. Учу русскому и польскому языку вот эту девушку,— заговорила она. — Они не буржуи. Бриллиантов у них нет...

Услышав спокойный, грудной голос учительницы, еще больше побледнела супруга приказчика.

— Мы за бриллиантами не охотимся, — презрительно посмотрев на учительницу, ответил Квитень, — нас интересует совсем другое.

Ничего у пассажиров тарантаса не нашли. Гаманец, молча следивший за всем, долго и пристально всматривался в шляхтича, его жену, дочь и учительницу. Мягко, как кошка, подошел к девушке-подростку.

— Извольте, барышенька, вашу книжечку.

Толстая книга — это была старинная библия в кожаном переплете, с медными застежками — выпала из задрожавших рук девушки.

— Ничего, не клопочитесь! — Самойло, нагнувшись, поднял книгу. Щелкнул застежками. Между пожелтевшими листками священного писания лежали новенькие, шуршащие сотенные-катеринки и пятисотки. Шляхта, приветствуя распад царской России, свято чтила ассигнации русских царей.

Приказчик протянул руки:

— Пощадите, господа!

— А ты ручалась! — с издевкой посмотрел Гаманец на черноглазую.

— Ну и что ж? Подумаешь — размалеванные бумажки! Кому они теперь нужны! — презрительно надула она пухлые губки. — Я, учительница, и то не согласилась бы их получать за свой труд!

Бунчук, сделав выразительный жест вдоль своей гимнастерки, щелкнул языком:

— Ничего себе! Формальная учительница!

Продолжая листать библию, Гаманец обнаружил в ней и чужеземные банкноты: марки, кроны.

— Мусор! — пренебрежительно скривил рот разведчик. Запустив в карман руку, он достал пригоршню синеватых марок и широким жестом раскидал их по двору.

Квитень, взяв из рук Гаманца библию, протянул ее девушке. Приказчица, скрестив на груди руки, поблагодарила комиссара.

— Это шо же, товарищ комиссар, получается? — обиделся Гаманец. — Мы насилу их сцапали, коней позагоняли, а вы им все вертаете?

— Ну не хватало еще обдирать простых людей! — сурово одернул разведчика Квитень. — Скажите, — повернулся к розовому пухлячку комиссар, — зачем вы уходили в Польшу?

Осмелевший подпанок, жалобно взглянув на своих домочадцев, робко ответил:

— Нам говорили, же большевици режут всех дочиста. А особенно, говорят, какие-то шостаковцы стариков, детей и тех не щадят.

— Мы и есть шостаковцы! — с гордостью заявил Серошган.

— Вот как! — восхищенно посмотрела на него черноглазая.

— Да-да, девушка! И мы воюем только против польской шляхты, но не против польского народа.

— О! Вы настоящие рыцари! — продолжала восхищаться учительница, откровенно любуясь мужественной осанкой командира.

— Значит, вы нас отпустите? — наконец заговорила пожилая пани, обращаясь к комиссару.

— Что нет, то нет, уважаемая. Мы вас доставим туда, откуда вы бежали. Вот-вот созреет урожай на земле графа Сангушко. А без хозяйского глаза,— Квитень по-

смотрел на приказчика, — дело будет хромать на обе ноги.

— Касаемо же лошадок, — Сероштан с видом знатока бросил взгляд на упряжку тарантаса, — кони, очевидно, не ваша собственность? — спросил он приказчика.

— Что вы, пан комендант! Брони бог. Это из майонтков графа, — стал отмахиваться приказчик.

— Я так и думал, — подбоченился командир дивизиона. — Так вот, Перчик, Курочка! — обратился он к разведчикам. — Разрешаю вам сделать обмен. Отдайте пану приказчику своих лошадей, а себе подседлайте графских. Они, видать, и покрепче, и посвежее ваших. А встретим пана Сангушко, мы его отблагодарим...

Разведчики тут же принялись за дело. Ловко распрягли тарантас и, неся высоко над головой свои тяжелые от походной выкладки седла, опустили их на гибкие спины графских коней.

— А ты плакался, Гаманец. — Сероштан любовался свежим конским пополнением. — Получилось, что хлопцы не зря гонялись за тарантасом. — Тут командир пристально посмотрел на учительницу и красноречивым взглядом постарался выразить то, что он не мог сказать словами.

Сероштан, направившись к клуне, вскоре вернулся с лихо заломленной папахой на голове. Велел Бунчуку тащить горячей воды для бритья. Дал какие-то распоряжения писарю. Спросил, не поступало ли приказаний из штаба дивизии. Он проявлял усиленную деятельность. Несколько рисуясь, Сероштан покрикивал, распоряжался, подчеркивая всем, чем только мог, что он здесь старший.

Во двор, оборванный, небритый, в разбитых сапогах, больше похожий на бродягу, нежели на красноармейца, вошел Черноус.

— Насилу вас нашел, — снял он рваный картуз. Вытер мокрый от пота длинный чуб.

Подошел Балабан. Строго посмотрел на покрытое синяками и густой пылью лицо ездового.

— А знаешь, хлопче, спас ты целый грузовик гадов. Я только навел свой «льюис» на них. Гляжу, ты в середке. Думаю: не пропадать же нашему человеку из-за этой нечисти.

— Совершенно правильно, товарищ взводный! —

приободрился Черноус. — На грузовике были все больше штатские чины, и увозили они меня под сильным присмотром.

— Как же ты попал к ним в лапы? — спросил Сероштан. — Ты же оставался в тачанке.

— Видите ли, товарищ командир дивизиона! — Черноус твердо уставился немигающим взглядом на своего начальника.—Я давно просил Шлемку сварить треснувший ключ. А ему нет времени. В Проскурове мы ехали мимо кузни. Я спрятал тачанку за углом, отдал вожжи штабному писарю, а сам в кузню. А тут, как на грех, тот самый грузовик. Один петлюровец с перевязанным глазом как заметил мою папаху с красным дном, остановил машину и дулом загнал меня в кузов.

Разведчики, толпясь вокруг Черноуса, внимательно слушали рассказ о его злоключениях. До того ничем не отличавшийся штабной ездовой сразу сделался героем дня. Гаманец, подтолкнув локтем Курочку, сказал:

— А не твой ли то земляк, Панько, одноглазый Ушняк — мой крестник?

— Самый он и есть. — Черноус утвердительно закачал головой. — Остроносенький. Он, Самойло, спрашивал про тебя, говорил: «Второго глаза лишусь, а того рябого змея из-под самой земли добуду». И меня заради того сцапал. Чтобы я, значит, разъяснил, где и в какой части ты служишь и откуда ты сам есть.

— Ну что же? — спросил Квитень. — Так они тебя и отпустили?

— Та где там! Думал, повек мне не вырваться.

— А все же как тебе удалось уйти от них?

— Видите, — широко улыбаясь, отвечал Черноус,— вышла целая рахуба! До самого Ружичного грузовик летел как скаженный. А там показалась речушка Волк. Только остался позади мосток, машина начала тормозить, а потом и вовсе стала. Остановилась аккурат возле опрокинутого автомобиля, а возле него куча порубленных. Вылезли офицеры, давай рассматривать их. А Ушняк все возле меня. Видим, один штабник, седой полковник, наклонился над кучей и говорит: «А этот самый и есть американский генерал Биверлинг».

— Верно говоришь, — подтвердил Сероштан.— Казаки первого полка перехватили машину с американскими офицерами. Но они отказались сдаться, отстреливались. Их и порубили.

— Вот-вот! — продолжал Черноус свой рассказ.— Погрузились все обратно на машину и поехали. Дорогой ругали красных. Говорили, что за этих самых порубленных офицеров Америка разорвет большевиков на шматки. Въехали мы в лесок. Тот самый полковник, что узнал американцев, и говорит: «Ну что же, панове, не мешает где-нибудь стать на привальчик и выпить по стаканчику за чудесное избавление от красных разбойников». Только он это сказал, а тут как дернет машину! Мы все повалились. Встали. Смотрим: поперек дороги канат, а концы его привязаны к деревьям. Грузовик только загазовал назад, а тут как пошли чесать из винтовок! Не то наши люди, не то партизаны. Ну все, кто в машине, посыпались из нее, как горох. И мой Ушняк выскочил из нее самый первый. Офицеры давай себе строчить из ручных пулеметов. А я сторонкой, сторонкой—и обратно на Ружичное. Там сменял папаху вот на этот картуз. И давай чесать вслед за вами, еле догнал.

— Ну валяй на тачанку! Ты, видать, намаялся, парень! — Сероштан хлопнул по плечу ездового. — И старайся больше в такие передряги не лезть.

Тем временем подпанок, пыхтя и тяжело отдуваясь, старательно собирал по двору раскиданные Гаманцом денежные купюры. Рябой, пренебрежительно усмехаясь, окликнул панского приказчика:

— Эй ты, панок! Зря мучаешь себя: шо растерял ворохами, не соберешь крохами.

20

Сероштан все время поглядывал на черноглазую. Она, приветливо улыбаясь, спустила с тарантаса одну, а затем другую ногу. Став на землю, расправила несколько широкие для женщины плечи. Со своей горделивой осанкой и чуть откинутым назад станом она еще больше влекла к себе. Сероштан застыл на месте, не сводя с нее глаз.

Взметнув ресницы, она спросила:

— Что вы так смотрите на меня, пан комендант?

Сероштан ответил почти полушепотом:

— Смотрю на вас и завидую вашей ученице.— Он бросил взгляд на дочь приказчика: — Она счастливее меня...

— А чем?

— У меня таких учительниц не было.

— Вы, пан комендант, не только рыцарь, но и льстивый кавалер, — прищурила глаза женщина.

С бледным, в кровоподтеках лицом, с трубой за плечами вышел из хаты сигналист Шурка.

— Товарищ командир, хозяйка зовет завтракать.

— Ладно, сейчас приду.

— Не сейчас, а сразу, потому блины остынут.

— Пошли с нами! — пригласил черноглазую Сероштан.

— Нет, — покачала она головой. — Я закушу со своими.

— А мы для вас совсем чужие? — спросил командир.

— Пока... не свои и не чужие.

Сигналист, склонив голову, уставился на незнакомую женщину.

— Ты что смотришь волчонком? — спросила учительница.—И кто это, бедняжка, так тебя разукрасил? — Она протянула свою тонкую, белую руку, желая погладить мальчика.

Шурка отшатнулся. Повзрослев сразу на несколько лет после испытаний в армейской дефензиве, он считал для себя, как для мужчины, недостойным отвечать на сочувствие случайного человека, тем более чужой женщины. Еще больше нахмурившись, недружелюбно огрызнулся:

— Нашелся у панов такой художник. Пан Панчоха!

— Кто, кто? — вырвалось у учительницы.

— Я говорю, пан Панчоха, зверюка-контрразведчик. Попадется он мне, — Шурка сжал свои кулачки, — я его разрисую не так! Его своя жена не узнает!

— А ты бравый паренек, — усмехнулась черноглазая, небрежным движением стерев выступивший на лбу пот.

С порога зашумела хозяйка, приглашая к завтраку. Бунчук, передав Черноусу штабную тачанку со всем ее хозяйством, захватив из-под сиденья банки с консервами, подошел к Сероштану:

— Товарищ командир! Сегодня у нас завтрак охвицерский. Кроме блинов и пидпалыков вот, — боец высоко поднял зажатые в руке банки с консервами, — сгущенное молоко, тушенка и сасао.

— Чудак! — улыбнулся Сероштан. — Это не сасао, а какао.

— А тут понаписано, — изумился разведчик, поднося к глазам командира одну из коричневых банок.

— Написано не по-нашему, и читается это слово «какао»!

— Cacao! Оригинально! — Черноглазая пассажирка тарантаса своим звонким смехом все больше волновала Сероштана, забывшего и о еде, и о многом другом.

Понемногу суматоха на штабном дворе унялась. Разведчики разбрелись по деревне. После сытного завтрака — деревенские хозяйки постарались на славу — тяжелый сон снова сковал усталых людей. У дивизионного штандарта, выставленного вблизи калитки, словно загипнотизированный, ходил взад и вперед постовой. Квитень со своим ординарцем отправился проверять полевые караулы и секреты. Кругом стояла грозная тишина. За деревней тихо перешептывались высокие колосья дозревавших хлебов. Не верилось, что огромная территория в несколько тысяч квадратных километров кишела вооруженными полчищами, готовыми истребить и стереть друг друга с лица земли.

Пан приказчик, подзакусив со своими в тени тарантаса, как не ведающее печали дитя, там же безмятежно заснул, оглашая штабной двор густым храпом. Рядом с ним клевали носом его супруга и дочь. Только учительница ходила по узеньким тропинкам сада, что-то напевая под нос.

Разведчики в каждой михеринецкой хате чувствовали себя, как у тещи в гостях: так радушно их принимали. Не повезло только Гаманцу, назначенному вместе с Шуркой-трубачом на постой к пышнотелой, гвардейского сложения молодухе.

Приняла она постояльцев весьма холодно. В сенях бросила на пол охапку соломы для спанья, а на стол швырнула несколько позеленевших сухарей, сказав при этом:

— Лопайте, москали.

— Хлеб да вода — солдатская еда,— усмехнулся рябой.

Гаманцу, с его способностью бесконечно точить лясы, за любым столом нашлось бы место и сытый кусок, но он решил проучить жадную молодуху, муж которой — подхорунжий — служил у Петлюры.

Разведчик не сомневался в том, что именно по этой причине так сухо принимала его михеринчанка. Но

сельские кумушки, шушукаясь по углам, утверждали, что молодуха этим хотела подчеркнуть недовольство своими не совсем удачными квартирантами, из которых один был рябой, а другой — малолетка.

Это подтверждалось и тем, что хозяйка Гаманца, остановив у своих ворот взводного, задорно к нему обратилась:

— Зачем же ты, усатенький, дал мне аж двух москалей?

— Что, они требуют «яйки и млеко»?

— Чего нет, того нет, а просто забрал бы ты их от меня на другую фатеру, а сам переходи до меня, тебя, чернявенького, я не обижу...

— Ты и моих хлопцев не обижай, — смеясь, погрозился ей Балабан, — а то рассержусь.

— А я тебя не боюсь! — ответила молодуха, тряхнув плечами. — Видел,— показала она ему спину,— чувал в пять пудов для меня пустячок. Знаешь, как меня зовут в Михеринцах? «Гвардии Палажка»!

Как-то, войдя без стука в горницу, Гаманец, не снимая папахи, стал посреди помещения и, положив на ладонь компас, позаимствованный на время у взводного, стал вертеться на одном месте, что-то нашептывая.

— Ну как, дядя Самойло, — спросил Шурка, приоткрыв дверь,— швындрюкает?

— Эге, — ответил Гаманец, — клюнуло. Еще секунда, и все получится в аккурат.

Хозяйка, сев на кровать и прислонившись своей могучей спиной к высокой горе подушек, внимательно следила за таинственными манипуляциями постояльца. Наконец не выдержала:

— Что ты, москаль, крутишься посередь моей хаты, как сорока около кости?

— Э, хозяюшка, — глубокомысленно ответил разведчик, — тут вопрос очень, очень сурьезный.

— Какой такой вопрос? — допытывалась молодуха.

— Видишь ли, из города Одесты прислали срочный пакет. Пишут, шо здесь, в Михеринцах, есть обязательно закопанная кадушка с салом. Так вот ту кадушку надо знайти и, в том числе, на еропланте отослать до Одесты, потому там люди уже неделю сидят не емши. Вот я и шукаю то самое сало.

— Раз закопано, — усмехнулась молодуха,— то, считай, дело пропащее, не найдешь ее, москаль, сроду.

— Тю, тю, — уничтожающе посмотрел на хозяйку казак, — подойди сюда ближе, не бойся, не укушу, видишь, вот в этой механике, — указал он на компас, — магнет телепенькается туды и сюды. Вот он до тех пор будет телепенькаться, пока не надыбает сало. И вот этим синим концом упрется в аккурат туды, где та бочка захована.

— А что оно за механика? — все еще недоверчиво глядя, спросила молодуха. —Что-то у нас про нее и не слышно было...

— О, то заграманичная штука. Называется конпас-дромпас. Это по-ихнему, а по-нашему, по-простому, — салокоп. Он способен откапывать сало, где бы оно ни было. Слыхала, за Одестою есть заграманичная республика Колдования, вот те колдованцы и сколдовали этот конпас-дромпас и его до нас предоставили вместе с тем срочным пакетом.

— Вот так штука! — вздохнула глубоко хозяйка.

— Знаешь, — продолжал разведчик, — этот магнет не то шо на кадушку с салом, а если где хоть какой-либо шматочек свинины лежит или, допустим, самодельная колбаса со свиной начинкой — обязательно туды повернется. Вот сейчас я трохи покачал машинку, и магнет уже начинает склоняться на то самое место, где у тебя висит овчина в сенях... Да-вай-те про-ве-рим. — Разведчик сделал шаг к порогу.

— Стой, товарищ, — всполошилась хозяйка, — не ходи. Там окорочек... прошлогодний...

— Ну это еще не все. — Повысив голос, Гаманец обратился к Шурке, ждавшему у дверей: — Сбегай в штаб до командира дивизиона, пусть они срочно дадут конпас-дромпас номер два.

— А что то за конпас-дромпас номер два? — с возраставшим волнением спросила хозяйка.

— То специальный самогонокоп. Те бедовые колдованцы, в том числе, и такой струмент придумали, — с серьезным видом продолжал разведчик. — И как находят самогону больше четверти, хозяина берут на цугундер, потому как кулаки, заместо того шобы сдавать хлеб Советской власти, переводят его на самогон, а то и просто кабанцов им кормят. Ну, Шурка, марш до командира, тащи конпас-дромпас номер два! — крикнул штаб-трубачу Гаманец.

— Постой, хлопчику! — дрогнувшим голосом остано-

вила его хозяйка. — Не ходи никуды. Ступай в хату. Сядьте, хлопцы, за стол, — засуетилась молодуха. — Сначала давайте я вас покормлю, а потом, — боязливо посмотрев на компас, лукаво подмигнула разведчику, — может, у соседки разживусь для вас чего-нибудь крепенького до сала... А вы б позвали до стола вашего усатенького командира...

— Насчет крепенького — отставить! — скомандовал Самойло. — По этой части у нас строго. А вот, Пелагея батьковна, — начал умасливать хозяйку разведчик, — соленой капустки бы, да погуще окропить ее конопляным, а то и льняным маслицем. Как поем этой прелести, будто дома в отпуску побывал.

— Конопляного у меня не водится, — засуетилась Пелагея, — а подсолнечного трошечки для вас раскопаю. Ну а касаемо усатого как? — настаивала на своем молодуха.

— Касаемо того самого усатого ты не нажимай, — вполголоса сказал Гаманец. — Вижу, глаза у тебя подходящие, а можешь и без них оказаться. Есть тут среди нас же одна...

— Ну?

— Эге, — покачал головой разведчик, — только давай капусту поживей, хозяйка, пока конпас на всю катущку не расшвындрюется...

После этого михеринецкие хозяева наперебой звали к себе в гости хитрого разведчика, желая узнать от него самого, как он проучил жадную подхорунжиху.

Сероштан, свежевыбритый, начищенный, с сияющим глянцем сапог, направился в сад. Приблизившись к учительнице, зашагал с ней рядом. Между ними завязалась непринужденная беседа. Они говорили о войне, о ее тяготах, об отваге, о мире, которого, по словам черноглазой, жаждали все.

— На Збруче вы, наверное, остановитесь? — спросила женщина. — Там же старая граница.

— Кто его знает! — ответил Сероштан. — Наши все время предлагают мириться, а Пилсудский артачится. Как бы не пришлось подписывать мир в Варшаве.

— Ах, все равно где! — вздохнула глубоко женщина. — Лишь бы мир. Людям осточертела война.

Словно из-под ног, выросла клуня. После зноя, который давал себя чувствовать и в саду, сумрак клуни обещал успокоительную прохладу. Не останавливаясь,

собеседники переступили порог. Направились на ворох давно уже утоптанного кем-то сена. Присели. Сероштан начал гладить холодную, податливую руку женщины. Приблизил свое пылающее лицо к ее шее, к тому самому месту, где черные как смоль кудри переходили в забавные завитушки.

Тишина нарушалась лишь сухим шелестом пахучего сена. Пыльная паутина с жирным пауком в центре колыхалась под самым куполом клуни.

Разговор оборвался... Через несколько минут Сероштан сладко похрапывал. Шапка его с красным верхом, скатившись с головы, лежала на земле.

Гладко выбритое, без единой морщинки, спокойное лицо свидетельствовало о том, что Федор доволен и своими делами, и своими успехами.

Лицо Софьи — так она назвалась командиру дивизиона — пылало. Она подумала: только необъяснимая, безмерная страсть могла ее бросить в объятия первого встречного. Но постепенно возбуждение ее улеглось. Отодвинувшись от спящего разведчика подальше, на самый край умятого вороха, она, с мелкими былинками сена во взбитых волосах, смотрела похолодевшим, злым взглядом в одну точку.

В эту минуту она забыла о своих спутниках, о своей ученице, о Сероштане и обо всем, что его окружало. Ее мысли витали далеко, где-то там, за Збручем. Тень, промелькнувшая в дальнем углу клуни, вернула ее к действительности. Софья, заметив постороннего, сразу хотела было вскрикнуть, но сдержалась.

Гаманец, подбодренный звучным храпом командира, издали поманил к себе женщину. Не понимая еще, для чего ее зовут, Софья, стараясь не разбудить спящего, тихонько поднялась и, ступая на носки, подошла к разведчику. Вид казака объяснил ей многое: он стоял перед ней с бледным лицом и горящими глазами. Ее большие глаза засверкали, как у зверька, ждущего нападения.

Разведчик достал из кармана марки. Женщина с презрением посмотрела на них. Пачка новеньких катеринок, извлеченная бойцом из-за голенища, произвела не большее впечатление. Поглядывая блуждающим взглядом то на спящего командира, то на презрительное лицо Софьи, Гаманец вытащил из-за пазухи грязный, пропитанный потом небольшой узелок. Раздвинув двумя пальцами края узелка, поднес его к глазам жен-

щины. Но блеск золотых колец и брошек не произвел на нее никакого впечатления. Это озадачило Гаманца.

— Знаю, не много тебе перепало от нашего командира, — зашептал он, смерив с головы до ног неуступчивую женщину, — а я тебя озолочу. Какая тебе разница — одним меньше, одним больше?! Не думай, и ты у него, — кивнул он в сторону Сероштана, — не первая и не последняя. На! — протянул он Софье узелок, пытаясь схватить ее за талию.

— Брось, ла́йдак! Сейчас же разбужу командира! — Софья сделала шаг назад.

— Ну и тормоши. Шо ты ему — жена? Таких, как ты, у него тысячи. До тебя у него была одна — Христя. Кукла не хуже тебя. Сами к нему липнут. На, возьми!— Гаманец извлек из узелка золотую, с литым массивным сфинксо́м брошь, доставшуюся ему вместе с проскуровским саквояжем.— Будет тебе на память от казака Гаманца. Знай, я щедрее тебя.

— Откуда она у вас... эта бро́шь?— побледнела женщина.

Словно опасаясь, что казак раздумает, руку с зажатой в ней брошью Софья отвела за спину.

— Откудова? Бери и не спрашивай. У Гаманца есть и не такое. Зря ломаешься. У меня полные кобура царских десяток. А за Збруч пойдем —я весь буду золотой.

— Ну тогда, — как-то сразу подобрела женщина,— другой разговор. Только вряд ли мы встретимся: нас отвезут в наше село, а вы за Збруч вряд ли пойдете.

— Скажешь! Много вы, бабы, соображаете. Говорю — пойдем за Збруч, значит, так и будет.

Софья оглянулась, отошла от спящего подальше.

— Ну если вам дан приказ, тогда другое дело, — тихо сказала она.

— Какой там приказ! Есть кое-что покрепче приказа — солдатский голос! — осклабился Гаманец, отчего побелели красноватые рябинки на его лице. — Раз солдатский голос загудел — это, значит, вернее верного, бывать нам за Збручем. Ну шо, согласна? — Разведчик вновь протянул руку к ее талии.

— Уйди, а то в самом деле крикну. — Софья, опасаясь, что казак потребует свою брошь, отступила назад.

— Эх, вы! — зло выругался Гаманец, сверкнув взглядом в сторону Сероштана. — Лучшие бабы и те

вам! Шо говорить, — сокрушался разведчик, — какая-то подхорунжиха и та нос воротит!

Ткнув за пазуху грязный узелок, разведчик не торопясь покинул клуню. Софья, вернувшись к умятому вороху, словно собираясь молиться, обессиленная, опустилась на колени. Разжав ладонь, жадно всматривалась в золотого сфинкса.

Вот она, реликвия предков, вновь непостижимыми путями вернулась к ней. Но как и когда она попала в руки рябому чудовищу? Может, это подделка? Но нет, у лап сфинкса две латинские буквы — инициалы прабабки, совпадавшие с ее собственными инициалами. Нет сомнений — это подлинник. В семье держалось поверье: брошь охраняла ее хозяйку от бед и напастей. По настоянию мужа, отправляясь в путь, она оставила ее дома. Но пану Езусу чудным его промыслом угодно было передать ей реликвию для защиты от зла. А это зло окружало ее теперь со всех сторон. Спасет ли ее сфинкс-хранитель? Софья трижды перекрестилась. Ее уста, греховно соприкасавшиеся с одним из носителей зла, сейчас набожно шептали:

— О пан Езус, о матка боска Ченстоховска.

Софья села и, обхватив руками колени, устремила взгляд в дальний угол клуни. Позади нее зашуршало сено. Софья вздрогнула. Сероштан, приподнявшись на руках, широко раскрытыми глазами осмотрелся вокруг. Он так крепко спал, что, проснувшись, в первый миг не мог понять, где он находится. Высокая, чуть согнутая спина женщины напомнила ему обо всем.

Командир положил свою ладонь на круглое колено Софьи. Она, не размыкая рук, повернулась. Ее вмиг потеплевший взгляд встретился с озорным взором Сероштана.

— Софья, а Софья? Мне все это приснилось?

— К сожалению, нет, — покачала головой черноглазая.

— А ты разве жалеешь о случившемся?

— Для нас, женщин, такие вещи не проходят бесследно. Вы, мужчины, и не чувствуете, как мы вместе с телом отдаем вам и свое сердце, и оно уже нам не принадлежит. Не то, что вы. Добились своего, и все. Сегодня — я, завтра — другая.

— Почему только сегодня? — поглаживая шевелюру, ухмыльнулся Сероштан самодовольно. — Я не прочь,

чтобы и дальше быть с тобой... Только с тобой. И мне кажется, что не только меня потянуло к тебе... но и ты...

— Да, милый, — перебила его нетерпеливо Софья, произнеся последнее слово «мивый». — Не знаю, известно ли тебе, но бывают такие встречи, когда чувствуешь себя покоренной до того, как мужчина обнаружил свое намерение покорить тебя... Я не только не думала сопротивляться, но и была бы обижена, если б оказалась для тебя безразличной.

— Скажи, Софья, ты замужем? — Сероштан нетерпеливо сжал колено женщины.

Софья отрицательно покачала головой.

— Но у тебя муж был!

— Нет, милый, это не был муж. Я одна из многих жертв войны. Мне тогда было семнадцать лет. Что я понимала? Наши места вот уже шесть лет являются театром военных действий. В каждый дом непрошенно вваливаются толпы оторванных от семей мужчин. Шорох любой, даже самой грязной, юбки волнует их. Что уж говорить о невинных, чистых существах, попадающихся им на глаза. Я знаю, у вас в армии насчет этого строго. Расстреливают насильников. А мы видели царских казаков, венгерских гусар, галицийских «сечевиков», петлюровских черношлычников, легионеров Галлера. Их много, всех не пересчитаешь.

— Кто же тебя обидел, Софья? — Сероштан ревниво взглянул на ее возбужденное лицо.

— Повторяю, мне едва исполнилось семнадцать лет. Только перешла в восьмой класс гимназии. Меня околпачил баварский лейтенант из Мюнхена. Хорошо еще, что так обошлось. Мог появиться на свет рыжеголовый баварчик. Но поверь мне, милый, кроме отвращения, я ничего не ощущала...

Сероштан, вздрогнув, привлек к себе черноглазую. Он посмотрел на ее тонкую белую руку, и перед его взором возникла другая рука, та, что так наивно и свято благословляла его в Чабанах. Он вспомнил Христину, не такую, как Софья, красноречивую, но не менее ласковую. На миг даже что-то вроде угрызения совести потревожило сознание Сероштана. Но он ясно себе представлял, что если Христина, которой он обещал вернуться на обратном пути, недолго оставалась в его сердце, то эту, черноглазую, он долго не сможет забыть.

— Я тебя никому не уступлю! — решительно заявил Сероштан.

— Это от нас меньше всего зависит, — ответила Софья.

— Почему?

— Обстоятельства! Не забудь — война.

— Ну что ж, война. Она скоро кончится. Адрес твой известен. Я тебя обязательно найду.

— Поживем — увидим, — усмехнулась Софья. — Скажи, милый, а кто это у вас Гаманец? — вспомнив о броши со сфинксом, спросила она.

— Это тот, что задержал ваш тарантас?

Женщина утвердительно кивнула.

— О, это наш самый отчаянный казак, — ответил с гордостью командир. — Только в одном его можно упрекнуть — бывший махновец. Знаешь, что это значит?

— Знаю, — улыбнулась Софья. — Махно — батько анархии.

У входа кто-то загремел шпорами. Софья, встрепенувшись, отодвинулась. Федор встал, пошел к выходу. Взял из рук посыльного пакет. Прочтя его, Сероштан некоторое время стоял в раздумье. Вернулся к Софье, привлек ее к себе.

Обняв руками шею Федора, Софья прочла содержание бумаги: «12-я дивизия Пилсудского пробивается через Михеринцы, Лютаровку на запад. 2-й бригаде Творожникова и дивизиону Сероштана, разведывая противника, немедленно присоединиться к основным силам. Иметь в виду, что части 14-й армии, стараясь опередить пилсудчиков на Збруче, могут появиться в зоне действий нашей дивизии».

— Ну теперь, Софья, прощай, — сказал Сероштан, целуя ее, — иди к своим. Пусть готовятся. Через полчаса выступаем.

21

Солнце нещадно било в глаза. Дело шло к полудню. Пышные сады деревушки потянули к себе изнемогавших от жары людей. Суматоха, внезапно возникшая на окраине села, охватила в несколько минут всю стоянку разведывательного дивизиона.

— Легионцы, познанчики! — загалдели громкие голоса.

Залп из нескольких пушек ударил совсем близко, и сразу же на леваде, взметая огненно-черные фонтаны земли, разорвались снаряды. Залп следовал за залпом. Стреляли прямой наводкой и беглым огнем.

Сероштан, вскочив в седло, громко скомандовал:

— По коням!

Шурка, верхом на коне, оглашал и без того шумные улицы высокими нотами сигнала «Тревоги»:

> Тревогу трубят, скорей седлай коня
> И без суеты оружье оправь, себя осмотри,
> Тихо на сборное место веди коня,
> Стой смирно и приказа жди!..

Но и без команды Сероштана и сигналов штаб-трубача разведчики, торопясь, громоздили седла на горячие спины лошадей и, едва лишь вдев ногу в стремя, мчались карьером на север, где находилась единственная переправа через болотистую пойму Случи.

Балабан, с ребристым кожухом пулемета на коленях, вместе со своими людьми бросился в противоположную сторону. Ему по приказу командира предстояло прикрывать отход дивизиона.

Сероштан, стараясь вырваться из западни без лишних потерь, бросившись на одну из боковых улиц, успел крикнуть Софье:

— Скорей в бричку! Не отставай! Держись за штабной тачанкой.

— Постараюсь! — с грустью посмотрела на него Софья. — Не забывай адреса.

Сероштан, не удовольствовавшись этим распоряжением, велел Черноусу оставить тачанку писарю, а самому перейти на тарантас:

— Смотри, козаче, за эту женщину ты отвечаешь головой.

У ветхого моста через узенькую реку Случь Квитень успокаивал обезумевших от скачки и страха людей. Комиссар с горечью подумал: «Неужто это те самые воины, которые в долине этой же невзрачной речушки, чуть повыше, у Мессиоровки, несколько дней назад в яростной атаке искрошили батальон захватчиков?»

За рекой, в километре от деревушки, отчетливо вырисовываясь на фоне ясного неба, извиваясь и растяги-

ваясь, текла бесконечная голубая колонна. Над ней, уносимая ветром на восток, стлалась тяжелая масса пыли.

К этой густой мутной пелене, вылетая из пушечных стволов, примешивалось сизоватое пороховое облако. Батареи, не маскируясь, не прячась, дерзко расположились на бугре. Под заслоном артиллерийского огня, отделившись от колонны и подминая под себя вымахавшую по плечи густую пшеницу, бросились к деревушке густые цепи познанцев. На вымершей окраине, спешившись, ждал их Ларион Балабан со своими людьми.

По тесным улицам деревни, через ее бревенчатые мостики, неслись в беспорядке, застигнутые неожиданным нападением, ополоумевшие всадники. Потеряв лошадей, согнувшись, словно от этого они становились менее уязвимыми, бежали в страхе разведчики. Опираясь плечом о тын, с трудом передвигался земляк Курочки Юрко Дубенко, поддерживая рукой окровавленный бок.

Очищая дорогу для наступавших познанцев, разнося все в щепы, пачками рвались снаряды на улицах села.

Сероштан с недавно полученным приказом в руке, пренебрегая артиллерийскими разрывами, носился по селу, торопя разведчиков. Мимо него, потеряв свои отделения и взводы, бесконечно нахлестывая коней, летели в беспорядке всадники. Иные неистово вопили:

— Стой, стой! Остановись!—а сами продолжали скакать, еще больше раздувая панику.

Трещала, разлетаясь в куски среди рвущихся снарядов, объятая дымом и огнем церковь. Повозки, тачанки, патронные двуколки, полузапряженные, с поломанными дышлами метались по пылающим улицам, усиливая хаос.

Охваченная ужасом беспорядочная толпа с криком устремилась инстинктивно на север, к Лютаровке, где, отбиваясь от наседавших колонн противника, сражались другие части красной конницы. Каждый знал, что нагрянувшую опасность надо встретить не разрозненными единицами, а скопом. К северу от Лютаровки, на скалистом бугре с отдельными чахлыми деревцами, появилась группа всадников. Один из них, с красным полотнищем штандарта на тонком древке пики, не стоял на месте. Значкового штаба дивизии легко можно

было узнать по его рослому белому коню. С макушки бугра, как с пожарной вышки, открывался широкий вид на все поле. Шостак, бледный, с плотно сжатыми губами, не отдавал ни команд, ни приказаний.

Две бригады — четыре полка, изготовившиеся к движению на север, к Староконстантинову, чтобы уцепиться в хвост ударной группе Ромера, — находились невдалеке, задержанные тревожными донесениями о приближении неприятельских сил. Разведчики Сероштана отходили под натиском одной из колонн. Другие вот-вот навалятся на ядро дивизии. А 2-я бригада, потревоженная ночью неожиданными гостями, там, в Ставчинцах, отрезана от основных сил вот этой навалившейся на Сероштана колонной.

Зарядные ящики Гандзюка опустошены. В недавних боях казаки израсходовали почти весь свой запас патронов. Кони после многодневных боев и длительных переходов до крайности изнурены. При таком положении нельзя давать открытый бой этим завинченным дисциплиной и страхом крепким батальонам познанцев.

Прежде всего надо, чтобы каждый почувствовал свое собственное сердце, ощутил нерушимое единство боевого организма — сотни, полка, всей дивизии, вернул бы утерянный в пылу бегства наступательный дух, осознал бы свою силу — грозную силу Червонного казачества.

И действительно, заметив на бугре Шостака в черной кавказской бурке и яркое полотнище дивизионного штандарта, кавалеристы начали переходить с галопа на рысь. Одиночные всадники, раскиданные по всему полю, потянулись один к другому. Разрозненные ураганным огнем неприятельских пушек взводы и сотни группировались на ходу.

Все чаще и чаще, совершая лихой разворот, останавливались пулеметные тачанки, встречая дерзких легионеров свинцовым ливнем. Спешенные кавалеристы, с седлами на спинах, пошли увереннней, не спотыкаясь. Артиллерийский унос, опомнившись, галопом полетел назад, к Михеринцам, чтобы зацепить брошенную в панике пушку.

Суматоха прекратилась. Краска радости вспыхнула на бледном лице начдива. Он вновь ощутил четкий ритм боевого организма. Еще полчаса назад он послал своих адъютантов на поиски Сероштана, готовя безжалостный разнос командиру разведчиков, проморгавшему налет

познанцев. Пусть противник, движимый храбростью отчаяния, тешится мимолетной удачей. Сейчас, когда почти вся дивизия в сборе, пусть и без боеприпасов, нет нужды предаваться унынию. Вера в свои силы — лучшая гарантия успеха. За три года беспрерывных боев дивизия попадала и не в такие переплеты.

Неуверенность в командире 2-й бригады — только это тревожило начдива. Правда, он не сомневался в том, что любой промах Творожникова будет сбалансирован вмешательством Саввы Захаровича Степанины и благоразумием командиров полков — Фостецкого и Карачая. Надо было опасаться одного: отрезанный от дивизии комбриг — слепой раб устаревших доктрин, — попав в сложную обстановку боя, выпустит из рук нити управления и тем самым даст возможность врагу диктовать свою волю...

Ни один из трех ординарцев, посланных штабом дивизии в Ставчинцы к Творожникову, еще не вернулся. Все они словно канули в воду.

Шостак, зная, что это сопряжено с большим риском, направил в Ставчинцы через район, занятый противником, начальника штаба Нежинского. Только он, ближайший помощник Шостака, появившись в бригаде, отрезанной врагом, мог поднять дух ее всадников и именем начдива воздействовать на Творожникова — их командира.

Стараясь не отстать от кавалеристов, Черноус гнал вовсю стриженых, ходивших ранее под седлом лошадей. Вражеские снаряды то и дело падали вокруг, и казалось, вот-вот они накроют своими разрывами скачущий по целине тарантас. Жена приказчика, съежившись и дрожа, неистово крестилась и непрерывно шептала молитвы:

— О пан Езус, матка боска!

Сам пухлячок, попав в неожиданную перепалку и больше всего опасаясь за жизнь дочери, заставил ее лечь на дно тарантаса. Софья, все время оглядываясь по сторонам, ни на минуту не теряла присутствия духа. Имея при себе амулет, она твердо верила в свою неуязвимость.

Черноус, проскочив луг, направил белых от мыла лошадей в лощину, скрытую от взоров неприятельских

наблюдателей. Переведя упряжку на шаг, снял свой мятый, добытый в Ружичном в обмен на папаху картузик. Вытер рукавом вспотевший лоб. В лощине, удаляясь от опасности, передвигались отдельные всадники, повозки. Черноус, словно стараясь поддержать дух своих пассажиров, запел вполголоса:

Ой чи пан, чи пропав,
Двічі не вмирати...

Исполнив этот отрывок, ездовой умолк, а через несколько минут возобновил его снова. Софья, сославшись на тесноту в тарантасе, перебралась на облучок к Черноусу. С четверть часа сидела молча, вслушиваясь в бесконечно повторяемые им начальные слова песни:

Ой чи пан, чи пропав,
Двічі не вмирати...

Во время одной из пауз она прошептала, не глядя на своего соседа:

Ні за що не пропадеш,
Будеш, будеш паном...

Черноус искоса посмотрел на женщину. Слегка прижав к ней локоть, прошептал:

— «Куда летят журавли?»

— «Они летят туда, где могут петь свои журавлиные песни!»

— Пани Зося! Наконец-то,—радостно прошептал Черноус. — «Сфинкс-хранитель» велел вам передать: все остается без изменений. Старайтесь зацепить кого-нибудь из штаба дивизии. Во всем я ваш.

Софья зловеще улыбнулась. Сквозь зубы процедила:

— Не придется мне, верно, гнаться за журавлем в небе, раз синица сама лезет в руки.

— Сероштан тоже не последняя скрипка в капелле Шостака. Начало у вас, пани Зося, совсем не плохое, — многозначительно прошептал ездовой.

— Вы, Черноус, — подчеркнуто произнесла эту фамилию Софья, — ничего не видите и ничего не знаете. Запомните это навсегда!

— Вам известно, пани Зося, что такое надгробный камень? Так вот, надгробный камень — это я. Да, — продолжал ездовой, — в Проскурове кто-то из мазепинцев украл клетчатый саквояж. О нем «сфинкс-хранитель» жалеет больше всего.

— Пусть не жалеет,—ответила равнодушно Софья,— то, что теряем сегодня, мы неожиданно находим завтра. Кстати, Черноус, кто этот казак, что раскрыл секрет библии? Его зовут Гаманец.

— Это как раз один из тех, кто ходил на разведку в Проскуров. Он окалечил нашего хорунжего Ушняка. Да, «сфинкс-хранитель» не может себе простить промаха с этим сопляком Шуркой.

— Это тот... лицо в синяках?

— Да, над ним перестарались. Но...

— Или недостарались! — зло отрезала Софья, вспомнив, как неприветливо отнесся к ней трубач дивизиона.

22

В это время Нежинский, сопровождаемый конвоем из пяти всадников, объезжал рощицами и лощинами выдвинутые далеко в стороны походные заставы познанцев. Проскочив десяток километров, круто свернул на запад и направился на звуки пулеметной и артиллерийской стрельбы. Ожидая на каждом шагу западни, Нежинский глубже надвинул папаху. Обычно он ее носил на самой макушке, обнажая свой высокий, чистый лоб.

Еще издали на опушке одной из рощиц он заметил приземистую фигуру командира 3-го полка Фостецкого. С ним, рудокопом Домбровского бассейна, бывшим царским унтер-офицером, уроженцем Калишской губернии, Нежинский крепко сдружился осенью 1918 года в районе Почепа. Здесь они оба, готовясь к освободительному походу на Украину, командовали батальонами украинских повстанцев. Вскоре они попали в кавалерийский полк. Нежинский — сподвижник Шостака по дореволюционному подполью — возглавил штаб той войсковой части, а Фостецкий, став сначала во главе сотни, через год уже командовал полком.

Домбровский шахтер берег каждого бойца, каждую лошадь. Всякий свой шаг, вновь полученную задачу десятки раз обдумывал. Там, где горячий Никонов, его коллега по бригаде, летел галопом, Иван Фортунатович передвигался шагом. Выслушивая упреки начальства, Фостецкий, доставая наградные, с тяжелой цепью серебряные часы, полученные еще в старой армии, широко расставленными зелеными глазами смотрел на циферблат и невозмутимо отвечал:

— Время работает на нас, Анатолий Маркович. Поспешишь — людей насмешишь.

Фостецкий сумел завоевать любовь своих подчиненных, но в дивизии его за чрезмерную медлительность какой-то знаток древнеримской истории окрестил «великим кунктатором».

Зная особенности «великого кунктатора», Шостак никогда не посылал 3-й полк туда, где нужно было потрясти врага стремительной атакой. Зато в пешем бою с питомцами Фостецкого могли соревноваться лишь стойкие воины Пантелеймона Остапенко.

Нежинский, заметив друга, пришпорил коня. Глубже надвинул папаху на разгоряченный лоб. Дал знак ординарцам следовать за ним. Но казаки, проделав длинный и рискованный путь по району, наводненному вражескими силами, заметив издали знакомую фигуру командира 3-го полка, и без команды начштаба подняли своих коней в галоп.

Отделившись от опушки, вдоль которой гарцевал на своем вороном Фостецкий, неслись уже навстречу Нежинскому всадники. Не зная еще, с кем им придется иметь дело, с курками на взводе остановились вдали. Узнав начальника штаба дивизии, помчались с докладом к командиру полка.

Фостецкий, зло вращая большими, широко расставленными зелеными глазами, обрушился на посланца Шостака:

— Чтоб вас черт забрал! Со вчерашнего вечера гоним в штаб дивизии разъезд за разъездом. А их будто корова языком. Хоть бы сами догадались наведаться, пока нас тут паны не слопали вместе с требухой...

— Спокойствие, спокойствие, Иван Фортунатович, — стал унимать Нежинский командира полка. — Я сам едва к вам пробрался.

— Хорошо тебе говорить, дорогой наш Сеня, «спокойствие». А тут такая сила валит! Знаешь, какие у меня потери?

— Один убитый, два раненых? — Наштадив уставился черными глазами на «великого кунктатора». Не ожидая ответа, спрыгнул с коня. Бросив поводья ординарцу, развернул на коленях планшет с картой. Что-то соображая, сдвинул папаху на самый затылок.

— Тоже скажешь! — забрюзжал Иван Фортунато-

вич. — За весь рейд в полку нет таких потерь. А вот в этом бою пока одну лошадку подшибли.

— Я так и знал, — ответил Нежинский. — Поэтому и застряли здесь с бригадой. Самому пришлось лететь сюда. Где Творожников, где Степанина, где четвертый полк?

— Хорошо тебе говорить «застряли», — начал сдавать Фостецкий, — бригада, можно сказать, попалась в капкан. Спереди — пáны, позади — атамáны.

— Что это значит? — оторвался от карты Нежинский.

— А то значит, что давеча приняли на свою голову целую бригаду гайдамаков. Как раз сейчас комбриг с комиссаром возятся там с ними, в деревне.

В каком-нибудь километре от опушки, где происходило это объяснение, на волнистом поле, золотом от поспевшей пшеницы, развертывался бой между голубыми цепями легионеров и спешенными всадниками 3-го полка. Жаркие вспышки пулеметных очередей то били частой трелью пневматических молотков, то вдруг замирали. Трещали одиночные выстрелы. А там, дальше, за линией боя, над пологим бугром, по которому проходил старый казацкий тракт, висели зловеще-черные клубы пыли. Одна из колонн 12-й пехотной дивизии легионеров прокладывала себе путь на Купель.

Нежинский, вскочив снова в седло, бросился по узкой лесной тропке в Ставчинцы, где находился штаб и 4-й полк 2-й бригады. Фостецкому не стал давать никаких указаний, хорошо зная, что «великий кунктатор» не станет бросаться в сумасбродные конные атаки против стойкой пехоты, но зато и не позволит познанцам сдвинуть себя с места.

Навстречу Нежинскому неслись ординарцы, повозки с армейским добром. Чувствовалось, что бригада Творожникова, придя в движение, покидала или собиралась покинуть место стоянки. В селе, куда на разгоряченном коне влетел Нежинский, все кипело. Подымая пыль, мчались по улицам всадники. На площади развернутым фронтом строились конные сотни. Там же, о чем-то оживленно беседуя, суетилось и бригадное начальство. Заметив начальника штаба дивизии, Творожников со Степаниной бросились ему навстречу.

— Вон, слышите, — едва поздоровавшись и выбросив руку в сторону церкви, сказал, сбиваясь, комбриг. — Наж'ались сала и тут же п'инялись за свои гайдамацкие

песни. Как у тещи на именинах. Я гово'ю, давайте к це'кви подкатим пулемет, 'аск'оем святые во'ота и в'аз покончим с этой язвой. Я п'едлагал это самое Степанине, Савве Заха'овичу. А он упе'ся, не желает. Гово'ит: это люди, не ба'аны.

— И правильно говорит ваш комиссар, — насупившись, перебил комбрига Нежинский.

— Ну тогда смот'ите, уда'ят эти негодяи нам в спину. Это же такой на'од. Чей ве'х — они к тому и липнут. Увидели: мы бьем панов — б'осились к нам. А сейчас паны лезут со всех сто'он, они и пойдут за ними.

Из церкви, стоявшей неподалеку, глухо доносилась веселая песня. Сильные молодые голоса дружно выводили:

Ой чи пан, чи пропав,
Двічі не вмирати...

— И впрямь как у тещи на именинах, — улыбнулся, задорно блестя глазами, Нежинский. — Давайте зовите ко мне их начальство! — приказал наштадив и двинул коня по направлению к церковной ограде.

— А знаете, — сказал улыбаясь комиссар бригады Степанина, — ловко, сволочи, поют. До чего ж нравится мне эта мелодия. Чудесная песня. Только жаль, что петлюровцы сделали ее своим гимном. По ней сейчас и узнаем желтоблакитников. А как разобьем Петлюру, я первый буду за то, чтоб эту песню включили в наш большевистский репертуар. — Военком бригады высказавшись, замурлыкал:

Ой чи пан, чи пропав,
Двічі не вмирати,
Ой нумо, хлопці-і-і, до зброї...

— Смотри, Савва Захарович, — Нежинский положил руку на гриву комиссарова коня, — не завербовал ли тебя атаман Петлюра?

— Я, товарищ наштадив, завербованный с тысяча девятьсот пятого года...

Степанина, спешившись, направился к церкви. В ожидании петлюровских старшин, за которыми и пошел комиссар, слезли с коней и Нежинский с командиром бригады.

Творожников, нервно похлопывая своим щегольским стеком по левой ладони, сам не свой, брюзжал без конца:

— Загнали мы злого духа в бутылку, пусть там и сидит. Я стою на своем: или поджечь це'ковь, или же подкатить пулемет. Они тоже ушлые, знают, что мы в мешке. Подумают о своей гайдамацкой шку'е и уда'ят нам в спину. У нас пат'онташи пусты, в за'ядных ящиках — кукиш...

— Вам жизнь дорога? — спросил комбрига Нежинский.

— Какой может быть 'азгово'? 'азумеется! Потому я так и хлопочу.

— Ну так знайте, товарищ Творожников, нам всем дорога жизнь, и мы, безусловно, не желаем стать жертвой панской ярости. Вот поэтому то, что предлагаете вы, как раз и не подходит.

— Ладно, канительтесь с этим петлю'овским сб'одом подольше, и паны пе'ебьют нас, как ку'опаток.

— Слишком вы переоцениваете панов. И им не сладко. Быть может — нет, не быть может, а наверное, — им горше, нежели нам. У Шепетовки — Буденный, в районе Проскурова — на путях отхода — Шостак. С фронта жмут сорок пятая и шестидесятая дивизии. С сорок пятой идут Якир и Котовский, с шестидесятой — Сережа Недбайло со своим кавалерийским полком. Кстати, полезно вам знать, полк Недбайлы являлся когда-то гордостью Петлюры, а сейчас наши враги боятся его как огня. Поговаривают, что Недбайло представлен ко второму ордену Красного Знамени. Учтите: это не какой-нибудь рядовой гайдамак, он в прошлом — краса петлюровской старшины.

На взмыленном коне, вздымая тучу пыли, подскочил к Творожникову ординарец.

— Что случилось? — спросил взволнованный бригадный.

— Пан жмет до нет сил. Иван Хвортунатович велели передать, чтоб слали подмогу. И патроны у казаков кончаются. У нас в полку большие потери. Аж три раненых.

Как и командир полка, все кавалеристы с болью переживали каждую утрату. Убыль даже одного бойца рассматривалась всеми как страшная катастрофа.

— Пусть держится! — приказал Нежинский, выслушав доклад ординарца. — Сейчас все будем там.

От церкви, сопровождаемые Степаниной и дежурным по бригаде, шли двое петлюровских старшин: один —

щупленький, тот, что накануне сдал бригаду, а другой — высокий, широкоплечий, с глубоким шрамом на лице. Кожа пораженной щеки, сморщившись, потянула и веко, обнажив глазное яблоко. Исполин-старшина походил на циклопа.

Нежинский пошел им навстречу. Протянул руку. Щупленький, здороваясь, представился:

— Хорунжий Цимбал, здравствуйте, товарищ Нежинский. Я вас знаю по Чернигову, а вот их, — кивнул он в сторону Степанины,— по Глухову.

— Очень приятно. О Чернигове поговорим после, а сейчас есть более важные дела.

— Слушаем вас.

— Говорю вам прямо и честно. Говорю от имени командира Червонного казачества — Шостака, члена Украинского правительства. Наша дивизия своим Проскуровским рейдом заставила врага отступить. Но враг еще очень силен. Валит он к границе сплошными колоннами. Часть из них вклинилась в наше расположение. Вторая бригада, вот где вы находитесь, отрезана от основных сил дивизии. Нам надо пробиться к Купелю. Готовы ли ваши люди кровью искупить свою вину перед Родиной? Учтите, ваша заслуга будет тем более оценена, что мы сейчас без снарядов и вообще без боеприпасов. — Нежинский бросил взгляд на Творожникова, посылавшего ему предостерегающие знаки: очевидно, комбриг подумал, что Нежинский слишком уж раскрывает перед не проверенным еще союзником карты Шостака.

— Я за хлопцев ручаюсь, — бойко ответил щупленький хорунжий. — Может, они еще и не совсем любят вас, но Пилсудского до смерти ненавидят. Только без оружия мы ж никуда не способны.

По приказу Нежинского дежурный бегом бросился к церкви. Через несколько минут в широко распахнутые святые ворота хлынула возбужденная толпа и начала разбирать винтовки, сложенные накануне у церковной ограды. Гайдамаки, клацая затворами, тут же строились по сотням и куреням.

— Смотрите же,—Нежинский снова подал руку старшинам, — ждем от вас настоящего дела. Знаете, как говорится: больше дела, меньше слов!

Наштадив развернул карту. Стал объяснять боевую задачу. Цимбал захлопал глазами и, смущаясь, пробормотал:

— Видите ли, я только хорунжий. Меня хлопцы поставили за начальника, так как я их убедил сдаться. А вот они, — указал он на «циклопа», — пан Хустка, это кадровый капитан. Они поведут в бой бригаду.

— Что, тоже из Глухова? — спросил Степанина.

— Нет, — покачал головой «циклоп», — я галичанин, родом из Тернополя, усус — украинский «сечевой» стрелец. Сначала служил в цисарской армии, а потом в галицийской.

— Мы от панов скрывали, что пан Хустка — бывший усус. А то и его загнали бы в Тухельский лагерь, — добавил Цимбал.

Степанина велел подать верховых лошадей, отобранных накануне у петлюровских офицеров.

И вот, предводимые паном Хусткой и хорунжим Цимбалом, тронулись из села, поблескивая на солнце оружием, перебежчики. Как только они очутились на околице села, там загремела лихая, буйная песнь потомков лихой вольницы:

Ой чи пан, чи пропав,
Двічі не вмирати,
Ой нумо, хлопці-і-і, до зброї...

Вслед за пешими «сечевиками» выступил, красуясь рослыми телами коней и лесом пик, украшенных красными флюгерами, 4-й полк во главе с преемником горячего Никонова кубанцем Карачаем. Полковой оркестр следовал сразу же за штабом, гремел марш. Это оружие действовало безотказно, пока находился воздух в здоровых легких трубачей.

— Ну как, товарищ Творожников, — повернулся Нежинский в сторону комбрига, — выпустили мы злых духов из бутылки? Сейчас они покажут себя.

— Не гово'ите, това'ищи, гоп, пока не пе'ескочили.

— Я верю своему земляку, — сказал Степанина, вслушиваясь в гул петлюровского гимна, доносившегося из леса. — По глазам его понял — не ловчит. Вот только насчет пана Хустки пока ничего не могу сказать.

— Раз ты, Савва Захарович, воздерживаешься, — ответил Нежинский, — давай послушаем, что скажет о себе сам бывший гауптман Франца-Иосифа.

— Езжайте, езжайте к этим шку'ам, — безнадежно взмахнул стеком Творожников, — а мне даже п'отивно смот'еть на их п'одажные ха'и.

Нежинский со Степаниной, сдерживая коней, вскоре присоединились к голове колонны «сечевиков».

— Ну как настроение, панове старшины? — спросил, обращаясь к вчерашним петлюровцам, наштадив.

— По совести сказать, — ответил, потягивая сигару, Хустка, — неважное.

— Почему? — удивился Степанина.—Смотрите, хлопцы ваши поют, музыка играет, солнце греет вовсю. Только и радоваться, — старался подбодрить собеседников комиссар.

— Это все верно,—пуская вверх кольца голубого дыма, согласился с комиссаром пан Хустка, — только мне кажется, не верите вы нам.

— Если бы не верили — не вернули бы оружие, — успокоил старшину Нежинский.

— Знаете, пан командир, — повел плечом Хустка, — скажу вам откровенно. Я бы на вашем месте тоже не очень-то поверил такому, как я.

— Ну это уж у вас болезненная мнительность, — улыбнулся Нежинский.

— Быть может, и не болезненная, а ультрамнительность. И не без причин. Очень уж оскандалилась наша галицийская армия, эти самые усусы.

— Почему? — спросил Степанина. — Вот в сорок пятой дивизии есть галицийский полк. Замечательно воюет.

— Ну там молодцы, я знаю. Они не послушались своих начальников, а пошли за коммунистами Порайко, Бараном, хотя те служили офицерами в цисарской армии. Таких полков, к сожалению, было мало. Остальные позволили себя одурачить. Полковые капелланы — эти верные слуги иезуитов — сделали свое черное дело. Не отставали от них наши генералы Микитка, Тарновский, Цирих — эти онемеченные украинцы и наспех украинизировавшиеся немцы. А вы слышали такого Василия Вышиванного? — все более и более оживлялся пан Хустка. — Это принц крови Вильгельм Габсбургский, бывший поручик тринадцатого уланского полка Франца-Иосифа. Этот полк комплектовался украинцами. В Вене Вилли Габсбургу уже не светило после революции, вот он и решил, перекрестившись на Вышиванного, возложить на себя корону князей галицких.

— Грош ему цена, — сплюнул Савва Захарович,—его ждет судьба всех Габсбургов.

— Это верно, — согласился Хустка, — а пока они принесли много горя народу. Наши солдаты — это мобилизованные мужики. Но они ничего не могли сделать против своих генералов. Сначала мы осрамились тем, что пошли заодно с Деникиным. Беляки наградили нас вшами. На каждом усусе висел толстый ковер из насекомых. Хуторяне Херсонщины и Подолии боялись нас пускать к себе, натравливали собак. Двадцать тысяч задушенных тифом стрельцов остались навсегда в районе Винница, Летичев, Бар, в этом треугольнике смерти...

— Зачем это вспоминать? — перебил офицера Нежинский. — Все это уже в прошлом.

— Нет, — возразил Хустка, — об этом говорить надо. Вот я все это пережил, чудом уцелел. И мне ясно, — испытующе взглянул он своим широко открытым глазом на комиссара, — что такому, как я, могут поверить люди или от большого отчаяния, или от большого благородства.

— Мы верим каждому, — ответил Нежинский, — кто, не затаив камня за пазухой, согласен помочь нам в борьбе.

— Так вот, — продолжал «циклоп», бросив окурок сигары, — Советская власть, разбив нашего вшивого союзника Деникина, могла нас истребить поголовно. И поверьте, никто бы ее не осудил. Но она, оторвав все от своих красноармейцев, прислала к нам врачей, отмыла наших вшей, вылечила нас, накормила, одела, обула, а тарновские и микитки в благодарность за это снюхались с Омельяновичем-Павленко, с бандитом Шепелем и по знаку Пилсудского и Петлюры восстали в Виннице. Оттянули на себя все резервы четырнадцатой армии. Открыли фронт белополякам на триста километров, очистили для них путь на Киев. Сын австрийского полковника Шепарович со своим кавалерийским полком захватил Вознесенск и соединился с Тютюнником. Я сам служил во второй бригаде Головинского. Стояли мы в Микулинцах. Но мы, маленькие офицеры, хотя и возмущались изменой, ничего не могли сделать. Показывали Головинскому кукиш в кармане, а шли за ним против вас. Ну и отблагодарили нас за это как следует. По приказу пана Пилсудского и атамана Петлюры усусов загнали в лагерь. Сначала под Фридриховкой у Волочиска, затем подо Львовом, а потом уже в лагеря смер-

ти в Тухель, под Данцигом. И сейчас наши солдаты рассчитываются там за измену генералов. Вот только я да еще несколько человек сумели скрыться от ищеек пана Панчохи... Спасибо «сечевикам», приютили меня...

— Ну ничего, — успокоил разволновавшегося Хустку Нежинский, — у кого больше ошибок позади, у того их меньше будет впереди.

— Постараюсь, — болезненно улыбнулся «циклоп».— Вы знаете, — глубоко вздохнул он, — во Львове есть такая продажная газетка «Вперед». Одиннадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года она писала, радуясь измене галичан: «То, что сегодня польские войска заняли Киев, что в такое короткое время захватили такую большую территорию, они должны быть благодарны тому, что галицийские войска открыли фронт, а повстанцы ударили на большевистские тылы».

— Недолго пришлось им радоваться,— ответил Степанина, — как и недолго пришлось шляхте панствовать в Киеве...

23

Карачай, не высовываясь из леса, спешил и свой полк. На опушке развернутым фронтом строились гайдамацкие курени. Фостецкий смотрел с недоумением на чужих воинов, не расставшихся еще с кокардами-трезубцами на австрийских кепи. Пан Хустка, созвав старшин, развернул на коленях карту и, указывая рукой на истоптанную пшеницу, по которой передвигались густые цепи легионеров, ставил куреням боевые задачи.

По команде своих сотников и хорунжих с винтовками наперевес тронулись в хлеб, подминая под себя тучные колосья, густые линии перебежчиков.

Степанина лукаво посмотрел на Нежинского, загадочно произнес:

— Вот сейчас убедитесь, я в самом деле завороженный.

Сказав это, комиссар направился к опушке, где расположился в ожидании приказа полк Карачая. Смешавшись со спешенными музыкантами, стал с ними шептаться. Степанина, обнажив шашку, повернулся в поле и, четко отбивая шаг, пошел вслед за гайдамацкими цепями.

Музыканты с мундштуками труб у ртов двинулись за комиссаром бригады. По знаку его шашки загремел оркестр. Над полем боя понеслись, волнуя сердца людей, звуки боевой мелодии:

Ой чи пан, чи пропав...

И вдруг, сотрясая июльский зной, вспыхнуло громкое «слава». Гайдамаки, подбадриваемые собственным боевым кличем и звуками оркестра, ринулись в бой, настигая линию спешенных казаков, изнемогавших под натиском легионеров. Сначала бойцы Фостецкого растерялись, услышав за спиной петлюровское «слава» и не свою, чужую им мелодию. Но вид комиссара, шагавшего впереди трубачей, успокоил их. Казаки привыкли к этим штукам Саввы Захаровича. Они всегда с большой охотой слушали его рассказы о том, как в 1905 году на Глуховщине он водил отряды селян на барские поместья, охранявшиеся наемными чеченцами.

Дрогнули сердца бойцов. Приближавшихся «сечевиков» они встретили громкими возгласами: «Слава братам!» — и, поднявшись с горячей земли, с умятого их телами хлеба, вместе с гайдамаками, подхватившими боевой клич «Слава братам!», пошли в атаку.

Не выдержали жаркого натиска легионеры. Отстреливаясь, повернули назад, взяв направление на бугор, над которым еще стояли густые тучи пыли.

— Карачай, вперед! — скомандовал Нежинский.

Четвертый полк высунулся головой из леса. На ходу подымая лошадей в галоп, растекался в лаву. Командир резервного куреня, испросив разрешения Нежинского, бросился в гущу конного полка. Гайдамаки, перебросив свои австрийские винтовки на левую руку, правой хватались за стремена и, совершая нечеловеческие скачки, неслись в атаку вместе с кавалерией. В воздухе гремело казачье «ура», сливаясь воедино с гайдамацкой «славой».

Спустя полчаса принесли на скрещенных винтовках щуплое тело командира гайдамацкой бригады хорунжего Цимбала. На опушке вырыли могилу. Дружный залп из гайдамацких и красноармейских винтовок проводил в последний путь невзрачного учителя из Глухова, искупившего кровью свои заблуждения.

На соединение с основными силами дивизии, открыв боем дорогу на Лютаровку, и двинулась 2-я бригада

Червонного казачества, посадив на подводы перебежчиков, пьяных от боя с ненавистной шляхтой. Колонну новых союзников, раскачиваясь на рыжей кляче, возглавлял пан Хустка.

Бригадные запевалы, собравшись в голове походной колонны, позади Нежинского и Степанины, затянули:

Смело, товарищи, в ногу...
Духом окрепнем в борьбе...

Покатилась от сотни к сотне, от полка к полку любимая песнь червонных казаков. Сначала довольно робко, а потом все дружней и дружней подхватили революционную мелодию вчерашние гайдамаки:

Смело, товарищи, в ногу...

Заметив приближавшегося к ним комиссара, бойцы покойного Цимбала, размахивая руками, приветствовали своего земляка.

Вступать в затяжные бои с отступавшими колоннами противника не входило в планы Шостака. Никакой успех не оправдывал неизбежных в таких столкновениях потерь. Слишком большую ценность представляло в те времена такое боевое соединение, как дивизия кавалерии. Свою службу республике она должна была сослужить в делах, более свойственных ей. Присущие лишь коннице качества: маневренность, динамичность действий, сила живого удара вместе со способностью психологически потрясать противника — требовали широкого простора.

Это очевидно для всякого — десять дивизий конницы, даже с колоссальными потерями, ведя фронтальный бой, не сдвинули бы с места 6-ю армию Ромера. А одно рейдирующее соединение, пробравшись в тыл противника, вызвало там такой хаос, так перепутало карты спесивых генералов, что Ромер вынужден был для восстановления нарушенного рейдом порядка отвести свои дивизии на новый рубеж.

И если соединения Пилсудского, отказавшись от бредовой идеи разгромить войско Буденного в районе Любар, Шепетовка, стремились поскорее выйти на линию Збруча и по пути ликвидировать 8-ю червоннноказачью дивизию, то Шостак, имея в своих руках измотанные

многодневным рейдом полки, поставил перед собой иную цель: не разгром неприятельских частей, не их задержание, а вывод путем искусного маневра из-под удара живой силы и подготовку ее для новых, свойственных лишь кавалерии задач. При целеустремленном движении соединений Ромера и 8-й червоннодказачьей дивизии неизбежно скрещивались пути обеих сторон. Одна из них пылала яростью к захватчикам за порабощение родной земли, другая не могла забыть недавнего побоища у Мессиоровки и потери всех баз. То и дело на пространстве между Бугом и Случью вспыхивали ожесточенные бои. В основном это было единоборство за дороги, нужные одним для движения к Збручу, а другим — для вывода живой силы из-под удара.

Много искусства требовалось от командира, чтобы завести кавалерийское соединение в тыл врага, а еще больше — для выполнения новой сложной задачи. Но особые усилия, особое умение требовались для выхода из рейда после достижения намеченной цели, когда противнику многое стало ясным и никакие мероприятия кавалерийского командира не могли уж поразить его своей внезапностью.

Во всех рейдах, будь то против деникинских сил, будь то пролив Петлюры, Шостака сопровождал успех. Он и сейчас, ожидая за Лютаровкой сведений от Нежинского, не сомневался в том, что к вечеру вся дивизия снова соберется в кулак. Но он не мог предположить, что вместе с отрезанными частями явится новое пополнение — целая пехотная бригада.

Для того чтобы уклониться от ненужного и неравного боя, который старался навязать Шостаку противник, надо было ради спасения основных сил бросать навстречу наступавшим легионерам один заслон за другим. В условиях такого боя казакам приходилось, оставляя в укрытиях коней, вести непривычный и тяжелый для них пеший бой.

Когда моряк покидает корабль, ему и земля кажется палубой. А спешенному кавалеристу всегда не хватает конской спины. Особенно горевал о своем убитом красавце Буяне, обливаясь холодным потом, пробивавшийся к Лютаровке сквозь высокие заросли пшеницы с тяжелым седлом на горбу Гаманец. Потеряв коня возле самой церкви после разрыва снаряда в каких-нибудь четырех-пяти саженях, оглушенный боец все же не

растерялся. Отпустил подпруги, снял с Буяна седло и, бросившись в огороды, вышел на окраины Михеринцев.

Перед его глазами все еще стоял образ его квартирной хозяйки «гвардии Палажки». При первых же разрывах снарядов на ее огороде она, пренебрегая опасностью, вывела из конюшни под уздцы коня постояльца и все торопила его:

— Живей, москаль, живей запрягай! — При каждом новом ударе неистово крестилась: — Ах, святой боже, святой хрест. Пронеси и помилуй.

— Марш в хату! — кричал на нее Гаманец.

— Успею, — продолжала подсоблять ему подхорунжиха. — А ты давай помоторней — и до своего усатого командира!

Перекаты жаркого «ура» доносились до ушей разведчика вместе с мерным речитативом пулемета. «Это почерк взводного, — подумал Гаманец, вспомнив тревогу «гвардии Палажки», — Ларион чешет до возможной крайности. Возьму курс на него». И, вскинув повыше тяжелую ношу, скрылся среди густых колосьев хлеба.

Беспорядочное отступление дивизиона разведчиков прикрывали люди Балабана. Раскинувшись на бугорке сразу же за селом, они взяли под дальний прицел цепи легионеров, спешивших к Михеринцам.

Все еще неслись по пыльной дороге одиночные повозки, всадники. Пулемет Балабана поддерживал их отступление, отсекая огнем все подступы к ним. Еще один диск, еще одну тарелку пуль выпустить по напористым познанцам, и тогда, возможно, не останется в Михеринцах ни одного застрявшего или отрезанного бойца. Спокойно целился пулеметчик. Черные, свисавшие вниз усы мелко дрожали вместе с корпусом «льюиса». Но вот вмиг опустела дорога. Сейчас, прикрываясь кустарником, вытянувшимся длинной грядой, взводный, оторвавшись от противника, отойдет к своим.

В пшенице, согнутая под тяжестью седла, показалась фигура казака. Значит, есть еще отставшие люди. Боец торопился, но изрядный груз не позволял ему двигаться быстро. Как видно, не хотел человек ради собственного спасения обидеть казну.

Вот казак, оставив позади высокий хлеб, вышел на полосу низкорослой гречихи, подставив себя под град неприятельских пуль. Узнав в отставшем Гаманца, Ларион, приготовившийся уже было к отходу, перенес огонь

на легионеров, настигавших разведчика. Пилсудчики умерили свой пыл, и Гаманец, мобилизуя последние усилия, все чаще и чаще спотыкаясь, едва пробежав последние полсотни шагов, бросил у ног пулеметчика свою тяжелую ношу. Сняв баранью шапку, разведчик вытер ею мокрое и красное от натуги лицо. Не успели бойцы обменяться и одним словом, как сзади, за кустарником, загремели выстрелы. Там уже вели бой с легионерами бойцы Балабана.

Гаманец осмотрелся: со всех сторон лезли враги.

— Выходит, ты меня спас! — уставившись на Балабана, начал Гаманец. — Всего ожидал от тебя, взводный, только не этого. У Махна, где я тоже служил, любой бы смотался, но не рисковал бы из-за меня головой. Тем более промежду нами есть еще старые счеты. Ты, наверное, взводный, не познал во мне Гаманца, а то стукнул бы — и концы в воду. Кто бы тебя осудил? Бой — это дело и темное, и горячее.

— Ты вспомнил свои слова: «Пуля дура, летит во все стороны». Нет, Самойло, я тебя сразу познал. Мы, коммунисты, не только ведем в бой, но и отвечаем за каждого из вас, пойми это, товарищ.

Гаманец воскликнул в волнении:

— Он какой ты человек, товарищ взводный! — и, бросив растерянный взгляд на приближавшихся легионеров, продолжал упавшим голосом: — Шо это, Ларивон Ларивонович, — в первый раз по имени и отчеству назвал Гаманец взводного, — неужто погибель?

— Видать, — спокойно ответил пулеметчик.—Не всегда ты его. Когда-нибудь и он тебя. Что же, товарищ Гаманец, выручили мы дивизион, теперь не жаль идти к расчету.

— Шо, так и помирать? — Разведчик безумно выпучил глаза. — Не хочу я умирать, не хочу! — В бессилии опустился на свое седло. — Мне еще жить надо, Ларивон, понимаешь, мне еще надо жить.

— Что, не довел до конца мировой революции? Так не печалься, Гаманец. Ее доведут без нас. Не мы первые, не мы последние.

— Пойми, мне надо жить! — Гаманец, скинув папаху, сердито ухватился за чуб, словно желая вырвать его с корнем.

— Тихо, тихо, товарищ, умел рубать — умей и помирать. Умирать тоже надо умеючи, — глубокомыслен-

но улыбнулся Балабан. — Смотри в лицо смерти глазами человека, не скотины.

— Ой боже ж мой, за шо же, за шо? — снова вскочил на ноги разведчик.

— Эх ты, столько крови пролил и не знаешь, за что помирать! Пропащий ты человек, Самойло.

— Ну я-то ладно, а это как? — Гаманец бросил горящий взгляд на седло.

— С душой прощаешься, а с седлом как-нибудь уж простишься.

— Эх, Ларивон, как бы ты только знал...

— Ну давай, товарищ, поцелуемся и помрем за нашу свободу, за нашу родную Украину.

— Не хочу я целоваться, не хочу помирать! — заскулил Гаманец.

— Ну и черт с тобой! — плюнул Балабан. — Видать, гуляйпольский дух не окончательно из тебя вышел.

Ларион достал из кармана длинную деревянную пробку — чоп. С силой загнал ее в дуло пулемета, спустил курок. Страшный удар толкнул его в плечо, но он устоял на ногах. «Льюис» с развороченным кожухом швырнул в сторону. Достал из кобуры наган.

Легионеры, прекратив стрельбу, приближались к разведчикам. Слышно было, как под десятками тяжелых ботинок все сильнее и сильнее шелестела пшеница.

— Сдавайсь, большевици! — зашумели пилсудчики.

Балабан, целясь в квадратные конфедератки, выпустил несколько пуль. Поднес револьвер к виску.

— Ты шо, взводный, одурел? — в страхе завопил Гаманец.

— Прощай, Самойло, — тихо сказал пулеметчик и спокойно нажал на спусковой крючок. Взводный тяжело осел у ног легионеров. Густая горячая жидкость, залив лицо, окрасила пышные усы кавалериста.

Гаманец, став позади седла, поднял руки:

— Панове, не стреляйте, панове, я ваш!

Но солдаты, озлобленные самоубийством казака, в котором они безошибочно признали одного из командиров, со штыками наперевес двинулись на разведчика.

— Ай, панове!.. Господа... Шо вы делаете? Ай... Я же не большевик... ой, я же мобилизованный!

Стрелки, посматривая со злобой на широкие лампасы разведчика, выбросили вперед штыки.

И тут перед лицом неминуемой смерти разведчик почему-то вспомнил бой на станции Селещино летом 1919 года. Он шел с брезентовым ведром к водокачке, а из нее с наганом в руках выскочил офицер. Не долго думая, Гаманец, подняв высоко ведро, нахлобучил его на голову деникинцу. При той неожиданной для обеих сторон встрече в выигрыше остался тот, кто сумел быстрее среагировать на изменение обстановки. Тут же противники давно обнаружили друг друга, да к тому же против одного пешего казака очутилось не менее десяти стрелков.

Гаманцу приходилось видеть, как неприятельские солдаты заслонялись от его сабельного удара руками, вместо того чтобы сразу подставить голову и тем сократить напрасные мучения. Сейчас он сам, понимая всю безвыходность положения, инстинктивно начал цепляться за жизнь.

Согнувшись с ловкостью кошки, Гаманец схватил обеими руками седло и заслонил им свою грудь. Плоские лезвия немецких штыков, блеснув на солнце, вспороли кожу переметных сум. И тут произошло неожиданное: из седла со звоном вырвались струйки золотых монет. Нагоняя друг друга, желтые кружочки, как волшебный дождь, хлынули к ногам ошеломленных пилсудчиков.

— У, пся крев, лайдак! — раздался негодующий голос над ухом разведчика.

Заманчивая добыча сделала свое дело. Солдаты, отталкивая друг друга, кинулись подбирать золото.

Казак, ткнув потником седла в лицо одному из легионеров, круто повернулся и бросился в пшеницу. Раздалось два-три выстрела, пущенных наспех пилсудчиками, но никто из них, опасаясь прозевать добычу, не вздумал преследовать Гаманца.

Недалеко от Лютаровки, на берегу речушки, где еще недавно в страшном переполохе носились охваченные страхом разведчики, Гаманец, сняв рубаху, разорвал ее на бинты. Одна из пуль угодила ему в мякоть ноги. Обессилев от страшных переживаний и от потери крови, прежде чем перевязать рану, казак, чтоб утолить жажду, опустился на четвереньки над мутным потоком. Услышав шорох в кустах, насторожился. Стал осматриваться. Вот мелькнули среди густого тальника чьи-то лампасы. Еще миг — и из кустов с большой связкой

подков в руке выскочил Перчик. Гаманец, забыв о жажде, радостно закричал:

— Черт кудрявый, Шлемка, ходи сюды до меня!

Перчик, не менее Гаманца пораженный неожиданной встречей, позванивая подковами, ускорил шаги. Раненый, ковыляя, пошел ему навстречу. Не давая опомниться кузнецу, повис на его шее, стал целовать в щеки, сам обливаясь слезами:

— Ой, дорогой товаришок, братику мой, добрался я таки до своих. Можно сказать, из лап смерти и, в том числе, из могилы вырвался.

— Ты ранетый? — спросил Перчик, заметив на разведчике кровь.

— Пустяки! Чуть подряпало Самойла. Перевязать бы...

Кузнец, оторвав от своей шашки индивидуальный пакет, потуже затянул рану разведчика.

— А знаешь, Шлемка... пропал наш геройский взводный... тут недалеко лежит...

— Где, где? — всполошился кузнец, вскочив на ноги.

Разведчик махнул рукой:

— Не добраться нам до него... там еще паны... А к тому же сам себя порешил. Подумать только, из нагана и прямо в висок. Самое главное, пойми, хлопче, я ему сколько раз плевал в глаза, а он старался меня спасти и сам пропал... Разве такое легко пережить?

— Ой, жаль, ой как жаль! — Заблестели глаза кузнеца. — Ганку потеряли, а сейчас взводного!

— А ты шо тут делаешь, дружище? — спросил кузнеца Гаманец, желая поскорее отделаться от страшных воспоминаний.

— Я что? — кусая губы, переспросил Перчик. Из его глаз, капая на гимнастерку, катились частые слезы. Схватив связку подков, потряс ими перед лицом разведчика: — Вот, сдирал с убитых лошадей. Пригодится. Ну ладно, — положил он руку на плечо товарища, — подожди здесь немного. Приведу сейчас своего Воронка. Он тут, в кустах. Отвезу тебя, Самойло, домой. — Домом кузнец считал дивизион.

Когда Перчик, покачиваясь, побежал в орешник, Гаманец достал из-за пазухи грязный узелок, поднес его ко рту, плюнул и, взмахнув рукой, зло отшвырнул свои сокровища в мутные воды ручья.

Перед глазами разведчика, как вечный укор, мелькали окровавленные усы взводного, который и погиб-то, давая возможность ему, обремененному тяжелой ношей, выбраться из михеринецкого ада...

24

Рослый, с шелковистой шерстью конь из породы тракенов широко шагал, неся в седле командира дивизиона разведчиков. Захваченный в Проскурове во время рейда, тракен быстро привык к новому хозяину. Памятью о прежнем владельце Юлиане Бекеше — проскуровском полицмейстере, бывшем взломщике, — осталась одна кличка. Казаки назвали нового коня Сероштана Бекешом.

Красавец тракен не первый раз в качестве боевого трофея переходил из рук в руки. В 1918 году он возил на себе самого герра оберста из 10-го полка баварских кирасир. Баварцам, как и всей австро-германской оккупационной армии, в результате ноябрьской революции в Германии и восстания на Украине пришлось убираться восвояси. Солдаты Пилсудского пропустили их через свои земли, предварительно спешив и обезоружив. Вот тогда-то, к великому огорчению породистого скакуна, на смену деликатным шенкелям баварского оберста пришел грубый стек проскуровского полицмейстера.

В новом хозяине Бекеш сразу почувствовал настоящего кавалериста. Сероштан, бывший пехотинец, хотя и не прошел старой кавалерийской школы, которая не только изнурительными упражнениями, но и почти неприкрытым истязанием вырабатывала наездника, не вылезая из седла с лета 1919 года, многое постиг в искусстве верховой езды. Как всякий опытный конник, он понимал, что силой можно добиться покорности животного, а преданность коня — так необходимая в бою — завоевывается чем-то другим.

Сероштан, задумавшись, раскачивался в седле. Твердые, литые шенкеля едва касались тугих боков Бекеша. Конь, высоко задрав голову с непрестанно прядающими ушами, кокетливо частил своими точеными ногами.

Командир разведчиков достал из кармана рыжую, осыпавшуюся под руками трофейную сигару. Закурил,

пустив по колонне голубоватое облачко пахучего дыма. Ему казалось, что внутреннее волнение, вызванное навязчивыми думами об одном и том же, уляжется от крепкой затяжки. Но от дурманящего дыма заморского курева закружилась лишь голова да чаще заколотилось сердце.

Сладкий угар недавней встречи до сих пор кружил ему голову. Куда она так внезапно исчезла, его мимолетная услада? Ведь она благополучно выскочила из Михеринцев, этой преисподней. Но снаряды преследовали их тарантас и на лютаровских полях. Черноус, отстраненный им от штабной тачанки, так и доложил: бричка попала под пушечный залп и все, кто в ней сидел, разбежались по кустам. После обстрела Черноусу удалось найти лишь приказчика и его домочадцев. А Софья — та словно в воду канула. Прикончил ли ее раскаленный кусок стали? Увели ли ее в плен? Или, быть может, такая же необъяснимая горячая волна, которая швырнула их в объятия друг другу, треплет ее и там, за чужой чертой?

Почему он не уберег ее? Ну покосились бы разведчики, поворчал бы Квитень. В конце концов, он совсем не плохой парень, этот Леонид. С таким комиссаром жить можно. Хотя, как хорошо знал Сероштан, комиссары тщательно следили за тем, чтоб за боевыми частями не увязывались женщины — и законные, и случайные подруги командиров. Надо было не оставлять ее в панской бричке под присмотром этого чубатого растяпы Черноуса, а поручить штабному писарю или же просто усадить на пулеметную тачанку. Пулеметчики — те бы ее уберегли. А там, после выхода из рейда, можно было бы ее отправить в обоз.

Ведь вот, думал Сероштан, под самым носом Збруч, а там, возможно, придет конец войне, настанет мир, успокоение. Можно зажить тихой жизнью где-нибудь в небольшом гарнизоне. Возможно, что после войны его не оставят в дивизионе. Но ему, как краснознаменцу, сотня обеспечена. Небольшая квартирка с палисадничком, нежными мальвами на высоких стеблях, огородиком, своими огурчиками и редиской; хорошая лошадь, выездная тачанка; вкусный обед с полтавским борщом; колечком свернутая домашняя колбаса и эта черноволосая, горячая, с гибким станом и сочными губами, в розовом халатике подоляночка организует кро-

вью заслуженный уют... Вот это прелесть — есть за что воевать!

Не чета всем поповнам, молодым попадьям, сельским солдаткам, деревенским стешкам, упитанным дунькам, мятым-перемятым в душниках сеновалов, в дремучих логовах пахучего льна...

Тут в сознании Федора, как живой, возник, с укором в печальных глазах, образ нежной Христины. Но навязчивые мысли, одолевшие командира, вытеснили из его головы воспоминания о деревенской девушке.

После того как ромеровские колонны огнем и железом, лютой ненавистью и отчаянием проложив себе путь через район, занятый кавалерией, ушли за кордон, Сероштан перерыл весь район Михеринцев, но Софьи не нашел.

— О чем замечтался, Федор?

Сероштан встрепенулся. Звонкий голос Квитеня вернул его к действительности. Растаяло чудесное видение... Командир огрызнулся:

— Что, и задуматься уже нельзя?

— Какая муха тебя укусила? — удивился Квитень.

Сероштан, хлопнув комиссара по плечу, рассмеялся:

— Вороная, Леня, вороная муха укусила...

— Это все ерунда, Федя, посмотри лучше, что делается вокруг. Полюбуйся на твоих барахольщиков!

— Почему моих?

— Ну пускай будет наших. Это безобразие, черт побери!

По просторному лугу, где беззаботно пасся крестьянский табун, два всадника гонялись за спутанными лошадьми. Испуганные преследованием, они тяжело подпрыгивали, потрясая длинными гривами.

Табунщик — бородатый крестьянин, — выскочив из кустов, преградил дорогу одному из преследователей. Разведчик, это был Черноус, переведенный недавно во взвод, кинув своего подбитого, истощенного коня, собирался подседлать пойманную им крестьянскую лошадь.

— Товарищ, христом-богом прошу. Она одна у мужика. Без нее, кормилицы, ему гроб.

— Ладно, чего слезы распустил? Я же тебе оставляю не палку, а коня. Ну, трохи он пристал. Кроме всего, я тебе доплачу. — Разжалованный ездовой повел табунщика в кусты. Там, укрытый от посторонних взо-

ров, держа в поводу свежего коня, подступил к крестьянину и начал обшаривать его суму с харчами.

— Мне, габелон, жизни своей не жаль, а ты по своей кляче заскулил...

— Боже ж мой! — застонал старик. — Как родных братьев, ждали Красную Армию, а оно вот что получается...

— Не ждал бы — вот и был бы со своей клячей, — осклабился хищник.

— Деток моих пожалей, ежели не можешь уважить мою седую голову. — Старик, растерянно глядя на грабителя, тяжело вздохнул.

Черноус вскочил в седло. Видно, он лучше чувствовал себя на коне, нежели на облучке тачанки. Взмахнул плетью.

— Москва, брат, слезам не верит. Если пойдете против Москвы, еще не то получите, сволочи, так и передай своим габелонам.

Черноус, спустившись в ложок, стал нахлестывать свежего конька и, пустив его в галоп, обогнул колонну. Лихо приветствуя попадавшихся на пути боковых дозорных, незаметно присоединился к хвосту дивизиона. Зато второго охотника за лошадьми, менее ловкого и опытного, комиссар застиг на месте преступления. Квитень, не отпуская от себя виновника, нагнал голову части.

— Распустились, черти! — наседал он на бойца. — Сколько раз говорил — коней у населения может брать только ремонтная комиссия!

— Так я же хотел оставить своего, — начал оправдываться разведчик. — Мой даже получше, только что крепко замаянный.

— Кто вас знает! — продолжал комиссар. — У тебя замаянный, а другой вместо ценного коня оставит калеку. И пойдет слава про нас — Красная Армия обижает мужика.

— Это все верно, Леонид, — остановил комиссара Сероштан. — Ремонтеры могли работать на походе, а здесь, в зоне боевых действий, им не угнаться за частями. Тут война!

— Ты хочешь сказать: на войне все дозволено? Оставь эту чепуху, командир. Не забудь, на войне стрелять тоже дозволено.

— Так я же еще не успел взять коня, — переполошился разведчик. — Я уж как-нибудь своего подкормлю. Ночь не посплю, а позабочусь о нем.

— Езжай в строй! — распорядился Сероштан. — И больше в эти дела не лезь. Надеюсь, ты понял комиссара!

— Как же не понять! — бойко ответил всадник и, затормошив изможденного коня поводьями, отстал от головы колонны.

Дивизион, сойдя с дороги, остановился на большой привал.

От головы до хвоста колонны покатилась протяжная команда: «Слезай!» Всадники, отпустив подпруги, полезли в карман за кисетами. Звенело оружие, гремели трензеля. Нетерпеливые кони гребли землю. Подтягивался обоз. Теперь, когда дивизия, завершив рейд, находилась позади линии своей пехоты, несколько тавричанок, составлявших в рейде обоз части, терялись среди скопища обывательских подвод. Трясучие возы сена перемежались с тяжелыми, отбитыми у противника фурами, груженными трофейным добром.

Обузой тылов стали спешенные, потерявшие коней бойцы, всадники с подбитыми лошадьми. Бывали дни, когда в тылах насчитывалось людей гораздо больше, нежели в строю дивизиона. После рейда такие явления наблюдались не только в части Сероштана, но и во всех полках дивизии.

25

Казаки, побросав лошадей коноводам, кинулись к воде. Над рекой Случь струился накаленный жарой прозрачный воздух. Люди, сбрасывая на ходу оружие и одежду, хлопая друг друга по голым спинам, шумно бросались в холодные воды.

Бунчук, забравшись на Перчика, старался окунуть его вместе с головой, но, не удержавшись на скользкой спине кузнеца, поднимая яркий фонтан, с визгом исчез под водой.

Перчик, обеспокоенный долгим отсутствием товарища, поднял крик. Но умелый пловец, скользя чуть ли не по самому дну и хватая за ноги купающихся, выплыл у противоположного берега.

— Ловко ты в воде работаешь! — завистливо хвалил кузнец бойца. — А я плаваю, как гвоздь, и тону, как зубило. Нет в наших Чабанах даже поганого ставочка.

Бойцы барахтались в воде, как дети в каком-нибудь мирном селе, кричали, свистели, взбаламутив своим появлением тихие воды. Над рекой, сотканная из мелких сверкающих брызг, нависла, переливаясь изумрудами, широкая радуга.

Гаманец, зажав под мышкой папаху, стоял на берегу, опираясь на толстую палку. С нескрываемой завистью смотрел на товарищей, возившихся в воде.

— Брызни разок, Панасе, — попросил он Бунчука. Почувствовав на своем лице холодные капли воды, раненый казак блаженно улыбнулся.

Бунчук, прыгая по-сорочьи, старался угодить ногой в штанину. По его темной спине катились еще радужные капли воды. Густой рыжий волос блестел на солнце, как золото.

— Эх, братва, — в избытке радостного возбуждения затараторил боец, — еще разик нажмем — границу заберем, а там шляхту гам-гам — и марш по домам!

— Правильно, давно пора, — послышались в ответ шумные голоса.

— По чужой сторонке шатаемся, а до своей никак не достукаемся, — нахлобучивая папаху, жаловался Гаманец.

— Эх ты, родная хата и родимая сторона! — вздохнул Курочка.

— Тоже мне, — оборвал его раненый, — без году неделю воюешь, а уже загоревал по дому.

— У меня, товарищ Гаманец, душа надвое рвется. Охота тут с молодым Ушняком рассчитаться, и там, слыхать, старик обратно банду собрал. С Антоном все воюет.

— Я, как приду домой, — блаженно потянулся Шурка-сигналист, — месяц буду спать без продыху.

— А я, Херувимчик, — выжимая из рыжей копны волос воду, ответил ему Бунчук, — к своему станочку.

— Где он, твой станочек? — удивился Шурка.

— На Гельферихе-Саде, в Харькове, а точил я на нем шкивки для молотарок.

— Эх, дорваться бы только до дому, — сжал кулаки седоватый Терентий Борщ. — С плену так и не пробился домой, метил на Старобельщину, а зацепился за

Шостака. А там — слух есть — сподлючилась баба и теля увела.

— Ну добре, — сплюнул сердито Гаманец, — увела скотину, а чем ты ей, стерве, отплатишь?

— Как приду, сразу, подлюке, скажу: отдай теля!..

Казаки, хватаясь за бока, дружно расхохотались. Обиженный Борщ, взяв под мышку одежду и оружие, пошел одеваться в кусты. Заметив невдалеке Черноуса и словно ища у него сочувствия, чуть ли не плаксивым голосом сказал:

— Добре, раз пропало мое законное теля, попрошу у товарища Сероштана своего Забияку, обязательно попрошу, чтоб мне его дали. Он у меня, Черноус, не от казны, ссадил я с него шкуровца, сам Шостак видел. А что в бою взято, то свято. Забияка добре со мной воевал, он со мной и пашню пороет.

— Нароет тебе могилу, а не землю, старый пень. А за милостынькой не пойдешь из хаты в хату? Вот так, с протянутой рукой, ради христа. Пока воюем — пока и наше. — Бывший ездовой натягивал на свои худые ноги тонкое белье.

«С убитого офицера, видать, содрал», — подумал Терентий Борщ.

— Ты это что, Черноус?

— «Что», «что»! Сам не знаешь, что ли? Обещали землю, а дали продразверстку. Мы тут кровь свою льем, а там последнее у мужика отбирают.

— Что правда, то правда, — согласился пожилой боец, — хлебом не милуют. Это ты верно определил. Но вот товарищ Квитень нам по газете пояснял: по России засуха пошла, хлеб не уродил, даже скот начал падать. А рабочих — они нам шлют и винтовки, и патроны, и обмундирование — кормить-то надо, или как ты располагаешь, Черноус?

— Тоже скажешь — обмундирование. Светил бы ты задом из-под ихнего обмундирования. Гляди, вся казачня в голубом сукне ходит.

— Ну за то большое спасибо пану Пилсудскому, — ответил Борщ. — Кабы не он, ходили бы в ошмотьях, как пехтура.

— Да, — продолжал свое Черноус, — обещали землю и мир, а дали войну и коммунии. Вот кто во всем виноват, — кивнул он в сторону бивуака, где, окруженная разведчиками, виднелась фигура Квитеня. — Им за

наше отличие будут ордена, хорошие должности и все. Или возьмем это — дивизия наша чисто украинская, а Шостак понатаскал сюда всяких Нежинских, Творожниковых, Сакулиных, а то даже такое, что курам на смех, — каких-то басурманов Фостецких, какого-то Рынву-Рынальского. Они же нас продадут Пилсудскому вместе с нашей требухой...

— Ну это ты зря. По мне, неважно, какой ты нации, лишь бы был правильный человек.

— Ладно, — разволновался Черноус, — скажи, ты какой нации?

— Тьфу твоему батьке. Что, не узнаешь галушника?

— Значит, з полтавских? Отлично! И я сам оттудова. Вот и должны мы с тобой думать про то, что для нашей Украины должно пойти на пользу. Нам надо держаться вкупе, а то придумали такое — травят брата на брата...

— А про Петлюру что скажешь, хлопче? — нахмурился Борщ. — Ты лучше скажи, чем тебя обидели? Скажи по-простому: кто тебе, Черноусе, в борщ наклал?

— Я воюю за Советскую власть, кровь лью, как и ты, как и все Червонное козацтво, и я имею полное право излагать свое мнение.

— Ну излагай потише, а то если еще не наклали тебе в борщ, то обязательно накладут.

— Эх ты, чудило-мученик, и сюда шли — нельзя ни о чем говорить, в боях молчи, войну кончаем — обратно держи язык за зубами. Когда же мы, серая масса, сможем в охотку высказаться?

— А ты говори, положим, то, что нам может быть к пользе. Растолковал бы, как пойдет общая работа коммунизма и какие будут от этого выгоды крестьянскому классу. А то так, лишь бы языком трясти, много охотников найдется.

Старый воин, который после царских окопов в тяжелых лишениях перенес плен, прошел по колено в крови, испытал голод и холод, сейчас, когда он приближался к заветной цели и она казалась ему вполне осязаемой, стоило только протянуть руку к Збручу, готов был задушить Черноуса за его попытку посеять в нем зерна сомнений, убедить его в бесцельности принесенных жертв.

Со стороны бивуака донесся сухой треск автомаши-

ны. По этим характерным звукам бойцы догадались о приезде начдива.

— Ну пошли, хлопец, видать, сам Шостак пожаловал до нас.

— О, Шостак, — с деланным восторгом ответил Черноус, — вот это геройский командир! Это наш настоящий украинский человек. За него я готов и в огонь, и в воду.

Разведчики, поднявшись по взвозу, приблизились к бивуаку. Бойцы подвешивали коням торбы с овсом. Другие, доставая из кобур и переметных сум походный запас, принялись за обед.

Бунчук не умолкал ни на секунду, забавляя разведчиков. Зарядив утыканный овсом ломоть хлеба куском пожелтевшего от времени сала, благословил свой пышный обед.

— Эх, отправлю я в свой рот пролетарский будиброд...

По дороге, вздымаясь высоко в небо, катился густой вал черного дыма. По бивуаку пролетело короткое бодрящее слово «начдив». Шостак объезжал части. Все знали — это бывает в самые ответственные, серьезные дни.

Старенький трофейный «фиат» свернул с дороги на луг, чихнул, хлопнул газами и остановился. Из машины вышел Шостак. За ним — его адъютанты. Черная от густой пыли, осевшей на узкое, тонкое лицо, с веселым оскалом белоснежных зубов, спустилась последней какая-то девушка.

Торжественная тишина нависла над бивуаком. Вдруг возглас неподдельного изумления нарушил тишину.

— Хлопцы, так это же Ганка! — первым узнал прибывшую Гаманец.

— Ганнуся! — рванулся вперед Шурка, охватив своими почти детскими руками худые плечи разведчицы.

— Здоров, здоров, Херувимчик! — весело ответила ему Ганка.

— Здравствуй, Ганночка, — протянул ей руку Перчик.

Сероштан и Квитень дружески хлопали девушку по плечам, поворачивали ее из стороны в сторону, словно желая удостовериться, настоящая ли перед ними стоит Ганка Шамрай. Девушка, поджав губы, бегающим взором скользила по лицам бойцов. Не останавливаясь ни

на ком больше секунды, вмиг посуровела. Ее глаза не нашли того, о ком она так много думала, приближаясь на начдивском «фиате» к бивуаку.

— Куда же это ты пропала, Ганка? — спросил ее Квитень. И, словно догадавшись о чем-то, добавил: — Тогда, в Проскурове, Балабан перерыл весь город и не мог тебя найти.

— Знаете, товарищи, — обращаясь ко всем разведчикам, заговорила Ганка, — мне повезло. Как повели вы нас, товарищ комиссар, по той улочке — хорошо, что по той повели, потому кругом были легионеры, — и пошел за нами тот панский броневик, ну и подшибло мою кобылку. Рядом машина прошла, а на меня никакого внимания. Я сколько там минуточек полежала, будто убитая, потом чуть подняла голову, осмотрелась. Вижу: улица пустая. Поднялась, кинулась к первой калитке. Какой-то хороший старик — потом, как пожила у них, узнала, что он часовой мастер, — свел меня в погреб, спрятал. Выйти бы мне через полчасика, аккурат бы в свою сотню пришла. Я спросила своего хозяина, почему он мне не сказал, а он: «Меня те лампасы перепугали. Я видел их у донских казаков и не знал, что большевики их тоже признают». А к вечеру пилсудчики, которые с фронта отступали, заняли опять город. Целая дивизия, говорил часовой мастер. Хозяин видит такое дело, принес мне одежду дочки. Я надела, опять стала бабой. Подкрасилась углем, сделалась чернявой, уши из-под шелкового платочка выставила — значит, по проскуровскому обычаю, замужняя. Взяла с собой трех хозяйских ребятишек. Веду их за руки, осматриваюсь. Хожу по улицам, душа разрывается. Сколько гайдамаки народу перестреляли, повесили, молоденьких девчат опоганили, а грабили как! Все говорят — за налет Шостака. А сейчас с пехотой шестидесятой дивизии добралась до своих. Спасибо товарищу начдиву, довезли.

— Не за что, Ганка. — Шостак протянул руку девушке: — Ступай в сотню — и за работу. Смотри, совсем мало стариков осталось. И Балабана потеряли. Иди, Ганка, поддержи Сероштана.

У Ганки заблестели глаза, дрогнул миниатюрный ее подбородок. Заметив Шурку, изо всей силы стиснула его плечо:

— Что с Ларионом?

— Пропал, Ганночка, наш дядя Ларион. Притом сам решился.

Чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы, Ганка, отойдя в сторону, согнулась и принялась стаскивать сапог. Шурка сочувственно смотрел на нее.

Шостак стал на сиденье машины. Охватил взволнованным взглядом всех разведчиков, с нетерпением ждавших его речь.

— Товарищи, — заговорил начдив, — сообщаю вам: Пилсудский с Петлюрой уже откатились за Збруч.

Збруч за последние дни стал надеждой, упованием, мечтой многих тысяч людей.

— Товарищи, Советская Украина, земля наших отцов, очищена от захватчиков — наймитов французского капитала. Мы стали на границе у самого Збруча. Слава нашему трудовому народу! Слава красноармейцам! Слава великому Ленину!

— Ура! — загремела масса бойцов.

— Ура Красной Армии!

— Ура Шостаку!

— Мир!

— Мир! Скоро по домам!

— Братва, да здравствует мир!

— Рано говорите о мире, товарищи. — Начдив, повысив голос, покрыл людской шум: — Враг не хочет мириться. Он готовит новый удар. Мы должны смять его, пока железо горячо... Мы не имеем права сидеть сложа руки, когда наши дивизии Западного фронта стремительно наступают на Варшаву — осиное гнездо Пилсудского, — когда нашей братской помощи ждет подневольное население Галичины, Польши. Мы заключим мир с трудящимися Польши на Висле, чтобы не подписывать его с польской шляхтой на Днепре.

Вытянулись лица разведчиков. Каждое слово падало в сознание людей, как раскаленная искра.

— Товарищи! — продолжал начдив мягким, шедшим от души голосом. — Я обращаюсь к вам, наши славные бесстрашные разведчики. На вас, на нашу Красную Армию, смотрит вся Украина, вся Советская страна. Своей отвагой, своим трижды проверенным героизмом вы проложите путь нашим знаменам, которые видели Дон, Орел, Перекоп...

— Ура Красной Армии!

— Хай живе Советська Галичина!

— Ура польским братам!

— Даешь Збруч!

— Ну и кроет Шостак! — восхищался речью начдива Бунчук.

— Такой и покроет, такой и сошьет, — поддакнул Гаманец.

— Да, — согласился Панько Курочка, — крепко высказывается командир, не гордо.

Збруч в сознании людей стал обыденной речонкой, незначительным рубежом, одним из многих препятствий на ратном пути.

Дивизион, прощаясь с кратковременным бивуаком, точил сердца и оружие для новых боев.

В гуще бойцов, подавленная известием об исчезновении Балабана, Ганка, бессильная сдержать слезы, непрестанно вытирала их рукавом.

Часть третья

ДОРОГОЙ НА ЛЬВОВ

> Вид Полтави до Острога
> Ти загін козачий
> Вів до славной перемоги,
> Анатоль Шостаче.

26

Если к северу от Полесья и от Пинских болот Красная Армия, освободив Минск от захватчиков, несла свои знамена по территории, входившей в состав старой империи, то здесь, на Подолии, ей предстояло преодолеть бывшую границу с Австро-Венгрией, в течение полутора веков владевшей исконными украинскими землями.

До этого пятьсот лет хозяйничали на Западной Украине польские магнаты, не расставшиеся со своими латифундиями, сахарными и винокуренными заводами и во времена господства Габсбургов. Но еще крепче, чем спесивая шляхта держалась за свои маетки[1], подневольное население Галичины, мечтая о воссоединении с матерью Украиной, свято хранило свой язык и свои обычаи.

---

[1] Имения (*польск.*).

Советские дивизии, отогнав интервентов от Киева и разбив их на Буге и Случи, вышли к Збручу. Пилсудский, опасаясь гнева влиятельных магнатов, выделил крупные силы для защиты Галиции и ее центра — Львова.

Вот почему и 14-я армия с осью движения на Львов, и 12-я — на Ровно, и 1-я Конная между ними встретили на меридиане Збруча упорное сопротивление интервентов.

Вся Польша Пилсудского защищала «вековые и священные» права ненасытных магнатов в Галиции.

Поспешное отступление противника на фронте 14-й армии не означало еще разгрома его живых сил. Вынужденные к отходу рейдом Шостака, они, скованные еще старой прусской дисциплиной, подогреваемые националистической агитацией, крепко оседлали рубеж Збруча. В руках красного командования не было тех мощных и мобильных средств, которые смогли бы отступление врага превратить в его полный разгром.

Две недели шли упорные бои на старой государственной границе. Полки 60-й дивизии, захватив Волочиск, остановились, хотя сам по себе ни узенький Збруч, ни его пойма, ни Подволочиск на другой стороне не могли служить серьезным препятствием для закаленной пехоты. 60-я дивизия никогда раньше не была столь полнокровной, как здесь, у старой границы бывшей империи. По пути от Буга до Збруча в ряды дивизии влились стойкие бойцы — партизаны Летичевщины и Проскуровщины. Она ввела в свой состав переданную ей Шостаком бригаду бывших гайдамаков во главе с бывшим гауптманом паном Хусткой.

Но задолго до начала боев на границе саперы генерала Ромера возвели вдоль Збруча сеть мощных бетонированных укреплений, с которыми до того не приходилось встречаться красноармейцам во время подвижных боев гражданской войны. Одна и та же опытная рука, направляемая французским генеральным штабом, возводила эти труднодоступные сооружения из бетона и стали как здесь, на многочисленных рубежах Галиции, так и у Перекопа, Чонгара, у Юшунских озер — на подступах к Крыму, занятых войсками барона Врангеля.

Генерал Вейган — правая рука французского главнокомандующего Фоша, — перебравшись из Парижа в Варшаву, сделался основным и ближайшим советником

маршала Пилсудского. Французские офицеры, прибывшие с Вейганом, засели не только в разросшихся штабах, но и командовали авиационными соединениями и артиллерийскими частями. Они же руководили работами по созданию сети бетонированных укреплений, перехватывая ими пути наступления советских войск.

Если бы по-прежнему находился здесь командарм Иероним Кухаревич, тот самый, который осенью 1919 года разгромил лучшие деникинские силы под Орлом и в июне 1920 года лично водил Шостака в рейд под Комаровцами, пожалуй, 60-я дивизия давно бы форсировала Збруч, ибо в самом деле рать сильна воеводою. Но Кухаревич в то время уже возглавлял 13-ю армию. Дерзкая вылазка Врангеля, воспользовавшегося уходом Червонного казачества на запад, угрожала уже не только Запорожью, но и всему югу страны. 13-я армия под ударами механизированной конницы белых безостановочно отступала. Клич партии «Незаможник, на коня!», звавший украинскую бедноту в новые формирования кавалерии, лишь недавно прозвучал тревожным набатом по всей Украине.

Для ликвидации врангелевского натиска партия, сняв Кухаревича с Юго-Западного фронта, направила его на юг. Сюда же, на Подолию, прибыл один из тех незаметных военных специалистов, имена которых в памяти людей так же внезапно исчезают, как появляются. Слишком низок был их авторитет у начдивов — испытанных солдат революции, чтобы их оперативные суждения могли иметь какой-нибудь вес. И слишком высоко они ценили собственную жизнь, чтобы, подобно Кухаревичу, выйдя на линию атакующих, принять на себя личное руководство боем.

Новый командарм 14-й Молчанов вышел из среды царского генералитета, а Кухаревич — из поручиков. Наряду с самородками-полководцами, подобными Чапаеву, Щорсу, Буденному, Котовскому, Дыбенко, прапорщиками-коммунистами Подвойским, Крыленко, руководство боевыми операциями Красной Армии обеспечивали малозаметные в прошлом поручики Кухаревичи...

После двухнедельных упорных боев однажды, это было 24 июля, начдив 60-й, собрав свои лучшие силы и включив в них в качестве ударного кулака бригаду пана Хустки, ночным штурмом форсировал Збруч и на рас-

свете овладел сильно укрепленными позициями противника. Подволочиск, расположенный по ту сторону кордона, очутился в руках советских войск. Кавалерийский полк Сергея Недбайлы с обнаженными клинками бросился преследовать отступавших. Вслед за ним Шостак, давая возможность своим лучшим и наиболее проверенным полкам развернуть знамя Червонного казачества на галицийской земле, двинул за Збруч 1-ю бригаду Георгиева.

Где-то на западе, далеко за Подволочиском, где кровавый диск солнца склонялся к горизонту, раздался оглушительный взрыв.

Комбриг Петр Георгиев, в прошлом штрафной царский улан из рабочих-путейцев, верный сподвижник Шостака с восемнадцатого года, звонко скомандовал:

— По коням, ребята!

На одном из бугров за Подволочиском, не более как в полукилометре, зловеще взмыл к небу фонтан из черного дыма, огня и земли, заслонив собою кроваво-красный диск солнца.

Напуганные сильным сотрясением воздуха, громко храпя и прижимаясь друг к другу, зашевелились кони. Зазвенело железо. Словно в ожидании удара бича, согнулись в седлах ошеломленные небывалым взрывом всадники.

Тупой и далекий взрыв повторился. Снаряд упал на окраине Фридриховки, на выгоне, где два месяца назад томились в ожидании дальнейшей судьбы обезоруженные галицийские бригады, завоевавшие Пилсудскому Винницу и открывшие ему путь на Киев. Сотрясением воздуха вышибло из седла всадника, скакавшего с приказом во 2-й полк.

Всегда спокойный Гандзюк вскочил, словно кто-то огрел его ударом бича.

— Вот это так товар. Одно попадание — и наши трехдюймовки превратятся в яичницу. Анатолий, а Анатолий, — выпучил он глаза на начдива, — куда я, к черту, буду годиться без моих пушек?

Первая бригада во главе с худеньким, подтянутым, чисто выбритым Георгиевым коротко зарысила лощиной и взяла курс на окраину Подволочиска, чтобы оттуда навалиться на один из флангов дрогнувшей обороны.

На всем пути следования конницы жители Подволочиска, пренебрегая опасностью, сквозь раскрытые окна

приветственно махали руками. Слышались радостные крики: «Ура товарищам!», «Слава нашим братам!».

Еще один взрыв — и головной полк, сжавшись в ожидании чего-то страшного, замедлил рысь. Насторожились, запрядав ушами, животные. Еще несколько мгновений тягостного напряжения — и несколько лошадей из головы колонны разлетелись в клочья.

Полк остановился. Оцепенели люди. По колонне — от головы, пораженной близким разрывом снаряда, до хвоста, томимого неизвестностью, — прокатилась ужасная весть:

— Убит комбриг!

С бледным, взволнованным лицом, едва сдерживая горячего Сокола, прискакал Шостак. Взглянув на вышибленного из седла стонущего Георгиева, приказал своему адъютанту:

— Ты мне, Борис, нужен больше здесь, чем там. Своей головой отвечаешь за каждый волос Петьки.

— Есть, товарищ начдив, Фомичев получает его живым — живым его сдаст в госпиталь!

В пятидесяти шагах, отброшенный дьявольским взрывом, обливаясь кровью, распростерся на траве помощник командира бригады бесстрашный Данило Самусь. До того смерть много раз щадила его. В 1919 году деникинцы в Киеве расстреляли комсомольца Самуся. Брошенный палачами под березой в Купеческом саду, он, пронзенный шестью пулями, уполз от места казни. А здесь, у ворот Галиции, спустя год, он погиб от осколка, одного лишь осколка французского снаряда «канне».

Хладнокровно, методически, через аккуратно отмеренные промежутки тяжело вздыхала установленная на железнодорожных платформах осадная артиллерия, присланная Антантой Пилсудскому.

Пантелеймон Остапенко, накручивая обрубками пальцев рыжие усы, сменив Георгиева, возглавил бригаду. Два лучших полка конной дивизии, преследуемые леденящим свистом тяжелых снарядов, поджались и, выполняя волю начдива, двинулись через Подволочиск на Ожоговцы.

Две другие бригады, изнуренные двухнедельными тяжелыми боями с хорошо укрепившимся противником, стояли в резерве под Маначином. Разведчики Сероштана наблюдали район к северу от Волочиска, у села Токи,

откуда начдив 60-й, усиливая Ударную группу, снял бригаду бывших «сечевиков» Хустки.

Штаб Шостака в ожидании донесений от Остапенко, сменившего Георгиева, расположился в одном из старых окопов сразу же за Фридриховкой. Начдив, Нежинский, Гандзюк, военком Павловский сгрудились над картой-двухверсткой, изучая местность за Збручем, где должен был произойти первый бой на галицийской земле.

Передовой дозор, высланный Сероштаном на Токи, приближался к селу. За рекой, открытая глазам разведчиков, подымаясь в гору, вилась битая дорога на запад. По ней, вздымая пыль, выходила из Ток длинная колонна инфантерии. Мундиры познанских стрелков отчетливо выделялись на золотом фоне вечернего неба. Острые пули с визгом роились над разведчиками.

Из кустов вышел, оглядываясь по сторонам, солдат с круглым стальным шлемом на голове. Подняв вверх руки, направился навстречу дозору.

Разведчики — Черноус, Перчик и Ганка, — стиснув бока лошадей, обнажили клинки. Бросились галопом навстречу неприятельскому солдату.

— Пхолетахиат, — широко улыбаясь, закартавил солдат.

Всадники опустили клинки. Один Черноус, надвигаясь на неизвестного, угрожающе занес над его головой шашку.

— Чего сдрейфил? Рубай, Шлемка! Как стрелять — так поляк, а как попал под лезвие — так пхолетахиат. — Черноус, поглядывая с опаской на Ганку, заерзал в седле.

— Ай-ай, Черноус, а если человек не хочет рубаться... — покачал головой Перчик.

— Ты кто, откуда, какого полка? — посыпались вопросы разведчицы.

Солдат, искоса поглядывая на злобное лицо Черноуса, ткнул себя в грудь:

— Пхолетахиат. Хусский человек пхолетахиат, фхансе пхолетахиат! Марсель Кашен — коммюнист, Жак Садуль — коммюнист, муа, — ткнул себя пальцем в грудь перебежчик, — Виктох Пуантю — коммюнист. Муа — Пуантю, Пуанкахе нон. Пуанкахе — бухжуа, Пуантю — металлухжист, хабочий. — И солдат стал стучать сжатым кулаком по ладони своей левой руки. — Пхолетэх

де ту ле, пэи, униссе ву! Пхолетахиат вся стхана, сойдиняйсь!..

— Из какой части, полка, дивизии? — допытывалась Ганка. — Поляк?

— Фхансе, фхансе, полоне нон.

— Ага, — догадался Перчик, — франце, французские пушки, французские френчики и солдат французский, а в плен не хочет, говорит: полоне нон.

— Эх ты, балда, — обрушился Черноус на кузнеца, — «полоне» не плен, а поляк!

— А ты откуда знаешь? — удивилась разведчица.

— Откуда... — искал ответа боец и опустил наконец клинок. — У нас в деревне садовник француз был... коечто у него перехватил. — И он снова вскинул клинок над головой: — Что ж, братва, рубанем этого пхолетахиата!

— Я тебе порубаю! — рванулась к нему Ганка.

Француз побледнел и с беспомощной улыбкой, опустив руки, стоял посреди дороги, доверивши свою жизнь этим людям, которых он видел впервые.

— Тогда снимай робу! — зло скомандовал Черноус.

— Пошел к черту, — рассвирепела Ганка, — я с тебя сдеру робу вместе с твоей поганой шкурой! Здесь ты боевой, а командирову любезную не уберег.

— Что, завидуешь ей? — огрызнулся разведчик. — Можешь ее заменить, сейчас ты свободна...

— Ай-ай, Черноус, — стал укорять его кузнец, — тут, можно сказать, пришел к нам мировой пролетариат, а ты такие слова пускаешь на воздух!

Дозор привел пленного в штаб. Квитень, собрав свой небольшой запас французских слов, оставшихся в памяти после гимназии, начал объясняться с солдатом. Бойцы окружили пленного. Для многих это был первый в жизни француз. Комиссар допрашивал его и, получая ответы, тут же переводил всем разведчикам.

— Меня послали отвоевать десять миллиардов — царский долг Франции. А я не хочу убивать русских пролетариев, — перевел Квитень слова пленного.

— Десять миллиардов — это, значит, по триста франков на каждого француза.

Оживились бойцы. Посыпались реплики:

— За триста франков убивать людей!

— Больше проешь, чем триста франков!

— Один костюм стоит этих денег!

— Да за это время можно заработать сто раз по триста франков!

— Дело в том, — ответил на эти негодующие восклицания перебежчик, — там, в Париже, есть такие, которым причитается с вашего царя по триста тысяч, а то и триста миллионов. Это знаменитые стригуны купонов. На всех перекрестках они кричат: «Свобода, равенство, братство!» — а за жирный процент дали царю денег на удушение вашей свободы. Кроме того, Америка нажимает. За войну мы крепко ей задолжали. Вот и послали меня наши капиталисты отвоевать старые долги России.

Зашумели казаки:

— Ну и пусть сами отправляются к царю за долгами!

— С нас много не возьмешь!

— Вот я и пришел к вам, — широко улыбнулся французский металлист, — чтобы сказать: стойте крепко, не уступайте. Это маршал Фош посылает сюда пушки, посылает генерала Вейгана, а Франция стоит за вас. Наши железнодорожники объявили всеобщую забастовку. На целый месяц они задержали доставку оружия пану Пилсудскому. Фош хотел двинуть сюда войска из Франции, но понял, что этот номер не пройдет. Послали нас, пулеметчиков, из Греции. А на Салоникском фронте подобрались самые зубры — Франше д'Эспере и другие.

— Что ж? — Квитень перевел французу слова Ганки: — «Прошлой весной, это было под Одессой, мы отобрали у ваших генералов танки. Один даже послали в подарок Ленину в Москву. Отберем и пулеметы...»

— Ça bon, ça bon! [1] — радовался перебежчик. — Еще я вам скажу: читали мы в газетах, что десятого мая лондонские рабочие отказались грузить оружие Пилсудскому на пароход «Ллойд Джордж». Всюду рабочие за вас. По всей Европе только и слышно: «Руки прочь от Советской России!»

— А почему вы не устроили у себя революцию? — спросила через комиссара Ганка.

— Го-го-го! — воскликнул француз. — Какие у нас были солдатские бунты! О ça... Сколько полков развернули красные знамена! Пуанкаре и Фош не пожалели

[1] Хорошо (*фр.*).

для них снарядов и свинца. Беда в том, что у нас еще мало настоящих людей. Жореса нет, нет вашего Ленина. Вот вы боретесь за мировую революцию, — пленный обвел разгоряченным взглядом разведчиков, — а наши люди гниют на каторге в Кайене, Марокко, Алжире.

— Это все политика, — вмешался в допрос Сероштан, — а пусть скажет, из какой он части, что делают легионеры.

Перебежчик-француз, стараясь возможно полнее удовлетворить любопытство командира, сообщил много интересного и ценного.

Сам он — слесарь Виктор Пуантю, уроженец Армантьера, прибыл в Галицию неделю назад из Греции. Его пулеметный полк входил в состав французского экспедиционного корпуса генерала Франше д'Эспере. Им, солдатам, объясняли, что Пилсудский расправится с большевиками в две недели хотя бы потому, что Франция вместе с Вейганом послала сюда девять генералов, двадцать девять полковников, семьсот офицеров, две тысячи пушек, три тысячи пулеметов, полмиллиона винтовок, триста самолетов, не считая обмундирования...

По словам перебежчика, граница денно и нощно укреплялась штрафными солдатами под наблюдением французских инженеров. Во главе их стоит полковник — «марокканец» Буайе. А сейчас командование, узнав о неустойке в Волочиске, спешно бросило на ликвидацию прорыва все свои силы. В Токах остался небольшой заслон.

27

Успех, достигнутый Ударной группой 60-й дивизии в ночь на 25 июля ценой значительных потерь, не получил своего развития. Мало того, захваченный во время ночной атаки Подволочиск пришлось отдать легионерам. Не помогли ни отчаянное сопротивление полков 60-й дивизии, ни бригада Богдана Хустки, хотя она и старалась отвагой, доходившей порой до безумия, загладить прошлые свои прегрешения.

На помощь Пилсудскому пришли батальоны, снятые с неатакованных участков. Резервы, стоявшие в Скалате и Скориках, с двух сторон обрушились на фланги Ударной группы. Начдив 60-й, обнажив второстепенные участки, исчерпал все возможности для непрерывного питания боя свежими силами.

Недоставало крупных резервов у обеих сторон, и все единоборство за Збруч, за бывшую государственную границу, свелось к сражению у Волочиска. На остальном пространстве велись незначительные, демонстративные бои или же активное наблюдение за действиями противника. При таком характере войны на успех мог рассчитывать тот, кто располагал подвижными силами для широкого маневра и желанием правильно и полностью использовать их.

А пока что, по пояс в воде, все еще под впечатлением всесокрушающего огня осадной артиллерии, возвращались в исходное положение красноармейцы 60-й дивизии. Широким фронтом, не ища брода, переходили мелководный Збруч всадники 1-й бригады. Они вели за собой необычные трофеи и необычных пленных: пулеметные упряжки с вислоухими ишаками и несколько французов, прибывших недавно, как и перебежчик Виктор Пуантю, из-под Салоник.

На толоку, где в полуразрушенном окопе устроился штаб Шостака, явился Остапенко и, еще больше кося глазом от нервного возбуждения, отчаянно ругался:

— Ну и кроет, с бугра им в печенку. Эта долгобойная орудия, можно сказать, не очень-то нравится моим хлопцам. Сколько погибло казаков, поубивало лошадей! И кроме всего, теснота такая — некуда кинуться в атаку даже сотней: то лесок, то ставок, то забор, то халупы. Он в тебя хлопает на выбор, а ты шаблюкой его не зацепишь.

— Что говорить?! — поглаживая пышные пшеничные усы, сказал голубоглазый красавец гигант, бывший желтый кирасир его величества, Василий Сидорчук, переведенный недавно в 6-й полк вместо Квасова.— В самое пекло загнали конницу. Недалеко отсюда в тысяча девятьсот четырнадцатом году австрийцы истребили почти всю нашу гвардейскую кавалерию.

— Слыхано ли это,— возмущался Остапенко, размахивая покалеченной рукой,— чтобы кавдивизию засадили в такую яму?!

— А там дальше, по всей Галиции, пойдут старые окопы, пересеченный район — раздолье для пехоты и гроб для конницы! — сверкнув большими черными глазами, поддержал товарища новый командир 2-й бригады Дмитрий Пронь.

Дмитрий Пронь, в прошлом харьковский наборщик, краснознаменец, один из старейших червонных казаков, несколько дней назад вернулся в дивизию после ранения, полученного под Перекопом. Его, как боевого и опытного командира полка, Шостак поставил на место Творожникова.

Бывший лейб-гвардии гусар, терявшийся в необычно сложной рейдовой обстановке при всяком новом донесении о появлении врага, не растерялся в Черном Острове, через который проходила его бригада вслед за полками Георгиева. Его тачанка после рейда ломилась от добра. Никчемность Творожникова как кавалерийского начальника и его неслыханное стяжательство возмутили всех. Степанина, швыряя на траву шелковые отрезы, хромовые кожи, тючки с польскими марками и петлюровскими карбованцами из богатой добычи разжалованного комбрига, искренне возмущался:

— Я брал Зимний дворец! На мне была куцая, худая шинель! Но думал: пусть лучше отсохнет рука, чем возьму то, что завоевано народом и для народа!

Выслушав небезосновательные сетования командиров, хмурый Шостак успокоил их:

— Конечно, Таврия как бы создана для кавалерийских боев, но и здесь мы нужны. Вспомним, что случилось под Перекопом. Увели нас — воспрянула врангелевская казачня. Уведут нас отсюда — сразу же появится здесь конница Тютюнника. А сейчас она прячется от нас, как мышь от кота. И не все же время придется нам прошибать лбом стенку. Выйдем мы и на простор.

— А я считаю,— поддержал Шостака военком Павловский,— наше дело воевать там, где прикажет партия. Так и объясните, товарищи, бойцам.

Шостак, наблюдавший в бинокль за боем у Волочиска, двинул из резерва полк Фостецкого. Самоотверженная пехота, измотанная ночным штурмом и бесчисленными дневными контратаками, едва сдерживая бешеный натиск галлерчиков, отдала им с большим трудом захваченный Волочиск. Спешенные сотни Фостецкого, усилив пехоту, вернули ей ее прежнюю стойкость.

Надо отдать должное шляхте — на протяжении многих веков она не жалела крови народа за свое пятисотлетнее господство в Галиции. Так и сейчас она шла на все, чтобы удержать в своих руках заебручские земли.

Фостецкий велел подать коня. Вороной, по кличке Шалун, с белым, во всю морду, фонарем, нервничал, остро поводя ушами. В такую важную минуту, когда решался исход боя, даже он, «великий кунктатор», не пожалел любимого коня. Казаки Фостецкого, не особенно гремевшие в конных атаках, но стойкие в обороне, на виду у командира полка, появлявшегося то на одном, то на другом фланге боевого порядка, щеголяли друг перед другом своим мужеством и бесстрашием. То, что Иван Фортунатович подставил под удар любимого Шалуна, говорило им больше, чем любые слова. Фостецкий, сопровождаемый роем пуль, двигался по полю боя. Он подзадоривал отважных, хвалил смелых, своим презрением к опасности возвращал стойкость духа малодушным.

По назойливому свисту вокруг «великий кунктатор» знал — это не случайные пули. Целили в него. «И так,— подумал он,— целит только тот, кто прошел курс прусской учебной команды». Быть может, целит в него близкий земляк из Домбровщины, а возможно, и товарищ по забою, с которым он до службы делил последний кусок!

Чтобы отвлечься от мысли о смертельной опасности, Фостецкий заставлял себя думать о вещах, имевших отдаленное отношение к его функциям командира — распорядителя боя. Он часто говорил: «В бою полезно пофилософствовать». Обстановка в этом, почти лобовом, столкновении представлялась ясной, по мнению комполка, каждому красноармейцу, не то что командиру. Особых распоряжений от него не требовалось. И то, что он все время находился на виду, было во сто крат ценнее любой команды.

Беспартийный Фостецкий не расставался еще с некоторыми суевериями. Он признавал приметы и придавал значение снам. И сейчас, двигаясь вдоль цепи, решил: если до ближайшего окопчика не больше двадцати секунд ходу, то сегодня его не заденет. Так было и в ту войну, ровно шесть лет назад, на этих самых полях, когда он, ефрейтор 1-го взвода 12-й роты 3-го батальона, наступал со своим 326-м пехотным полком на Подволочиск. До пограничного знака оставалось с полсотни шагов. Он загадал: если дойдет до столба, то дотянет и до мира; если ранят — то войну не переживет. Но тут же в нескольких шагах от него разорвался снаряд. После этого Иван Фортунатович, раненный, год провалял-

ся в тылу, но все же царскую войну пережил и не только уцелел, но и стал большевистским полковником.

Снуя по фронту, словно челнок, Фостецкий мучился мыслью, что его может поразить пуля не только земляка, но и близкого человека. «Политика прошлась по географии,— любил говорить он.— Я попал в учебную команду к Николаю, а мой родич — к Вильгельму». «А теперь, может, через какой-нибудь часок,— думал философ-кавалерист,— близкого земляка могут настичь сабли моих казаков. Досадно, все же своя кровь. Но происходит это не потому,— успокаивал себя домбровский углекоп,— что меня сделали командиром полка, а потому, что я прежде всего пролетарий. Да, прежде всего пролетарий, а потом уже поляк. А тот рабочий, который считает себя сначала поляком, а потом уже пролетарием, тот сейчас по приказу Пилсудского стреляет в меня и в таких же рабочих, как мы с Рынвой-Рынальским».

Вмиг оборвались размышления командира полка. Шалун, сраженный пулей, упал сначала на колени, а потом свалился на бок. Вокруг Фостецкого, устоявшего на широко расставленных ногах, завизжали пули. Одна из них, угодив в шашку, завила в спираль дужку эфеса. Другая попала в руку командира повыше локтя. Кровь, просачиваясь сквозь китель, закапала на землю.

— Ложитесь, ложитесь, товарищ командир! — зашумели бойцы.

Пока Фостецкий, восседая на коне, воодушевлял своим видом бойцов, никто не смел давать ему указаний, а сейчас, когда он, мужественно выполнив свою миссию, истекал кровью, каждый считал своим долгом напомнить ему об опасности.

Но Иван Фортунатович не лег. Поддерживая раненую руку, двинулся к цепи, в тыл. Два казака, поднявшись с земли, ринулись, сгибаясь на ходу, к командиру. Подхватив «великого кунктатора», они, приседая под тяжестью ноши, унесли его с поля боя на перевязочный пункт.

Во главе полка, готовя его к контратаке, стал комиссар Фостецкого, петроградский рабочий, путиловец Антон Реглис, член партии с 1910 года. Рынва-Рынальский, старший по партийному стажу на пять лет, называл путиловца комсомольцем. Молчаливый и тихий, с нескладной сутулой спиной, темно-русыми украинскими усами,

Реглис проводил с кавалеристами дни и ночи в цепи. Как — не так давно — с латвийскими стрелками.

Шостак любил выдвигать в командиры политических работников дивизии. Впоследствии стали командовать полками и бригадами Рынва-Рынальский, Евгений Павловский и другие комиссары.

Савва Захарович Степанина, узнав о ранении Фостецкого, бросил 4-й полк Карачая, в котором он находился с утра, и полетел к Реглису. Хотя он ничуть не сомневался в боевых качествах своего друга-политкаторжанина, но знал, что появление комиссара бригады в цепях подымет дух казаков, потрясенных ранением любимого командира полка.

Бойцы, как всегда приободренные появлением Степанины, прежде всего поинтересовались, состоялся ли суд над Творожниковым и его ординарцем. Следствие по их делу началось сразу, как только дивизия вышла из рейда.

Окруженный казаками резервной сотни, начал свое сообщение Савва Захарович:

— Нынче утром судил их дивизионный трибунал. Вечером приговор будет приведен в исполнение...

— Обоим шлепка? — послышались голоса.

— Нет, — устанавливая тишину, поднял руку комиссар.— Расстреливать будем одного Костю Чижика — коновода Творожникова, и вам, как и четвертому полку, надо выделить звено казаков для приведения приговора в исполнение. Возможно, что сын петербургского адмирала и сын одесского маклера сошлись на одной платформе, но комбриг сам ничего не брал. Чижик, пойманный с поличным, все взял на себя. Творожникову присудили строгий выговор с предупреждением и запретили ему занимать ответственные командные должности сроком на год.

— Тот Чижик,— загремел один из казаков,— вовсе распоясался! Все прикрывался званием вестового комбрига. У него и лозунг свой был: «Подальше от боя — поближе к барахлу».

— А вы знаете, кто он, этот Чижик? — продолжал Степанина.— Когда Советская власть прижала одесскую воровскую братию, их пахан, знаменитый Мишка Япончик, организовал «огневой» полк и согласился с ним пойти на фронт против Петлюры. Но, не вступив еще в бой, воровской полк разграбил немецкие колонии под

Раздельной. Япончика расстреляли, и сам Котовский устроил чистку тому «огневому» полку, который огня и не нюхал. Попал под эту чистку и Чижик, известный в Одессе под кличкой Франзоля. Всех, кто уцелел, отправили в бригаду Гребенки. Ну и эта бригада нехорошо себя показала: когда Деникин стал напирать, начали лазить по сундукам. И ее расформировали. Часть кавалеристов Гребенки, как вы знаете, попала к нам. Переварились среди нас, а вот этот Франзоля не захотел перестроиться...

— Собаке — собачья смерть! — поглаживая пышные усы, отрезал комиссар полка Реглис.

— А приговор будут читать? — поинтересовался один из казаков.

Савва Захарович достал из кармана гимнастерки смятую бумажку, развернул ее. Насупив мохнатые брови, приступил к чтению:

— «Реввоентрибунал восьмой кавалерийской Червонного казачества дивизии, рассмотрев дело Константина Чижика, признал обвинение доказанным полностью и, принимая во внимание, что в настоящее время, когда пролетариат и крестьянство Советской республики, истекая кровью в борьбе с многомиллионными врагами трудового народа, стремятся создать могучую Красную Армию, дабы, не останавливаясь ни перед чем, спасти революционную свободу, добытую ценой бесчисленных кровавых жертв лучших сынов революции, такие преступления способствуют врагам революции и дискредитируют Красную Армию. А потому, руководствуясь революционным коммунистическим правосознанием и революционной совестью, Реввоентрибунал приговорил Константина Чижика к расстрелу. Пред. РВТ Зарубаев, секретарь Басенко».

...На всем скаку преодолевая канавы и старые окопы, широким несдержанным аллюром неслась по полям Ганка. Доставить срочное и важное донесение Шостаку Сероштан мог поручить только отважному и испытанному разведчику. По улицам Фридриховки Ганка промчалась карьером, пригнув голову к гриве бешеного коня. На толоке у окопчика она круто осадила скакуна. Навстречу разведчице уже шел Нежинский. Он, как и все штабные, хорошо знал, что лишь с ответственными поручениями посылал ее Сероштан. Девушка, никого не замечая, искала глазами Шостака. Увидев его, согнувшегося над

картой, соскочила с тяжело дышавшего коня. Руку с плеткой, висевшей на кожаном ремешке, вскинула к папахе.

— Товарищ начдив! — начала она.— Приказано доложить вам лично: граница открыта!

Спокойно отчеканив доклад, посыльная отдала пакет начальнику штаба.

— Здравствуй, Ганка! — Шостак, вылезая из окопа, приветствовал раскрасневшуюся девушку. — Спасибо за службу.

— Служим революции! — бодро ответила Ганка, приложив руку к папахе, а затем уж протянула ее начдиву.

Шостак принялся читать донесение.

Ганка, толкнув локтем одного из ординарцев, обвела изумленным взглядом кучу окровавленных и еще не убранных конских трупов. Казак шепнул ей в ответ:

— Морская орудия. Подвез с германского моря. Говорит: сгоню сюда всю Европу, а Шостака вперед не пустю.

Начдив, услышав слова ординарца, рассмеялся:

— Не пустит — сами пойдем. Через час, товарищи, будем в Галиции. Верно говорю, Ганка?

— Конечно, верно! — вновь зардевшись, ответила разведчица.

Спустя полчаса ординарцы, надвинув поглубже папахи, скакали уже к изнывавшим без настоящего дела червонноказачьим полкам с новым приказом Шостака.

Нежинский, отправив посыльных, порылся в своей полевой сумке. Извлек из нее довольно помятый, почерневший пакет.

— Споешь мне песню? — спросил начальник штаба, обращаясь к Ганке.

— Почему только вам? Я могу спеть, но пусть слушают все,— посматривая на пакет, взволнованно ответила разведчица.

— Согласен. Только знаешь какую?

— Ну?

— «Якби я був полтавським соцьким».

— Согласна, а когда?

— В тот день, когда кончится война.

— Ясно: когда пир — тогда и песни. Ну что там?— Ганка нетерпеливо взяла письмо. Распечатала его. Впилась жадными глазами в бледные, написанные карандашом строчки. Значит, он жив. Не забыл ее. Через нее

пытается связаться с сотней, с боевыми товарищами. Да, это чудо из чудес: пуля пробила черепную кость и, не задев мозга, вышла из-под правого уха.

Балабан на сей раз не поскупился. Не то что в сотне, когда опасался сказать так нужных Ганке несколько теплых слов. В послании к ней он изложил все свои злоключения.

Вечером того же дня, когда происходил бой под Михеринцами, крестьяне, интересуясь размерами проторей, вышли на поля. Там, на умятой пшенице, они нашли стонущего, с окровавленным лицом командира. Принесли его в село. Опасаясь повторного появления легионеров, прежде всего сняли с него боевую амуницию, стащили брюки с лампасами, натянув вместо них холщовые портки. Стали судить-рядить, что делать с тяжелораненым. Подошла молодуха, та самая, у которой стоял на квартире Гаманец,— «гвардии Палажка». Потребовала командира к себе. Заявила, что самое безопасное место — это у нее. И еще добавила: «Звала я этого усатенького к себе живым-здоровым, он все упирался, а вот сейчас пожалует ко мне полуживой. Касаемо же политики, то это не мое бабье дело...»

Михеринчане, пошумев, согласились. Только предупредили Палажку: если что случится с командиром, они, когда придут свои, нагрузят ее добро на воз и выгонят из деревни, чтоб в Михеринцах и не пахло ее духом.

«Гвардии Палажка» вместе с односельчанами отнесла Балабана в свою хату. Две недели, сзывая всех шептух и древних костоправов округи, день и ночь возилась с раненым. Варила ему разные снадобья из трав, готовила все лучшее, что воспринимал крепкий организм взводного. Достав со дна сундука, надела на себя самые лучшие вышитые сорочки, самые яркие запаски и просиживала часами у изголовья больного.

После ее неустанных забот к раненому не только вернулось сознание, но он стал и шевелиться в кровати. Хозяйка, предчувствуя, что ее усатый гость вот-вот улетит, заторопилась с объяснением. Она начала убеждать взводного в бессмысленности жертвовать собой, доказывая, что он уже свое сделал, пусть теперь воюют другие. Она, хозяйка просторной усадьбы, не веря в возвращение подхорунжего и не желая этого, рисовала радужные картины спокойной беспечальной жизни в ее тихом уголке.

— Зачем только мучают народ,— горевала она,— режут один одного, как овечек. Ну раз уж пошла та междоусобица — вышли бы перед народом с одной стороны хотя бы ваш наистаршой, а с другой — Пилсудский. Пусть поборются; чей окажется верх, тот пусть командовал бы...

— У тебя тут все как следует,— отвечал ей Балабан и показывал на ее крепкие плечи,— а вот здесь,— подносил он палец ко лбу,— того...

— Ну а что, в самом деле? — настаивала на своем молодуха.— У них там свои споры, а сшибают между собой вас, мужиков. Вот вашему Ленину и нужны такие, как ты, значит, чтобы за него кровь проливали... Знаешь, Лариоша, сколь из тебя ее вышло там, в пшенице, и здесь, в моей хате?..

— Нет, Палажка,— отвечал ей взводный,— ты, может, и права, что я нужен Ленину, а еще больше, скажу я тебе, Ленин нужен мне. С малых лет меня давили враги, не давали вздохнуть, паскуды. А Ленин помогает мне расправиться с ними. И не только пособляет, а еще и подкрепляет меня такими же, как я, товарищами. А без Ленина где бы я их нашел? Видала наших казаков — конь к коню, молодец к молодцу. Так что, видишь, добрая душа Пелагея, не столько я Ленину нужен, как Ленин нужен мне...

Здоровый организм взводного взял свое. Как только Балабан начал передвигаться по хате, молодуха по его настоянию отвезла гостя в Проскуровский госпиталь. Прощаясь с ним и передавая ему тяжелый узелок с харчами, подхорунжиха, отвернувшись, глубоко вздохнула:

— Эх, Лариоша, сладкая отрава моей души, не знаю отчего, но как увидела тебя с усами нашего славного кобзаря, так и подхорунжий вылетел из сердца... Чи встрену тебя еще раз...

Ганка, читая с большим волнением откровенное послание взводного, почувствовав ноющую боль в сердце, все же тепло подумала о михеринецкой селянке...

Хладнокровно, методически, через аккуратно отмеренные паузы тяжело вздыхали осадные орудия. Полки кавалерии, преследуемые леденящим свистом, с сознанием вездесущей опасности, двинулись на Ожоговцы.

Голубые сумерки качались в прибрежных камышах. Как стройные тополя, вытянулись оливковые вечерние тени. Нахмурились в ожидании неизвестного лица бойцов. Впереди — заграница. Солнце загадочной кровавой хоругвью тлело на бывшей австрийской земле.

Но вот примчался еще один посыльный из развед-дивизиона — Гаманец. Чуть прихрамывая, он уже давно отшвырнул палку и, нацепив шашку, забрался в седло. Ему, как одному из самых отважных разведчиков, дали коня Балабана. Вручив пакет Шостаку, он приблизился к Ганке.

Сгрудившись над картой, штабники, заслоняя свет спичек широкими мохнатыми бурками, изучали обстановку. В эстафете, доставленной Гаманцом, впервые сообщалось о так называемом «черном» легионе. Выкинув белый флаг, легион за Токами залпами в упор опрокинул сотню, бросившуюся забирать пленных. Зато Сероштан под Воробьевкой захватил в плен одну роту вместе со взводом французских пулеметов на осликах.

Пленные сообщили, что «черный» легион укомплектован одними шляхтичами. Все они — участники походов Галлера. 3-я Краковская рота, недавно сколоченная какой-то Брониславой Панчохой, состоит из самых знатных панянок республики.

Ганка, еще под впечатлением поразившей ее новости, схватила Гаманца за рукав:

— Самойло, знаешь, Балабан жив.

— Иди ты, болтуха, знаешь куда? Не мне это говори. Оттудова еще никто не вертался.

— А вот Ларион вернулся! — задорно и весело защебетала Ганка. Порывшись в кармане гимнастерки, достала измятый конверт.

Сильно забилось сердце разведчика. Этого он опасался больше всего. Не потому, что придется отдать коня взводному. Если Балабан сразу не помер там, под Михеринцами, то он мог услышать его слова: «Панове, я мобилизованный, панове, я ваш». Мороз пробежал по спине Гаманца. Да, Ларион мог слышать и звон золотых монет. Если об этом узнают хлопцы — срама не оберешься. И дело не в одном сраме. Ныне Квитень зачитал разведчикам приговор Ревтрибунала по делу Кости Чижика. Все может обернуться очень нехорошо. Правда, успокаивал себя Гаманец, он не тронул ни одной нитки у трудового человека. Брал у мироедов. И не

прятался от пуль, как коновод комбрига. Но все же... А Балабан не смолчит. Его считали совестью сотни. На таких, как он, держалась моральная крепость советских полков. Гаманец, подумав об узелке, брошенном им в реку после чудесного спасения под Михеринцами, несколько успокоился. Но каждый раз, когда он вспоминал о взводном и о его возможном возвращении, ему становилось не по себе.

Ночью по следам разведчиков, ушедших далеко в сторону Збаража, полки Шостака, миновав Токи, направились в глубь края. Медные трубы освободительных сражений громко зазвучали над Галичиной.

28

Все жители села Скорики стекались к униатскому костелу. Этот деревянный, обшарпанный, как барак, храм божий построили верующие еще в 1774 году в честь Иоанна Богослова.

Жители, кто со злобой, кто с ужасом, приходили к церкви смотреть на жуткое зрелище. Нахмурившись, обступили пленных галлерчиков, отличившихся здесь еще в 1919 году. Старики и молодежь с любопытством разглядывали еще не виданных ими большевиков.

В раскрытых воротах церкви висели два тела. Тощая веревка терялась в сумраке, и казалось, что люди, подпрыгнув, так и застыли в воздухе с поникшими набок головами.

Один из повешенных — батрак Кахуля, бывший австрийский солдат,— в 1918 году вернулся из сибирского лагеря для военнопленных. «Черный» легион повесил его за то, что он ударил в набат в тот момент, когда на горизонте со стороны Ток показался красный разъезд. С ним рядом, предварительно пристрелив его, вздернули сельского войта за «беспорядок».

Трудовая Западная Украина своей первой кровью спаялась с освободительным походом советских полков.

Искали и учителя Настюка, которого обвиняли в срыве государственных плакатов, но он успел спрятаться в чаще ксендзовской конопли. Эти плакаты, вызывая смех и шутки бойцов, все еще красовались на стенах

многих хат. На одном из них — бродяга с красной звездой на шапке душил крестьянку и убивал ее дитя. На другом — белый орел клевал глаза и разрывал когтями свирепого, вооруженного секирой мужика. Орлу помогали польский рабочий, крестьянин, солдат и студент. Вот страшилище в полной генеральской форме впереди массы красных полков. Рядом с русским и немецкий генерал, и под плакатом выдержки из воззвания так называемого совета государственной обороны: «...Может ли мировая совесть молчать перед преступлением, которое над Вислой готовят бывшие генералы Николая II, работающие под руководством генералов Вильгельма II...», «Мы воюем против большевиков, а не против России. Мир России — война большевикам».

Захваченный в плен в Проскурове фельдшер, познанец Казимир Вальтер, уже в казачьей папахе и при лампасах, быстро освоивший украинский язык, переводил казакам тексты плакатов.

Одна бригада червонных казаков во главе с Остапенко, обогнав под Воробьевкой разведчиков Сероштана и ворвавшись на плечах отступавших в село Самохи, нависла над тылом врага.

3-й полк, в ожидании приказа, кормил лошадей у ветхих заборов полуразрушенных хат. Шумные, в длинных, до колен, рубахах селяне Скорик окружили красноармейцев в то время, когда со стороны Волочиска то и дело долетали гневные раскаты «ура» и грохот многочисленных пушек. Мощная 60-я дивизия теснила там колонны легионеров, необдуманно вылезших на левый берег Збруча.

Штаб 8-й кавалерийской дивизии расположился в просторном доме униатского ксендза. Гостеприимный, с искусственной улыбкой на бритом иезуитском лице, в черной рясе до пят, хозяин, потирая руки, преувеличенно громко выражал свой восторг, обращаясь к Шостаку:

— Как файно, очень файно, пан пулковник, что вы побили галлерчиков! Слава пану Езусу, как они плитовали отсюда, ха-ха-ха! Как они боятся вас, пан пулковник! Знаете, когда-то, в тысяча триста восьмидесятом году, наш пулковник Игнатий Рябец с двумя галицкими пулками помог вашему князю Дмитрию Донскому разбить татар. Галицкий инок Петр стал русским митрополитом и помогал Ивану Калите собирать Русь... Теперь, слава пану богу, вы нам, русинам, помогаете про-

тив этих лайдаков... Поганая, Христом не любимая схизма. Как они боятся вас! Интересантно, как они говорят, «цо то за большевици с таким длугом тычком, ниц не муве, едно коле и румбе». Больше всего, пан пулковник, боятся они язды — кавалерии и ваших там тех шпизов, или пик.

Нежинский, с шапкой набекрень, вопросительно взглянув на начдива, шутя поправил ксендза:

— Пан ксендз, это наш генерал, не полковник.

— Пшепрашам, пан генерал. О, бардзо поважно! Таки млоды, а юж генерал.— Ксендз нервным шагом подошел к дверям: — Эй, там, Мартын, Устя!

Вдруг багровым светом озарились широкие окна. На несколько мгновений осветилась широкая улица с ее снующими силуэтами и непрерывной возней. За селом, поддерживая Остапенко, гремела одна из батарей Гандзюка.

Ксендз насторожился. Побледнел. Очевидно, он перетрусил за свой преждевременный восторг.

— Ах да,— пробормотал он, заметив на пороге свою челядь,— Мартын, Устя, хутко гостям чай.

Шостак разглядывал скромное убранство квартиры, а начальник штаба с ленивой небрежностью перебирал безделушки на письменном столе униатского священнослужителя.

— Пан ксендз,— в упор своими близко поставленными глазами посмотрел на хозяина Гандзюк, знавший слабость Нежинского,— я где-то читал, что у вас пьют чай со сметаной.

— Да-да,— вновь улыбнулся ксендз,— будет для вас и масло, будет и сметана. Знаете,— заговорил он вдруг с жаром,— что за люди те католики? Нам, русинам, нам, галицийским украинцам, не было от них света, не было жизни. Все мазурам и ихним пробощам. Слава пану богу, убежал куда-то иезуит на Львов.

— Туда ему и дорога,— махнул рукой Гандзюк.

— Убежал, и бог с ним, нам он не нужен,— подошел к ксендзу Шостак,— для вас, возможно, все католики одинаковы, а мы различаем католика капиталиста и католика рабочего.

В комнату, робко постучав в дверь, вошел молодой человек. Сняв шапку, поздоровался:

— Добрый день, пане пробощу, у вас гости?

— День добрый, пане учителю, слава пану Христу,

гости. Когда у нас нет тех гостей? Вот уже шесть лет гости не переводятся, пан учитель. А как, «черный» легион вас не споймал, пан Настюк?

— Как видите, ваша мосць, забрался я в вашу коноплю. Добрыдень,— поздоровался, не подавая руки, учитель с работниками штабов.— Наша Галичина как корчма,— продолжал он,— приходят и даже не спрашивают, можно ли. А вам, извините, товарищи, мы очень рады. Шляхта лютовала в Галичине, как зверь. Сколько запороли, замучили, замордовали народу!

— Да,— подтвердил ксендз,— замучили и людей, и хлопов.

— Разве не все одно: человек и хлоп? — удивился Павловский.

— Ну ясно, все украинцы, аль же, если вы поважна людина, то и вы остаетесь поважной людиной, а хлоп остается хлопом.

Учитель, чувствуя неловкость за ксендза, усмехнулся, робко посматривая на военкома.

— Я думаю,— начал Шостак,— Галичина — это не корчма, а, скорее, мост. Через него идут все дороги с запада на восток и с востока на запад.

— То верно,— кивнул головой учитель, сев несмело на край стула.— Кто только не шел через этот мост: киевские, волынские, литовские князья, сам Владимир святой ходил со своей дружиной, польские, венгерские силы, турецкие, татарские орды. Через Галичину и Венгрию летела батыевская саранча, русские полки Екатерины, Александра Первого, царя Николая, австрийского цесаря, наполеоновского Варшавского княжества. Много наций, народов, племен топтали наш Галицкий мост.

— А еще больше,— поднял ксендз палец,— борьбы было за Христову веру. Сколько столетий боролась православная церковь с латинской. А потом все закончилось унией.

— Вера верою,— остановил ксендза Шостак,— а не надо забывать хлеб, скот, лес, вино, табак: из-за них шла борьба, и прикрывалось же все верой.

— Добавьте, — смеялся Павловский, — бориславскую нефть и горный воск озокерит.

— Ох, панове-товарищи,— вскочил с места учитель,— что делалось с той нефтью, когда было наше правительство!

— Клика Петрушевича? — спросил Гандзюк.

— Да, западноукраинская народная рада, ЗУНР. Хоть столица находилась в Станиславове, но все министры, заправилы всех партий сидели в Бориславе и Дрогобыче. Каждый хотел отхватить немного нефти или хапнуть немного свечей. Какой гендель был там! Какой бойкий гешефт! Члены правительства, депутаты, адвокаты, доктора, судьи, прокураторы, офицеры — все сделались коммерсантами, а главное — офицеры. В Дрогобыче в кавярнях подвизалось больше старшин, чем во всей армии усусов — украинских «сечевых» стрельцов пана Петрушевича.

— Ну то не совсем так! — начал возражать ксендз.— Зачем делать такую утрацию? Наши «сечевики» отважно боронили край от наезда галлерчиков.

— Куда там! — усмехнулся учитель Настюк.

На дворе не умолкал гомон. У костров, за котелками, заглядывая в них, а кое-где притащив что-нибудь свое для навара, уселись вместе с бойцами селяне.

Старик в соломенном бриле, с тяжелой трубкой в зубах медленно и важно зацокал:

— Нам наш пáрох говорил, же большевики все забирают, большевики, говорит он, не хотят, жебы была собственность.

— У богатых,— поправила мужика Ганка.

— У шляхты, у панов? — спросил ксендзовский батрак Мартын, то и дело выбегавший из кухни на улицу.

— Да, берут у господ, фабрикантов, чтобы все было у рабочих и крестьян,—авторитетно заявила разведчица.

— О, то все наши хлопы большевики, и я первый большевик! — обрадовался старик.

— А пан учитель говорил и товарищ Кахуля, царство ему небесное, хорош был хлоп, — перекрестился дед, а за ним все его земляки,— они говорили же: все панские грунта пойдут украинским хлопам, русинам.

— Правильно, папаша, панская земля пойдет всем хлопам — и украинским, и польским, — вставил и свое слово Панько Курочка, предварительно взглянув на Ганку, словно ждал от нее одобрения.

— О, значит, и мазурам?

— Да, и мазурам, если он хлоп, бедняк,— подтвердила разведчица.— Мы воюем против польских капиталистов, а не против польских рабочих и крестьян.

— Все хлопы — наши братья, все господа — наши враги,— поддержал Ганку и Гаманец.

— Давно пора, помогай пан Езус! — снова перекрестился дед.— Раньше халупники наши до Америки ехали, в Россию на работу шли, на шоссе долбали камень, а зараз через войну никакого руху нет. За эти годы хоть выбило немало мужиков, а бабы опять же не забывают своего дела. И гляди, сколько было ртов, столько и есть.

— Поделим землю, дай подвинуться, на все рты хватит,— заверил крестьянина Перчик.

— А поделить, товарищи, есть кого,— вступила в разговор бабка.— Он там — иден пан Потоцкий держит кавалек на восемьдесят тысяч моргов да восемьдесят сел. У Сапеги, Замойского — не меньше. А барон Гирш? Щоб их пранця побила!

Вековая мечта разгоралась, как пламя. Все теснее и теснее собирались жители Скорик вокруг красноармейских костров. При их мерцающем свете бледные лица галичан казались сошедшими со старинных полотен.

— Мы, товарищи, трудящий народ,— оживился вовсе старик,— кабы нам подмогу дали. Запрошлой осенью, когда цесаря скинули и заслыхали, что вы там у себя делите панские грунта, то и мы, халупники, бросились к нашему пану. И вы знаете, люди добрые, наши же жовниры-усусы, которые охраняли фольварки, выгнали нас. После, когда повели мы скот на панский выпас, пришел из Тернополя карательный отряд и молотил рушницами, порол нас, ох и порол... каждому десятому всыпал...

— От сволота! — возмутился Гаманец.

— А тем летом не пошли в маеток робить за панскую цену, так всю зиму сидели холодные, хуже собак. Ни одной гилочки пан не продал, а леса — все панские, и гаевой — мазур. Как завидит хлопа в гаю, так и полюет из дробовика. Кругом беда нам, халупникам.

— Ничего, папаша, теперь халупники заживут,— подбодрил старика Курочка, запуская два пальца в его широкий кисет.

— Идите, идите, детки, дальше,— благословляла красноармейцев та же бойкая старуха.— Не дай бог, опять объявятся проклятые галлерчики и их бесовские пушки! Как ударит — так нет полсела, как ударит — так полсела!

— Да,— шутил Мартын Бубна, работник ксендза,—

от тех гармат такая канонада пошла, что у наших баб глечики на колках полопались.

Дружный смех зазвенел вокруг шумного костра.

Подымая пыль, скакали одиночные всадники. Торопились куда-то вестовые и ординарцы. Со всех сторон стекались в штаб донесения. Двор ксендза напоминал ярмарку.

Учитель, осмелев, придвинулся к столу, попросил чаю, стал наступать на ксендза.

— Наши «сечевики» — ведь то больше были хлопы, они делали, что приказывал старшина. Наши «стрельцы» хотели делить панскую землю.

— Без выкупа? — спросил Павловский.

— Да, без выкупа!

— Как так можно?! — возмутился поп.— Мы хотим, чтобы у нас был позитивный порядок, чтобы держава была как держава, чтоб все было, как у людей, чтобы все было репрезентантно. На что нам чужое добро? Наш хлоп с охотой заплатит за землю.

— Какой хлоп — кулак, буржуй? — спросил начштаба.— Конечно, тот заплатит. Ведь так спокойнее.

— У нас нет кулаков, буржуев. Мы все украинцы.

— А ваш Петрушевич,— улыбнулся военком дивизии,— землю у магнатов не отобрал, даже парцелляцию[1] не произвел: испугался Антанты, чтобы не посчитали галицийское правительство за большевиков. Ведь все надежды были на Антанту, а она возьми и отдай Галичину шляхте...

— Да,— неодобрительно посмотрел на ксендза Шостак,— у вас буржуев нет. У вас только хлопы и поважные люди.

— Как можно,— продолжал возмущенный поп,— когда идет еще война, делать партажацию[2] или парцелляцию?! Это значит — развалить армию, потому что все комбатанты пойдут делить землю. Кто ж будет воевать?

— Чепуха! — осмелел учитель.— А то лучше, когда паны прогнали нашу армию за Збруч? За что, я вас спрашиваю, пан ксендз, сражались наши усусы: за нефть Петрушевича, или за право распевать «Вже воскресла Украина», или за то, жебы жена Голубовича ходила на высоких подборах и носила тонкие шелковые

---

[1] Деление (*польск.*).

[2] Распределение (*польск.*).

рубахи? Связались с Петлюрой и пошли с ним вместе в могилу. Нас продал — и сам пропал. А вот послушайте, что пишет львовская продажная газета «Вперед». И это после того, как Пилсудский с Петлюрой загнали наших усусов в лагерь смерти, в Тухель.

Учитель развернул желтенький листок и начал читать:

— «Дайте нам вместо красивых слов и советов пропуска, пустите нас в Приднепровскую Украину, а мы все без исключения возьмемся и будем строить Украинскую Народную Республику. Но пустите нас туда, не запирайте нас в тюрьмах и лагерях. Откройте границу! Мы готовы!»

— А мы вам предлагали седьмого марта тысяча девятьсот девятнадцатого года,— стал шагать по комнате Шостак, — порвать с Петлюрой, организовать единую армию, единое командование при полной самостоятельности вашего правительства во внутренних делах. После тысяча триста сорокового года, когда Галичину захватил король Казимир, Западная Украина вновь стала бы по-настоящему свободной.

— Правильно,— подтвердил учитель,— теперь сам народ, сами хлопы выдвинут новых ватажков. Обойдемся без Петрушевичей и без Антанты.

— Может, то вы про себя, пан Настюк, думаете?— злорадно усмехнулся ксендз.

— И я пойду, пан пробощ, работать с народом, с большевиками. Вы же знаете слова лучшего из галичан — Ивана Франко: «До відважних світ належить, к черту боязнь навісну». Есть уже и из наших настоящие люди, большевики: Василь Порайко, Баран, Мирослав Ирчан, Коцко.

— О, вы, пан Микола, тоже не аби какой большевик.

— Я не пан. Знаете, хотя мой батько — халупник — последнюю рубаху с себя стянул и хотел, чтобы я научился на пана, а мне панство ни к чему. Народу своему, хлопам хочу послужить — и послужу, пан ксендз.

29

Несмотря на ночную пору, по-прежнему тарахтели тачанки, звенели орудия. Со всех концов села доносились лай собак и ржание лошадей.

С мелкого журчания начинает свою жизнь горный ручей. Так и войсковая сила, придя в себя, медленно раскачивается и с каждой минутой все больше закипает, постепенно превращаясь в грозный поток.

В штаб ввели пленного. Надменное лицо и горделиво откинутая голова как-то не вязались с куцым ростом шляхтича.

Пользуясь привилегией штабного повара, вошел, нетерпеливо тиская эфес шашки, рыжий Исмаил, питавший жгучую ненависть к белогвардейцам. Он, бывший лавашник, с таким же рвением сек головы их офицерам, как и стряпал свои знаменитые алуштинские чебуреки.

Пленный молчал. На первый вопрос Нежинского ответил, не опуская головы:

— Гдынский, профессор этики Краковского университета.

— Ученый, а стреляете, как снайпер! — обрушился на шляхтича Шостак.— Убили нашего казака, а еще читаете в университете этику.

— Прошу по-украински не мувиць, я по-хлопски не понимаю.

— Мы вас будем судить! — зло отрубил Нежинский и посмотрел на начдива и комиссара.

Те утвердительно кивнули головой.

— Дело ваше, господа, на то война...

Исмаил подскочил к пленному, взял его за рукав и вместе с ним тронулся к выходу. Низкорослый Гдынский круто повернулся на своих высоких каблуках.

— Я имею слово. Нельзя ли без этих? — указал он на хозяина дома и Настюка.

Когда ксендз с учителем вышли, профессор из Кракова начал просить:

— Молю, пощадите! У меня семья, положение, кафедра. Я бендзе служить вам.

— Сейчас просите пощады,— сказал Павловский,— а нашего человека хлопнули и небось звали своих студентов в священный поход на Киев.

— Отвечу! — вяло отозвался Гдынский.— Полтораста лет страдала наша Речь Посполитая под чужим сапогом. Скажу вам по правде,— перевел дух пленный,— было время, когда все висело на волоске. Шахтеры Домбровщины создали Красную гвардию. Люблинщина, подражая вам, выбрала свои Советы. Но в нашем народе национальные факторы оказались сильнее социальных.

Народ сплотился вокруг своих древних, а не красных знамен. Разве, панове, за это нас можно винить? Поняли?

— Все поняли,— ответил Павловский.— Дело в том, что Антанта сумела вам помочь крепче, чем мы — домбровским шахтерам и люблинским Советам. Что говорить, Антанта пока богаче нас...

— И мы не хотим больше чужого господства,— выслушав комиссара дивизии, продолжал профессор.

— Говорил бы это какой-нибудь темный полещук, а не вы, профессор! — Нежинский, бросив циркуль на карту, уставился черными глазами на пленного: — Кто хозяйничает в штабах Пилсудского? Французский генерал Вейган! Кто является топливным диктатором Польши? Без кого нельзя получить ни одного вагона угля, ни одного полена дров? Без американца Гудиера! Кому подчиняются ваши железные дороги? Американцу Атвуду! На лодзинских, жирардовских, белостокских фабриках распоряжаются американские советники. Не задаром Вильсон подбросил вам пушки, пулеметы, пшеницу, говядину. Мы, большевики, дали свободу Польше, а вы ее продали иностранному капиталу вместе с душами ваших граждан. Их хозяином стал коварный нунций кардинал Ратти, который объявил крестовый поход против коммунизма. И после этого у вас поворачивается язык: «Мы не хотим чужого господства».

— Не хотите, а Пилсудский с Вейганом полезли на Украину! — возмутился Шостак.— Не надо подносить другому то, чего не желаешь себе! И мы не хотим расчлененной Польши, но и не желаем видеть у себя Петлюру и Пилсудского. Наше правительство отказалось от екатерининских захватов, и еще больше дало бы. Нашим народам нужен мир, а не война.

— Вы знаете,— нагло ответил Гдынский,— нам нужна граница не где-нибудь, а на самом Днепре! А этого можно добиться лишь штыком. Война — это годы, а дает плоды на века.

— О-го-го,— расхохотался Шостак,— на много вы рассчитываете! Не удержать вам Галиции, как не удержали и Киева!

— Что будет потом — неизвестно, может, и меня, и вас не будет.

— Я не сомневаюсь,— продолжал Павловский,— когда-нибудь польский народ будет судить клику Пил-

судского за измену. За разгром Красной гвардии Домбровщины, за кровавые расправы в Лодзи, Жирардово, Замостье, за разгон в Варшаве, Люблине Советов рабочих депутатов, объявленных «органами, враждебными Польскому государству». За отказ от стародавних польских земель в Силезии, Померании, на Нейсе, за коварное нападение на Советскую республику, которая все время протягивала Польше руку дружбы...

— Да! — иронически улыбнулся профессор. — Мы крепко чувствовали руку Москвы и в Варшаве, и в Лодзи, и в Белостоке...

— Это не рука Москвы,— ответил Шостак.— Это рука польского пролетария... Вы кричите о свободе Польши и думаете о сахарных заводах Правобережья, о шахтах и рудниках Донбасса, о хлебе Украины. А мы и думаем, и говорим, что братский нам народ стал игрушкой в руках французских, английских, американских капиталистов. Поэтому, разбивая армию Пилсудского, мы рвем цепи, наброшенные империалистами на польский народ. Даже ваши друзья и те раскусили вас как следует. Недавно румынская газета «Адверул» писала: «Пользуясь Петлюрой, Польша ныне выступает в роли лицемерной освободительницы Украины». Скажите, профессор,— Шостак поднял глаза на пленного,— почему вы не напали на нас, когда Деникин захватил Орел, почти всю Россию? Вы и тогда были сильны. Вы имели свежую семидесятитысячную армию Галлера, прибывшую из Франции.

— Ну, пан генерал, вы это сами понимаете,— ответил Гдынский. — Если бы осенью девятнадцатого года нажали и мы, вам бы конец. А мы боялись и боимся «единой, неделимой России» белогвардейцев. С Деникиным нам было бы труднее воевать, чем с вами.

— Напрасно вы так думаете, профессор,— усмехнулся Шостак.— Вот что недавно писали ваши друзья англичане в газете «Нью-стейтсмен»: «В течение нескольких недель события успешно развивались в пользу поляков, но после этого положение изменилось в пользу России, и невозможно сейчас определить, как далеко зайдет эта перемена». А я добавлю от себя: мы справились с походом четырнадцати государств, а с одним Пилсудским воевать нам и вовсе не страшно.

— А почему при них, при ксендзе не просили? — заинтересовался Нежинский.

— Что вы, что вы, панове, при хлопах!..
— И мы хлопы! — ударил себя в грудь Шостак.
— То вы противник, а это просто смердючие хлопы.
Вмешался Гандзюк:
— Пусть при них попросит как следует. Может, помилуем.
— Увести! — скомандовал Шостак.
Исмаил снова ухватился за пленного.
— У, пся крев, мало вас вешали! — прошипел, уходя, Гдынский.
Вернулись ксендз с Настюком. Вслед за ними вошла Устя. Застеснялась:
— Там просят муку.
Хозяин вопросительно взглянул на Шостака.
Вбежал, смеясь, Мартын Бубна:
— Ваша мосць, давайте ключи от амбара, казаки просят овса.
Ксендз развел руками. Учитель подмигнул Гандзюку, не спускавшему глаз с хозяина. Рванулась дверь. Выбежала из задней комнаты немолодая, но миловидная женщина, бросилась во двор.
— Это моя племянница,— как-то смущаясь, пролепетал хозяин.
Гандзюк подошел к ксендзу, хлопнул его по плечу:
— Видели здесь рыжего казака? Это Исмаил. Прошу, отпустите что надо из ваших запасов. Он зажарит чебуреки. И знайте, ваша мосць, за каждое ваше зернышко получите с нас до копейки.
Начдив строго посмотрел на Гандзюка, но начальник артиллерии уже достал из кармана пачку марок и австрийских крон.
Хозяин, подтянув длинную узенькую рясу до колен, выбежал, часто перебирая ногами. Через несколько минут вернулся, развел руками:
— Какой-то ваш казак, по фамилии Борщ, гандлюет мою свинью. Не думал я ее продавать. Пошел бы он к ксендзу-католику, тот побогаче меня. И убежал, иезуит...
— Сколько стоит свинья? — спросил Нежинский.
— Пан Езус знает, не то семьдесят пять, не то сто марок. А если на цесарские кроны — то наполовину меньше.
Начальник штаба уплатил ксендзу сто марок.

— А за овес, пан генерал? — Хозяин умоляюще посмотрел на Шостака.

— Бросьте, дорогой, какие мы генералы. Их превосходительства сидят в Крыму с бароном Врангелем и визжат, как ваша свинья.— Повернувшись к Нежинскому, начдив бросил: — Уплати, Сеня, за овес.

Начштаба надвинул на уши шапку, достал пачку марок:

— Получайте, пан ксендз, за овес и помните: мы не паны, не генералы, а товарищи.

Поднялся учитель, улыбнулся:

— Вы бы овес, ваша мосць, подарили... хотя бы за то, что Червонна Армия выгнала из Скорик вашего конкурента, латинского ксендза.

— Что вы, пан Микола, то политика, а это овес.

— Овес-то и есть, пан ксендз, самая политика,— с едва заметным укором сказал Павловский.

Гремя оружием,вернулся Исмаил, довольно неделикатно подталкивая Гдынского. На жалком, бледном лице профессора этики не оставалось и следа былой спеси. За поваром, с сигналкой за плечом, вошел в комнату трубач Шурка.

— Что случилось? — строго спросил Шостак, посматривая удивленно на пришедших.

— Пришлось вертать, хоть ему, шайтану, и не хотелось,— улыбаясь, доложил рыжий Исмаил.

— Зачем ты вернулся? — недоумевал Павловский.

— Вот кто виноват! — указал Исмаил на сигналиста.

Шурка, взяв под козырек и не спуская горящего взгляда с Шостака, доложил:

— Узнал гада, товарищ начдив! Понимаете, ведут его мимо костра. Думаю — раз с ним Исмаил, дело ясное, гадюка. А тут бросились мне в глаза его высокие бабьи подборы. Помнишь, паскуда,—повернулся мальчик к мнимому профессору,— как ты меня мучил? Правильно ты тогда заметил следы от путлищ на моих сапогах, а я — тоже разведчик — запомнил твои каблучки, пан Панчоха; выскребок чертовый!

— Ты ошибаешься, Шурка,— остановил сигналиста Павловский.— Это Гдынский, не Панчоха.

— А я говорю — Панчоха, контрразведчик. Он самолично меня мордовал в штабе Ромера. И еще скажу — посмотрите хорошенько, у него глаза неодинаковые. Это я хорошо запомнил.

Гандзюк с лампой в руках подскочил к пленному. Осветил его лицо.

— А ты прав,— обратился он к трубачу.

— Ну что? — Сигналист злорадно посмотрел на контрразведчика. — Ты хотел видеть Шостака? Вот они перед тобой. Еще тебя интересовал Рынва-Рынальский. И его тебе покажут. Он тоже твоей нации, но таких подлецов, как ты, берет к ногтю.

— Увести этого «профессора» в особый отдел! —приказал Исмаилу Шостак.— Смотри мне, чтобы все было в порядке. В случае чего,— начдив посмотрел на обнаженный клинок повара,— ответишь головой.

— Постойте,— отрываясь от каких-то бумаг, остановил Исмаила Нежинский и посмотрел в упор на пленного,— скажите, господин полковник, кем доводится вам Бронислава Панчоха — та, которая сформировала женскую роту «черного» легиона?

Лицо пленного вытянулось. После небольшой паузы он ответил:

— В России немало Ивановых, в Польше много Панчох, а Бронислав еще больше.

Как только увели пана Панхочу, в помещение влетел возбужденный Мартын:

— Я пойду с товарищами, ваша мосць.

— Куда, бог с тобой, о пан Езус! Одумайся, опомнись!

— Я пойду, пан пробощ.

— Зачем спешить? Спасибо русской армии, освободила нас от схизмы. Скоро вся Галиция будет наша, опять будет наша галицкая армия, и ты пойдешь, Мартын.

— Я пойду, пан...

— Как фамилия? — спросил Нежинский.

— Бубна, крещен Мартыном Бубной.

Гандзюк расхохотался:

— Ох, калена-матрена, это ж не Бубна, а настоящий бубна-козырь.

Нашелся и Мартын:

— Хоть козырь, хоть нет, абы скорее в колоду.

— Возьми вот эту записку,— сказал Нежинский,— и ступай к Сероштану, тут его разведывательный дивизион стоит под заборами, это и будет твоя колода.

— С кем же я останусь? — растерялся хозяин.

— О пан пробощ, тут хлопов много,— успокоил его Настюк.

Вернулась племянница хозяина и снова забилась в спальню.

Устя восторженно визжала на кухне. То и дело, взволнованный визгом прислуги, выбегал из комнаты рясоносец. Науськанные Мартыном, ординарцы приставали к Усте. Им хотелось узнать, кто отец ее двухлетнего, похожего на ксендза малыша.

30

Дивизиям 14-й армии, преодолевшим с затяжными боями сложный, сильно укрепленный рубеж реки Збруч, впереди на пути к Львову — сердцу Западной Украины, — предстояло форсировать еще несколько речных преград. Львовский театр военных действий с севера на юг пересекали семь рек — Гнезна, Серет, Стрыпа, Коропец, Золотая Липа, Гнилая Липа, Свирж.

Давая значительные преимущества обороняющемуся, сплошные массивы лесов, природные яры и ущелья, развитая система старых австро-венгерских окопов заполнили водоразделы всех семи рек.

Полковник Панчоха, стремясь смягчить тех, от кого зависела его судьба, заверял, что сопротивление на путях к Львову будет ничтожным, что все силы брошены к северу, где Красная Армия подходит уже к столице государства. Эти сведения штаб Шостака принял с большой осторожностью.

Червонным казакам приказали овладеть двумя первыми большими городами Галиции — Збаражем и Тернополем. К Тернополю прошла бригада Проня, остальные силы двинулись к Збаражу.

Уже 1-я бригада Остапенко, брошенная из Скорик в тыл Подволочиску, понесла немало потерь при атаке отступавших на запад легионеров.

Несомненно, смелый выход 1-й Конной армии после упорных боев у Шепетовки в район Дубно и Ровно и последующий поворот к Бродам всех ее дивизий, нависших над тылами 6-й армии Ромера, облегчал действия Червонного казачества, как и бросок дивизии Шостака через Токи к Скорикам способствовал успешным атакам 60-й дивизии и 1-й Конной армии.

Все эти операции, вынудившие противника к отступлению в Галиции, в какой-то степени стали возможными в связи с успехами генерального сражения, которое разворачивалось в эти дни на дальних подступах к Варшаве.

Пилсудский, делая авантюристическую ставку на истощение Красной Армии трехлетней войной и рассчитывая на взаимодействие с Врангелем, двинувшимся из Крыма, и на помощь Антанты через Черное море, бросил свой ударный кулак на Украину. Воспользовавшись внезапностью и временным превосходством сил, захватил Киев. Но Красная Армия, усиленная наплывом добровольцев, коммунистов, комсомольцев и рабочих, не только вышвырнула легионы пилсудчиков с Украины, но и, перегруппировавшись, повела наступление от Борисова к Варшаве.

Участь кампании решалась не на полях Галиции, куда магнаты-аграрии тянули Пилсудского, а на подступах к Варшаве, куда Москва бросила свои основные силы.

Судьбу войны с интервентами решали пять армий Западного фронта Тухачевского, а Юго-Западный фронт Егорова, действуя активно на Львовском театре военных действий, должен был своими вспомогательными операциями обеспечивать успех основных сил, наступавших на Варшаву.

Однако беда заключалась в том, что взаимодействие обоих фронтов до линии Бреста затруднялось естественной преградой — Полесьем, а Егорову, кроме Галицийского театра военных действий, много хлопот причинял Врангель на юге. Пользуясь активностью шляхты, оттянувшей на себя значительные силы, немецкий барон захватил к концу июля всю Северную Таврию.

Положение усложнилось еще и тем, что Егоров не из Винницы или Житомира руководил наступлением на белополяков, а из Александровска (Запорожья) и Синельникова, откуда легче всего было парировать удары барона Врангеля.

Таким образом, и в условиях театров военных действий, и в структуре управления таились роковые причины дальнейших трудностей и осложнений.

Еще 2 июля, накануне Проскуровского рейда, в то время, когда 1-я Конная армия вела бои за Шепетовку, Егоров наметил основной план действий. 14-я армия, наступая на Львов, Тарнов, имела задачу обеспечить

успех ударной группировки, состоявшей из 12-й и 1-й Конной армий. 12-я армия по этому плану направлялась на Ковель, Брест, а 1-я Конная после пятидневного отдыха в районе Ровно в обход Ковеля нацеливалась на Холм, Луков.

Такое распределение армий, отвлекая на себя значительные силы Пилсудского, помогло бы Западному фронту в его стремлении разгромить основные силы противника.

Но как писал один военный историк: «Со времени походов Богдана Хмельницкого Львов представлял собой гиблое место, на котором каждый раз спотыкались русские армии. От Львова, от этого искушения, не устоял и генерал Рузский в 1914 году».

В конце июля Егоров полагал уже, что овладением Львова, а не движением к Холму можно потрясти стратегическую и политическую систему Пилсудского. Егоров переоценил революционность заобручского населения, не учтя того, что наиболее передовая его часть — нефтяники Дрогобыча и Борислава — после разгрома восстания 1919 года не пришла еще в себя. Штабу в Александровске казалось, что грозный вал из пяти советских армий Тухачевского, приближавшийся к Висле, не нуждался уже в помощи Юго-Западного фронта.

И вот в прежний план 2 июля, ровно через двадцать дней, в тот момент, когда 14-я армия переступила бывшую государственную границу на Збруче, Егоров внес коррективы: 12-я армия направляется на Люблин, 1-я Конная — на Ярославль, 14-я — на Николаев.

Этим самым в тот момент, когда войска Западного фронта вели решающие и трудные бои на Висле, Егоров свернул свои армии на юг, к Львову. Вместо того чтобы направить усилия обоих фронтов, не разделенных уже Полесьем, на разгром главной группировки врага, советские силы двинулись по двум расходящимся направлениям — на Варшаву и на Львов.

Главком С. С. Каменев из Минска, переоценивая успех Тухачевского и считая разгром вражеских сил предрешенным, 23 июля санкционировал новый план Юго-Западного фронта. Он лишь потребовал от Егорова нанести решительное поражение 6-й армии (Львов), во главе которой уже встал вместо Ромера генерал Ивашкевич, а петлюровские дивизии, не переходя Днестр, отбросить к румынской границе.

Но если Егоров вносил в первоначальные планы свои коррективы, то и жизнь по-своему поправляла командующего Юго-Западным фронтом.

Беспрерывные бои со стойкой пехотой противника от Сквиры до Шепетовки и от Шепетовки до Ровно потребовали от буденновской конницы больших жертв. В полках, насчитывавших до начала кампании по семьсот пятьдесят сабель, оставалось только двести пятьдесят. Вместо предполагавшегося пятидневного и вполне заслуженного отдыха 1-я Конная армия вела тяжелые бои с наступавшими легионерами, которым удалось на один день захватить Ровно. Егоров, приняв новый план, направил Буденного на Львов, а на Ковель — 12-ю армию. Но упорное сопротивление врага заставило 12-ю армию, оставив у Ковеля заслон, перестроиться в направлении Владимира-Волынского, чтобы помочь 1-й Конной армии оторваться от наседавших легионеров и повернуть на Львов.

Вот тогда-то 1-я Конная армия, увлекаемая центробежными силами, отклонилась круто к югу и пришла в район Брод.

Началось славное по отваге советских воинов сражение за Львов.

В нем, как и во всей кампании 1920 года, сказалось действие, пусть и в меньшем масштабе, тех же центробежных тенденций, которые пагубно повлияли на исход всей операции.

Весть о поимке крупного дефензивиста с быстротой молнии облетела дивизион разведчиков. Шурка-трубач снова сделался героем дня. Его звали от костра к костру, а он, польщенный вниманием старых рубак, рассказывал им о пытках, перенесенных в проскуровском застенке, о том, как Панчоха хотел купить его какой-то гимназией, о сапогах, которые подвели его, и о высоких каблуках, которые выдали пана Панчоху.

Растроганные казаки одарили Херувимчика гостинцами. Так же как и во время Проскуровского рейда, нынче при разгроме у фольварка Пеньки Львовского этапного батальона из офицерского обоза этапников в переметные сумы казаков перекочевали все запасы швейцарского шоколада, голландского сыра, гаванских сигар.

Нежинский после длинного и тщательного допроса знал, что контрразведчик многое утаил. Но и то, что стало известно, могло пригодиться не только своим полкам, но и другим дивизиям. Сообщая об этом в штаб армии через походную искровую станцию, Нежинский с одобрения Шостака и Павловского составил реляцию с ходатайством о награждении Шурки-трубача.

Добыть у Панчохи все ценное, что он, лукавя, скрыл, могли лишь высшие штабы, которые располагали штатом опытных специалистов и необходимым для этого временем.

Но отправлять пленного в Проскуров, куда перебрался полевой штаб 14-й армии, решили утром, вызвав специально для этого самолет. А пока что Нежинский, потребовав к себе Сероштана, приказал ему выделить для охраны полковника Панчохи самых надежных людей.

Командир дивизиона доставил вместе с рыжим Исмаилом контрразведчика к самому большому костру и, как всегда перед принятием важного решения, как бы советуясь с бойцами, сказал своим кавалеристам:

— Ребята, вот нам поручили одну очень важную птицу. Есть охотники охранять ее пуще своего глаза?

Но казаки знали уже, что за птицу привел с собой командир. Все в один голос зашумели:

— Срасходовать гада.

— Отправить его в штаб Духонина.

— Секим башка, и все! Куды с ним возиться!

— Знайте, если вы израсходуете его или не убережете, Шостак поставит меня к первой же березе и будет прав. Ну как?

— Раз так,— выступил вперед Гаманец,— поручите этого ворона мне.

Панчоха поднял голову. Стойко выдержал горящий взгляд разведчика. Он знал, что самый опасный момент, когда люди действуют под влиянием первых раздражающих импульсов, уже миновал. Это было в штабе Шостака. А там видно будет. Не без любопытства осмотрел всех, но, встретившись с одним затаенным взглядом, мгновенно опустил глаза.

Попросился в конвой Терентий Борщ. Но люди зашумели:

— «Отдай теля», и ты туда же!

— Долой Борща!

— Старого Ушняка прозевал, и эту птицу упустишь.

Сероштан, подобрав надежную охрану для сопровождения контрразведчика, направился в свою хату. В темноте нагнал его один из бойцов. Горячо изливая перед ним свою давнюю ненависть к шляхте, попросился в караул.

— Нет, Черноус! — твердо отрезал Сероштан. — Если бы не случай под Михеринцами — будь ласка. Попадешь под огонь и опять прозеваешь этого змея, как прозевал черноглазую.

Возле штаба, заглушая все голоса, прозвучала труба. Зашумела улица. Дружно затопали отдохнувшие кони. Фуражиры под изгородями хат сгребали остатки драгоценного сена. Загремели колесами пушки Гандзюка.

31

Со штабом дивизии во главе 3-я бригада Сакулина и разведчики Сероштана, раскачиваясь в драгунских седлах, с крепко зажатыми в руках пиками, покидали, направляясь на запад, галицийское село Скорики.

Надвигался на всадников тяжелый, непроницаемый мрак. Кони бодро перебирали ногами, не разрывая, не перемешивая строя.

— Дойди на хвост! — прокатилось от головы колонны.

Никем не побуждаемые, движимые животным инстинктом, кони без команды стремились вперед, стараясь сплотиться, сгрудиться, чувствовать близость подобного себе существа. Горячие морды тыкались в крупы впереди идущих коней. Не фыркали, не лягали коваными копытами даже самые злые жеребцы. Чувство общей опасности, мрак и усталость заставили и их присмиреть.

Кошачьим глазом вспыхнул огонек и дивно заколыхался в густой темноте.

Сероштан остановился. Его конь, порываясь вперед, заволновался. Мимо со сдержанным журчанием текла сплошная темная река. Командир бросил полушепотом, вполголоса:

— Кто закурил?

Полушепот вспыхнул и покатился от звена к звену, от тройки к тройке, от головы до хвоста:

— Кто закурил?

Кошачий глаз подмигнул еще разок и сразу погас.

Пропали уставные дистанции. Взводы, сотни, полки, навалившись друг на друга, шли неразрывно, вплотную. Маякам, застывшим на всех поворотах дороги, нечего было делать. Голова боевого обоза и та шла сразу за хвостом конного арьергарда. Дивизия, сжавшись пружиной, текла вперед и вперед.

По сторонам шоссе гудели провода. Как нейтральный наблюдатель, затянув безучастную песенку, сделались они свидетелями ночного похода, а может быть, как раз в это время бежали по ним горячие революционные призывы, обращенные к сердцам трудового люда.

Галицийский революционный комитет, в который входили испытанные большевики, возглавлявшийся Затонским, призывал трудящихся Галиции к свержению ига захватчиков.

В темноте зашептались:

— Так скулит в желудке, так скулит, хоть бы цигарку толком потянуть.

— Потяни, потяни, а мы посмотрим, как тебе сотник губы утрет.

— Сотник сотником, а пан утрет — так без губ останешься.

Мрачные контуры рощ — предвестников близких лесных массивов — выросли у самой дороги.

Панас Бунчук пристроился к 1-му взводу. Ему хотелось побалагурить с новыми бойцами из Скорик — Мартыном Бубной и Миколой Настюком.

Бубна, желая порисоваться тем, что его знает и начальство, рассказывал, как пан-товарищ Гандзюк прозвал его Бубной-козырем.

Настюк не захотел пойти в политотдел дивизии, несмотря на настойчивые уговоры Павловского. Учитель, взяв оружие, твердо заявил:

— Золото пробуют огнем, а человека испытывают кровью.

Бунчука узнали сразу по его трескотне.

— Темно, как в ухе или у жука в брюхе.

Бубна его поддержал:

— Как у трубочиста в картузе или у жабы в пузе.

Взвод тихо смеялся. Панас наседал на бывшего ксендзовского хлопа:

— А ну, Бубна-козырь, заиграй еще про подолянку.

Бунчука поддержал и Настюк:

— О, Мартын очень файно поет наши песни-коломыйки.

Бубна затянул вполголоса:

Ой, Семене, Семене,
Не ходи ти до мене,
Бо у мене лихий пес,
Як тя вкусить, то умреш.

— Ах ты, англичан-галичан, от капусты кочан! — грубовато похвалил певца Панас.

Кто-то предостерегающе шепнул:

— Тише, тише, сдается, сотник чи комиссар.

Курочка, воспользовавшись тишиной, спросил Бунчука:

— Ты, товарищ Панас, ближе к начальству: чи скоро будет остановка или хоть бы привал?

Перчик добавил:

— Скажи, Панас, если знаешь. Вчера до полуночи ковал лошадей, а сейчас до черта спать охота.

— Идти три дня и три ночи, пока повылазят вам очи, и еще три недели, чтобы забыли, когда ели. Что знаю, то баю, а чего не знаю, того не скажу.

— Не бельмочи, рыжий, — перебила его Ганка, — толком говори, брось комедию играть.

— Хоть брось, хоть кинь, а делу аминь. А со своим ртом, — тарахтел рыжий, — не управляюсь. У меня рот для того, чтобы и поесть, и поплесть.

— Чего там знают, в штабе? И сотнику ничего не известно. Куда скажут, туда и идут. Кабы знали, не мучили б народ по ночам, — заныл Черноус, обращаясь к Борщу.

— Ну ладно, скажу, — вздохнул Бунчук, — скажу: через десять верст, или, как тут говорят, километров, — местечко, там и будет привал. Еще десять верст, — опять вздохнул Панас.

— Ой как жрать охота! С утра шматочек хлеба пожевал — и все, — жаловался Бубна. — Все с пакетами гоняли — некогда было и перехватить.

— Погоди, в местечке поешь вареников из кукурузы, кисель из кукурузы. Або еще бараболя[1]. Это тебе, брат,

[1] Картошка (*укр.*).

не Подолия, видал в Скориках — голодранец на голодранце. Есть там, конечно, и хозяева, но туда, известно, начальство позалазило, — заскулил Черноус.

— Эх, та бараболя натрет тебе в кишках мозоли,— издевался Панас над Черноусом. — Вот говорят: французский солдат с собой такую электрическую кухню возит. Чуть где стал, сразу растопил. Растопил, разложил — и обед готов.

— Мало что говорят... Говорят: у каждого английского солдата свой повар. И вся армия построена: один солдат — один повар, один солдат...

— Что там повар, это все мусор! Вот у каждого итальянского солдата своя баба. Так и сшита вся армия: один солдат — одна баба, один солдат...

Эти безобидные шутки, вызывая дружный смех, сокращали путь и разгоняли сон кавалеристов.

— Вот вы, — укоряла бойцов Ганка, — о своем брюхе мечтаете. А про коней кто подумал? Хорошо, как поспеет обоз с овсом. Околевать им придется в этой скудной стране.

— Да, у мужиков своего ничего нет, а шляхта все повывезла.

— А мы сенца или овсеца накосим.

— Ну, дядьков обижать нельзя.

— Каких дядьков? Тут куда ни кинь — кругом пашня панская.

С глухим топотом приближался от головной походной заставы всадник. Подскакал к Сероштану:

— Впереди горит, товарищ командир.

За изгибом шоссе, на горизонте, огненная полоса, быстро ширясь и подымаясь вверх, охватила огромный кусок неба.

— Склады палят, — предположил командир.

— Имею думку: фольварк подожгли, — вмешался Бунчук.

Еще несколько минут — и ярким заревом запылал небосвод. Отчетливо выделялись на необычном фоне черные фигурки всадников, охранявших движение.

Вдруг Сероштан встревожился:

— Не горит ли местечко?

— Все может быть, а чего ты так беспокоишься? — спросил Квитень.

— «Чего» — спрашиваешь. Ночевать негде будет, Леонид.

Всадники, потрясенные жутким величием ночного пожара, двигались молча.

— Знаешь, Леня, — очнулся от оцепенения командир, — какие чудные дела бывают на свете?! Вот так, в ту войну еще, шли мы ночью в походе. Был у нас командир эскадрона полусумасшедший ротмистр. Он и говорит мне: «Господин прапорщик, вы верите в предчувствие?» Говорю: «Как когда. Иногда действительно бывает, что и можно поверить». «Правильно, — заявляет ротмистр, —вот и я чувствую, что скоро увижу жену». «Что ж, — говорю, — ранят вас, а может, контузят, эвакуируют в тыл — и увидите. Чего доброго, к ней в госпиталь ляжете». «Это было бы счастье. А то чувствую, прямо ощущаю, что она здесь, вот близко где-то, а где именно — не могу сказать вам...» Идем мы час, два — как раз перебрасывали нас из-под Тернополя к Галичу, — приходим к рассвету в небольшое село Нараювку. Смотрим: оглоблями вверх стоит санитарный транспорт. Нигде ни живой души, все еще спят, только возле одной двуколки кто-то вертится в белой косынке. Ротмистр с криком «Еленка!» прямо галопом к ней. У меня по коже пробежал мороз. Действительно, как потом оказалось, то была его жена...

— Почему ты вспомнил этот случай, Федор?

— Да так, одинаковая обстановка: мы тогда так же шли, как сегодня. Вот и воспоминания...

— Видать, завидуешь тому ротмистру?

Сероштан не успел ответить, из мрака вынырнула группа всадников.

— Ну что, ребятки, разведали? Что за огонь?— послышался голос Шостака.

— Выяснили, товарищ начдив, горит лес! — отрапортовал Сероштан.

— Скверное дело, — покачал головой Шостак. — Этот фейерверк устроен в нашу честь, но он нас демаскирует.

— Вот стервы легионцы! — ругнулся Гандзюк. — Или они хотят нас перехитрить... А маком!..

— Как там наш «приятель» — цел, невредим? — спросил Нежинский.

— Везем в тачанке, — ответил Сероштан. — На всякий случай хотели связать, а Гаманец решил по-своему — снял с него сапоги, говорит: «Босые их благородия и шагу по лесу не сделают».

Поручая контрразведчика Гаманцу, Сероштан знал, что из рук рябого пройдохи не так-то просто улизнуть. В этом вскоре убедился и сам Панчоха — достойный ученик прославленного обер-шпиона Николаи.

Гаманец велел пленному снять всего лишь один сапог и, следуя рядом с тачанкой, на которой, небрежно откинувшись на задок, сидел полуразутый Панчоха, всю дорогу развлекал своего подкараульного.

— С вас, ваше высокоблагородие, следует на полкварты, — таинственно начал беседу разведчик, склонившись к уху пленного.

— Если не будешь хамничать, дам на кварту, — ответил Панчоха.

— Я так и знал. Вы все же не кто-нибудь, а полковники. Не то шо наши лопухи. Понимаете самое шо ни на есть тонкое обхождение.

— Ты, казак, из каких будешь, — спросил Панчоха, — рабочий, хлоп или кто?

— Я из мужиков, ваше высокоблагородие, а шо?

— Вот мой папаша тоже имеет отношение к земле.

— Шо, они помещики?

— Не будем об этом говорить, казак. Но я мог бы для тебя кое-что сделать.

— А-а, значит, шобы и я для вас сделал. Как говорят — рука руку моет.

— Разумеется, казак.

— Шо, может, хотите отдать меня в гимназию, ваше высокое? — хихикнул Гаманец.

— Зачем? Я могу тебя сделать крепким хозяином.

— А я об этом все время только и думаю, — вздохнул Гаманец. — И моя Груша там, дома, об этом, знаю, горюет. Как заживешь паном — все пойдет даром.

— Так в чем же дело? — оживился Панчоха. — Давай столкуемся.

— Я согласный, — еще больше наклонился к пленному разведчик, — да вот я не один. Со мной еще товарищ... ваше высокоблагородие.

— Что ж, казак, учить тебя надо? Сабля у тебя острая...

— Ну-ну, ваше высокое! Это ты того... У меня пошибче сабли есть штука. — Гаманец поднес к глазам Панчохи два растопыренных пальца. — Ушняка, хорунжего, знаешь? Так вот он эту штуку отведал. А если

это тебе не мило, отворачивай рыло. Как? На полкварты отвалишь мне?

— За что, казак? — удивился Панчоха.

— За мою работу, пан полковник. Шо же, я зря таскал на фуры ваши чемоданы и сундуки в Проскурове?

— Так это ты, казак, унес мой саквояж? Ловок ты, ловок.

— Эх, ваше высокоблагородие, без того саквояжа лежал бы казак Гаманец под Михеринцами вверх копытами.

— Это как же?

— Очень просто. Откупился от ваших вояк начинкой того саквояжа.

— Ну давай, казак, откуплюсь я от тебя. У меня еще кое-что осталось кроме того саквояжа.

— Шо, сделаешь меня хозяином, а я шоб тебя отпустил?

— А хоть бы так, казак.

— Эх, твое высокоблагородие, обложил бы я тебя на всю губу, так воспитание не позволяет. А тебе я вот шо скажу: не удержался ты, брат, за гриву, так за хвост не удержишься...

Начальник артиллерии предлагал свернуть с дороги и пойти параллельным маршрутом. Но других путей через лесной массив не было.

Красная конница, нависая над мобильными колоннами шляхты и состязаясь с ними в маневренности, следуя параллельными путями, старалась опередить их на очередном рубеже. Эта кровавая игра вперегонки недешево обошлась обеим сторонам.

Сосновый лес пылал, как костер. Трещали раскаленные стволы, стреляя во все стороны горячими искрами. Кони, храпя, оседали назад, сползали с шоссе, не слушались ни поводьев, ни плеток.

Еще крымские татары, чтобы остановить русскую армию Голицына и казаков Самойловича, подожгли степь. Татары добились своего. Без воды и фуража, настигнутое стихией огня, царское войско и гетманцы в панике повернули назад... Не думали ли интервенты в 1920 году повторить маневр крымчаков 1687 года?

Пулеметчики, хлестнув кнутами, погнали свои бешеные упряжки по горящему лесу.

Раскаленные брызги летели из-под копыт и колес. Вслед за тачанками с грохотом, треском, рокотом полетели и конные сотни. Никто не мог и не смел остановиться. Пользуясь суматохой, Черноус, натягивая поводья, все больше и больше отставал. Наконец, улучив удобный момент, воткнул иглу в шею коня. Животное бросилось вперед, но, сдерживаемое изо всех сил всадником, заметалось на месте, вздымалось на дыбы, бросало задом. Черноус вылетел из седла. Поднявшись и закрываясь от огня руками, кинулся догонять тачанку. Сопровождавший ее Гаманец, видя тяжелое положение бойца, на скаку крикнул:

— Шо, Максим, пропал конь, так и оброть в огонь. Хватайся за крыло, Черноус!

Чубатый, совершая невероятные прыжки, не только уцепился за крыло тачанки, но, вскочив на задок, следовал до самого местечка в качестве гайдука пана Панчохи. Конь Черноуса, взбесившись, бросился в гущу огня. Со вспыхнувшей гривой вылетел из леса. Очутившись на просторе, рухнул наземь и, катаясь по траве, погасил горевший волос. Заодно, очевидно, удалил и иглу и, успокоившись, грязный, наполовину осмоленный, последовал за колонной. У самого местечка он нашел своего вероломного всадника.

Сразу же за лесом, перед местечком, развернулись лазаретные фургоны. Ветеринары мазали пострадавших лошадей желтым месивом, а Казимир Вальтер в белом халате бинтовал обожженную шею Черноуса.

— Рисковый ты парень, — пожурила его Ганка.

Полковник Панчоха, опустив голову на руки и тупо уставившись на носки возвращенных ему сапог, задумался. Прелесть свежего июльского рассвета не волновала его.

Нынче по дороге к местечку, где, очевидно, решится его судьба, он узнал больше, чем от десяти своих агентов, чьи донесения дополняли и подтверждали одно другое. Он увидел того, кто попался на крючок Брониславы. Варшавское начальство довольно, но он-то сам в каком положении? Ведь он не только контрразведчик, но и муж. И вот чувство злой ревности завело его в этот капкан. В Скориках он чудом избежал казни, а что будет дальше? Прожито тридцать лет, и ничего радостного в прошлом. Жизнь — сплошные сердечные муки, заглушавшиеся лишь служебными успехами... Ох, эта Бро-

нислава — его мучительная утеха. Не она ли привела его на край пропасти? По установившейся традиции в десятилетнем возрасте они были уже помолвлены. Две семьи, Панчохи и Ржепецкие, опасаясь растерять веками накопленные богатства, не выходили из заколдованного круга пагубного кровосмешения. И сам он, невзрачный недомерок, — единственный наследник богатого майората, порождение этой биологической замкнутости. Панчоха, будучи еще лейтенантом прусской армии, мечтал о прелестях медового месяца. Помолвленный с невестой с десяти лет, он из-за своего крохотного роста всегда робел перед ней, даже тогда, когда стал офицером. Эта робость...

Их первые брачные дни, скажем прямо, были для него не особенно радостными. Опасаясь потерять красавицу жену, Панчоха решил заполнить ее праздные дни другими интересами. Он привлек ее к своей работе. Это давало возможность через надежных агентов знать о каждом ее шаге. А потом варшавское начальство, которое мало интересовалось личной жизнью руководителя дефензивы 6-й армии, потребовало, чтобы он послал в тыл к красным агента № 333.

Успехи этого агента устраивали центральную дефензиву, но не очень-то радовали полковника Панчоху. Первые же донесения издалека встревожили его. Бронислава, вызывалось ли это интересами дела или нет, сблизилась с красным командиром. Одна мысль о том, что она, родовая шляхтянка, милуется с голодранцем хлопом, приводила его в ужас. Вчера он увидел своего счастливого соперника и, сравнивая себя с ним, мучительно завидовал ему. Он мог за свои богатства получить многое, но то, чем обладал этот хлоп, и то, чего недоставало ему, нельзя было купить за все сокровища мира. Жгучая ревность побудила его оставить спокойное кресло в львовском особняке, где теперь размещалась армейская дефензива, и необдуманно броситься на поиски жены. «Понесло же меня в самое пекло! — терзал себя Панчоха. — Кто мог думать, что казакам Шостака удастся проникнуть через укрепления, возведенные полковником Буайе». И даже в тот момент, когда наперерез его «бенцу» выскочил казачий разъезд, он мог бы спастись. Машина, набрав скорость, ушла далеко от преследователей, но один из бойцов, спешившись, стал на колено и всадил пулю в задний скат. Машина, круто

свернув вправо, влетела в кювет. Если б он еще не вздумал отстреливаться, возможно, что приняли б его, пана «пулковника от гербатерии», за пана профессора Гдынского, все бы обошлось... А тут еще сопляк, запомнивший эти злосчастные каблуки...

32

Рассвет — раннее июльское утро — пришел в село Мокриювка незаметно, вслед за лесной золотистой зарей. Выплыли из мрака вросшие в землю убогие хибарки. Наспех сколоченные, они возникли там, где когда-то стояли ряды чистеньких хат. Из хибарок вылезали оборванные, измученные существа. Их ничто не удивляло, они все видели, все испытали.

Разведчики первые вступили в это отмеченное огнем и ужасом двух войн пепелище, которое трудно было назвать селом.

За сплошным рядом захудалых землянок высился новый, недавно отстроенный дом ксендза. Еще дальше, за изгородью благоухающих лип, манил к себе восстановленный и наспех брошенный помещичий дом. У крыльца, вся в белом, вдруг появилась женщина. Оглянулась. Не шевелясь, она наблюдала за движением всадников. Сероштан встрепенулся. Схватив комиссара за руку, прохрипел:

— Леня, это она — учительница!

Прыткая лошадь на широком галопе унесла командира к дому ксендза.

Люди размещались по хибаркам. Бойцы, вооружившись косами, серпами, отправились на добычу корма.

Перчик по глиняным ступенькам спустился в землянку. Высушенная горем и нуждой, суровая, но еще молодая галичанка угрюмо приняла его.

— Покушать бы, хозяйка.

— Ничего не маю. Голодные сидим. У самих полморга земли. Одна коза для детей. А хлопа нема.

— Где же твой хлоп?

— Так же, как вы. С той войны пришел — Петлюра забрал. Вот год не слышно. Чтоб его упир задавил, того Петлюру.

На столе кузнец увидел два початка кукурузы, стопочку желтых лепешек.

Рука бойца робко потянулась к столу. Перчик посмотрел хозяйке в глаза, на спящих ребят, остановился. Покачав головой, направился к выходу.

— Стой, москалик! — Женщина взяла початок кукурузы, натерла его солью, протянула бойцу. — А нам казали, — прищурила глаза хозяйка, — большевики с рогами, с хвостом, режут людей.

— Кто сказал? — рассмеялся Перчик.

Галичанка взяла за руку бойца, вышла во двор, подвела к грязной куче, сбросила ногой слой навоза. Вымазанное в коровьей жиже, показалось перекошенное смертельным ужасом лицо.

— Это из тех, какие гай палили. Не успел уйти. Последний кувшин молока от детей вылизал. Выходи, вот тебе, лайдак поганый, большевик покажет «млека-млека»!

— Что, — обнажил кузнец свой клинок, — пей, пан, млеко: червонный казак далеко? Пошли в штаб.

— Голову сейчас отхвачу, — рассвирепел Сероштан, выслушав доклад Перчика.

— Нет, товарищ командир! — остановил его Квитень. — В штабе один такой уже есть. Пошлем и этого туда.

Перчик вернулся в хибарку, принес ребятишкам плитку трофейного шоколада. Подмел двор, наколол хозяйке дров. Через час оседлал отдохнувшего коня. Галичанка снаряжала червонного казака в дорогу, как брата. Завернула в капустный лист несколько початков кукурузы. Шлемка достал из кармана хрустящую сотню. Протянул ее халупнице.

— За эти панские марки, хозяюшка, купишь коровку. И корми своих пацанчиков настоящим молоком.

Заговорили пулеметы. Беспорядочно затрещали винтовки. Пала на землю крепкая, нестерпимая июльская жара.

Упругий ветер трепал поздние золотые хлеба. Июльским полднем дозревал увесистый колос. Лениво перекатывались волны по золотисто-зеленым морям. Закаленные в походах и в боях казачьи сотни с веселой песней шли по скучному, забытому проселку.

Сероштан весь перекосился. Синеватая бледность затянула лицо.

Квитень смеялся над командиром, дразнил его, называл влюбленным студентом. Вспомнил о лисе и винограде, о чуде в селе Мокриювка и святом чудотворце Федоре, о родственнице ксендза Софье. Доказывал, что вряд ли найдется такая женщина в республике, да и во всем мире, которая устояла бы перед великолепием и удалью штабников Шостака.

Спокойные и насмешливые слова комиссара выводили Сероштана из себя. Командир рассвирепел:

— Замолчи, или...

— Что «или»? Или ты в самом деле веришь, что твою Софью слопают вместе со сметаной, которую наштадив Нежинский обязательно закажет у ксендза?

— Ну тебя к черту, Леонид!

Весь день Сероштан провел на хуторах, отправляя, принимая разъезды, проверяя конский состав, заботясь о продзапасах, об овсе, фураже, подковах, стараясь заглушить повседневными хлопотами неприятное чувство. Но, как деревцо среди необозримого поля, над множеством волнений преобладала одна неотвязчивая, тревожная мысль.

Вечером Сероштан подседлал лошадь и, выдумав маловажный предлог, поскакал в Мокриювку, покинутую накануне разведчиками и занятую штабом дивизии.

Покрутившись в доме ксендза, вышел, через ксендзова пастушка вызвал Софью. Они стояли на крыльце друг против друга. Дрожа от волнения, он гладил ее обнаженную до плеча руку, а у забора гневно рыл землю его конь, словно ревновал своего седока к чужой женщине.

Софья, охватив шею командира, жадно впилась в его рот горячими губами. Так же стремительно отпрянув, как и прильнула к нему, стала уверять, что она исколесила сотни километров в поисках потерянного счастья.

Федор звал ее за собой, но она, якобы опасаясь насмешек кавалеристов, категорически отказывалась от этого предложения. Обещая больше не терять любимого из виду, спросила, где его можно искать — в Збараже или Тернополе? Город — это не село. Там можно встречаться, оставаясь незамеченными для посторонних. Сказала, что поживет несколько дней у родственника ксендза, а потом отправится вслед за дивизией.

Сероштан, наклонившись, прошептал ей на ухо:

— Эх ты, моя радость! Счастье неповторимое...

— Ты, верно, всем своим возлюбленным поешь то же самое? — улыбаясь, спросила женщина.

— Нет, только тебе.

— А Христе? — упершись руками в грудь Федора, шелестела Софья.

— Откуда ты ее знаешь?

— «Откуда», «откуда»? Любящее сердце само подскажет. — Софья, выпалив эти слова, почувствовала, что она очутилась на грани провала. Но в этот миг амбиции женщины оказались сильнее навыков разведчика.

Вышел Гандзюк. Заметив в темноте два силуэта, протяжно засвистел.

— Ты, Федька, глубокую разведку организуешь? Вот так мастер обтяпывать такие дела! Или ты думаешь, что это интересует только тебя? Ох, сенькин кот, чтоб я сдох, ловкий ты парень!

Сероштан не забыл еще того пренебрежения, с каким его впервые встретил Гандзюк в Полтаве. Он независимо бросил:

— Иди, Иван, по своим делам, как-нибудь без тебя обойдемся.

Но начарт и не думал покидать сеней. Достав трубку, набил ее табаком, закурил.

— Ты настоящий покоритель сердец, Сероштан. В Чабанах какую кралю подцепил! А это — не девушка, цукерка.

Сероштан с трудом сдерживал себя. Он думал: вот-вот уйдет этот незваный товарищ, и он сможет снова тихо поглаживать горячую шелковистую руку Софьи.

— Ты получил назавтра приказ, дорогой товарищ? Начдив не любит, когда командиры околачиваются в штабе тогда, когда они именно должны быть в своих частях. Сейчас приедет Шостак, чтоб я сдох, какая будет картина!..

Сероштан стиснул зубы.

— Товарищ Гандзюк, ты, кажется, пошел в свою старую бабушку.

Софья расхохоталась.

— Я думаю, что этот товарищ, — указала девушка на начарта, — большой шутник.

Сероштан, сдавив до боли руку Софьи, попрощался, сел на коня. Заметив в освещенные окна аккуратно убранный стол, рыжего Исмаила, суетившегося вокруг него, хлестнул своего Бекеша.

Его ревнивому воображению казалось, что все только тем и заняты, чтобы отбить у него Софью. Но опасения влюбленного оказались напрасными. Шостак со своими помощниками, наспех перекусив чебуреками, приготовленными Исмаилом, вскочили в седла и тронулись в путь по направлению к Збаражу. Если б Сероштан не боялся встречи со строгим начдивом, он, вернувшись с хуторов в Мокриювку, застал бы в доме священнослужителя ту, к которой тянулся всем своим существом.

33

Обыденные, встречавшиеся на каждом шагу возвышенности — водоразделы днестровских притоков — предвещали близость легендарных Карпат. Причудливые по своим очертаниям и по пестроте окраски, нависли над долиной реки Гнезна желто-белые скалы. Выделяясь красными черепичными крышами, словно маковыми шляпками, привольно раскинулся по обоим берегам реки древний город Збараж.

Ярко освещенное молочно-белое шоссе широкой полосой протянулось вдоль низкого берега Гнезны. За весь день ни одно живое существо не пересекло еще безнаказанно эту каменную черту. Заранее пристрелявшись, пулеметы и орудия держали все подступы к городу под метким огнем.

Преодолевая страх, Ганка с пачкой листовок за поясом ползла к гранитной фигуре Христа, отмечавшей перекресток.

К распятию подходили люди из своего и вражеского стана. Каждый раз, оставляя у подножия креста новое воззвание к польским солдатам, Ганка старых не находила. Она не могла знать, кто их снимал — негодующий офицер или любопытный солдат, подневольный хлоп или властвующий шляхтич.

В густом пыльном кустарнике приютился штаб дивизии. Здесь каждый занимался своим делом. Озабоченный Гандзюк по телефону переговаривался со своими батареями. Строже обыкновенного казался Шостак. Три лобовые атаки не увенчались успехом. Город казался неуязвимым. Стараясь облегчить задачу пехотным дивизиям, командарм, забросав Шостака радиограммами, торопил со взятием Збаража.

Временами начдиву казалось, что Збаража ему не взять, но он знал, что Конная армия Буденного, повернув круто на юг, в лютых боях добывала позицию за позицией, город за городом, узел за узлом. И 45-я стрелковая дивизия — эта героическая пехота, возникшая в первые дни гражданской войны на просторах Бессарабии, — не отставала от кавалерии. 23 июля после жестокого боя под Почаевом она вырвала из рук противника неприступную позицию — Божья Гора, взяла Кременец, не устоявший и три века назад перед отвагой полков Максима Кривоноса.

Угрюмые складки появились на молодом лице начдива. Нетерпеливая рука сжимала эфес кубанской шашки.

Грозные вышки позеленевших от времени костелов, маковая пестрота ветхих домов, мрачные башни замка Вишневецких маячили впереди. Обычный, как десятки других пройденных городов, с такими же мирными садиками, Збараж волновал воображение начдива своей прошлой боевой славой.

Почти триста лет назад этот старинный город так же упорно сопротивлялся осаждавшим его полкам Богдана Хмельницкого. И все же был взят ими.

Шостак еще больше нахмурился, бросил начальнику штаба короткую команду:

— Прекратить атаки по всему фронту! Созвать командиров частей!

Гандзюк направился на огневую позицию ближайшей батареи, крикнул артиллеристам:

— Стукнем, хлопцы, на прощание! Двенадцать Иванов, огонь!

С грохотом подпрыгнули пушки, накаленные солнцем и непрерывной пальбой.

В одной нижней засаленной рубашке, с обожженной, облупившейся грудью, в зимней папахе, как и его пушкари, Гандзюк сердито схватил снаряд. Не прячась за щит, вогнал снаряд в глотку орудия, большим пальцем двинул рослого наводчика-тезку под ребро:

— Вот так, Ваня, калена-матрена!

Наводчик, любуясь лихим начальником, растаял от удовольствия.

Шостак направился к ближайшему болотцу, опустился на колени, откинул шашку, надвинул глубже папаху, нагнулся, разогнал зеленую плесень на поверхности лужи и жадно припал ртом к мутной воде. Утолив му-

чительную жажду, встал, снял шапку, вытер белым платком бритую голову и лицо.

По всей равнине за чахлыми кустами тальника прятались обозы, артиллерийские уносы, коноводы. Прикрытые ветками, отдыхали после напряженной работы пушки Гандзюка. В лощине, став бивуаком, ждали вызова части комбрига Сакулина.

Два полка — бригада Остапенко и разведчики Сероштана — обложили город.

Командиры, вызванные в штаб, окружили Шостака плотным кольцом. С нетерпением ждали его распоряжений.

Командир 6-го полка Сидорчук, заменивший Квасова, длинный, в красных гусарских штанах и защитной гимнастерке, расположившись на земле, разглаживал пышные золотистые усы. Ясными голубыми глазами смотрел на Шостака военком 3-й бригады Рынва-Рынальский, выделяясь своим крепким, словно вытесанным из камня, носом. Остапенко, доставая из кисета Гандзюка ароматный трофейный табак, чутким ухом прислушивался к тому, что делалось там, на берегах Гнезны.

— За такое курево, — косясь на артиллериста, сказал Остапенко, — коня не жаль. Знаешь, Иван, Сагайдачный за тютюн и люльку родную жену отдал...

Чалышев разглядывал карту. Среднего роста, ничем не выделявшийся, очень скупой на слова, став во главе 5-го полка — этого конгломерата двух молодых полков, Алатырского и Орловского, сколоченных из кавалеристов царской армии и шахтеров Донбасса, — Чалышев, старый алатырец, приняв по пути от Перекопа к Хмельнику сотни три добровольцев, без колебаний, решительно и смело сменил почти всех командиров. Старых алатырцев, показавших себя во время налета на Тюп-Джанкой и в боях под Перекопом, Чалышев поставил на сотни. Ничем не прославивший себя Орловский полк быстро растворился в новой части, постепенно осваивая славные боевые традиции алатырцев.

Словно желая проверить его, Шостак самые тяжелые задачи ставил новой, 3-й бригаде, а в ней — 5-му полку. И чалышевцы ни разу еще не обманули надежды начдива. Каждый раз перед серьезным делом Шостак говорил, обращаясь к Чалышеву:

— Надеюсь на тебя, Михаил Афанасьевич.

Шостак словно предугадывал, что этому человеку придется доверить созданное им с такой любовью боевое детище — дивизию Червонного казачества.

Сероштан, рассеянный и похудевший, все еще под впечатлением недавней встречи, пощипывал пальцами измятую траву. Квитень с иронической улыбкой посматривал на своего боевого товарища.

Шостак, сидя на опрокинутом седле, взял слово:

— Третья атака не принесла никакого успеха, дивизия под Збаражем потеряла больше бойцов, чем во всей Галиции, но город обязательно должен быть взят...

Четвертая лобовая атака?.. Нет, командиры слишком хорошо знали своего начдива, чтобы ждать от него безумного решения. Вместе с тем они поняли, что Шостак не стал бы напрасно их созывать.

Начдив, глядя в упор в напряженные лица подчиненных, спокойно и рассудительно изложил новый план боя. Гандзюк забрюзжал:

— Меняем тактику. Чтоб я сдох, если такой город кто-нибудь брал ночью.

— Да, все города берут днем, а Збараж будет взят ночью. Правда, товарищи? — Шостак посмотрел на Остапенко: он знал, что ответ старейшего червонного казака прозвучит одобрением как бы от имени всех собранных им на военный совет командиров.

— Что ж, хлопцы! — сказал Пантелеймон Романович, разгладив обрубками пальцев вильгельмовские усы. — Ничего не вышло у нас днем, попробуем ночью. — Он тяжело вздохнул: — Жаль, нема Кухаревича, он бы для нас придумал что-нибудь поинтереснее, чем брать в лоб города.

Уснули до утра пушки. Но зато часто и нервно просыпались то там, то здесь пулеметы.

В сплошном мраке лихие разведчики двинулись по долине. Шуршала на каменном шоссе солома, намотанная на колеса орудий и пулеметных тачанок. Туго и неслышно затягивалась вокруг Збаража шостаковская петля.

Десять пулеметов вместе с лучшей сотней 2-го полка, не уступавшей в стойкости закаленной пехоте, примащиваясь к околицам города, зарывались в землю, как кроты.

Полки Чалышева и Сидорчука в конном строю приближались к шоссе, чтобы под самыми стенами города

пешей лавиной обрушиться на его сторожевые заставы и форпосты.

Мартын Бубна, знаток этих мест, под шепот прибрежного камыша вел разведчиков без дороги по руслу высохшего ручейка.

— Вот и спуск к реке, а чуть правее — брод!

Глухо зашуршал камыш. Привычные руки вязали легкие плотики. На них грузили винтовки, патронташи.

— Ну? — тихо шепнул Сероштан.

— Ну! — ответил Квитень.

Два всадника, пришпорив коней, двинулись вперед. Очутившись в воде, испуганно зафыркали кони. Ласковые руки всадников успокоили их. Кавалеристы, звено за звеном, плыли вслед за своими командирами.

Квитень почувствовал, как прочная спина лошади пропала, ушла вниз. Стало боязно, страшно. Он не умел плавать и боялся воды. В детстве как-то захлебнулся в пруду. Схватившись за гриву, положился на здоровый инстинкт животного. Тяжело дыша, выходили кони на правый, крутой берег. Они, цепляясь копытами за скользкий грунт, сползали снова в холодную воду и снова лезли на берег. Труднодоступная преграда, отделявшая неутомимых конников от города, осталась позади.

Вся дивизия, больше трех тысяч сабель, ждала сигнала разведчиков. Сероштан подтянул отставших, принял на берег камышовые плотики, велел разобрать винтовки, патронташи и тронулся в обход Збаража по узенькой, утоптанной городскими козами тропинке.

Ночью затихает биение огромного сердца вселенной. Медленней бьется жизнь в натруженных жилах. Прекращается движение в селах, на полях и дорогах. Ночью смелым — полный простор.

Ганка шла рядом с сотенным кузнецом Перчиком.

— Ой, Ганночка, таки немножко страшновато, честно говорю. Признавайся, и тебе каламитно.

— Не так страшно, как зябко. У меня всегда перед работой мороз по коже идет.

— Я совсем забыл — весь я мокрый. А знаешь, как мне хочется в Збараж!

— Откуда у тебя, Шлемка, такая скука по Збаражу?

— Ой, Ганка, скучаю об синих галифе. Хочу купить. Такие синие, как у начдива, не трофейные французские, нет, натуральные кавалерийские галифе.

— Обожди, парень, попадем во Львов. Там, говорят, все купить можно.

— А как нас встретят львовские рабочие! Ой, Ганка, мне кажется, теперь мы пойдем и пойдем.

— Да, Шлемка, на Западном фронте наши уже к Варшаве подходят. А Гродно и Белосток давно освобождены.

— Даешь победу! — заерзал кузнец в седле.

— Тише ты, черт! Повод вправо. Видишь, обрыв, а ты меня все жмешь и жмешь.

— Я тебя, Ганка, жму? Тебя сам Пилсудский не пожмет!

— А слыхал про англичан, про ноту Керзона? — спросила разведчица.

— Ну и подлюки! Когда шляхта взяла Киев, все молчали, радовались. А теперь заговорили, пугают, чертовы пугачи. Стращают, если не остановимся, то усилят помощь Пилсудскому.

— Будто и так они ему не помогают. Все пушки, пулеметы, аэропланы ихние.

— А ты знаешь, Ганка, куда мы попадем, если так будем идти и идти?

— Одно знаю, что так, прямо, — Карпаты и Венгрия, богатая пшеничная и конячая, говорят, земля. А так, левее — наверное, Испания... Слыхал, испанская болезнь такая есть? А за ними уже английские буржуи... Вот они-то больше всех и подзуживают Пилсудского.

Бубна, довольный тем, что не сбился с пути и вывел разведчиков куда надо, вполголоса напевал лихие частушки:

Ой славная Коломия, та поміж горами,
Ой славні дівчиноньки з чорними бровами.
Коломиєць-чорнобривець в гору ся бичує:
Коломийка-чорнобривка з другими ночує.
Ой грай мені, музиченько, од села до села,
Щоби моя голівонька все була весела [1].

Затопали на месте головные кони. Подтянулся хвост. Прокатилось от взвода к взводу предостережение:

— Чш, не шуметь!

Дивизион стих. Нарушая таинственную тишину, зазвенели в стороне колеса походных фурманок.

---

[1] Некоторые коломыйки позаимствованы автором из собранных Я. Головацким «Народных песен Галицкой Руси».

Ceроштан со своим новым переводчиком Миколой Настюком, отделившись от строя, подскочил к шоссе. Настюк заговорил по-польски:

— Какой пулк?

— А вы?

Наступила мучительная пауза. Получив ответ командира, Настюк громко крикнул:

— Мы петлюровского мазепинского полка!

— Мы обоз отдельного львовского легиона.

— «Черный» легион!

— Да, «черный» легион!

— Цо? Цофаете? Пятки мажете?

— Дудки! Бросают нас на Тернополь. Там ожидают красную пехоту. Здесь уже сам гарнизон справится. Мы за два дня показали большевикам.

Две сотни разведчиков приблизились к шоссе. Пропустили хвост вражеского транспорта. Еще пятнадцать — двадцать минут — и глухой стук колес, дробный топот подкованных сапог растворились, замерли в ночной темноте.

Было желание, горячий зуд — измять, растоптать обоз легиона. Но шум случайного боя мог сорвать операцию основных сил.

У какого-то склада Курочка с французом добровольцем Виктором Пуантю схватили часового. Насмерть перепуганный легионер взялся показать путь к штабу.

Тревожно затрещал пулемет. И в тот же миг закипел бой на всех подступах к городу.

Разведчики с гранатами в руках врывались в штабы, в квартиры спящих офицеров, с обнаженными клинками мчались по ночному Збаражу.

Население рабочего предместья, несмотря на ночное время, пренебрегая огнем, радостно встретило победителей.

— Да, Панас! — покачал головой Курочка. — Видать, этим не сладко здесь жилось?

— Эти, брат, едать — ели, да только раз на неделе,— ответил авторитетно, как всегда, Бунчук.

Неизвестно, кто первый попал в город — Чалышев, Сероштан или же двадцатилетний, похожий на девушку Владимир Шостак, брат начдива, назначенный на

1-й полк вместо раненого Сидорчука. Полки почти одновременно очутились возле костела.

Всадники вылавливали жолнежей, искавших спасения в центре города. Кавалеристы выводили из дворов и темных переулков охваченных смертельным страхом пилсудчиков.

Мартын Бубна вместе с Настюком ломился в дом, белевший рядом с костелом. Они искали своего земляка — латинского ксендза из Скорик.

Железная дробь коротких очередей бренчала по шторам больших лавок. Ахнула, брызнула огнем жестяная бутылка. Нарастало и кипело «ура». Кто-то кричал: «Стой, стой!» Просил кто-то о пощаде на ломаном и понятном для всех языке. Рассыпалось в брызги стекло. По узким закоулкам гарцевали косматые загадочные тени. Как грозный символ средневековья, на центральной площади выступил из тьмы костел, с такой же неприветливостью встречавший когда-то всадников Богдана Хмельницкого.

Молчаливо надвигался на город темно-синий рассвет. Отчетливей сделались расплывчатые очертания старинных домов. Вдали, на мрачной горе, на плотной синеве неба, начали проступать контуры старинного замка Вишневецких.

Сакулин и Остапенко приводили в порядок полки.

Отмеченная длинной пикой опознавательного значка, въезжала в город дружная кавалькада штаба дивизии. Шостак, кутаясь в бурку, с трубкой во рту, едва заметно покачивался на темно-гнедом Соколе. Осуществив план ночной атаки, он болезненно переживал гибель многих лучших людей на подступах к Збаражу. Вспомнились бои под Харьковом, Перекопом, единоборство с немцами в нейтральной полосе, кровавые потасовки с Петлюрой, неизменно завершавшиеся победой Червонного казачества, но требовавшие и от него больших жертв.

Польский ревком во главе с Мархлевским и Дзержинским издавал свой первый революционный декрет, а в эти же дни Черчилль, опасаясь за судьбы Варшавы, подстрекал Гофмана и Людендорфа, этих зубров германского империализма, создать второй — немецкий — барьер против большевиков.

Так международная контрреволюция готовилась к борьбе против первого государства рабочих и крестьян.

В то время, когда здесь, на Гнезне, утихли последние выстрелы, там, далеко на севере — у Брод и на юге — у Тернополя, гудела еще артиллерийская канонада.

К утру ожили улицы Збаража. Сотня любопытных устремились к центральной площади, на которой расположились бивуаком полки Шостака. С лихо взбитыми чубами появились на тротуарах кавалеристы.

Широкие витрины привлекали бойцов разнообразием и обилием товаров. Шурка-пацан долго не мог оторвать восхищенного взгляда от высоких горок шоколада и ваз с конфетами, выставленных в зеркальных окнах богатых магазинов.

Гаманец, желая блеснуть своей услужливостью, подошел к запертым дверям и, достав из кармана толстое шило, поднес его к замку. Ганка со сжатыми кулаками набросилась на него:

— Брось сейчас же, Самойло! Не хватало еще этого. У тебя, как всегда, шапка набекрень, а мозги навылет...

— Так я для вас стараюсь, дуреха. Они, буржуи, наживаются, а ты жизнь отдаешь. Хоть сегодня попользуйся.

Из толпы любопытных отделился старичок в соломенной шляпе-тирольке. Вынул из кармана ключи, с грохотом закатил железную штору.

— Пшепрашам, — приветливо позвал он бойцов в магазин.

Ганка взяла плитку шоколада.

— Сколько?

— Две марки.

— Тогда дайте еще. — Она протянула хозяину пятьдесят марок.

Рядом загремели шторы соседних лавок. Давно уже збаражские купцы не видели столь щедрых покупателей.

Бойцы начали уважать трофейные деньги. Это там, по ту сторону Збруча, марки, кроны, как ненужный хлам, разбрасывались по улицам сел и местечек. Здесь за одну лишь сотенную купюру отдавали две пары сапог.

Зашевелились юркие валютчики, мастера своего де-

ла, нажившие миллионы на вывозе крон из оккупированной царем Галиции. Но на сей раз они обманулись...

На углу, рассыпавшись игривым звоном бубенцов, остановились разгоряченные кони. Из шикарного фаэтона, отделанного алым бархатом, ловко соскочил, шинель внакидку, чернобородый красноармеец с обвязанной головой. Вынув из бокового кармана выцветшей гимнастерки хрустящую бумажку, протянул ее человеку на козлах. Извозчик, потомственный контрабандист, щедро получив за тридцативерстный пробег Подволочиск — Збараж, снял австрийское кепи и радостно поблагодарил ездока.

— Пшепрашем, — наклонился он с козел к пассажиру, — хочу я вас спросить. Если вы мне хорошо ответите, то я, пан казак, согласен-таки вернуть ваши деньги.

— У меня этого добра хватит, — небрежно ответил чернобородый. — Спрашивайте, скажу.

— Так вот, хочу я знать, останется ли в нашем Волочиске границ? Знаете, — ухмыльнулся общительный кучер, — вы можете себе идти до Львова, до самых Карпат, но здесь нам нужен границ. Какая нам, фурманам, жизнь без нее?

— Вот я тебя отведу в одно место, контрабандист чертов, там тебе покажут границ! — рассердился боец.

Чернобородый, поправив резким движением плеча съехавшую шинель, в нерешительности оглядываясь, стал на углу. Вдруг его смуглое, с аккуратно подстриженной бородой лицо прояснилось. Ганка, шедшая навстречу, вскрикнула, едва не выронив покупку:

— Ларион!..

Засиявшая от радости девушка протянула обе руки, но Балабан пожал лишь одну.

— Ну? — нетерпеливо спросила она.

Левая рука бойца, подпрыгнув, поднялась на несколько сантиметров и снова опустилась.

— Медицина располагает — зацепило, аккурат, тот самый нерв, что командует левой рукой.

— Жалко. — Ганка погладила пулеметчика по плечу. — Ну ничего, лишь бы голова была цела.

— Как видишь, Ганка, пуля и та не клюет. Мозги, значит, крепче, чем сама посуда.

Взводный осторожно одним пальцем приподнял повязку. Ганка увидела коричневое углубление над самым виском Лариона и шрам позади правого уха.

Собрались разведчики. Окружили взводного. Наперебой угощали его сладостями, накупленными в збаражских лавках.

— А бородка у вас, командир, первый сорт. — Перчик влюбленными глазами смотрел на Лариона.

— Соскучился я, хлопцы, по седлу, — улыбнулся Балабан. — Попрошу у Сероштана какую-нибудь лошадку.

— И просить незачем, — сказала Ганка. — Не одни мы, а и Сократ твой давно тебя дожидается. Под Гаманцом ходит.

— Под кем, под кем?

— Говорю — под Гаманцом.

Балабан нахмурился. «Очевидно, — подумала Ганка, — Ларион недоволен тем, что его любимый конь попал в такие ненадежные руки».

— А разве жив Махно? — спросил Балабан.

— Куда же он денется, Лариоша? Он, как ящерица, в огне не горит, в воде не тонет. Хвост отсекут, а он обратно вырастет.

В зеркальных окнах замелькали белые переднички и кружевные наколки кельнерш. В фешенебельном кафе «Жозефина» под веселый визг скрипок задорно пищал саксофон, добродушно брюзжал неповоротливый бас. Звуки разудалой музыки, гортанная речь ярких женщин, шарканье ног услужливых подавальщиц, звон тонкой посуды сливались в сплошной гул.

Шостак со своими товарищами зашел в «Жозефину», чтобы посмотреть «кусочек» Европы. Окинув любопытным взором зал и всю его кричащую бутафорию, штабники заняли в одном из дальних углов кафе пустой столик.

Попросив разрешения, к начдиву подсел высокий немолодой мужчина. Перебирая пальцами холеную эспаньолку, любезно спросил, нравится ли товарищам город. Заказал на свой вкус кофе, пирожное.

Незнакомец, едва коснувшись тонкой рукой полей элегантной шляпы-тирольки, любезно предложил свои услуги, так как хорошо знал местные условия, виднейших купцов. До войны он экспортировал хлеб, скот, табак. И допытывался, не нуждается ли в чем красное войско. Продолжая разговор, объяснил:

— Сто вагонов хлеба в день я отправлял в Гамбург.

— За счет недоедания миллионов крестьян, — заметил, сдержанно улыбаясь, военком Павловский.

— О, то мы не считали, пан комендант, — сверкая кольцами, рассуждал экспортер. — Мы покупали хлеб на фольварках. С хлопом дело не имели.

— Потому что у хлопа не было своего хлеба, — продолжал Павловский. — Сначала отбирали у хлопов хлеб и вывозили за границу, потом этот хлоп ездил за границу покупать свой же хлеб.

— Как так? — удивился человек с эспаньолкой.

— Очень просто. А что такое шестьсот тысяч обездоленных эмигрантов, которые ежегодно покидали Западную Украину?

— О да, то ловко конклюзию пан сделал. Сначала хлеб, а потом хлопы. А вот если, панове, перейти к делу, скажите, пан комендант, как обстоит у вас насчет сапог и седел?

Негоциант звал командиров к себе в гости. Интересуясь условиями расчета, уверял, что он, конечно, учтет хлопоты господ офицеров, и они в обиде не будут.

Очевидно не совсем довольный беседой, экспортер, приподняв со всей присущей ему галантностью тирольку, удалился. Несколько посетителей в поношенных австрийских мундирах, по-военному чеканя шаг, подошли к столику. Щелкнув, словно по команде, каблуками, остановились против Гандзюка, спросили, не он ли старший генерал. Нежинский, улыбаясь, указал на Шостака. Отрекомендовавшись отставными офицерами австро-венгерской армии, они выразили свое восхищение удалью красной кавалерии. Узнав, что начдиву — столь известному большевистскому генералу — только двадцать три года, с удивлением переглянулись. Еще больше изумились, узнав, что Шостак не генштабист, не окончил военной школы и в империалистическую войну служил всего-навсего рядовым солдатом. Поинтересовавшись, сколько получает офицер Красной Армии, стали предлагать свои услуги.

— Анатолий, возьми их вместо нас. По крайней мере будут командиры с военным образованием! — пошутил Гандзюк, весело посматривая на бывших вояк Франца-Иосифа.

— Разве у вас нет офицеров? — удивились отставники.

— Как нет! Тысячи... Вот товарищ Сакулин — бывший подполковник.

— Ваш покорный слуга, — усмехнулся командир бригады, сидевший за столиком Шостака.

— А правда, — спрашивали офицеры, — будто знаменитый генерал Зайончковский — ваш главковерх?

— Нет, — ответил Шостак, — он работает как специалист.

— Да, но мы читали его воззвание. У нас во всех польских цайтунгах[1] поместили. И пилсудчики через это воззвание доказывали, что царские генералы вновь хотят захватить Польшу.

— Нет, панове! — заверил Павловский галичан. — Зайончковский не командует Красной Армией, он только специалист и, как честный советский гражданин, вместе с другими подписал воззвание.

Военком достал из полевой сумки старую «Правду» от 7 мая 1920 года, развернул и прочитал вслух:

— «Наглось нападения панов, с одной стороны, наше миролюбие — с другой, так ясны... что даже люди, которые вчера еще выступали нашими непримиримыми врагами, теперь предлагают свои силы для общей борьбы. Так сделали многие старые царские генералы, о сотрудничестве которых с Советской властью до сих пор не было речи».

— О, то вы настоящие люди, — смеялся один из бывших вояк, — я, слава богу, видел русских в той криг. У вас такие же шинели, такая же униформа, такие же пики и народ даже тот. Вы настоящие русские, как и те, что были у нас в тысяча девятьсот пятнадцатом году, такие же, как и мы, русины, руснаки.

— Немного не такие, — усмехнулся Шостак, — и вы не русские, не руснаки, а украинцы. У нас русский — Сакулин, вот товарищ Фостецкий — поляк, Шротас — литовец, а этот командир полка — латыш из Риги, Нежинский Семен — еврей, рядом с вами сидящий — джигит из джигитов, по имени Имам, по фамилии Шалаев, — курд. Этот товарищ — чех из самой Праги. Зовут его Юзеф Прошек, а мы все, — начдив обвел рукой сидевших за его столиком, — украинцы.

— Но вот галицийские усусы тоже считали себя украинцами, — загалдели сразу офицеры, — они только

[1] Газетах (*нем.*).

умели горланить «Вже воскресла Украина». А что сделали? Вчера — с Петлюрой, морген — с Деникиным, сегодня — с большевиками, а потом — с Пилсудским. — Дураки, хлоповы головы, — усмехнулись отставники, — передались Галлеру, а он их загнал в концлагерь. Гниют там усусики.

— А вам разве их не жаль? — удивился Сакулин.

— Пусть не берутся не за свое дело. Нас — кадровых цесарских офицеров — очернили, чтобы самим захватить все посты. А вот еще Петрушевич выпустил прокламацию, чтобы галичане, значит, держали нейтралитет и против поляков, и против большевиков. Писал он, что Антанта зовет и его на мирную конференцию.

— Антанта боится за свою карпатскую нефть, — объяснил офицерам Павловский.— Керзон считает: если шляхта не удержит Галицию, то пусть уж ею пользуется Петрушевич — все же лучше, чем большевики.

— Это мы еще посмотрим! — Гандзюк, насупившись, сжал кулаки.

Один из офицеров, как видно старший по чину, кашлянув, приложил руку к козырьку, вытянулся:

— А как с нами, генерал?

— Товарищ начштаба,— распорядился Павловский,— запишите граждан офицеров и дайте список властям! Вот-вот Галревком приступит к формированию своей Красной Армии.

— Но мы — подданные бывшей Австро-Венгрии, а хотим стать поданными России. На что нам Галиция!..

— Подданство, господа, — строго ответил Нежинский, — завоевывается не в кафе, а на поле боя.

К группе офицеров приблизился Микола Настюк, тронул одного за плечо:

— А, пан Хустка!

Офицер презрительным взглядом смерил Настюка, явившегося в кафе во всеоружии:

— То ты уже москаль, Настюк?

— Что, и тебя потянуло в Красную Армию, пан Хустка?— Учитель из Скорик сверлил взглядом своего собеседника.

— Я не был идеалистом, как некоторые... Я - жовнир и жовниром останусь! — надменно ответил офицер. И добавил с горечью: — Хотя пока и офицер в демиссии.

— Только знай, у нас по морде не бьют и за кражу

ковалка солдатского сала ставят к стенке. Кстати, пан Хустка, Богдан, твой старший брат, честно служит в Красной Армии. Говорят, бригадой командует.

— Ну? — удивился офицер в демиссии и направился в раздумье к своему столику.

Настюк, смеясь, рассказал Шостаку, как он с Хусткой, своим земляком, училоя вместе в гимназии, откуда Хустка ушел добровольцем в австрийский полк. А из армии его выгнали за махинации с солдатским пайком.

...Прихрамывая, в сопровождении желтолицего Борща, Гаманец переступил порог шумной «Жозефины». Седобородый швейцар, косясь на карабины казаков, загородил было им дорогу. Но Самойло, нигде не терявшийся, взглянув на золотые галуны бородача, прохрипел ему в лицо:

— Наших генералов мы давно потопили в Черном море, а ты еще тут воздух переводишь!

— Пан казак! Сюда солдатам входить не позволено,— оправдывался блюститель порядка.— Не забывайте, пан, здесь Эвропа.

— Ну нехай, когда здесь будет твоя Европа, а теперь тут мы. Еще за Богдана Хмельницкого Збараж был наш, украинский! Помни это, пан генерал!

Гаманец по-хозяйски, не обращая внимания на посетителей, направился было в глубь зала, но Борщ, заметив у входа свободные места, остановил товарища:

— Самойло, оккупируемся тут. Дальше сидят все в шляпах. Господа!

— Эх ты, Тереха, — присаживаясь к столику, журил Гаманец фуражира, —в атаке ты — черт, а тут — ровно кролик! Шо, интеллигенции спужался?

— Нет, Самойло, чего мне ее пужаться? Просто на случай боевой тревоги выход под боком...

Подошла, шурша накрахмаленным передником, с приветливой улыбкой на румяном лице кельнерша. Гаманец, опасаясь, что ему здесь не поверят, выложил на мраморный круг столика несколько крупных купюр и попросил две кварты кофе. Официантка, с удивлением слушая необычного посетителя, заявила:

— У нас квартами кофе не отпускают. Подам вам в чашках.

Шостак, расплатившись, поднялся:

— Товарищи, посмотрели Европу, пошли! Нас ждет работа.

Гандзюк забрюзжал:

— «Работа», «работа»! Ты мне лучше скажи, Анатолий, буду я комендантом Львова или нет?

Шостак вскипел:

— Иван, здесь не время и не место об этом говорить!

Начальник артиллерии, прикусив язык, вышел из-за стола.

— А баба по фактуре ничего, — глядя вслед кельнерше, размечтался Гаманец. — Я бы к ней со всем приятным отношением чувств, только вот сам конопатый!

— Тут, видать, насчет крепкого того? — покачал головой Борщ.

— Попадись Шостаку, а то и нашему Квитеню под мухой! Амба! Вот после войны Гаманец уж насмоктается! А пока не отфронтовался — ша. Правда, было дело, попил я. Раз в Пологах хозяин, где я квартировал, запечатал бутылочку и говорит: «Зарою медок в погребе. До свадьбы младшенькой настоится». Я смекнул — у него еще четыре дочки. Забрался в погреб, повел носом и нашел. Вот то был, Терентий, медок: в воскресенье хлебнешь — неделю херувимом ходишь... А сейчас я наотрез зарекся. Так що, друг Тереха, насчет этой самой выпивки давай наглухо закроем вопрос...

Прошли всего лишь сутки. Одни сутки...

Гаманец, со скребницей и конской щеткой в руке, подвел начищенного коня к взводному. Передавая Сократа хозяину и страшась неприятного объяснения, заговорил первым:

— С чужого коня среди грязи долой.

Ларион, не сводя глаз с разведчика, строго спросил:

— Ну что, Самойло, не понравилось тебе у Пилсудского? У панов познанчиков?

— А я у них и не был, Ларивон. — Гаманец спокойно выдержал строгий взгляд командира.

— Брешешь, Самойло. Я тебя выведу на чистую воду.

— Зря, Ларивон! Вот крест святой — не был я у них и минуты.

Балабан приблизился к Гаманцу. Хрипло прошептал ему в лицо:

— А кто с вскинутым вверх седлом говорил: «Панове, возьмите, панове, я ваш!»?

— Так то же я для маневра. Говорил я им это, верно, а сам соображал, как мне их обмахорить.

— И выкрутился?

— Как видишь, Ларивон. Правда, кое-шо за это заплатил. Видал: трохи припадаю на правую... Как дернул от них, они послали за мною пулю.

— Ну и пройдоха! — несколько смягчился взводный.

— За коня спасибо, — поняв настроение Балабана, благодушно заговорил Гаманец.— Выручил он меня. Ну и я, как видишь, не обижал Сократа. Жалел его.

— Вижу.— Взводный любовно посмотрел на коня.

— Ларивон, — продолжал разведчик, — давно мечтаю сказать тебе свой секрет. Больше никому не доверюсь. А тебе могу — вместе были в лапах смерти.

— Говори, Самойло.

Разведчик, ведя в поводу Сократа, направился в ограду костела. За ним пошел взводный.

— Знаешь!.. — начал Гаманец не без волнения.— Помнишь мое седло? Оно меня чуть не погубило, оно меня, в том числе, и спасло. В нем была пропасть золота. Сами царские десятки. Легионеры чертовы и кинулись на него, на меня плюнули.

— А откудова оно у тебя, Самойло?

— В Проскурове слямзил у одного пана. У того самого полковника Панчохи, шо мучил нашего Шурку. Ну и не спал через то добро, будь оно трижды проклято! Берег его в своем седле. Под пулями таскал, помнишь? Знаю, шо и ты через меня пострадал, как выручал меня под Михеринцами. Хотел я спасти то добро. Думал: после войны сгодится. Ну а как попал в тот переплет, хоть золото меня и выручило, а стало оно мне вовек поганым. Вижу, через него человек зверем делается. Рад, шо избавился от него. После тех Михеринцев не могу смотреть ни на какое барахло. Знаешь, я даже Борщу вернул гроши. Помнишь, давал он мне их на лекарство. Постановил я свернуть на другую дорожку. Бывает иногда и трудновато на ней устоять, а держусь. Вот ты мне пособи, взводный. Как шо за мной приметишь, оборви. Спасибо скажу. Хочу наотрез от махновского духа избавиться, понимаешь, Ларивон!

— Понимаю, Самойло. — Балабан пожал руку разведчику. — Значит, верно — своей бедой всяк себе ума купит... — Взводный задумался. Погладил коня. — Знаешь что, Самойло, оставь Сократа себе.

— А ты, Ларивон?

— Мне Сероштан в коне не откажет.

— Ну спасибо, Ларивон...— Разведчик, растроганный великодушием взводного, хотел продолжать, но от избытка нахлынувших чувств что-то перехватило ему горло.

Подавив внутреннее волнение, Гаманец трижды обошел вокруг Сократа, беспрестанно нашептывая:

— Конь под нами, а небо над нами. Стой, конь, не шатайся, никому в руки не давайся...

— Это ты что? — рассмеялся Балабан.

— Не смейся, товарищ взводный, — серьезно ответил разведчик, — говорят, это пособляет от пули-хворости, от кражи-пропажи...

— Что ж ты, товарищ Гаманец, обставил в Михеринцах «гвардии Палажку», а сам не лучше ее — веришь во всякую чепуху.

— Э, нет, товарищ взводный, я ее облапошил по части техники конпасом-дромпасом, как она в этом деле темный человек, а это приметы. Приметы — дело верное, — убеждал Балабана разведчик.

35

После поражения у Збаража, потеряв рубеж реки Гнезны, враг, отчаянно сопротивляясь, отступал медленно.

Червонные казаки и 45-я Бессарабская дивизия теснили противника на следующий водный рубеж, на реку Серет.

За Гнезной раскинулся дикий, изрезанный горными кряжами лесистый край. Здесь на протяжении многих веков велась ожесточенная борьба между православным дворянством Волыни и униатской шляхтой Галичины. В этой глухой стороне, облюбованной клерикалами, на каждом шагу попадались церквушки, костелики, каплицы, часовни, скиты. Церковники веками одурачивали полутемных тружеников.

Почаево-Успенская лавра и доминиканский монастырь в Подкамене — эти два храма вели ожесточенную борьбу за души прихожан. Каждый считал себя оплотом истинного христианства, а своего антагониста — схизматиком. В сердцах темных людей этого края слепая вера в бога уживалась с лютой ненавистью, оставшейся со времен гайдаматчины, к польской шляхте,

русским помещикам, украинским дукам, еврейским посессорам — арендаторам земельных угодий.

Разведывательный дивизион, овладев после тяжелого боя Заложцами, расположился на дневку в этом живописном селе, вытянувшемся вдоль светлого Серета.

Веселый колокольный звон сзывал верующих к воскресной молитве. В пестрых, с широкими рукавами, вышитых рубахах, в ярких юбках, в красных сапожках на высоком каблучке, потянулись на колокольный зов женщины. Отдельно шли мужчины — в белоснежных домотканых штанах и в белых рубахах, выпущенных до колен.

Верующие в ожидании ксендза радостной, оживленной гурьбой столпились у деревянного костела. Говорили о Красной Армии, о новых законах, о бегстве панов, о том, что будут раздавать панские земли, отменять налоги и подати, что даже урожай, который созрел на панских полях, достанется хлопам. А главное, самое главное — вместо войта в Заложцах собирают ревком. Этот ревком совместно с хлопами вот-вот приступит к разделу земли и урожая. Ждут только какого-то комиссара из Збаража.

Привлекая к себе внимание крестьян, застучал высокой палкой сухой, тонкий старик, одетый в меховой, ярко расшитый жилет-кептарик.

— Не верьте. Никому не верьте. Всякие являлись в Заложцы, всем давай хлеба, сена, овса, молока. А другим и того мало — ищут файную бабу. А нам они что-нибудь дали? Послухайте меня, старика. Я не брешу, ей-бо, присей-бо! — Старик набожно перекрестился.

— Ну этим не жаль, — вставил молодой крестьянин со свежей ромашкой, воткнутой за ленту войлочной шляпы, — сами не берут. И с мужиками — как с братом.

— Ловко народ морочат, — продолжал старик.

— Чего морочат? Все же по-нашему написано «Воззвание», — настаивал на своем парень в войлочной шляпе.

— Как там все файно сказано. Неужели все так и будет? Ах, голова кружалом идет. Идет, ей-бо, присей-бо, идет! — поддержал молодого кто-то из толпы верующих. Молодой крестьянин, сняв шляпу, достал из нее аккуратно сложенный листок бумаги. Волнуясь, стал читать свежеотпечатанное «Воззвание Галревкома».

Широко раскрылись двери костела. Народ хлынул к паперти, вошел в храм, постепенно окружая амвон. Вдруг раздался вопль ксендза:

— Ой, парафиане, проклятие нам, проклятие!

Бледный священник не сводил безумного взгляда своих широко раскрытых глаз с царских врат. Длинным тонким пальцем он указывал на икону божьей матери. Панический шепот пробежал по религиозной толпе.

Снова вскрикнул экзальтированный поп:

— Парафиане, о парафиане! Сам митрополит львовский — граф Шептицкий — святил богоматерь. О, горе нам, горе нам, парафиане!

Нарастал гулкий ропот.

— Австрияки были, первые москали были, ляхи-галлерчики шли, галицкие войска проходили — никто не трогал иконы...

Ксендз наставлял своих прихожан:

— Не любят они бога... И у себя, там, за Збручем, опоганили они храмы божии...

Загудела толпа:

— Проклятые! Разбойники! Известно, чужаки, добра не жди!

Ксендз продолжал:

— Костел схизматиков не тронули. Все на наши головы, парафиане, бедные мы, бедные...

Толпа с нарастающим ропотом хлынула наружу. Хлынула во двор костела, а дальше не знала, куда ей идти. Ярость, досада, фанатизм горели, как факел, и, как всякий факел, могли и потухнуть, и вспыхнуть ярким огнем.

— Их старшего коменданта!

— Пусть вернет золотой венец богоматери!

— Куда же она годится без венца...

Сероштан с Квитенем, примчавшись на взмыленных конях, спешились возле ограды. В один миг их окружили возбужденные крестьяне. Размахивая сжатыми кулаками, особенно яростно наступали женщины, требуя вернуть венец богоматери и сурово расправиться с виновными. Спокойные, забитые, приученные к слепому повиновению и почитанию начальства, сейчас жители Заложцев с пеной у рта наступали на командира.

Сероштан с комиссаром успокаивали людей.

На миг спадала волна возбуждения, а потом вдруг, словно от толчка, вспыхивала с новой силой. По рукам,

неизвестно откуда взявшееся, ходило воззвание к униатам. Квитень, пробежав его быстро глазами, не верил себе. Листовка, словно предугадывая сегодняшнее событие, сообщала, что москали пришли не освобождать народ, а грабить церкви, крестьян, помогать панам против хлопов; они костелов не трогают, а только униатские церкви. Сначала будут грабить церкви, а потом и хлопов.

Вышел вперед старик в расшитом жилете:

— А что я вам говорил, хлопы, не верьте солдатам. Ничего хорошего мужик от солдата не видел и не увидит. Вот и пришла беда.

Подходили к костелу разведчики, приставали к толпе. Вчера еще гостеприимные, хозяева смотрели на них недружелюбно.

Бунчук, не изменяя себе, шутил:

— Слизала языком коза божьи глаза? Хоть еловые, а вставим новые.

Курочка, распалившись, негодовал вместе с другими бойцами:

— Вот гады! Подрывают веру народа до Червонной Армии!

Черноус, закусив губу, бледный, с огромными зрачками выпученных глаз, протиснулся вперед. Подошел к Квитеню. Приложив руку к папахе, отрапортовал:

— Товарищ комиссар, — обвел он глазами толпу, — это не просто кража... Здесь дела политические. Надо преступника вывести на чистую воду... Да, вывести, и немедля, пока дивизион тут, в Заложцах.

— Ты знаешь виновного?

— Нет, — замялся боец.— Но, я думаю, обыск все покажет. Играйте тревогу...

Сероштан, не теряя времени на поиски трубача, приказал стоявшему в толпе Гаманцу произвести три выстрела в воздух — условный сигнал боевой тревоги. Разведчик, отойдя в сторону, снял с плеча карабин и, посылая в ствол патрон за патроном, трижды нажал на спусковой крючок.

Смешавшиеся с толпой разведчики бросились к своим дворам седлать лошадей. Не прошло и пяти минут, как всадники, сдерживая коней, строились уже на площади против костела.

Закинув карабин за плечо, направился за своим Сократом и Гаманец. Балабан окликнул его:

— Самойло!

Разведчик остановился, выжидающе посмотрел на взводного.

— Самойло, тогда, в Збараже, я поверил тебе. Хочу верить и дальше. Скажи по чистой совести, твоя работа? — Балабан черными своими глазами пронизывал разведчика.

— Значит, так! — Гаманец отступил на шаг. — Значит, обратно ты, Ларивон, шаришь в душе Гаманца? Раз сметана выедена — хватай кошку. Брось это думать, Ларивон. Гаманец никогда не лазил по церквам и ни мужика, ни рабочего человека не трогал. Правда, с буржуем не считался. И то трогал буржуя с умом. Раз застукал я в Кадиевке лавочника. Надо было снять с него сапоги. Я ему сказал: «Пойдем к твоей хате, там разуешься, а то пока дочапаешь до дому, можешь свободно схватить насморк». Но это все было раньше, до Михеринцев! — Разведчик отчаянно ударил себя в грудь. — А после Михеринцев...

— Ну ладно, товарищ, верю. Иди.

— И пойду, — пренебрежительно скривил рот Гаманец.

— Стой, еще слово! — остановил его взводный.

— Ну?

— Верю твоему слову. А теперь вот что скажу, Самойло. У тебя должен быть нюх на эти дела, не обижайся. Помоги...

— Вот это другой оборот, Ларивон. Меня самого заело посмотреть на ту шкуру.

В это время Черноус, пробиваясь через толпу, шепнул старику в жилетке:

— Пусть хорошенько обыщут наших людей — Перчика и Гаманца. Больше некому было обижать богоматерь. Сам указал бы на них, но опасаюсь — прихлопнут!

Когда обе сотни разведчиков в ожидании дальнейшей команды, сохраняя гробовое молчание, вытянулись развернутым фронтом на площади села, Квитень, выслушав старика, скомандовал:

— Гаманец, к командиру дивизиона!

Разведчик, спешившись, подошел неторопливо к Сероштану. Передав коня Курочке, пошел за ним и Балабан.

— Ты был в костеле?

— Вы что, товарищ командир?! — Гневно засверкали глаза бойца.

— Гаманца там не было! — твердо заступился за разведчика Балабан.

— Ах, вы мне не верите?! — разъярился Гаманец и стал выворачивать карманы, выбрасывая из них суконки, кисет с табаком, покрошившиеся сигары, ухнали, какие-то гайки, пуговицы.

— Не надо, не надо! — остановил его Квитень.

Но Гаманец, покончив с этим, бросился к Сократу, порывисто его расседлал, приволок седло, принялся опоражнивать прямо на траву содержимое сакв и переметных сум.

Разочарованно смотрел на эту операцию Черноус. Не зная того, что случилось с разведчиком под Михеринцами, он, информированный Панчохой, ждал иного результата.

Раздалась новая команда:

— Перчика — к командиру!

Несмело, с румянцем во всю щеку зашагал кузнец сквозь расступившуюся толпу.

— Ты был в костеле?

Боец дрогнул, побледнело его лицо, запрыгали мешки под глазами.

— Я... Я в костеле?..

Квитень, расстегнув ворот гимнастерки, не без волнения спросил:

— Сознайся, Перчик, ты обокрал костел? Ты взял венец с драгоценными камнями?

— Что вы, что вы, товарищ комиссар? На что он мне? У меня своих камней на душе хватает.

Высоко неся седло кузнеца, подошла к комиссару Ганка, опустила к его ногам тяжелую ношу.

— Ищи! — строго скомандовал Сероштан.

Перчик опустился на колени, расстегнул ремни переметных сум, дрожащей рукой стал шарить в звонком овсе.

— Опорожняй саквы! — распорядился Квитень.

Посыпалось на траву золотистое зерно. С затаенным дыханием следила за всеми движениями кузнеца Ганка. С ее побледневших уст уже готово было сорваться радостное восклицание. Но вот с последними зернами овса полетела на землю золотая пластинка — венец богоматери. Народ ахнул!

— Сволочь!
— Вор!
— Убить его!
Ошеломленные разведчики молчали. Среди грозной тишины раздался несмелый возглас Черноуса:
— Срасходовать гада!
Селяне, сняв соломенные шляпы, благодарили Сероштана и Квитеня.
Комиссар нагнулся, поднял пластинку с ценными камнями, строго спросил:
— Зачем ты это сделал, Перчик?
Кузнец поднял глаза, молитвенно посмотрел на комиссара:
— «Зачем»... Что я скажу? Не брал я, на что оно мне!
Ксендз протянул бледную, дрожащую руку к украшению.
— Расстрелять! — приказал Квитень.
— Может, в трибунал?— спросил Сероштан.
— Не годится! — ответил Квитень. — Покажем народу, как мы истребляем бандитов...
Кузнец, сцепив обе руки, с мертвенно-бледным лицом, заикаясь, начал просить:
— Товарищ комиссар, я же не виноват, ой, товарищ комиссар! — зарыдал он. — Я же не виноват, я же не виноват!
Квитень отвернулся.
— Товарищи, — Перчик вытянул руки к строю разведчиков, — вы же меня видали в бою... возле наковальни...
Балабан опустил свои огромные глаза. Взгляд упал на левую полубезжизненную руку.
Опять послышался вопль бойца:
— Разве я мог это, товарищи!..
Черноус упорно вглядывался в лицо комиссара. Раздался неуверенный голос одного из бойцов:
— На шо стрелять! Всыпать сто плеток...
— При всех всыпать... — подхватил это предложение Курочка. — А не стрелять человека... Это мой земляк — не знал я никогда за ним такого...
— Тут что-то не так... — многозначительно произнес Терентий Борщ и, не закончив фразы, почесал затылок.— Чтобы этот полез в церковь — что-то того...

Снова сотни глаз устремились на комиссара. Тяжелая буря клокотала в его душе. Убить отважного бойца, не боявшегося ни железа, ни огня, ни пули! Бедного сельского кузнеца, не видевшего просвета в своей жизни! А может, он и не виноват, но как очутились у него драгоценности?

Квитень махнул рукой.

Перчик согнулся, руки опустились, упала на грудь голова. Он больше ни о чем не просил.

— Товарищ комиссар, — раздался в толпе несмелый, а потом все более крепнувший голос Курочки, — я думаю, тут что-то не то. По-моему, товарищ Перчик не способный на эту пакость. Мы в Чабанах не знали за ним ничего такого. И весь их трудовой корень — с предков ковали. Всю жизнь — у наковальни, а нам, незаможным, часто задаром все делали. И на что ему, превосходному ковалю, то золото или камешки сдались! Как у него самого руки золотые...

Балабан подошел к Перчику, снял оружие, положил на плечо руку, тепло сказал:

— Я не верю, чтоб такой, как ты, достиг до такого рискованного дела, а раз кому припрятываешь, то должен сказать, кто он, сукин сын, который пачкает наше геройство перед крестьянским классом.

— Не брал я, Ларион Ларионович... Не знаю... Что я могу сказать?

Еще крепче стиснула рука пулеметчика плечо кузнеца.

— Тогда твоя точка такая, парень. Раз довелось помирать, так смотри же, помри геройски, не позорь нашего взвода, товарищ.

Послушно стал кузнец к ограде костела. Тупо посмотрел в зрачки нацеленных на него дул.

Квитень взял команду на себя:

— По бандиту, опозорившему Красную Армию!

Перчик встрепенулся, нашел глазами Ганку, недоумевающе спросил:

— Ганка, Ганночка, как же Львов? Не видать мне уже Львова... Ну как, скажи, Ганка?

Загудела толпа. Зашумели и бойцы, и галичане:

— Помиловать!..

— Нашо убивать?

— Хватит крови!

Подошла Ганка:

— Комиссар, товарищ комиссар, погоди стрелять! Еще разберем дело. Смотри, какие глаза! Разве у бандита бывают такие глаза?

Гаманец, все еще с гримасой обиды на лице, выступил вперед:

— Шо ж, Шлемка дурнее от других? Не такой он дурак, шоб держать ворованное в своем седле. А потом я скажу вот шо: тот, кто под пулями одирает подковы с убитых лошадей, не полезет в церковь за цацками...

Гаманец после некоторого раздумья шепнул с горечью своему взводному Валабану:

— Е така думка: не иначе как наш сотенный коваль кому-то пересек дорожку. Но вот кому?

Квитень взмахнул рукой. Опустились дула винтовок. Ясная улыбка вспыхнула на Ганкином лице. Обратилась к комиссару:

— Товарищ военком, я в лепешку разобьюсь, а настоящего бандита раскрою: не будь я Ганка Шамрай!

Квитень рванулся с места и подошел к плетню, где оставил коня.

— Ганка,— разведчица услышала за спиной хриплый голос,— рассчитывай на меня! — Она обернулась и увидела дружески протянутую руку Гаманца.

Черноус, следуя за бойцом, догнал его:

— А зря, Самойло!

— Шо? Зря посулил Ганке помощь?

— Нет! Почему?— Черноус вытер ладонью вспотевший затылок: — Бандитов надо раскрывать. Зря, говорю, не кокнули мазурика. Их хлебом не корми, лишь бы того металлу побольше. Опозорил Красную Армию...

Кузнец, с седлом на голове, шел к своему коню. Не опуская глаз, смотрел на товарищей, встретивших его молча. До его ушей все же донеслись последние слова Черноуса. Кинув седло на спину коня, расслабленным шагом подошел к бойцу. Саркастически улыбаясь, сказал:

— Да, я металл люблю. Это верно. Когда я занимаюсь с железом, забываю про еду. — Затем, сощурив глаза, несколько мгновений смотрел на Черноуса. Заложив руку за поясок, раздумчиво сказал: — А все-таки где-то я тебя встречал...

— Поди ты знаешь куда? — зло выругался бывший ездовой тачанки и вдобавок погрозил кузнецу кулаком.

К Перчику, участливо улыбаясь, подошел в своем старом голубом мундире, с синим беретом на голове Виктор Пуантю. Как и Перчик, неся службу рядового бойца, на стоянках он шорничал, приводил в порядок седла и упряжь дивизиона, а то, называя себя «казак Фигаро», стриг и брил кавалеристов. Не забыв еще первой встречи у Ток, зло и недоверчиво проводил сердитым взглядом Черноуса. Ткнул в грудь кузнеца.

— Туа, Солёмон, нон. Пхолетахйат волэр — вор нет. Туа, камрад, бон зольдат, карош зольдат!

36

И без того пересеченное плоскогорье между Подкаменем и Золочевом с многочисленными притоками Днестра — Серетом, Стрыпой, Золотой Липой и Горынью, Иквой, впадающими в Припять, — шляхта превратила в укрепленный труднодоступный район.

После относительной легкости, с которой дивизия подавляла врага на его коммуникациях в Проскуровском рейде, после успехов, выпавших на долю Червонного казачества во время его наступления от Збруча до Збаража, здесь, на Почаевском плоскогорье, каждая деревушка, каждая рощица давались ценой больших жертв. Любой холмик, опушка леса, каплица, село представляли собой редут, форт, бастион, на подступах к которым конница тратила лучшие силы, своих отборнейших бойцов и самых лучших коней.

Для шостаковской конницы наступили тяжелые дни. Дивизия вступила в полосу, обильно орошенную кровью российских и австро-венгерских солдат в знаменитые августовские дни 1914 года. Прошла пора смелых бросков кавалерии, широких неудержимых маневров, развернутых конных атак на ровном просторе.

Командарм Ивашкевич прятал своих улан малиновых, оберегая от уничтожающих ударов Червонного казачества, и даже петлюровская кавалерия болталась где-то на юге, сдерживая в районе Бучач, Чертков натиск 41-й советской стрелковой дивизии Осадчего.

Противник подставлял под стремительные, но короткие удары шостаковской конницы свои пехотные полки. Червонные казаки, терявшие в несвойственных для кавалерии боях лучших воинов, кляли этот край с его оби-

лием храмов-крепостей и не раз вспоминали просторы Южной Украины, широкое приволье таврических и херсонских степей.

Восьмая кавалерийская дивизия за короткое время исполосовала весь район от Збаража до Почаева и бок о бок со славной пехотой бессарабцев отвоевала у интервентов Подкамень с его знаменитым монастырем. В то же время полки 1-й Конной армии, сокрушая в боях лучшую пехоту Пилсудского, решили судьбу Бродов.

В каждой взятой с бою деревне, в каждом селе бойцы видели результат своего ратного подвига. Это им придавало новые силы для дальнейшей борьбы. Стиберовка, Голубица, Луковица, Звижен, Гнидава встретили освободителей с колокольным звоном. Деревня Манаюв принимала разведчиков на самой околице с хлебом-солью.

По обеим сторонам дороги, на покрытых стернею полях, переливаясь золотом, высились аккуратно сложенные копны. Но не им, не манаювским крестьянам принадлежал этот выращенный и собранный их руками хлеб.

Разъезды — щупальца дивизиона — удалились на Нущу, Перепельники. Кавалеристы спешились у самой околицы. Квитень с коня говорил речь. С открытыми ртами крестьяне ловили каждое слово комиссара. В ответ люди в соломенных и войлочных шляпах, в ярких передниках, пестрых платьях, черных платках рассказывали:

— С пятнадцатого снопа спину гнули...

— Тоже жизнь? День живем, неделю вянем...

— Мужиков в войну выбили, а теперь нас — баб и дедов — запрягли.

— Будь она проклята, та панщина! — тряхнул кто-то рукой в сторону фольварка.

— Тридцать, двадцать крейцеров в день...

— А галлерчики — проклятые псы — сколько перестреляли, перекатовали, измучили хлопов! Пускай им ни света, ни жизни, побей их пан Езус!

Угрожающе взвились вверх сотни рук.

Генерал Иосиф Галлер — палач Галичины, разоруженный в 1918 году советскими войсками под Каменец-Подольским, бежавший через Москву и Мурманск в Париж и сформировавший там шесть дивизий презаносчивых галлерчиков, чтобы пройти с ними огнем и мечом

по селам Галиции, — мог гордиться славой, заслуженной им.

Бывший полковник австро-венгерской армии Галлер, став генералом Пилсудского, заявил, что он не вложит меч в ножны, пока не раздвинет границы государства до самого Днепра.

Каждое село, хата, каждый подросток и каждое галицкое дитя с проклятием на устах произносили зловещее имя Галлера.

Квитень видел перед собой сотни возбужденных крестьян, и из сотен других лиц одно — белое, тонкое лицо девушки в желтом платке — отчетливо бросилось ему в глаза.

С коня, раскрасневшийся, безусый, вытянув вперед руку, в смушковой шапке червонного казака, говорил Микола Настюк:

— Я сам из села Скорики. Говорю с вами, хлопами, как хлоп, от имени всех галичан, что встают против панов за землю, за хлопскую свободу и за рабоче-хлопскую Галичину.

Достав из сумки бумагу, Настюк развернул ее, как реликвию, и, напрягая голос, читал манифест:

— «Выдвинутый рабочими и селянами Восточной Галиции, без различия национальностей, Галицкий Революционный Комитет является с этого момента единственным представителем высшей исполнительной власти и временным правительством Восточной Галиции... Право частной собственности помещиков, купцов, фабрикантов и всех эксплуататоров чужого труда на все земли и леса, пастбища, воду, надземные и подземные богатства упраздняется, а их имения со всем инвентарем переходят в распоряжение трудящихся...»

— Ваше принадлежит вам, — указал Квитень на высокие копны хлеба.

— Виват!

— Слава Червонной Армии!

— Хай жыве Ленин!

Человеческое море взорвалось бурей восторга. Ликовал народ. Но никто не решался начать. Кто-то робко спросил:

— Говорили хлопы, же в Тернополе дан наказ забирать панский хлеб. Чи нет того с вами наказу?

— О да, так, так, там — той наказ, как бы был...

— Так без наказу как можно!

— А если по наказу, так что? Оно же чужое!

— Мы уже пробовали. Долго будем помнить панское добро.

Настюк вынул из сумки еще одну бумагу. Прочел распоряжение Галревкома: из панского хлеба крестьяне одну треть должны сдавать для Красной Армии, остальное идет им.

— Можем и половину отсыпать.

К Настюку подошел желтоусый дед:

— А чи есть на том наказе подпись и штемпель?

Старик взял документ из рук Настюка, посмотрел на свет, помял в руках, поднес к глазам, намусолил палец, тронул печать, передал бумагу другому крестьянину. Документ пошел гулять по рукам.

Желтоусый дед подошел к комиссару. Низко поклонившись, снял шляпу и, схватив руку Квитеня, потянул ее к губам.

— Что вы, что вы!

— Тогда, — оправился от смущения старик,— сделайте честь, загляните в мою халупу.

Мартын Бубна, бросившись к копнам, стал швырять звенящие снопы к ногам манаювцев.

— Хватайте, не зевайте, халупники!

Кто-то поднял сноп, кто-то схватил два, замелькали спины, руки, головы. Боязнь опоздать, оказаться последним подхлестывала людей.

Бубна затянул коломыйку. Радостно затрепетала горячая песнь батрака:

> Ловить хлопа пан, все ловить, ловить — не піймає,
> Більшовицька Галичина вогнем полихає.

— Ай да Бубна! Ай да козыры! — зашумели разведчики.

Сельская молодежь, отложив снопы, присоединилась к бойцам-галичанам:

> Ой в святенько, ой на спаса,
> В церкві дзвони дзвонять,
> А присяжні отамани
> На лан з серпом гонять.
> Виганяють в понеділок,
> Гонять до суботи,
> І ще кажуть: «Ви, лайдаки,
> Нема з вас роботи».
> А вже наша Манаювка
> Обросла вербами,

Котрі мали по два воли,
То пішли з торбами.

Золотистое, как сноп, утро разгулялось по широкому полю. От нежного ветерка, от солнечного зноя, от бурного движения еще радостней казался людям этот необычный день. Долгожданная радость трепетала в каждом плывущем с поля снопе.

Тонкая девушка в желтом платке ласково посмотрела на комиссара. Она нагнулась, и недетские ее руки схватили за перевясла самый пышный и тугой сноп. Молодой паренек, нагруженный до отказа, с красным, возбужденным лицом, надвигаясь на девушку, грубо ее заторопил.

Дивизион через Манаюв двинулся вслед за своими разъездами-щупальцами. Квитень, не спуская глаз с желтого платка, медленным шагом плелся вслед за колонной разведчиков.

Лес, выросший за самым селом и тянувшийся на юг до Перепельников, встретил разъезды, а затем и спешенные цепи дивизиона злым ворчанием заранее пристрелявшихся сверхметких кольтов.

И снова акробатические перебежки, переползание на брюхе, свист верно нацеленных пуль, кровь раненых, странно уткнутые в землю, словно притаившиеся, головы бойцов. Разведчики, тяжело переживая потерю товарищей, оставив под лесом полевые караулы и секреты, вернулись в Манаюв.

Там же располагалась на ночевку двинутая Шостаком против Нущи 3-я бригада. На площади, размещая полки, громко распоряжались Сакулин и его комиссар Рынва-Рынальский.

37

Жизнь и молодость берут свое. До рассвета заливались в Манаюве гармошки. Казаки и деревенская молодежь плясали. В одном из дворов, рядом со штабом дивизиона, гремела песнь:

— Ой, цісарю, цісароньку, на що нас вербуєш,
Забрав турок магазини, чим нас нагодуєш?
— Буду вас я годувати вівсяной половой,
Буду вас я висилати цісарськой дорогой.
— Як ми будем, цісароньку, половоньку їсти,
То ми будем дороженькой поволеньки лізти.

Ой, цісарю, цісароньку, який же ти глупий:
Вбрав солдатів у камаші, не закрив їм дупи,
Ой не видко Коломиї, лишень видно хрести,
Туди будем, пане-брате, карабіни нести.
Ой чого ти поскрипуєш, ялинова хато,
Нема добра в Манаювці, бо панів багато.

Комиссар разведчиков отказался от кукурузной лепешки и простокваши, раздобытых где-то его ординарцем. С утра он ничего не ел, но не едой была занята его голова, растревоженная богатыми впечатлениями дня. Его потянуло в тот двор, где скрылся желтый платок. При голубом свете луны под небольшой копной узнал ту, которая затронула его молодое сердце. Она сидела на траве, опершись спиной о снопы. Обхватив колени руками, напевала:

— Рубай, сину, яворину, роби, сину, клиння,
Візьми собі сиротину, буде господиня.
— Не з кожної яворини буде, неньо, клиння,
Не з кожної сиротини буде господиня.

Вслушиваясь в печальные слова песни, в задорные выкрики танцующих, Квитень подумал о товарищах, оставшихся на подступах к Нуще. Вспомнились строчки выученного еще на школьной скамье стихотворения:

Мертвый, в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий!

Квитень опустился на траву. Поджал ноги. Освещенные таинственным лунным светом, искрились перед ним нескрываемой радостью глаза галичанки. Холодные, дрожащие пальцы коснулись руки комиссара. Волнуясь, Квитень спросил:

— Не сердишься?

— За что?

— За то, что пришел.

— Может быть, я сержусь за то, что вы поздно пришли... У всех людей червонноармейцы, по два, по три... А до нас никто. Чем мы хуже других...

По улице, нарушая мирные звуки ночи, затопали тяжелые шаги. Послышались окрики:

— Куды, пан, вернешь, прямо, прямо...

Квитень нежно гладил потеплевшую руку девушки. Хотелось забыть о всех треволнениях дня, обо всем на свете. Но дюжие голоса где-то там, возле штаба, звали не унимаясь:

— Товарищ комиссар! Товарищ комиссар!

Квитень, насторожившись, вскочил, подобрал шашку и бросился к штабу. Вдогонку ему неслись холодные слова укора:

— Даже не спросили, как меня звать!

В клуню, где разместился штаб дивизиона, набилось много народу. За столом, против свечи, с лохматой головой, в расстегнутом френче, с орденом Красного Знамени на груди, сидел Сероштан. Угрюмая, в беспокойном ожидании, столпилась вокруг стола кучка людей. Среди них выделялся один и своим ростом, и серебряными галунами.

— Что? Пленные? — спросил Квитень.

— Мы сами, — ответил на вопрос офицер, щелкнув каблуками.

Офицер, сославшись на усталость, попросил разрешения сесть. Прежде чем опуститься на скамью рядом с Сероштаном, скомандовал своим солдатам:

— Прошу сядать, панове!

Узнав о появлении в Манаюве большой группы легионеров, пришел в штаб Рынва-Рынальский. Улыбаясь, не без любопытства разглядывал ночных гостей.

— Ну что ж, мы вас слушаем,— начал расспросы Сероштан.

Офицер, достав сигарету, закурил. Выпустив облако густого дыма, начал:

— Наш батальон подхалянцев строил укрепления под Нущей. Всеми этими работами руководил инженер-француз. Колонель Буайе кричал на солдат, обзывал их верблюдами, носорогами, ишаками.

— И вы молчали? — насупившись, спросил Рынва-Рынальский.

— До поры до времени,— ответил офицер и продолжал:— Сегодня один наш подхалянец закурил во время наводки проволоки. Буайе стегнул его хлыстом. Вот тогда-то он, командир взвода, стал на защиту стрелка. Дал инженеру пощечину. Он хотя и конторщик, маленький железнодорожный служащий, но пощечину отвесил по-офицерски. Это послужило сигналом к расправе. Подхалянцы,— перебежчик мотнул головой в сторону своих людей,— штыками прикончили колонеля. Прискакал ротный, велел сдать оружие. Они не подчинились, ушли в лес. А оттуда, как только настала ночь, сюда, в Ма-

наюв... Теперь мы в ваших руках, — закончил офицер,— хотите — стреляйте, а нет — поступайте как знаете...

— А что нам еще оставалось делать? — угрюмо бросил бородатый подхалянец.

— И не жалко той собаки, — поддержали бородача подхалянцы,— он сам перед нами хвалился: «Когда я служил в Марокко, я сдирал с черномазых кожу и шил из нее ботинки».

— Буржуям все одно, что чернокожие, что белокожие, — обратился к солдатам Рынва-Рынальский, — лишь бы было с кого сдирать кожу.

— Подыхай за велику ойчизну, а тебя каждый чужак может лупцевать, как щенка? — раздался негодующий голос из толпы перебежчиков.

— И свои не лучше! За чтение красных листовок стреляют, как куропаток.

— Особенно как ваши стали приближаться к Варшаве, начальство взбесилось. Вовсю душит солдата!

Офицера передернуло:

— Что ты, Ганек, в Бельведере не знают, что делается на фронте.

— Ну да, пан поручник, варшавское начальство — ангелы. А нате почитайте, что пишет Варшавский подпольный Совет солдатских депутатов, нате почитайте...— Подхалянец, достав из-за обмоток листовку, протянул ее пану поручнику.

— Как погнали нас красные, офицеры погоны поснимали.

— Вспомнили семнадцатый год. Под Варшавой снова нацепили.

Офицер, посмотрев на свои плечи, сорвал погоны, аккуратно их сложил, сунул в карман.

— Из нашего полка ночью увели Стажинского Яся — люблинского ткача. Говорят, расстреляли. В ту же ночь десять подхалянцев отправила дефензива в концлагерь.

— А что будет потом, после войны?

— Скажи правду о красных — сразу в концлагерь.

— Наш Стась Чоха за это чуть не попал.

— Кто, кто? — всполошился Рынва-Рынальский.

— Легионер Чоха, — ответил офицер,— под Мессиоровкой месяц назад он попал к вам, а вы его отпустили. Эй, пан Станислав, — повысил голос офицер, — выходи вперед!

К столу, протискавшись сквозь толпу перебежчиков,

подошел в поношенном голубом мундире, в помятой конфедератке худой и сильно обросший солдат. В смущении часто заморгал глазами.

— Пан Чоха первый вогнал свой штык в колонеля! — с гордостью за солдата поведал офицер.

Рынва-Рынальский порывисто встал со скамьи, направился к солдату:

— Добро пожаловать, пан Станислав. Рад пожать честную руку герою.

— Ах! — воскликнул подхалянец. — Это вы, пан комиссар, но теперь я уже не пан, теперь я пан-товарищ.

— Что ж, — повел плечом огромный Рынва-Рынальский, — то, что не могли сделать мы, сделал колонель Буайе. Ничего, поживешь с нами — увидишь, что и познанцы становятся не только товарищами, но и большевиками.

— Эх, — тяжело вздохнул солдат Чоха, — чего только я не терпел ради тех двух моргов земли, какие обещал мне граф Панчоха, а тут не стерпел...

В клуню, несмотря на поздний час, набилось много народу. Казаки, окружив подхалянских стрелков, расспрашивали солдат об их стране, жизни, армии.

Квитень высказал беспокойство, как бы враг в отместку не устроил ночной вылазки. Офицер встал, приложил руку к конфедератке:

— Если позволите, пан комиссар, я со своими стрелками встречу их как следует. Только бы оружие!

— Я не пан. У нас панов нет.

— Не обижайтесь, товарищ комиссар. У нас всяк голоштан и тот пан.

Перебежчиков отвели в соседнюю клуню, чтобы на рассвете отправить в дивизию.

Квитень, думая о грустной истории подхалянцев, нет-нет да и вспоминал синие глаза и желтый платок галичанки. Он, словно наяву, ощущал дружеское прикосновение ее теплой руки.

Опасаясь вражеской вылазки, Сероштан с Квитенем, вскочив в седла, покинули Манаюв. Быстрые конские ноги уносили всадников к лунным полям, дремлющим рощам, где чуткие заставы и полевые караулы разведчиков сторожили врага...

В это время Софья, уцепившись дрожащими руками за порог чердака, ловко спустилась по лестнице. Ей во что бы то ни стало надо было найти одного человека.

Она появилась в Манаюве как раз в тот момент, когда разведчики, напрягая все свои усилия, тщетно добивались успеха под Нущей. Стараясь поменьше выделяться, оделась по-крестьянски, хотя ее белое, изнеженное лицо и выдавало ее некрестьянское происхождение.

В обозе, оставшемся в Манаюве, она без труда нашла знакомую ей тачанку и штабного писаря. Тот, узнав учительницу, о потере которой так сокрушался командир, свел ее на квартиру Сероштана.

Федор Иванович вернулся в деревню в сумерки и, пораженный приятным сюрпризом, отправил Софью на сеновал, опасаясь прежде всего едких насмешек и замечаний комиссара.

Несколько часов, проведенных вместе, пролетели как миг. Когда внизу, во дворе, раздался шум голосов, звавших командиров в штаб, он тяжело вздохнул:

— Бедному казаку жениться — ночь коротка.

Софья меж щелями в половицах сеновала, затаив дыхание, следила за всем, что происходило внизу. Не забывая посматривать с восхищением на широкую грудь и тускло освещенное мужественное лицо своего избранника, соленый запах которого оставался еще на ее возбужденном лице, она не упускала из виду и затененное козырьком конфедератки лицо перебежчика-офицера, и огромный, похожий на волнорез нос Рынвы-Рынальского (об этом лодзинце она много слышала там, среди своих), и обросшие щетиной землистые щеки бунтовщика-подхалянца Станислава Чохи.

Среди своих, на явках, тщательно и умело подготовленных заблаговременно в городах, кишевших платными агентами, и в селах, где на разведывательном поприще ревностно подвизались верные слуги иезуитов, Софья все время чувствовала твердую и заботливую руку начальника и мужа даже тогда, когда он, бросившись на опасные поиски агента № 333, попал в руки червонных казаков.

Сердце Софьи не сжалось болезненно, не заныло от предчувствия беды, в которую попал полковник дефензивы Панчоха. Это сплошь и рядом бывает только с нежными, любящими сердцами. Но сейчас, впервые услышав из уст Рынвы-Рынальского, беседовавшего с перебежчиками подхалянцами, о печальной судьбе мужа, она чуть не застонала. Софья знала, что значит для

контрразведчика, да еще такого крупного, как Панчоха, попасть в руки врагов.

Сероштан никогда, конечно, не сделается ее настоящим мужем, но и перспектива жить под присмотром ненавистного свекра в его познанском фольварке не очень-то радовала ее...

Человек, с которым она искала встречи, не заставил себя долго ждать. Спустившись с лестницы, Софья при лунном свете сразу узнала его по большому чубу, торчавшему из-под козырька. Увлекая чубатого в густую тень яблонь, она сразу перешла к делу:

— Вами недовольны. Мало сообщаете о главном. Куда держит путь Шостак? Каковы планы Бессарабской дивизии, шестидесятой, Буденного?

— Кто их знает. Купить никого нельзя. Заикнешься — сразу сдадут в особый отдел. Хотел пойти в писаря — Сероштан после Михеринцев сердится. Казачня, особенно штабная, много не болтает. Хотел подцепить одного дурачка, есть тут один казак Борщ... «Отдай теля»...

— Ваш приятель по Чабанам?

— Он самый. Сначала опасался — узнает меня. Но ничего. Он сердит на всех за насмешки, но особенно не поддается. Ну со Шлемкой кое-что успел.

— Это в Заложцах, в костеле? Успех небольшой, прямо скажу. Какое-то крохоборство. Вот люди работают — это да! Слыхали о взрыве артиллерийских складов в Москве? Неделю горела Ходынка. Это было в мае. А недавно в Вязьме подняли на воздух интендантские склады. И результат неплохой. Мне сообщали, что Тухачевский требует телефонные аппараты, а ему их не дают. Все уничтожено в Вязьме. А что касается вас, скажу: работаете вы из рук вон плохо... Надо было закинуть венец богоматери в реку, в Серет. А то хлопы обрадовались найденной пропаже и успокоились.

— Так я же хотел того Перчика подвести под шлепку.

— Зачем он вам?

— Эх, вы не знаете. Он уже дважды мне заявлял, что где-то видел меня, и сейчас присматривается, паршивая селедка!

— Не будьте трусом, Супрун! — С уст Софьи невзначай вырвалась настоящая фамилия чубатого. — Раз сразу не узнал, теперь можете успокоиться.

— Ну ладно. Раз так, — пытался показать свое рвение Черноус, — дайте хлопну Сероштана. В бою это не так трудно сделать.

— Вот и зря, — остановила его женщина. — Убьете Сероштана — появится Красноштан. Они, как крысы, без вожака не остаются. Надо все стадо заманить в ловушку. А потом такое убийство заставит их насторожиться, искать... Зря рисковать не надо. А вот...— Софья наклонилась к уху чубатого и, злорадно усмехаясь, что-то шепнула ему: — За него не заболит их душа...

Отправив лазутчика, Софья прошлась по саду. Сорвав мокрый от росы лист лопуха, приложила его к разгоряченному лбу. Вернулась на чердак. Зарывшись в душистое сено, нащупала зашитую в корсаж фамильную брошь-талисман и набожно перекрестилась.

38

Всадники, каждый занятый своими мыслями, молча следовали рядом по извилистой лесной тропе. Лунный свет едва пробивался сквозь пышные кроны деревьев.

Чугунный топот войны присмирел пред лицом всеобщего ночного покоя. Притих намаявшийся за день люд, умолк многоголосый пернатый мир. Лишь чуткий стриж, поскрипывая время от времени и подчиняясь законам природы, снова погружался в сладкую дрему.

Кони, прядая ушами, с пружинисто собранными мускулами, прислушивались к каждому треску, шороху, ночному звуку.

— Кто, кто идет?

От дерева отделилась расплывчатая тень и преградила дорогу.

— Свои, не видишь! — крикнул с коня Сероштан, узнав в часовом нового добровольца из Скорик.

Звякнул затвор, и резкий выстрел, пугая дремлющий мир, нарушил зыбкую тишину ночи. Протяжно взвыв, пуля прошла невысоко над головой комиссара.

Всадники, дав шпоры коням, в два прыжка очутились возле стрелявшего. Тень, отступая, прилипла спиной к дереву.

— То я хотел попробовать, — оправдывался боец,— чи вы боитесь. В тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда была галицко-польская война, я так само пальнул

в нашего оберста — пана Цецору. Ну и цофал, ну и тикал, шапка полковника потерялась, ей-бо, присей-бо!

Сероштан заскрипел зубами:

— То было в вашем галицком войске, а это Красная Армия. Еще такое услышу — расстреляем. Где начальник заставы?

— П-пан, т-товарищ к-командир, за б-б-башней, тут н-н-недалеко.

На одной из широких полян, в стороне от дороги, высилось похожее на замок сооружение. На его, словно прилепленных к углам, четырех готических башнях как будто навеки застыли лунные пятна. Древние клены распростерли над черепичными крышами пристроек свои пышные ветви. Это был охотничий замок львовского наместника — чудом уцелевший памятник седых времен. Даже сокрушительный ураган империалистической войны пощадил его. В нем жил одинокий лесник. Лишь в одном из окон восточной башни мерцал тусклый красноватый свет.

Квитень, привстав на стремена, заглянул в окно. За узким деревянным столом друг против друга сидели два человека. В одном из них по бараньей папахе и воспаленным глазам на рябом лице комиссар узнал Гаманца. Сидевший к окну спиной то и дело поправлял повязку на шее. С торца навалился на столешницу локтями незнакомый старик в фланелевом клетчатом жилете и с бородой а-ля Франц-Иосиф.

Сероштан с комиссаром, обогнув пристройку, спешились, передали лошадей коноводам. По ветхим, скрипучим ступенькам вошли внутрь башни.

— Товарищ Гаманец, вы слыхали выстрел? — прогремел в низком помещении голос Сероштана.

Квитень, протянув руку, забрал из рук бойца колоду грязных, как стельки, карт. Следующим движением загреб кучку медяков всяческой чеканки из-под локтя ошалевшего Борща.

— Выстрел... товарищ командир, — залепетал Гаманец с перекошенным лицом, — вы спрашиваете — выстрел... Шо вы делаете, товарищ комиссар? Слыхал ли выстрел?.. Да там же все время стреляют... Отдайте, товарищ комиссар, банк... Деньги отдайте, товарищ комиссар... Нам через час идти на пост...

— Замолчать! — гаркнул Сероштан.

Гаманец подтянул отвисшую губу. Борщ блаженно

улыбался, хотя и старался изобразить послушание на своем глуповатом лице.

Игроки поднялись из-за стола и, ступая на носки, с согнутыми спинами направились к выходу. Лесник с бородой под Франца-Иосифа подошел к лампе и, не сводя глаз с начальства, поправил чахлый фитиль.

Сероштан бросил вслед разведчикам:

— Скажите вашему взводному — каждому по три наряда вне очереди. Эх ты, Самойло! Швырялся сотенными, перешел на медяки...

Гаманец остановился на пороге как вкопанный. Стремительно повернувшись, жалобно попросил:

— Все что угодно... На любой штраф пойду... Только не говорите взводному, значит, товарищу Ларивону...

— Ладно, ступайте на пост и глядите там в оба.

В комнату постучали. Раскрылась дверь. Порог переступил немолодой легионер. За ним с винтовкой в руках шел красноармеец.

— Товарищ командир, — рапортовал боец, — вот он говорит — сдаваться пришел! Поймали у полевого караула номер два. Как окрикнули — бросился бежать.

— Я с перепугу, — улыбнулся легионер.

— Какого полка? — спросил Квитень.

— Полка подхалянских стрелков.

— У нас уже имеются такие.

— Поэтому и я решил! — бодро ответил перебежчик.

— У вас есть лошадь? — спросил Сероштан лесника.

Помявшись, старик утвердительно кивнул.

— Гаманец, — окликнул Сероштан разведчика, — посади этого человека на коня и сдай нашим коноводам! С нами поедет.

Лесник вывел коня. Легионер легко вспрыгнул на неоседланную спину. Старик, насупившись, косо посмотрел на перебежчика, нахлобучил шапку и, застегнув на все пуговицы жилет, отправился пешком в Манаюв, чтобы получить там своего коня.

Ожил лес. Зашелестели ветки ясеней. Во всю мощь запела лесная птица.

Часовой, доброволец из Скорик, вытянувшись в струну у самой дороги, на сей раз молчаливо и торжественно проводил всадников.

Манаюв еще маялся в предутреннем сне, но уже суетились у повозок фуражиры. Вот в сером рассвете, весь

как на ладони, показался двор синеокой девушки, а там и примятый угол копны. Вот она сама, в рваной юбке, простоволосая, понесла пойло корове, не оглядываясь, не отвлекаясь в сторону.

Всадники повернули к штабу. Рядом, в соседнем дворе, подпирая стену клуни, сидели подхалянские стрелки, угрюмые, насупленные, боязливые.

Дежурный по дивизиону сухо рапортовал: кто-то, как говорят перебежчики, через заднюю стенку передал пану поручнику бутылку с самогоном. А самогон — это установил фельдшер Вальтер — оказался с отравою.

С посиневшим лицом, с глазами навыкате лежал в клуне поручник подхалянского полка. Перебежчики, боязливо заполняя клуню, не сводили глаз с мертвого офицера.

Софья, оставаясь в тени и стараясь не попадаться на глаза Квитеню, заметив лесника, забравшего свою лошадь, поманила его пальцем. Не глядя на него, тихо шепнула:

— Передай, «триста тридцать три» нашелся.

— Нех бендзе похваленый пан Езус. — Лесник, погладив бороду, слегка кивнул.

Квитень свирепо пробирал дежурного. Приказал немедленно произвести дознание и подготовить офицеру похороны с воинскими почестями.

Двор зашевелился. Забегали казаки. Разгоралась суета.

Подхалянские стрелки сидели по-прежнему угрюмо, дрожа от холода, злобы и неизвестности.

На другом конце села ударили в медные трубы. Загудел походный барабан.

3-я бригада Сакулина выступала из Манаюва, чтобы вместе с разведчиками разметать созданный французом Буайе узел обороны, преграждавший червонным казакам дорогу на Львов.

Густой, не так давно еще девственный лес, в котором привольно разгуливали туры и зубры, встал впереди Нущи железной стеной. Глубоко врытые в землю железобетонные капониры и пулеметные гнезда вместе с препятствиями, созданными самой природой, помогли легионерам устоять перед неоднократными атаками спешенных кавалеристов.

Как и три недели назад у Волочиска, здесь, под Нущей, бои приняли затяжной характер, с той только разницей, что там с червонными казаками действовала и пехота, а здесь против сильно укрепленных позиций коннице приходилось наступать самой. То же самое происходило в районе Золочева, где после овладения Тернополем действовала 2-я бригада. Не раз ее комиссар Степанина, видя бессилие кавалерии против долговременных укреплений врага, вспоминал бригаду пана Хустки.

Шостаку пришлось двинуть к Нуще подкрепление из бригады Георгиева, недавно вернувшегося из лазарета. 2-й полк Остапенко с ходу ввязался в тяжелый бой.

— Минами садит! — Остапенко злыми, налитыми кровью глазами покосился в сторону неприятеля.

То и дело, выбрасывая короткие языки пламени, рявкали минометы. Что-то тяжелое со зловещим воем пересекло воздух и, шлепнувшись у переплетенных колючей проволокой рогаток, разорвалось, сотрясая оглушительным грохотом и землю, и небосвод.

— Эй ты, помощник смерти, — окликнул Остапенко стоявшего под дубом фельдшера разведдивизиона, — на, действуй! — Командир полка показал раненную осколком руку. — И поживей, хлопец, видишь, кругом кипит.

Насилу дождавшись конца перевязки, Пантелеймон Остапенко, придерживая левой рукой шашку, бросился в цепь.

— Ховайсь, ховайсь, хлопцы! Не вытыкайся, самоокапуйся... Вот шо выкаблучивает чертов Пилсудский, с бугра его в глаз...

Спешенные кавалеристы, стараясь последовать разумному совету командира, пальцами скребли твердую, пересохшую землю. Зарывались головами в свежие ямки. А что можно было сделать без шанцевого инструмента, без лопатки? Даже штыка не полагалось к кавалерийской винтовке. Пехота и та для окопных работ пользовалась крестьянским инструментом.

Свинцовый ливень обрушился на атакующих. Горячие осколки мин без конца клевали почву, впивались в живое человеческое тело. Но где, где взять небольшую шанцевую лопатку?

Сзади по голубым мундирам шостаковцев можно было принять за легионеров. Единственное отличие — лихие чубы, торчавшие из-под смушковых папах, — говори-

ло, что это были те же самые люди, которые бились и под Орлом, и под Перекопом.

— Ховайсь, хлопцы, самоокапуйся и залпом, залпом крой!..

— А что же вы сами, Пантелеймон Романович, на весь рост показываетесь?

— Какой я тебе в цепи, сенькин сын, Пантелеймон Романович! Для тебя разве нет боевой дисциплины?

— Так я ж об вас, товарищ командир полка, переживаю.

— Не переживай, сынок, самоокапуйся. А то вот шо, хлопче, беги до адъютанта, хай пише начальству, шоб антилерию сюда подвинуло, хоть бы одну орудию, а то, мона сказать, пан до нет сил лезет, до печенок добирается.

Тягуче и тоскливо завыла мина, вот-вот врежется в цепь. Посыльный, не успев повторить приказ, ринувшись вперед, заслонил собою командира. Черно-багровым фонтаном ахнула земля, и окровавленный, с посеченным на лоскуты мундиром скорчился на земле боец. Остапенко, стряхивая с себя комья грязи, наклонился над безжизненным телом молодого казачка. Тяжело вздохнул:

— Эх, зря я тебя обидел, сынок...

Из-за клунь высунулись голубые змейки. Согнувшись, то падая, то подымаясь, то ползком, от ствола к стволу, приближались легионеры. Добравшись до проволочных заграждений, начали заполнять дорожки, проделанные ночью подрывниками 2-го полка.

— Палиметы, палиметчики, а ну шпарь, шпарь по ногам, по ногам секани, по ногам, с бугра их в глаз!..

Приподнявшись над ямками-окопчиками, метко целились из своих винтовок казаки. Надрывно затрещали пулеметы.

— В атаку, хлопцы, в атаку! — подняв высоко руку, гремел Остапенко. — За мной, товарищи!

Кавалеристы, оторвавшись от земли, ринулись вперед. Перед их глазами, как знамя, зовущее в бой, плыла в бинтах, красных от крови, рука командира.

Отбив атаку легионеров, 2-й полк на их плечах ворвался на околицу Нущи, но, встреченный кинжальным огнем из капониров, откатился назад. Правее атака 3-й бригады закончилась с тем же результатом.

Под самой Нущей казаки сняли с убитого офицера полевую сумку. Принесли ее командиру полка. Зажав сумку между коленями, Остапенко здоровой рукой извлек из нее пачку писем, блокнот для донесений, несколько отпечатанных на машинке приказов. Один из них, помеченный 15 августа — вчерашним числом, — долго вертел в руках, что-то соображая.

— Покликать Вальтера! — распорядился Пантелеймон Романович.

— Какого, товарищ командир полка?

— «Какого», «какого»... Да того — помощника смерти из дивизиона разведчиков. Хай раскусит, шо тут набрехано.

— У нас много, которые по-ихнему разбираются. В первой сотне целый взвод польский.

— Ну хай, когда взвод будет не в цепи, тогда почитает. А сейчас Вальтера ко мне... Разведчики тут близко стоят.

Пришел фельдшер.

— Почитай, пан Казимир, а мы послухаем, шо пишет пан Пилсудский.

Вальтер, протерев пальцами стекла очков, с трудом разбирал синие, заплывшие под копиркой строчки приказа.

Остапенко, взволнованный содержанием перехваченного документа, вскочил с пенька. Заметив командира 2-й сотни, поманил его к себе:

— Послухай, Качкарьянц, хапай вот эти бумаги и лети в штаб дивизии, представишь в личные руки Шостака.

— Я могу, товарищ комполка, дать хороший казак, хороший взводник, почему я буду таскать бумаги?..

Остапенко вспыхнул, закосил пуще обычного. Покраснели выступы его скул.

— Товарищ сотник! — поправил он свои копьевидные усы. — Сразу же на коня — и аллюр три креста. Твои казаки тоже торгуются с тобой? А то, может, зажился в сотне?..

Качкарьянц молча схватил бумаги, прыгнул в седло. Распахнул пушистую кавказскую бурку и, стегнув коня нагайкой, сплетенной из воловьих жил, умчался как вихрь.

39

На тенистых полянах, окружавших охотничий домик, повзводно раскинулся выведенный в резерв дивизион Сероштана. Привязанные к деревьям кони, с мордами, погруженными в походные торбы, вяло жевали овес. В течение недели, пока спешенные кавалеристы вели изнурительные и безуспешные бои с пехотой противника у Нущи, кони отдохнули, пришли в себя после бесконечных переходов и многочисленных яростных атак. Многие из них зря дожидались хозяев. Сложив свои молодые головы за освобождение родной земли, они навеки остались на подступах к Нуще.

Немало холмиков со свеженасыпанной землей прибавилось к казацким могилам, оставшимся на полях Галиции со времен Богдана Хмельницкого.

2-я бригада Проня, прорвавшаяся к Зборову, оставила во время боя под Тустоголовами, вокруг одной из старинных казацких могил, много своих лучших воинов.

Разведчики, смененные ночью 3-м полком, никак не могли отоспаться. Тут же у ног лошадей, прямо на голой земле, под деревьями, положив под голову голубые свертки трофейных шинелей, блаженствовали, оглашая лес неистовым храпом.

Сердитые голоса старшин и веселый звон кузнечных молотков вместе с хриплым дыханием походного горна вернули к жизни уснувший лагерь.

Гаманец, скинув гимнастерку, в почерневшей от пота и пыли нижней рубахе, расположившись на стволе сваленного буреломом дуба, покорно подставлял заросшие густой щетиной щеки под бритву походного парикмахера Виктора Пуантю.

Ганка, растянувшись на кавказской бурке одного из разведчиков, читала вслух измятую «Правду», напечатанную на небольшом желтом листке:

— «...Рабочие и служащие станции Тула в ответ на выступление панской Польши решили отказаться от воскресного отдыха и работать каждое воскресенье в течение месяца по шесть часов».

— Ого, молодцы хлопцы! Давай дальше! — перебил ее седоголовый Борщ.

Ганка продолжала:

— «Двадцать четвертого мая, после осмотра одной из кавдивизий 1-й Конной армии, состоялся митинг. Во

время речи товарища Калинина пролетевший самолет обстрелял митинг. Ранено два красноармейца, один из них тяжело. Ружейным огнем бойцов аэроплан отогнан».

— От бисова шляхта!.. Деда угробить, нашего деда угробить хотели! — возмущался Курочка.

Балабан, порывшись в полевой сумке, достал из нее свежий номер «Червонного казака». Протянул его Ганке. В дивизионной газете печатались заметки о героических атаках, боях отдельных полков и сотен, и нередко можно было в ней встретить фамилии знакомых товарищей.

Ганка, присев, начала читать помещенный в «Червонном казаке» приказ — обращение к красноармейцам:

— «...Ви переходите на територію, належну до робітників та селян Галичини, пам'ятайте, що на штандартах ваших написані чудові великі слова: «Робітники всіх країн, єднайтеся!»

Господарем галицької землі являються тільки галицькі робітники та селяни...»

Горящими глазами следили бойцы за мягкими движениями Ганкиных губ.

Балабан, заложив за борт голубого мундира немощную руку — так легче было ее держать, — осматривал вьюки бойцов, исправность седел и снаряжения. Он пользовался отдыхом, чтобы привести свое небольшое хозяйство в порядок.

Гаманец, его помощник, чисто выбритый, ходил за ним неотступно, поминутно зевая в ладонь. Помогал взводному и Перчик, тщательно проверяя каждое копыто.

После случая в Залежцах он стал молчалив, сосредоточен. Ни с кем не шутил. Не разговаривал. Несколько оживлялся лишь в присутствии Ганки. Ходил медленной пружинистой походкой. Казалось, что он за кем-то крадется.

Шурка, прислонившись спиной к стволу тенистого бука и поджав под себя ноги, изображая слепого лирника, забавлял бойцов песенками из репертуара деда Гараськи:

Дав мені батько коповик на підошву дратви,
А я здуру так і здумав і пішов в кіатри.
Як зайшов — перехрестивсь на панікадило,
Де не взявся москаль ззаду — хрусь мене по рилу.
Стали мене роздягать, по карманах ритись,

Як знайшли той коповик — «езвольте садитись».
Музиканти гарно грають, а баси басують,
Всі пани сидять, мов сонні, ніхто не танцює
Дзелень, дзелень, дзелень, дзелень, скрипка перестала,
А чортяка, мов спричинку, стінку розідрала.
Вийшли попи та й дяки, ще і охвіцери,
Всі взялися за руки, кажуть, що охтери.
То вони сміялися, то вони шутили,
А чортяка, мов спричинку, стінку затулила.
Вийшов я, задумався, наче нахилився.
Де не взявся батько ззаду, за чуб ухопився.
Оце тобі, сукин сину, ходити в кіатри,
Пропивати батьківщину, ще й коповик дратви.

Квитень в поисках Сероштана направился в башню. Лесник, копаясь в пожелтевших ремнях сбруи, поглядел на него из-под насупленных бровей.

Комиссар постучал в дверь одной из комнат, занятых накануне командиром дивизиона. Никто не ответил на его стук. Легким толчком комиссар открыл одну половину дверей. Переступил порог. Бородач-гаевой со злой усмешкой посмотрел ему вслед.

Прохладный полумрак царил в небольшой, уютной, со вкусом обставленной комнате. Посреди ее стоял круглый стол, покрытый бархатной скатертью. В одной из глубоких ниш виднелся граммофон с фигурной трубой. Перед крохотной иконой в углу тлел слабый огонек лампады. У одной из стен, на дубовой подставке, с переброшенными через ленчик путлищами, желтело английское седло. Высокий, украшенный темным дубом камин занимал почти всю противоположную стену. Здесь, у тлеющих угольков, со своей «ясновельможной» свитой не раз блаженствовал львовский наместник.

На широком кожаном диване, лицом вверх, укутанная солдатским одеялом, лежала, улыбаясь во сне, Софья. Проделав изнурительный путь, она на рассвете прибыла из обоза.

Почувствовав на себе пристальный взгляд, гостья, не подымая век, сначала встрепенулась, потом раскрыла глаза.

— Ах, это вы, товарищ комиссар... — в смятении воскликнула она. Смущаясь, натянула одеяло до самой ямочки на подбородке.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил Квитень.

— Как что? Ничего предосудительного — отдыхаю!

— Было бы благоразумнее для вас оставаться в обо-

зе. Я Сероштану не раз говорил: наши люди этого не любят. Здесь фронт.

— Вот поэтому я и рвалась сюда, а вдруг с Федором что-нибудь случится. — Софья, высвободив из-под одеяла обнаженные руки, как бы невзначай положила их под голову. Холеными пальцами начала поправлять волосы. Ее ноздри, раздувшись, чуть побелели. — Садитесь. — Софья зашевелилась, освобождая место возле себя. Прижатое локтем одеяло поползло к стенке. Наполовину обнажилась прикрытая розовым батистом рубахи белоснежная грудь.

В голове Квитеня пронеслась целая вереница образов: синеокая девушка из Манаюва с ее робкими, застенчивыми ласками; открытое, то радостное, то печальное, лицо Федора, по уши влюбленного в свою походную подругу; строгие казаки дивизиона, для которых он являлся примером во всем.

Вывел его из оцепенения дикий визг:

— Спасите! А-а-а!.. Спасите!

Квитень, мгновенно отделавшись от пьянящих чар, бросился вон. Выскочил в прихожую. Лесник, отбросив сбрую в сторону, с шилом в руке выбежал на поляну. Трубным голосом загонщика, не раз участвовавшего в облавах на волков и медведей, стал звать на помощь:

— Караул, панове, гвалтуют панянку!..

Сероштан, запыленный, черный, широким шагом приближался к башне. Гаевой, заметив его, завопил громче. Сероштан, в два прыжка подскочив к старику, ладонью прикрыл ему рот, втолкнул в прихожую.

На пороге, бледный, но уже несколько овладевший собой, стоял Квитень.

— Федор... получилась ерунда... Пойдем к твоей... этой, как ее... учительнице...

На кожаном диване, подобрав под себя ноги, охватив голову руками, хныкала мнимо обиженная.

— В чем дело, Софья?

— Какие у тебя, Федя, товарищи... Я совсем беззащитная.

Сероштан с бегающими глазами на свирепом лице смотрел то на «учительницу», то на комиссара.

— Чего вы завизжали? — Квитень вплотную подступил к дивану. — Кто вас трогал?

— А я подумала, вот-вот вы кинетесь на меня. Такие у вас, Леонид, были глаза.

— А ты поменьше думай, Софья! — строго сказал Сероштан.

— Значит, ты мне и думать запрещаешь? Потом скажешь: твое дело кухня и киндер. А как же тогда кухарки управляют государством? Фу какой ты, Федя, а я надеялась на твою защиту.

— От кого тебя защищать? От Леонида? У нас с ним еще мно-о-ого дел впереди.

Когда Сероштан с комиссаром вышли из башни, лесник, сплюнув, сердито выругался. Зашел, постучавшись сначала, в комнату. Подобострастно сгибая шею, спросил:

— Ну как, пани?

— Хорошо, Ян, теперь он не посмеет гнать меня в обоз. Казаки скажут: «У него с ней сорвалось, вот и гонит командирову бабу». А тебя там слышали?

— Я надрывался как мог... Да вот этот гайдамака, пшепрашам... — льстиво заулыбался старик, — не гайдамака, а этот Се-ро-штан заткнул мне гембу, а вместе с ней и нос, чуть не задохся.

— Все, Ян, идите.

Гаевой, низко кланяясь и пятясь задом, вышел из комнаты.

40

Солнечное утро пришло на манаювские поля. Голые просторы лоснились потускневшим золотом. По пригоркам, где еще недавно высились высокие копны хлеба, побирались молчаливые стаи ворон.

Давно отмолотились галицийские крестьяне. Зерно, сеянное на пана и попавшее к мужику, распределили на Красную Армию, на корм, на сев, на базар.

Но уж больно долго задержались красные войска на одном месте: прилипли к Нуще — и дальше никак. Неужели опять вернутся паны? Тогда всем селом — куда глаза глядят. А земля, как она — будут ее делить или нет? Кто и где будет сеять? Пора уж подумать об этом — середина августа. Фронт и земля — вот что волновало горячие сердца хлопов. Земля! Шутка сказать, земля — это щедрая мать-кормилица!

Качкарьянц, дернув поводья, оборвал бешеный карьер своего взмыленного скакуна в Манаюве. Тяжело дыша,

вручил лично Шостаку бумаги, полученные от строгого командира полка.

— Наверное, что-нибудь важное, товарищ Качкарьянц?

— Почему могу знать, товарищ начдив? Комполка приказ дал, я очень, очень скакал. Знаю одно — противник писал, мы его взял, комполка к вам послал.

— Сеня, сюда! — позвал начдив Нежинского.

Начальник штаба, волнуясь, развернул на длинном хозяйском столе расписанные цветным карандашом карты.

Взяв в руки приказ, Шостак, бегло читая по-польски, ознакомил своих помощников с его содержанием. Начштаба наносил на карту условные знаки. Фомичев — адъютант начдива — шагал по десятиверстке маленьким тонконогим циркулем. Гандзюк и Павловский внимательно следили за ним.

— «Язда большевицкая захопила Буск»,—как всегда неторопливо, читал Шостак.

— Молодцы буденновцы, из Буска им уже видать Львов, — усмехнулся Нежинский, — а мы около Нущи толчемся — и ни шагу вперед.

— Ну, — сморщил нос Гандзюк, — у них четыре дивизии, отдельная бригада и сорок пятая им помогает.

— Да, — подзадоривал Нежинский начальника артиллерии, — видать, не тебе быть камендантом Львова.

— За кого ж ты меня принимаешь, Семен? — разозлился Гандзюк. — Пусть комендантом назначат буденновца, лишь бы Львов стал наш!

Начдив, подняв глаза, увидел на пороге Качкарьянца, в нерешительности переминавшегося с ноги на ногу. Хотел отослать в полк, но, подумав, задержал его. Решил отправить с ним свой новый приказ.

Нагнувшись над картой, Шостак изучал обстановку.

— Итак, — начал свой доклад начальник штаба, — в связи с потерей Буска противник решил оттянуть весь фронт на запад и развернуть новую линию обороны на Золотой Липе.

— А Золотая Липа, — добавил Шостак, — первая серьезная преграда перед Львовом. В свое время там разыгралось знаменитое сражение между австрийскими и русскими армиями в тысяча девятьсот четырнадцатом году.

— И там, надо полагать, — заключил Гандзюк, — солидные старые окопы с колючей проволокой.

— Раз так, — сделал вывод Шостак, — мы должны на Золотой Липе быть раньше, чем туда придет враг.

— До Золотой Липы тридцать верст, — сообщил Фомичев, играя крохотным циркулем.

Шостак выпрямился. Прищурил глаза.

— Отдай немедленно, Сеня, приказ. Собрать все отовсюду. На фронте дивизии оставить лишь заставы и караулы. Две бригады и артиллерию бросить к Нуще. Полки Георгиева и разведчиков сосредоточить в балках, что к востоку от села. К полуночи, кровь с носа, взять Нущу. И сразу всей дивизией двинуться к Золотой Липе. Вот тут, где значится село Вишневчик.

— Зачем, Анатолий, прошибать лбом железную стенку? — недоумевал начальник артиллерии. — Или по приказу не ясно, что их к полуночи уже там не будет. Что, тебе не жалко людей?

— Эх ты, голова! — доказывал Гандзюку начдив. — Разве ты не понимаешь, что, чем больше мы их здесь задержим боями, тем скорее Буденный захватит Львов.

— Мы должны всячески выводить из строя его живую силу. Запомни, Иван, — наставлял начарта Нежинский, — каждый успех здесь, у Нущи, сберегает десятки, а может быть, и сотни жизней там, на Золотой Липе.

— Ну вас, ладно! — махнул рукой Гандзюк. — Уговорили. Скажите лучше, где бы какую-нибудь паршивую машину достать — долететь до Нущи.

— Чего захотел! — прыснул начштаба. — Знаешь, во всей наполеоновской армии не было ни одного «форда», а между тем обходились.

Через пять минут уже копошились ординарцы у седел, привьючивая попоны, одеяла, шинели. Приторачивали саквы с овсом, седлали коней, готовясь подавать их командирам.

Суровый лязг железа, дробный топот копыт и ржание лошадей, вспышки коротких команд и суета в обозе — все это трясло как в лихорадке большое село. Десятки сельских подвод по первому зову потянулись за войском. С белыми торбами за спиной, на шустрых лошадках двинулись в строй манаювские парни. Безлошадные, в надежде при первом удобном случае добыть себе боевых коней, примостились пока что на подводах. Толпа селян

у дома войта слушала молодого оратора, прибывшего из Тернополя:

— Дорогі товариші! Могутня рука українського і російського робітника та селянина захитала фронтом шляхти і підійшла до границі нашого краю. Настав великий слушний час розплати зо всіма шляхтичами і панами, які сотнями літ катували нещасний робочий люд Галичини...

Гужевая повинность—самое тяжелое бремя для населения и проблема для всех армий — решалась здесь безболезненно. Трудящаяся Галичина голосовала за большевиков не только руками, но и своим добром, а самое главное — жизнью своих сыновей.

...Идут сотня за сотней, полк за полком. Звенит боевое оружие. Скрипят седла. Тянутся в колонне казенных обозов бесчисленные обывательские фурманки.

— Вишта, атя! — подгоняют возчики своих мелких, дробно семенящих лошадок.

Воинственно дымит трубка под носом гаевого. Старик устал считать несметное число всадников — старых казаков и не обстрелянных еще галичан-добровольцев.

Из-под Крухова мимо охотничьей башни шли на рысях полки Чалышева и Сидорчука. Вернувшийся в строй после ранения Фостецкий, Карачай и младший Шостак вели свои сотни тут же, двигаясь манаювским лесом. Катились по дорогам пушки бесстрашного Гандзюка. За ними следовали саперная сотня, связисты и все боевые обозы дивизии. Выступали и разведчики, попрощавшись навсегда с местом своего короткого отдыха.

Вскоре вступили в дело орудия Гандзюка. Ахнули двенадцать разрывов на подступах к Нуще. Вместе с кольями и проволокой багрово-черным фонтаном то тут, то там взлетала земля.

— Так их, так их, калена-матрена, — подбадривал артиллеристов бывший черниговский биндюжник, — из всех орудий, двенадцать Иванов, во-гонь!

Длинные языки багрового пламени вспыхнули на опушке леса, и, словно возвещая грядущее возмездие, на окраине Нущи грохнуло двенадцать разрывов. Пять дюжин пулеметов обрушились на позиции легионеров смертельным дождем.

В ответ грянули французские минометы. Размеренным тактом отбивались от шестидесяти пулеметов дивизии кольты врага.

Остапенко нажимал на левый фас укреплений, а прямо в лоб, волна за волной, шли цепи 3-го полка Ивана Фортунатовича Фостецкого. Его героические казаки то залегали на короткие мгновения, то, пригибаясь, вновь бежали вперед, чтобы занять исходный рубеж для решающей атаки.

— Как где неустойка, сразу, пожалуйте: третий полк...

— Нас и в пекло, и в чертовы зубы.

«Бах... бах... бабах...»

Нельзя уже было разобрать, где разрыв, а где выстрел, где стрелял противник, а где долбили свои.

— Вперед, товарищи! Ура-а-а!..

С обнаженным клинком бросился к укреплениям Чалышев. Казаки с оглушительным криком ринулись вслед за командиром полка. А немного спустя, возглавляемые младшим Шостаком, хлынули в прорыв испытанные во многих боях всадники 1-го полка — закаленного ядра Червонного казачества. Внушая смятение, разжигая панику в рядах противника, предшествовали 4-му полку бородатые курды Шалаева:

— Ура-алла-алла-а-а...

Не выдержав натиска, легионеры группами, обрывками цепей, заслоняясь кустарником, покидали Нущу.

На возвышенности, за деревней, бледно-золотистые факелы, источая жирную, жгучую гарь, заметались по переспелым овсам. Шустрые язычки, как сурки, забегали среди неснятого жнивья. Галлерчики, отступая, безжалостно предавали огню крестьянские хлеба.

Не дожидаясь конца сражения, вышли из хат охваченные ужасом жители деревни. В соломенных брилях, в длинных, до колен, рубахах, с лопатами в руках, думая о завтрашнем тяжелом дне, бросились копать траншеи, чтобы отстоять то, что еще можно было спасти от огня.

Омрачая голубой небосвод, неслись на запад, подгоняемые ветром, зловещие рулоны черного дыма.

В разгар боя под Нущей со стороны Манаюва показалась пестрая вереница женщин. Мощное движение всех полков Шостака сняло с души тяжелое бремя. Никто в Манаюве уже не сомневался в том, что в Нуще врагу против такой силы не удержаться. Значит, вот-вот разрешатся самые больные вопросы, тревожившие селян, — хлеб и земля, земля и фронт.

Приседая при каждом выстреле, женщины бережно несли узелки с хлебом, салом и прочей снедью. Не рискуя сунуться в огонь, передавали свои щедрые дары первым встречным бойцам. Хорошо подкрепились разведчики, стоявшие в резерве в ожидании особого задания.

Пришла с манаювскими бабами и та синеокая. Квитень ее узнал издали по желтому платку. Взяв из ее рук узелок, комиссар, не стесняясь людей, пожал ей руку и, после небольшого колебания потянув ее к себе, крепко поцеловал.

— Это за всех нас,—дрожащим голосом произнес Квитень, указывая глазами на столпившихся вокруг кавалеристов.

Сидорчук вел свои сотни в обход Нущи. На ходу вскакивали в седла казаки Остапенко, взявшие пешим строем укрепления Буайе. Собирал, подсчитывая потери и по-новому группируя бойцов, Чалышев.

Взвизгнули кинжалисты Шалаева. Сыны горного Курдистана, дети гордых эрзерумских и карских долин, несли на остриях своих кинжалов суровую расплату «поборникам культуры», оплоту европейской цивилизации против «большевистской орды».

А разведчики?

Обогнав Сидорчука и курдов, Сероштан пробивался сквозь беспросветные чащи лесов к железной дороге Тернополь—Львов, чтобы, перекусив ее, как нитку, в нескольких местах, обезопасить дивизию от вражеских бронепоездов-панцерников.

Громкие звуки штаб-трубачей успокаивали горячие головы. Дивизия, покончив с врагом под Нущей, собиралась в кулак.

— На Золотую Липу!

Смятые роты подхалянских стрелков хлынули на север. А там, встречая интервентов, двигалась уже 47-я дивизия. Но кроме подхалянцев Пилсудский имел и другие части. Кто первый появится на берегах Золотой Липы, получившей в прошлую войну такую же известность, как Марна, как Сомма, как Ипр? Легионеры Пилсудского или советские полки? Кто кого?

И хотя в эти же дни там, далеко на севере, разутые, с окровавленными ступнями отважные красноармейцы, перевалив через Вислу, развернули под стенами Варшавы простреленные полотнища своих боевых знамен, ни-

какие успехи здесь, на южной оконечности огромного фронта, не могли уже изменить то грозное стечение обстоятельств, которое резко повернуло весь ход событий.

Судьба кампании решилась на протяжении очень короткого промежутка времени, с 10 по 20 августа.

Полковник дефензивы Панчоха, взятый под перекрестный допрос разведчиками 14-й армии в Проскурове, в том самом просторном кабинете, в котором он изощренно допрашивал юного сигналиста Херувимчика, стремясь спасти свою шкуру, кое-что — не все, а кое-что — сообщил ценное, а именно: Пилсудский приказал снять из-под Бродов 18-ю пехотную дивизию. Эти данные соответствовали истине. Агентура из неприятельского тыла донесла, что 18-я дивизия в самом деле 9 августа погрузилась в эшелоны.

Пилсудский, с удовлетворением отмечая, что 1-я Конная армия находится далеко, снял с юга кроме той пехотной дивизии и другие силы.

По настоянию советника французского генерала Вейгана и кардинала Ратти, ставшего впоследствии папой Пием XI, Пилсудский начал собирать резервы на реке Вепрж в районе Ивангорода (Демблина).

Наспех формировались и вооружались немецким и французским оружием охотничьи полки.

После демагогического решения Учредительного сейма об аграрной реформе хлынули в войско и крестьяне. Они и на этот раз поверили сейму, обманувшему их в прошлом году.

Августовские события 1920 года развивались следующим образом.

10 августа Западный фронт получил директиву ставки атаковать Варшаву. Командзап Тухачевский выделил для обхода столицы с севера, со стороны прусской границы, тридцать тысяч бойцов; 16-я армия численностью одиннадцать тысяч шла в лоб, а к югу от нее действовала малочисленная, изнуренная тяжелыми боями в лесах и болотах Мозырская группа — семь тысяч пятьсот бойцов.

11 августа главком Сергей Сергеевич Каменев, подозревая что-то недоброе в загадочной пассивности Пилсудского, внушал своим подчиненным: «Приходится временно отказаться от овладения Львовом». Желая подкрепить Западный фронт, решавший генеральную задачу кампании, он потребовал, чтобы 12-я армия, направ-

ленная Егоровым на Томашев, Рава-Русскую, повернула на Люблин, а 1-я Конная — на Замостье.

13 августа Егоров, из-за искажения шифра получив приказ главкома с опозданием, ответил Каменеву: «Изменение основной задачи армий в данных условиях считаю уже невозможным».

В этот же день 1-я Конная армия приступила к лобовым атакам Львова. И сразу же приподнялась завеса над волновавшими ставку загадочными приготовлениями Пилсудского. Тухачевский имел в своих руках взятый у убитого майора Драйевского приказ по 3-й армии от 11 августа, из которого стало известно, что Пилсудский со своей ударной группировкой 16 августа переходит в наступление из района Демблина.

14 августа Реввоенсовет 12-й армии пишет в ставку: «В дивизиях 700—1500 штыков (вместо 12—15 тысяч). Части устали, плохо одеты. Нет обмундирования, винтовок. Не можем дать пополнение. Необходима помощь».

15 августа Тухачевский, обеспокоенный угрозой, нависшей над его левым флангом, приказывает поступившей в его подчинение 1-й Конной армии свернуть к Владимиру-Волынскому.

17 августа. В тот самый день, когда Шостак двинулся к Золотой Липе, командование 1-й Конной армии, увлекаемое центробежными силами, сообщило Тухачевскому, что армия не может прервать бой за Львов.

Ударный кулак Пилсудского, тронувшись с рубежа Вепржа, обрушился на жиденький фронт Мозырской группы. Без особого труда опрокинув его, устремился на север и врезался в тылы 16-й армии, дивизии которой штурмовали Варшаву.

Часть четвертая

«В КАРПАТЫ, В КАРПАТЫ, ГДЕ СПИТ СВЯТОГОР...»

В бій кидалися ви сміло,
Лицарі завзяті,
І панів не потерпіли
У своїй ви хаті.

41

Перевалив через железнодорожное полотно Тернополь — Львов, дивизия Шостака бурным потоком устремилась на запад. То взбираясь на возвышенности, то расстилаясь в низинах, зеленели по сторонам широкой дороги роскошные массивы панских лесов. Кое-где попадались на полях не увезенные еще хозяином копны пшеницы. Тяжело дышали разморенные зноем, не остывшие еще от атак быстрые кони.

Мартын Бубна, ошеломленный картиной дневного похода — он впервые видел всю дивизию в сборе, — с выгоревшими волосами, белыми от макушки до усов, импровизировал собственные коломыйки:

Цвіте явір на Бескидах, на Бескидах в гаю,
Під червоним полковником файний коник грає.

А к северу, стремясь к Глинянам, Золочеву, Гологурам, неслись к подступам львовских фортов полки 45-й, 47-й дивизий и бригады Котовского. Все эти силы входили в состав Золочевской группы войск под командованием начдива 45-й бессарабца Бунара.

Червонное казачество составляло левую фалангу Золочевской группы.

Разделенные надвое войска противника, не по своей охоте втянувшиеся в бои с кавалерией, преследовались 45-й дивизией с севера, со стороны Золочева, и с юга — 60-й, шедшей от Поморжан. Сдерживаемые офицерским костяком и подбадриваемые послами (депутатами) сейма, ксендзами, легионеры дрались с отчаянием обреченных.

«Язда, язда, большевицка язда». Эти роковые слова подавляли сознание пилсудчиков. Слухи о боях под Варшавой, о близком падении столицы делали бессмысленным дальнейшее сопротивление. Кто мог подумать, что красное знамя не заполощет над вышками варшавских фортов?

В большом секрете совершались Пилсудским приготовления. И сюда, на галицийское поле битвы, еще не дошла весть о том, что пятьдесят тысяч легионеров, двести орудий и восемьсот пулеметов, сколоченных французским генералом Вейганом и возглавляемых Пилсудским, второй день уже теснили с реки Вепрж малочисленную Мозырскую группу войск, нависая над тылами 16-й армии.

В ярком зареве заката встречала деревня Вишневчик полки красной конницы. Народ высыпал к приземистой многокупольной, похожей на клуню униатской церкви.

Сгрудились на берегу Золотой Липы полки, ожидая дальнейших приказов.

— Вот она, Золотая, под ногами лежит.

— Ничего в ней нет золотого.

— Зато уж крови!.. Я тут действовал в царскую войну.

— А разве кровь дешевле золота?

— Старики говорят, — подошел дряхлый галичанин, — же мадьярский князь тикал от руснаков и казну в Липе обронил — всю золотую казну, оттого и Золотой ее нарекли.

— Ищи — найдешь...

— Да, горячие из молодых ищут. Все мы горячими были.

— Надо, дедушка, по земле искать, не под водой,— ответил старику Бунчук,— везде золото найдешь.

— Да,— подтвердил дед.— Теперь поищем.

— А все же без боя далась эта проклятущая река! — радовался Гаманец.

— Шостак, брат, такой! — улыбалась радостно Ганка.

— Недаром немцы и гетман еще в тысяча девятьсот восемнадцатом году обещали миллион за его голову.

— Нам она дороже миллионов,— насупив брови, сказал Балабан.

— А думали — бои будут похлеще, чем под Нущей,— вставил свое слово Курочка.

— Были бы похлеще,— объяснил бойцам Квитень,— если бы не нажали там. Если бы дали легионерам спокойно отойти и засесть здесь, вон в тех окопах, что остались от царской войны.

— Так, пожалуй, всю Галичину до самых Карпат без боев промахнем.

Где-то на севере вспыхивали бледные зарницы далекого боя, а здесь, в Вишневчике, уже мирно гудели походные гармошки бойцов. Полки, следуя за своими квартирьерами, пылили по улицам села. Задрожал ветхий мостик под казачьими конями. Разъезды двинулись на Перемышляны, Свирж.

Глянцевая, как солдатская бляха, таращилась, отражаясь в тихих водах Золотой Липы, круглолицая луна. Заложив руку за ремень портупеи, опустив голову, у окна стоял начдив.

Здесь до него, придя также с востока, действовала плеяда всем известных военачальников. Брусилов, «солдатский генерал», потрясший основы Австро-Венгерской империи майским наступлением 1916 года. Генерал Гурко, участник брусиловского наступления, командарм и командующий фронтом, даже Керенским высланный за границу за несогласие с декларацией прав солдата. Генерал Гутор, командующий Юго-Западным фронтом во время июньского наступления Керенского и связавший впоследствии свою судьбу с Красной Армией. Генерал Деникин, в 1914 году — захудалый командир захудалой 4-й стрелковой бригады, а в 1918 и 1919 годах — палач рабочих и крестьян, марионетка англо-

французского империализма. Каледин, начальник 12-й кавалерийской дивизии в 1914 году и верховод контрреволюционного Дона в 1917-м. Келлер, командир кавкорпуса, ярый монархист, не согласившийся с отречением Николая, отказавшийся приводить к присяге новому правительству свой корпус. Корнилов, погубивший свою 48-ю дивизию в Карпатах во время наступления Макензена. Став главкомом, вместе с Керенским он пытался задушить революционный Петроград. Рука восставшего народа настигла его, пригвоздив гранатой к земле в Екатеринодаре в 1918 году...

Они — эти царские генералы — шли сюда, к Золотой Липе, по указке русского монарха, а он — Шостак, большевистский полководец — появился на полях Галиции ради освобождения родного, веками угнетавшегося народа Западной Украины.

Золотая Липа, сверкая в низине, тихо несла свои светлые воды на юг.

Сколько здесь, на Золотой Липе, у этого самого Вишневчика, покалечили, искромсали людей в жаркие августовские дни 1914 года! Один миллион двести тысяч австро-венгров, наводнив своими колоннами, транспортами все дороги и проселки, хлынули с запада на восток... Один миллион триста тысяч солдат, расписанных по соединениям, полкам, бригадам, под командой Рузского и Брусилова, валом валили с востока на Львов...

Не готовая, сырая русская армия, требовавшая для полной мобилизационной зрелости еще несколько недель, по приказу Парижа, главного кредитора царя, вторглась в Восточную Пруссию и Галицию, чтобы своей массой, как пластырем, оттянуть немецкие корпуса от Парижа, а австро-венгерские — от сербских границ. 26 августа 1914 года у Вишневчика, Гологур на золочевских высотах развернулись сотни тысяч людей. Восемь тысяч солдат на километр, или двести теплушек с каждой стороны.

Тирольские стрелки ударами штыков отбивали натиск царских полков. Бравые унтеры, разжигаемые фельдфебельским евангелием: «Или грудь в крестах, или голова в кустах», вели людей на укрепленные кладбища, на их каменные стены, на рвы и канавы, занятые австрийцами.

В годы первой империалистической схватки тихие берега Золотой Липы превратились в арену жестоких кровопролитнейших битв. Австрийский император Франц-Иосиф и германский Вильгельм загнали в окопы, вырытые здесь, вдоль Золотой Липы, свои лучшие боснийские, венгерские, баварские, чешские и галицийские полки. То отходя от нее к Карпатам под натиском русских, то снова возвращаясь, австро-венгерская армия неизменно застывала на линии Золотой Липы, ставшей в своем роде символическим рубежом.

За три года ожесточеннейших боев народы России, Германии и Австро-Венгрии щедро разбавили своей кровью светлые воды Золотой Липы. Обратить бы в золото всю пролитую народами кровь, тогда эта невзрачная река справедливо носила бы свое поэтическое название.

Октябрьская революция в России привела в движение закрепощенные народы Европы. Рухнула империя Франца-Иосифа. На карте мира возникли новые государства — Венгрия, Чехословакия, Югославия, Польша, Западная Украина.

И снова на берегах Золотой Липы вспыхнули смертельные бои между наследниками Австро-Венгерской империи — молодыми государствами Польшей и ЗУНР — Западно-Украинской Народной Республикой. Трудовой народ Галиции, сбросив с себя немецкое иго Вены, рвался на соединение с наддíепровскими братьями, ибо только в союзе с ними он мог отобрать у англичан свою прикарпатскую нефть, а у польских магнатов — свою кормилицу-землю. Но галицийская армия, руководимая генералами — онемеченными украинцами и наспех украинизировавшимися немцами — и одураченная капелланами-фельдкуратами[1], верными слугами капитала, отклонила руку помощи Советской Украины.

Вопреки чаяниям народа, она пошла на союз с Петлюрой — верным лакеем пана Пилсудского — и, теряя в жестоких боях лучших своих людей, не выдержала натиска армии генерала Галлера, сколоченной, снабженной и вооруженной щедротами Вильсона и Пуанкаре...

Сумерки развернулись над глухо кипящим селом. Ржали кони, почуяв торбы с овсом. Не уставала походная гармонь. Начальник штаба Нежинский принимал

---

[1] Полевые священники *(нем.)*.

донесения от разъездов. Он готовил сводку для командующего Золочевской группой — начальника 45-й дивизии.

Что же дальше? Каковы дальнейшие цели? Куда стремиться, кого бить?

Но зачем такие размышления? Разве кто-нибудь ликвидировал власть высших штабов? Ведь это же их задача — наметить и указать дальнейшую цель. Неужели и командующий армией, и командующий Золочевской группой, которому подчинялся Шостак, забыли о существовании 8-й кавалерийской дивизии?!

Этого быть не может. Но каждый начальник такого подвижного рода войск, как кавалерия, помня о существовании высших инстанций, обязан и сам, в ожидании указаний свыше, наметить ближайшую задачу.

Вот-вот дадут о себе знать помятые в утренних боях колонны легионеров. Какой смысл давать им сражение с перевернутым фронтом? Пойти направо — на Гологуры, Глиняны? Налево — на Дунаюв, Брзежаны?

Шостак повернулся к начальнику штаба:

— Сеня, пиши приказ! Движение на Бибрку. Двумя колоннами.

— Есть, товарищ начдив!

В это время дипломаты Пилсудского встретились в Минске с посланцами Москвы и в ожидании результатов Демблинской операции, лицемерно болтая о мире, всячески затягивали диалог.

42

Золотой диск, вынырнув из-за горизонта, принес с собой вместе с блеском первых лучей утренний привет с Украины. Сверкая мириадами алмазов-росинок, радовались приходу нового дня густые, не тронутые косами вторые и третьи травы.

До рассвета еще, разбуженный звуками походных труб, проснулся Вишневчик. С дробным топотом прошли через мост головные части 8-й кавалерийской дивизии. Еще вялые после сна казачьи кони, забравшись в воду, будоражили дремлющую гладь Золотой Липы. Темные круги, раскачиваясь, плыли от конских фыркающих морд и разбивались о деревянные сваи ветхого моста. Начался водопой.

Далеко на севере, возле Гологур, гремела пушечная канонада. Над прогалиной, между двумя зелеными островками, где молочной рекой извивалось шоссе Золочев — Львов, белели частые вспышки шрапнелей.

К югу, у скрытого лесной чащей Дунаюва, непрестанно барабанили орудия 60-й дивизии. Совсем близко, в зарослях рощ, шелестели пулеметы. Заставы и их боковые дозоры начали трудовой день.

Каждая полоска земли то сжималась в пригоршню, то разворачивалась в мучительный подступ, который можно проскочить лишь ценой головы. Каждая группа деревьев — то заманчивая тень, то бастион, изрыгающий фонтаны огня.

Многоголосое эхо жадно подхватывало каждый выстрел, щелчок, очередь пулемета, удар пушки и разрыв гранаты, чтобы умножить, воссоздать опасность, наплодить десятки новых орудий, пулеметов, расставить их там, где их не было и не могло никогда быть.

Без удержу неслись на запад взводы, разъезды, полки. Каждое сердце стремилось вперед, словно, очутившись на Золотой Липе, оно обросло крыльями.

Затертые между колоннами 45-й дивизии и червонных казаков мелкие команды интервентов рассеялись, найдя до поры до времени приют в сплошных дебрях лесов, затопивших Галичину к югу от шоссе Золочев — Львов.

К десяти утра разведчики достигли Гнилой Липы. С ее высокого берега развернулась волнующая панорама галицийских деревушек, фольварков, шоссе и железных дорог с их неспокойными, похожими на отары овец паровозными дымами. Красочный ландшафт щедро озарялся ярким солнечным светом.

Станция Перемышляны встретила кавалеристов далеко не дружелюбным пушечным салютом. Бронепоезд «От можа до можа», получив в борт прямое попадание снаряда, пущенного одним из неустрашимых Иванов, зло пыхтя, послал на прощание несколько шрапнелей и поспешно ушел на Глиняны. Соревнуясь с артиллеристами, разведчики, раскинувшись лавой, охватили со всех сторон станцию.

Сероштан короткой рысью спустился с высокого берега в долину реки. Кругом, насколько хватал глаз, мчались стайки разведчиков, и казалось издали, что они не скачут, а плывут, увлекаемые быстрым течением.

За время марша от Збруча до Золотой Липы много добровольцев присоединилось к разведчикам. Но больше всего добавилось новых людей на пути от Нущи к Вишневчику. Микола Настюк, оставаясь рядовым всадником, опекал новичков, все больше и больше связывая их с боевой частью Сероштана.

Как только дивизия перешагнула рубеж Золотой Липы, все слабые, с больными лошадьми кавалеристы, предвидя большие дела, ринулись в строй. Околачивавшиеся в обозах кашевары, каптенармусы, пешие казаки, не желая отстать от товарищей, в погоне за лошадьми, рискуя жизнью, обшаривали все фольварки, проникли даже в обозы пехотных частей.

Гаманец втайне от Балабана облетел все сельские аптеки в поисках перекиси водорода. Наутро пехотные командиры после тщательного обыска не могли распознать своих, за ночь переменивших масть лошадей.

Бунчук на общую потеху бойцам вещал чревом, лукаво посматривая на недоумевавшие лица пострадавших:

— Корова реве, вол реве, кто кого дере, сам черт не розбере.

Как опавший яблоневый цвет, белели на мостовых и улицах перья распоротых подушек. Жалкое тряпье, которым пренебрегли поспешно удиравшие грабители, валялось посреди обывательских дворов. Оглушенные горем, тут же слонялись жертвы гайдамацкого разгула.

На вокзале метались спешенные всадники, стреляли из винтовок, кого-то ловили, кого-то вели, окружили застрявшие на путях теплушки с беженцами.

Из-за насыпи, бросив свои жалкие халупы, пришли нищенски одетые истощенные люди. Шумной гурьбой столпились у вагонов. Возбуждение нарастало, как вихрь. Узловатые руки хватались за край дверей, люди пытались прорваться в теплушки. Яростно заклокотала толпа:

— А пся крев, сам директор гимназии! Мы тебе покажем — «большевици-бандиты»!

— Это ты, пан Стынякевич? Цофанул из фольварка от батраков? На кол его, на кол!

— А вот и герр Файншток! Может, и твоя банкирская контора с тобой? Она пригодится народу.

С наганом в руке влетел в теплушку Гаманец. Лицо его налилось кровью. Лишь круглые пятнышки-оспинки

сверкали белой россыпью на вспыхнувшем лице. С трудом охладил он гнев халупников. Опознанные народом верховоды Перемышлян, опасаясь справедливого гнева земляков, сгрудились за спиной разведчика.

Гаманец, подмигнув глазом, потер большим пальцем об указательный:

— Пенёнзы!

Представители перемышлянской знати пожали плечами.

Разведчик, сняв папаху, перевернул ее вниз дном, гаркнул, зло выпучив глаза:

— Золото в мою шапку или свинец в ваш котелок!

Гаманец направил наган на банкира.

Беженцы, пачкая грязными руками манишки, извлекали из боковых карманов пухлые пачки кредиток.

— Кто грамотный? — обратился разведчик к толпе. — Пиши! — скомандовал помкомвзвода. — Буржуй Файншток — десять тысяч марок, долларов... Сколько долларов?

— У меня, пан комендант, нет долларов.

— Дол-ла-ры!.. Или я отсюда уйду и впущу вон тех, — указал он на селян. — Ага, спужался! Пиши, грамотей, десять тысяч марок и, в том числе, двадцать тысяч долларов...

Очередь дошла и до остальных.

— Мадамочка Файнштока — три кольца, пиши, с бриллиантом, одна брошка, два бимбера, пиши, золотые часы.

— Ты кто? — разведчик обратился к мелко дрожавшему толстяку.

— Помещик Стынякевич.

— Пиши: помещик Стынякевич — сто катеринками, двадцать тысяч бумаг ихних, пять тысяч долларов.

Привлеченная необычным шумом, хлынула к вагонам гурьба кавалеристов.

Курочка, вытягивая шею, шарил глазами по углам теплушки. Что-то заметив, заявил Стынякевичу:

— Эй, дядя, подари. У тебя шкура толстая, а мне на зиму будет как раз в аккурат.

— Пшепрашам, — угрюмо ответил помещик.

Курочка концом шашки, как кочергой, выгреб из-под стола красного дерева кунтуш на меху. Несмотря на жару, напялил его на себя.

Пришли Ганка с Балабаном. С ними несколько железнодорожников с яркими повязками на засаленных рукавах. Они назвали себя станционным ревкомом. Машинист-поляк, сбежавший час назад с бронепоезда, рассказал, что ночью мимо Перемышлян пронеслось несколько эшелонов. Какая-то дивизия перебрасывалась не то на Львов, не то на Варшаву. Потом, не останавливаясь, промчался состав с тяжелыми орудиями. Конторщики сообщили ему по секрету, что этот эшелон, следовавший из Бухареста через Галич, Львов, вез подарки румынского короля Пилсудскому.

Гаманец, забрав у грамотея перечень конфискованного добра, протянул его Балабану вместе с шапкой, доверху заполненной золотом и кредитками.

— Вот, товарищ командир взвода, добровольно жертвуют на революцию.

— Мы не добровольно, пан комендант! — шарахнулись к Балабану «жертвователи».

— Свои забрали паровоз для бронепоезда, а большевици — пенёнзы для революции,— забрюзжал кто-то в дальнем углу теплушки.

— Не горюйте, пан Стынякевич, — успокоил его банкир, — и свой пан поручник с бронепоезда присвоил мои золотые часы.

Ганка тоже забралась в теплушку и с любопытством рассматривала нарядно одетых женщин. Перевела недоумевающий взгляд на Гаманца, стоявшего в бравой позе победителя, а затем на строгое лицо Балабана, державшего в обеих руках тяжелую шапку с драгоценностями.

Взводный, выслушав жалобы беженцев, после короткого раздумья ответил, обращаясь к перемышлянскому банкиру:

— За пана поручника, какой присвоил ваши часы, мы не отвечаем и не отвечаем за командира бронепоезда, который увез ваш паровоз...

— Паровоз нам обошелся в сто тысяч марок, — нахмурился Стынякевич.

— Это неважно, — насмешливо посмотрел на помещика взводный, — свои люди — сочтетесь. — И продолжал, метнув свирепый взгляд на своего помощника: — А вот за его самоуправство отвечаем мы все.

Смущенное лицо Гаманца побагровело. И, бесясь на себя за смущение, разведчик зло посмотрел на шляхту.

— Нате ваше добро,— протянул Балабан шапку банкиру вместе со списком. Наше дело не контрибуцией заниматься, а воевать с вашим войском. А контрибуция — это дело вот их, — указал он на станционный ревком.

— Шо вы делаете?! — справившись со своим замешательством, воскликнул Гаманец. — Буржуи тикают до пана Пилсудского, а вы их покрываете. Послушайте вот, шо народ говорит...

— Ладно, ладно, ступай в сотню! — рассердился Балабан.

— «Ступай»! — взглянув исподлобья, огрызнулся разведчик. — Сами говорят: проявляйте разумную цинативу, — а не даете человеку развернуться.

— Здесь, Самойло, ты как раз переинициативил, — успокоила его Ганка.

Помощник взводного, сердито сплюнув в ноги помещику, вышел из вагона.

— Стой! — остановил его Ларион.— Возьми свою папаху.

— Не возьму! — прохрипел Гаманец. — Вы им вертаете нашу кровь, подарите буржуям и мою шапку. — Разведчик сердито махнул рукой. Но все же вернулся. Подошел к банкиру, бесцеремонно вынул из его рта сигару, вытер ее замусоленный кончик о борт банкирского сюртука. Зло взглянул на сидящих беженцев, ткнул сигару в свой рот и выпрыгнул, простоволосый, из теплушки.

Балабан, покидая эшелон, поручил ревкому раздать пришедшим из-за насыпи перемышлянцам вагон муки, прицепленный к эшелону именитых беженцев.

С восточного крутого берега реки спускался к Гнилой Липе яркий, расцвеченный красными верхами папах и сотенными значками неиссякаемый поток. Вслед за разведчиками вступала в Перемышляны одна из колонн 8-й кавалерийской дивизии.

Вдоль каменного имперского шоссе сплошными шпалерами развернулись насупленные густые леса. Своими зелеными форпостами вплотную придвинулись они к широкой дороге. Присмирели в ожидании чего-то необыкновенного дерзкие кроны яворов и буков. Природа насторожилась. И лес, и поля, и холмы, и долины прислушивались к властному голосу новой, могучей, всесокрушающей волны.

Между Перемышлянами и Кимиржем, устремляясь на запад, над шоссе плыло густое облако серой пыли. Разведчики, нажимая на лошадей, догоняли торопливо отходившую на запад колонну. Отступавшие, сползая с дороги на ее обочины и на поля, замедляли шаг. Постепенно улеглась пыль, и перед глазами возникла толпа нестройно шагавших людей, а впереди них жалобно ревущее стадо.

Шустрые разъезды Сероштана вмиг окружили колонну. Сотни взвивавшихся в воздух конфедераток приветствовали приближение разведчиков. В тревожной радости, расталкивая опешивших стариков конвоиров, безоружные легионеры торопились навстречу бойцам. Это были жолнеры-инородцы из 12, 18, 13-й дивизий 6-й армии. Их, обезоруженных, гнали в знаменитый лагерь Яблонь, где несколько тысяч их соплеменников, откликнувшихся в свое время на призыв варшавской и львовской общин и поступивших в армию добровольцами, теперь по велению пана Пилсудского гнили за колючей проволокой.

Вместе с этим «ненадежным» контингентом плелись на запад, пока неизвестно куда, согнанные с фронтовой полосы «подозрительные» украинцы и русские. Им, как и всем русским жителям Варшавы, предложили покинуть обжитые места в сорок восемь часов.

Селяне, следовавшие неотступно за колонной, мгновенно разобрали свой скот, за который им обещали уплатить в Бибрке. Затем ринулись на солдат-конвоиров и начали вытаскивать из их ранцев награбленное хлопское добро.

Гаманец, заметив среди штрафных легионеров одного с серебряными галунами в петлицах, поманил его пальцем.

— Пан офицер? — нахмурившись, строго спросил разведчик, когда вызванный им робко вышел из толпы солдат.

— Так, я офицер!

— Что прикажете с ним делать, товарищ командир? — спросил Гаманец, обращаясь к Балабану.

— Кто такой? — обратился к офицеру взводный.

— Я поручник польской армии, поляк.

— Ой боже мой! — воскликнул случившийся тут Перчик. — Посмотрите на них. Они поляки! Я видел та-

ких в вознесенской синагоге — сидят на почетном месте рядом с раввином.

— Я поляк Моисеева закона! — заносчиво ответил офицер.

— А ну снимите вашу кашкетку, пан поручник, — прозвенел громкий голос Квитеня, пробивавшегося сквозь толпу на своем разгоряченном коне.

Офицер послушно снял свою расшитую серебряными зигзагами конфедератку.

— Миша!.. Мармельштейн!.. — изумленно крикнул комиссар дивизиона.

— Да, я Мишель Мармельштейн! — Пленный дерзко уставился в глаза Квитеню.

— Вам постоянно везет! — саркастически улыбнулся Квитень. — Попались вы с пленными. Жаль, не в бою. Слышно было, подвизались вы в Добровольческой армии Деникина.

— А кто в Юзовке не знал Мармельштейна? — строго поглядывая на офицера, сказал Балабан. — Тоже мне деникинец, бесстыжая рожа!

— А сейчас попал к Пилсудскому, — продолжал Квитень. — Не иначе как по протекции белоцерковской графини Браницкой — хозяйки вашего папаши.

Офицер опустил глаза.

— А помните,— рассмеялся Квитень,— в Полтавской гимназии, это было в четвертом классе! Пришли мы оба в новых ботинках. И ученики сразу оценили: мои — в пять рублей, а ваши — в семь с полтиной. Как же иначе — то Квитень, а то Мармельштейн. Хотя мы их оба взяли в магазине Купермана по пятерке.

— Помню, — ответил «поляк Моисеева закона».

— Как же вы шагали с ними, — показал комиссар на толпу солдат, — что, и протекция Браницкой не помогла?

— Ситуация! — обреченно махнул рукой офицер.

— Рубанем, товарищ комиссар? — спросил Гаманец, обнажая клинок.

— Отставить! — строго посмотрел на него Квитень.— Он и так наказан судьбой. Предателей не терпят и те, в чью пользу они предают!

Кучка обшарпанных легионеров с боязливым любопытством обступила разведчиков. Один из них, видно более смелый, пристал с расспросами к Бунчуку:

— Пан, а пан, ктурый бендзе Будиённый, а ктурый Шостак?

— Я Буденный, — ткнул себя в грудь Панас, — а вот тот, — указал боец на Квитеня, — и сам Шостак.

От Кимирж пролегла широкая битая дорога на запад — на Свирж, Стоки, Бибрку. В двадцати пяти верстах от Бибрки отчаянно отбивался от яростных атак конармейцев и 45-й дивизии многочисленный гарнизон Львова — сердца Галичины.

43

Без привала, без настоящего отдыха, лишь с короткими пятиминутными остановками, чтобы дать передохнуть людям и коням, разведывательный дивизион, держа курс на запад, продвигался вперед.

Дорога то падала вниз, то широкой глинистой лентой извивалась по склонам холмов.

С их макушек открывался вид на бурно плывущий с востока конный поток. Клубы густой пыли вились над казачьими сотнями и уносились ветром назад. Хвост пестрой подвижной колонны терялся в смутной дали.

Перед разведчиками развернулась фронтом, словно приготовившись к параду, густая стена бибрских лесов. В стороне от маршрута дивизиона по меловой полосе Львовского шоссе лихой рысью спешил куда-то необычный обоз. Головная походная застава устремилась наперерез торопившейся, очевидно, во Львов пестрой колонне.

Словно от удара шрапнели, рассыпалась яркая ватага. Отдельные экипажи юркнули в лес, другие помчались карьером вперед, стремясь прорваться сквозь лаву разведчиков, иные повернули вспять. Фаэтоны, допотопные колымаги, дилижансы, брички, кабриолеты, дормезы, шарабаны, тачанки сцеплялись дышлами, колесами и, сцепленные, неслись по шоссе, пока не обрывались в канаву вместе с обезумевшими лошадьми.

Кое-кто из более сообразительных пассажиров этого странного поезда, оставляя лошадей и повозки, бросался в кусты с неистовым криком:

— Панове, до лясу!

Хозяева, господа, паны из фольварков, имений и латифундий из Сарников, Лан, Ходерковец, Пентничан, Южковец, Ядверги, со всех сел Бибрского уезда состав-

ляли тот пышный обоз, которому так и не довелось увидеть Львова.

Переполошилась не только эта, ждавшая справедливого возмездия сотня помещиков. Страшная паника охватила все три тысячи шестьсот панских имений Галичины.

Всадники Сероштана оцепили обоз, загнав его на шоссе, как стадо овец. Походные ремонтеры в пятнадцать минут обновили добрую половину конского состава взводов. Захваченные за Нущей французские пулеметы, кое-как пристроенные к неудобным двуколкам, великолепно уместились на легких панских бричках.

Семерка коней уносила шустрый разъезд на северо-запад. Звонко зацокали копыта по крепкому, точно кость, шоссе. Специально пригнанный ремень держал винтовку за ногой дулом вниз. Издали казалось, что едут не воины, а пастухи.

Здесь не слышно было ни единого выстрела, ни единого крика. Война осталась там, позади, с ее атаками, кровью, выстрелами, железной горячкой пулеметов, адским ревом пушечных стволов. Где-то на севере, по ту сторону шоссе Золочев — Львов, невнятно гудели орудия. Это было так далеко и не хотелось верить, что там кипит, клокочет война.

Как загнанные волки, сбились кучкой господа. У каждого в руке чемоданчик, портфель, саквояж, а в них — самое ценное.

Сероштан скомандовал:

— Чемоданы к ноге!

Разведчики с возбужденными от скачки лицами, кто на коне, перевесив ногу через луку, кто спешившись и привязав лошадь к повозке, смотрели с любопытством на необычный спектакль.

— Два шага назад, арш!

Шляхтичи дружно выполнили команду.

В мгновение ока подкатила тачанка. Проворные руки бойцов нагрузили ее доверху панским добром. Взводу Балабана поручили охранять богатства перемышлянских и бибрских помещиков.

— Сдайте в Бибрке ревкому! — распорядился Квитень.

— Есть, сдать в Бибрке! — ответил Балабан.

Ганка, следуя в боковом дозоре, охранявшем фланги дивизиона, обратила внимание на знакомого коня,

привязанного к дереву у какой-то сторожки и дремавшего, словно старик из инвалидного дома... Разведчица соскочила с седла, ворвалась в халупу. Разлетаясь в брызги, зазвенело стекло. Выскочив в оконный проем, мелькнула чья-то тень.

«Бах, бах, бах!» — затарабанил наган.

— Ушел, гад! Как змея промеж деревьев... — покачала головой разведчица.

— Я и то чуть не пропал, — оправдывался Черноус, придя быстро в себя. — Из рук вырвался, подлюка!

— Эх, ты! — медленно надвигалась на бойца Ганка.— Я думала... Я думала, ты ру-ба-ка. А ты баба, червяк...

Черноус побледнел, ожидая, что она скажет еще.

В сотне Ганка быстро нашла Перчика. Они долго и горячо о чем-то шептались. Не раз упоминали Черноуса. Кузнец непрестанно поддакивал нетерпеливыми кивками головы. Весь загоревшись, он не пропускал ни одного Ганкиного слова.

Построенная по шести в ряд, шла вразброд, не в ногу, разношерстная колонна шляхтичей. Кто-то из помещиков, прохрипел, огрызаясь:

— Пан Розмаровский, не желаю, жебы вы мне наезжали на пятки.

— Пан Манишко, как поставили нас, так мы и должны идти.

— Пан Розмаровский, это вам не в вашем фольварке. Если я арендатор, то вы можете мне давить на мозоль?

— Пан Манишко, ради пана Езуса, замолчите. Жебы эти хлопы видели, как пан на пана идет...

Небольшой панок выскочил вперед, длинными руками толкнул толстое брюхо Розмаровского:

— Ах ты, пся крев, кровопийца! Так знайте же: у него в каблуке бриллианты запрятаны... Да-да, панове! Он же из-за бриллиантов женился на той старой обезьяне.

Мартын Бубна, сопровождавший пленных, спешился, ножом отворотил каблуки высокого пана. В специально устроенном гнезде, завернутые в бумагу, лежали десять драгоценных камней.

— Ах ты, изменник! Пан комендант, у пана Манишко в сюртуке зашиты доллары.

— У меня доллары? — вспыхнул панок.

Тут мощный удар сбил Манишко с ног. Кто-то стал на его защиту. Какой-то пан въехал головой в спину Розмаровскому. Каменное шоссе Бибрка — Львов в пять минут превратилось в арену жестокого боя.

И это был «цвет», «хозяева» Галичины — «культурная» сила, которая защищала «цивилизованную» Европу от «варварства» большевиков!..

Мартын Бубна издевался над помятыми в схватке помещиками:

Їхав панок морквяний,
А кінь буряковий,
Шапка на нім з огірка,
Кунтуш лопуховий.
І шабелька із петрушки,
Піхва із квасолі,
Пістолята з качана,
Кулі з бараболі.
Вийняв панок шабельку,
Хтів свині рубати,
Свині шаблю потрощили,
Нічим воювати.

А в обнищавшем обозе, ушедшем далеко вперед, пани Розмаровская, обнимая пани Манишко, жаловалась ей на жестокость «москалей».

— Да, — вздохнула пани, — вчера мы были в чести, а сегодня нам свиней пасти...

В двадцати пяти километрах — в трех часах ходу — отчаянно сражались защитники Львова. Одно небольшое усилие — и навстречу освободителям ринется, вырвавшись из-под кованого сапога захватчика, пролетариат галицийской столицы.

Разведывательный дивизион, ликвидировав гарнизон Свиржа, к вечеру без боя занял довольно большой город Бибрка, окруженный со всех сторон глухими лесами.

Сероштан, отправив разъезды на Львов, Николаев, Ходоров и обеспечив себя таким образом со всех направлений, откуда могла угрожать опасность, в ожидании новых указаний из штаба дивизии расположился со своими сотнями в западной части города. Но опасность таилась не столь за пределами Бибрки, как в самом городе.

На восточной его окраине, за ажурной кирпичной оградой, рабочие, выполняя строгий приказ Квитеня, резиновыми шлангами спускали спирт из огромных кра-

шеных цистерн в канавы и в черный люк городской канализации.

Когда на каменных улицах города загремел обоз, следовавший в хвосте дивизиона, с одной из тачанок соскочила Софья и вошла в ворота винокуренного завода.

— В городе есть жовнежи? — строго спросила управляющего Софья.

— Жовнежи давно выцофались на Львув.

— А пан того не разуме? — в цистернах больше жовнежев, чем во всем Львове?

— Пани, так вы...

Софья прищурила один глаз:

— Вам наказ — ни одной капли спирту в канавы! — Она сердито повела глазами в сторону рабочих, возившихся со шлангами: — Каждого, кто сюда придет, заливайте вином до ушей...

Сероштан расположился в опустевшем доме какого-то коммерсанта. Он с восхищением рассматривал огромные зеркала, дубовые панели, хрустальную синеву окон, блестящий паркет, бархатные дорожки и фанерованную мебель особняка.

Софья, сняв с головы Сероштана папаху, нахлобучила ее на голову медведя, стоявшего с вытянутыми вперед лапами у одной из стен вестибюля.

— Что, миша, послужил буржуям, послужи теперь большевикам.

Улицы гудели. Пришли в центр свободные от наряда разведчики. Высыпали из дворов жители, довольные тем, что их город перешел в руки новых хозяев без боя.

Квитень устанавливал связь с рабочими. В ратуше, несмотря на приближение сумерек, собирался митинг. Повсюду гремели песни. В этот день город не признавал законов, установившихся испокон веку. Чем больше плотнел мрак, тем шумнее и многолюднее становилась улица.

Черноус, присланный для связи, сидел в прихожей особняка. Софья, прижавшись к медвежьему чучелу, держась руками за передние его лапы, по-командирски внушала чубатому:

— Никаких церквей! Тоже придумали... Это же не деревня. Тут вы этим не добьетесь ни черта! Вы пони-

маете — ни дзябла, ни дзябла! Здесь нужно что-то другое, и это другое мы покажем уже в ближайшие дни.

— И что это будет?

— Потерпите — увидите. Я вам неоднократно говорила: мой принцип — работать одной...

— Знаете что,— сказал, расширив глаза, Черноус,— давайте все же я кокну Сероштана...

— Я вам уже однажды внушала: важно накрыть весь табун. А для этого надо его завести туда, откуда нет выхода.

— Куда же?

— Потерпите — увидите, Черноус. Вы говорите — убить Сероштана. Я бы сама охотно задушила всех этих Мархлевских, Дзержинских, Домбалей, Рынв-Рынальских и этого командира полка — поляка, что с тараканьими усами...

— Фостецкого?

— У-гу, — подтвердила нечленораздельным звуком Софья.

Черноус поднялся. Вспыхнувшим взглядом обвел белую шею женщины, черные локоны, манящие линии ног. Положил дрожащие руки на туго перетянутую узеньким пояском талию:

— Бронислава...

Руки женщины опустились. Глаза тревожно заметались.

— От-куда вы зна-ете мое... имя?

Рука Черноуса поползла выше.

— Броня! В нашей работе часто узнаешь то, чего даже не хочешь узнать! — волнуясь, ответил Черноус и, расстегнув гимнастерку, показал висевшее на тонкой цепочке золотое кольцо с литым сфинксом на нем.

— Как оно к вам попало?

— Мне его дал Юзеф Генрихович.

— Панчоха?

— Да, он.

— Отдайте его мне!

— Не могу, — Черноус положил руку на грудь, словно опасаясь потерять ценное кольцо, — оно мне нужно для явки во Львове.

— А вы уверены, что дивизия пойдет туда?

— Куда же ей еще идти!

Женщина, уцепившись за лапу медведя, раскачивалась всем телом.

— А не кажется ли вам, что вы слишком много знаете, това-рищ Чер-но-ус?

— Знаю еще, что Гаманец подбивал к вам клинья...

— Фи, вы хорунжий, а выражаетесь, как хлоп...

— Я передаю его слова... Послушайте, Бронислава, пан Панчоха в лапах у красных... вряд ли вернется... Неужели я хуже этого Сероштана?

Софья, задорно улыбнувшись, ответила нараспев:

— Хлопче, ты не пропадешь, будешь, будешь паном...

— Броня, — с дрожью в голосе стал умолять Черноус, — мы с вами висим на волоске. Мы можем провалиться в любой день. Надо дорожить каждой минутой. Осчастливьте меня. За всю мою работу.

— За вашу работу, как мне известно, вас вознаграждает дефензива...

Распахнулась дубовая дверь. Вошла Ганка. Узнав о назначении Черноуса связным, она попросилась во внеочередной наряд.

— И ты пришла? Вот хорошо. И я, Ганка, попал в ординарцы, — широко улыбаясь, встретил разведчицу Черноус.

— Что ж! Только смотри: пленных, как утром, не выпускать! — Ганка, не обращая внимания на Софью, подошла вплотную к бойцу: — А скажи, сколько ты от него получил?

Настала решительная минута. «Может быть, и она, — подумал Черноус, — узнала больше, чем ей полагалось знать?..»

Чубатый вскочил. Впился глазами в строгое лицо разведчицы. Черноглазая, не размыкая рук, прислонившись к чучелу медведя, внимательно следила за поединком.

— Скажи, Ганка, а ты с Балабана за это самое берешь золотом или бумажками?

— Паскуда! — отвернулась разведчица.

— Ничего, Ганка, — ехидно ответил Черноус, — мышь солому точит, и та играть хочет!

Улица клокотала. Цокотали по звонкой мостовой всадники. Беспрерывно работала со штабом дивизии конная связь. Квитень, заметив в уличной толпе пьяных граждан, бросился к спиртному заводу. Оттуда то и дело выходили, качаясь, какие-то люди. Тащили в ру-

ках ведра, котелки, фляги с вином. Собрав рабочих, Квитень организовал охрану цистерн.

Опасаясь ночных дебошей, комиссар направился в особняк к Сероштану. Надо было выставить к заводу свой караул.

В вестибюле комиссар застал Ганку с книжкой в руках.

— Где командир дивизиона? — спросил Леонид.

— Где-то там, в комнате...— ответила разведчица.— Постойте, — продолжала она, останавливая Квитеня.— Товарищ комиссар. Хочу сказать как коммунистка коммунисту — это не дело. Почему здесь эта... как ее — командирова краля... Софья?

— Что, ревнуешь? — ухмыльнулся Квитень.

— Нужен мне ваш Сероштан!

— Знаю, знаю, твое сердце тоскует не о нем.

— О ком? — покраснела Ганка.

— Не скажу, и все...

— Понимаете, не до шуток мне. Являюсь сюда, не знаю, что там делает в комнатах командир, а она тут любезничает с Черноусом. И еще скажу, товарищ комиссар, подозрительный мне этот чубатый...

— Заметила что-нибудь?

— Думаю, что не ошибаюсь. — И она рассказала то, чему нынче была свидетельницей в лесной сторожке.

— Ладно, посматривай за ним. А я скажу кому следует.

Квитень, гремя каблуками по зеркальному паркету, направился к Сероштану. Пройдя целую анфиладу комнат, очутился в полуосвещенной, со вкусом обставленной спальне. Перед зеркалом, примеряя одно за другим брошенные в шкафах платья, вертелась Софья.

Квитень зло спросил:

— Где командир дивизиона?

Женщина, съежившись, виновато и заискивающе улыбаясь, указала на кровать. В сапогах и папахе на кружевных покрывалах валялся Сероштан. На ночном столике Леонид увидел тарелку с капустой и недопитый стакан. Федор, встретив комиссара широкой улыбкой, подмигнул, указывая на полураздетую Софью. Заплетающимся языком продекламировал:

Сначала модель от Пакена,
Потом пышных юбок волна,
Потом кружева, словно пена,
Потом она, она...

— Выйдите!— повернувшись к женщине, потребовал Квитень.

Когда Софья с не застегнутыми еще крючками платья очутилась за дверью, Квитень решительно затормошил командира.

— Докатился, Федор! — Комиссар столкнул с тумбочки граненый стакан. — Немедленно убери ее, эту... В рейде — и баба. Сегодня же доложу обо всем комиссару дивизии, не посмотрю, что мы с тобой земляки.

И, не сказав командиру, зачем он к нему шел, Квитень, сердито хлопнув дубовой дверью, вышел из комнаты. Его ждали собравшиеся на митинг люди.

Ганка принесла доставленный ординарцем приказ Шостака.

— Командира саперного взвода ко мне! — распорядился, виновато посматривая осовелыми глазами на разведчицу, Сероштан.

Вызванный в штаб сапер, получив приказ командира дивизиона, пожал плечами:

— Чем рвать линию, товарищ командир? Динамит кончился.

— А там посмотрите... — пробормотал Федор. — Может, где разживетесь...

Ослепительные чехлы облегали мягкую мебель и уникальные, развешанные на стенах полотна. Шевеля легкие шелковые занавески, ворвался в дом сквозь раскрытые венецианские окна свежий ветерок, не нарушая гнетущей тишины роскошных купеческих покоев.

Ганка, оставшись одна, засунула за голенище недочитанную книжечку Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», зашагала в задумчивости по зеркальному паркету вестибюля. Подошла к вздыбленному медведю, провела рукой по его жесткой шерсти. Подняв голову, с любопытством рассматривала лепной потолок, его замысловато сплетенные гирлянды, виньетки и мавританские орнаменты. Приходилось и ей разделывать гипсовыми украшениями огромное здание «Югостали» на Сумской улице в Харькове. Сравнивая свою работу с тем, что представлялось ее глазам, она узнавала в этих причудливо переплетенных линиях руку настоящего мастера.

Вспомнив те роскошные здания, в возведении которых приходилось и ей участвовать, но жить не пришлось, она представляла себе ветхую мазанку на окра-

ине Никитовки — Канцедаловке, покинутую ею незадолго до германской войны. Старик отец — ламповщик шахты № 5 — не в силах был прокормить большую ораву. Подростков-братьев и тех нужда загнала под землю. А Ганка, помогая больной матери, стирала белье холостым шахтерам. Полоскала всякие тряпки в зимней воде до синевы рук. Притащив гору белья на санках домой, долго оттирала руки снегом. Подруги, перебравшиеся с рудника в Харьков, звали и ее к себе. С их помощью она нашла себе работу на стройках города.

Вспомнила она и старика отца, до преклонных лет вынужденного заправлять лампы шахтерам. Вступив добровольно в полк Шостака, она написала отцу, что ходит в караул, охраняет Совнарком. А старик в своем ответе запросил ее: «Что за штука такая — Совнарком, у нас на руднике такой конторы пока еще нет».

Томимая бездельем Ганка, сняв с плеча карабин, извлекла из него шомпол и принялась за чистку своего боевого оружия.

В город, стараясь не отстать от кавалерии, на крестьянских подводах вступали головные части 60-й стрелковой дивизии.

44

Сарники — маленькая галицийская деревня — затерялись, как горошинка, среди казенных и панских лесов.

Постепенно стихал гул, которым сопровождается появление в деревне новых людей. Гасли огни. Горели лишь керосиновые лампы в халупах зажиточных дук и в доме ксендза — стоянках командного состава.

Протяжно ржали кони, соскучившись по своим седокам, заливались в разных концах села полковые гармошки. Сплошной мрак, выросший словно из самой земли, окутал деревушки, рощи, леса и перелески глухого уголка. Деревенские псы жалобно скулили, время от времени заливаясь тягучим, тоскливым воем.

У дома ксендза на лужайке водили хоровод. Ординарцы, по три от каждого полка, штабные коноводы, управившись с лошадьми, коротали ночь с молодежью лесной деревушки.

Девушки в расшитых рубахах кружились, взявшись

за руки. Отдельно, в ярко вышитых жилетах, веселились сарниковские молодцы.

Мартын Бубна, присланный для связи в штаб дивизии, развлекал молодежь коломыйками:

Ой заплачеш, моя мати, неділеньки тоі,
Як побачиш білий ремінь через плечі моі;
Ой заплачеш, моя мати, рясними сльозами,
Як пізнаеш ти синочка межи жовнірами.
Ой служив я у жовнірах, заслужив я ласку:
Через плечі два ременя та значок на дашку;
Ой втікав я од жовнірів з тяжкоі неволі
Та розломив кайданочки на високій горі.

За ксендзовским столом, вокруг яркого огня лампы, собрался весь цвет дивизии. Перед озабоченными командирами лежали развернутые карты, схемы, карандаши. Махорочный дым, аромат английского табака смешивался с запахами человеческого и конского пота. От духоты — окна были закрыты — лоснились смуглые лица собравшихся.

Прежде чем приступить к совещанию, Шостак дал слово комиссару дивизии для политической информации. Павловский, сняв папаху и чуть наклонив набок золотисто-белокурую голову, начал:

— Товарищи командиры и комиссары! В результате блестящих побед Красной Армии наше международное положение заметно улучшилось. Панская Польша остается в одиночестве, бегство врага из-под Киева удержало от выступления Румынию. Наши успехи под Варшавой тоже принесли большую пользу. Антанта натравливает против нас Румынию, Венгрию, Финляндию, Германию, Латвию. Для этой цели в болгарский порт Варну прибыл английский дредноут «Ревендис». Но зря: поражение Пилсудского охладило многие горячие головы. Это же поражение вызвало новый подъем революционных настроений в самой Польше. Волнуются горняки Домбровщины, нефтяники Борислава. Мы знаем: недавно, в марте, семьдесять пять тысяч горняков Польши объявили забастовку протеста против войны с нами. Под Варшавой восстали одиннадцатый и четырнадцатый пехотные полки Пилсудского. — Комиссар дивизии раскрыл свой блокнот:— Вот английская газета «Дейли Геральд» пишет: «Ни для кого уже не тайна, что поражение польских войск объясняется не только блестящими

качествами Красной Армии, но и внутренними волнениями, раздирающими Польшу...»

В зале царила мертвая тишина. Участники совещания, затаив дыхание, слушали военкома.

— В правящем лагере Пилсудского переполох. Генералы требуют установления диктатуры. В стране проводится массовый террор.

Вспомним, товарищи, что говорил по этому поводу Владимир Ильич: «Как только международная буржуазия замахивается на нас, ее руку схватывают ее собственные рабочие». Вот, товарищи, все, что я хотел сказать. Положение, как видите, у нас довольно выгодное. А сейчас вам доложит обстановку начальник штаба дивизии.

Нежинский, чуть волнуясь, сообщил:

— Шестая армия противника откатывается ко Львову. Часть ее сил перебрасывается на Варшаву. В нашем тылу осталось несколько колонн легионеров. Первая Конная и Золочевская группа успешно продвигаются вперед. Не сегодня завтра Львов будет взят.

Остапенко скосил глаза на Шостака. Перевязанной рукой расправил усы.

— Не мешало бы, мона сказать, и нам туда понаведаться.

— Оно-то не мешало бы, — согласился Нежинский, сдвинув шапку на лоб. — Если Буденный и пехота берут Львов, то мы можем одной нашей дивизией очистить все пространство до Карпат.

Командир 6-го полка Сидорчук, уверенный в том, что лучшим решением будет то, которое предложит начдив, все же отважился высказать и свое мнение.

— На что нам Карпаты, если Буденный не возьмет Львова.

Шостак, оторвавшись от карты, чуть прищурившись, посмотрел на бывшего желтого кирасира.

— Откуда у вас, Василий Гаврилович, такие сомнения?

Раскрылась широко дверь. Черный от пыли, шатаясь от усталости, вошел Балабан. Взяв под козырек, передал начштабу смятый, грязный от пота пакет.

Балабан, посланный еще на рассвете с разъездом из Вишневичка на Золочев для связи с пехотой, дошел с передовыми частями 45-й дивизии до Туркоцинских высот, где шоссе Львов — Золочев смыкается с желез-

ной дорогой Брзежаны — Львов. От Туркоцина с письмом начдива 45-й он кинулся через никем не занятое пространство на Бибрку. В одном из лесов он наскочил на легионеров и потерял двух всадников. Дорвался до Бибрки. Оттуда сбился с пути и попал в Соколовку, где ночевал 3-й полк дивизии. Там слышал орудийные выстрелы, доносившиеся со стороны железной дороги.

— У меня на Выбрановке дивизион! — доложил, вынув трубку изо рта, Михаил Чалышев. — Может, он ведёт бой?

После того как взводный на словах передал планы начальника 45-й дивизии, начштаба распечатал привезенный Балабаном пакет. Извлек из него директиву командарма. В ней значилось лишь то, что 8-я кавалерийская дивизия с момента получения директивы выводится из состава Золочевской группы.

— Ларион, — мягко сказал Шостак, — пойди к Исмаилу. Он подкрепит тебя. Небось верст сто отмахал за день.

— Пожалуй, больше, товарищ начдив. — Суровое запыленное лицо взводного расплылось в улыбке.

Шостак углубился в десятиверстку, рассматривая на ее пестром фоне грозное начертание изогнутых стрел, обозначавших движение колонн Буденного и Бунара к той точке на карте, возле которой как бы горело волнующее слово «Львов». Зачем же вести туда еще и 8-ю кавалерийскую дивизию? Для нее в другом месте найдется много славной работы...

Завтра устремится к Карпатам могучий поток быстроногих всадников... Начдив, как наяву, видел склоненные перед красными знаменами советских полков гордые вершины Карпатского хребта.

Поднялся комиссар дивизии Евгений Павловский.

— Я думаю, есть прямой расчет идти нам на Стрый; как доложил здесь начальник штаба, от Стрыя рукой подать к Дрогобычу и Бориславу. А там нас ждут рабочие-нефтяники. Сегодня туда отправляется наш человек. Вы его знаете — прекрасный коммунист Микола Настюк.

Едкий табачный дым сгущался, обволакивая лица людей.

Вошел ординарец. Сообщил, что бронепоезд противника, прорвавшись на станцию Выбрановку, выбил оттуда дивизион 5-го полка.

Чалышев, задвигав мускулами скул, казался внешне спокойным. Встал, попросил начдива отпустить его в полк.

Сероштан заерзал на месте. Вызванный, как и все командиры частей, на важное совещание, он, сев с тяжелой головой в седло, всю дорогу от Бибрки до Сарник жевал сосновые иглы, чтобы заглушить мучивший его предательский запах. Не взяв в рот ни одной капли спиртного с тех пор, как расстался со своими полтавскими друзьями-грузчиками, он сразу одурел от стакана сивухи, поднесенного ему Софьей.

И, не успев разделаться с последствиями одного дурного шага, он уже ощутил неотвратимый удар отвернувшейся от него судьбы. Одно являлось логическим следствием другого. Послав подрывника взорвать мост у Выбрановки, он не подумал о том, чтобы обеспечить людей всем необходимым для выполнения ответственного задания, от которого зависела судьба всей задуманной Шостаком операции.

Начдив обрушился на командира разведывательного дивизиона:

— Кто взрывал мост у станции Выбрановка?

Сероштан промямлил в свое оправдание что-то невнятное. Посмотрев виноватыми глазами в суровое лицо начдива, он почувствовал, как между ним и Шостаком пробежал холодок отчуждения.

— Ладно! — Шостак гневно зашевелил ноздрями. — Поговорим об этом после, а пока товарищу Квитеню, комиссару дивизиона разведчиков, — подчеркиваю: лично, — немедленно отправиться в Выбрановку и к шести утра доложить начальнику штаба Нежинскому о взрыве железнодорожного моста. Поймите, товарищ Квитень, от вашей работы зависят дальнейшие действия всей дивизии.

Рыжий Исмаил принес горячие пирожки. Отодвинув лампу, поставил блюдо с пирамидой своих пышных неповторимых изделий на стол.

— Что ж, товарищи, — продолжал, успокоившись, Шостак, — начнем закругляться. Вот, Петя, — обратился он к недавно вернувшемуся в строй командиру 1-й бригады, — выскажись ты. Обстановку знаешь. Из состава Золочевской группы мы вышли. Командарм нам конкретной задачи не поставил. Что должна, по-твоему, делать дивизия?

— А нельзя ли через радио связаться с командармом? — спросил Георгиев.

— Рация наша, как назло, бездействует, — ответил Нежинский.

— Раз так, — высказался Петр Петрович, — нам у Львова делать нечего.

— А вы, Дмитрий Михайлович, что скажете?

Командир 2-й бригады откашлялся и, взглянув смущенно на товарищей, ответил:

— Я, товарищ начдив, не страгедик. Пойду куды скажете.

Сакулин, перехватив понимающий взгляд Рынальского — своего комиссара, сдержанно улыбнулся.

— Стратег, Митя, а не страгедик, — поправил Проня Павловский.

— Хоть так, хоть эдак, я в такой тонкой микстуре не понимаю! — рассмеялся Пронь. — Вы только дайте мне направление, а я со своими хлопцами уж как-нибудь не растеряюсь.

— Слово за вами, Владимир Иосифович.

Сакулин встал, поправил обеими руками пояс, еще больше выпятив богатырскую грудь. Своей храбростью, честностью и преданностью новому строю бывший тверской дворянин, искренне ненавидевший выскочек из императорской гвардии — «гвардионов», к которым он причислял и неудачливого комбрига Творожникова, все больше и больше завоевывал уважение Шостака и всего командного состава дивизии.

— История говорит нам, — начал командир 3-й бригады, — что большие города — враг конницы. Ей нужен простор.

— А я думаю, — сказал Рынва-Рынальский, выступив вслед за своим командиром, — что гуртом хорошо и батька бить. Это мое личное мнение. Я бы голосовал за Львов, — сказал он робко, видя настроение большинства.

— Эге, — поддакнул Остапенко. — И я так располагаю, Анатолий Маркович.

Шостак приподнялся. Положил папаху на край стола.

— Товарищи, — начал он, — правильно говорит Остапенко, Пантелеймон Романович. Неплохо и нам побывать во Львове. Правы и Сидорчук, Василий Гаврило-

вич, товарищ Рынва-Рынальский, Альберт Эдуардович. Но Львов будет взят сорок пятой дивизией и Первой Конной Буденного и Ворошилова. Мы же пойдем на Стрый. Почему мы туда пойдем? Первое — мы разрываем связь между львовской и галичской группами противника. Второе — разрушив ряд узлов: Ходоров, Николаев, Стрый и военные базы в них, — мы ослабляем сопротивление противника на фронте. Третье — навалившись на Стрый, мы отвлечем на себя часть оккупантских сил. Этим мы поможем Первой Конной и сорок пятой дивизии. Четвертое — своим рейдом мы очистим всю Южную Галичину до самых Карпат. Пятое — уже говорил об этом товарищ комиссар — мы подымаем пролетариат Бориславского нефтяного бассейна. Шестое — мы первые вознесем наши большевистские знамена на вершины Карпат.

Где-то за массивами лесов завязывались узлы грядущих схваток. Оглушенные магическим словом «язда», трепетали в лесных логовах интервенты. Гарнизоны многочисленных галицких городов, коменданты станций, целые дивизии пилсудчиков со сжавшимися в тревоге сердцами ждали отовсюду сокрушительных налетов конницы.

Вбежал дежурный по штабу. Порывисто дыша, доложил, что подслушан разговор неприятельских связистов. Львовский телеграфист сообщал своему приятелю: «Цофае шляхта. Большевици лязут в място» [1].

— Сеня, — распорядился Шостак, — немедленно объяви полкам: полагать себя в рейде! С рассветом выступаем на Стрый.

Поднялся все время молчавший Гандзюк:

— Правильно, Анатолий, какие мы красивые будем, когда мы войдем во Львов, а там уже будут буденновцы. Или вы, товарищи, думаете, что с нас не будут смеяться...

Замолкали за окном сладкие напевы гармоней. Расходились по своим халупам девушки и парубки. Ординарцы потянулись к лошадям. Звонко прокричали беспокойные петухи.

А в прокуренной комнате, затерянной среди лесных чащ маленькой галицийской деревушки Сарники, при-

---

[1] Шляхта бежит. Большевики рвутся в город (*польск.*).

нималось решение, которое не могло не иметь значения в решающей многодневной битве за Львов.

Так же как и штаб Юго-Западного фронта, переоценивая боеспособность сил, наступавших на Варшаву, не поддержал их ударом с юга и повернул 1-ю Конную на Львов, так и штаб 8-й кавалерийской дивизии, веря во всемогущество конницы Буденного, направив все силы Червонного казачества к Карпатам, не подкрепил 1-ю Конную атакой с юга и с запада.

Центробежные силы, которые влекли оба фронта по расходящимся направлениям, сказались и здесь, хотя и в менее значительном масштабе. Переоценивая свои силы и недооценивая силы врага, Шостак так же был уверен в том, что Буденный возьмет Львов, как и Егоров, командующий Юго-Западным фронтом, не сомневался в том, что Тухачевский окажется хозяином положения в Варшаве.

В ту ночь, когда происходило совещание в Сарниках, героические полки 1-й Конной армии, навалившиеся грудью на северные окраины Львова, получили повторный и категорический приказ сниматься, чтобы двинуться на Замостье, в тыл ударной группе врага.

А в то время опьяненные успехом охотничьи полки Пилсудского теснили от варшавских предместий, от их бетонированных тет-де-понов обескровленные силы Тухачевского. Красная Армия, донеся ленинские знамена к стенам Варшавы, отступала на восток. Те свежие силы, которые могли подкрепить дрогнувшие армии, спешно перебрасывались на юг для ликвидации крымского белогвардейского гнезда.

В гулкой тишине бибрского особняка, воспользовавшись отсутствием Сероштана и Ганки, в одной из комнат усталая, изможденная Софья внушала Черноусу:

— Повезете это управляющему винокуренным заводом. Раз доступ к вину закрыт, надо его поджечь... Пусть Бибрка сгорит...— Она протянула чубатому какой-то клочок бумаги.

— Для чего вы мне поручаете? Ведь вы любите работать одна...

— Я имею инструкцию использовать вас для любого дела.

— А что, если я повезу это Шостаку, открою все и

получу амнистию? Знаете, пани Бронислава, Варшава, верно, уже у большевиков, не сегодня завтра конец Львову, скоро вся Европа будет в руках то-ва-ри-ща Ленина...

— Вы этого не сделаете.

— Почему?

— Я все предвидела. За вами будут следить. С вами получится то же, что с подхалянским офицером в Манаюве. И советую не забывать сволочного коваля Шлемку, историю с иконой... Освобождение из-под стражи старого Ушняка...

— Это ж мои заслуги! — Черноус отчаянно побледнел. — Я пошутил. Никогда Супрун не склонит своей головы перед ними. Разве я могу им простить свою милую Супруновку на тихом Сейме! Согласен, я повезу. Но я вам скоро предъявлю счет.

Черноглазая подошла к Черноусу. Погладила его рукой по щеке.

— Ладно, — многообещающе улыбнулась она.

Черноус вышел. Софья, искривив лицо, с отвращением плюнула. Топнула ногой.

— Носорог! — Она вспомнила любимое словечко мужа. — Носорог! Хам, потный гайдамака, и туда же.

Она метнулась к дверям, настежь открыла их, и даже крепкая струя холодного воздуха, хлынувшая с улицы в особняк, не в силах была успокоить ее.

Чубатый, вскочив в седло, тронулся широкой рысью на окраину города.

За ним, окутанные мраком, двигаясь не дорогой, а рядом, целиной, чтобы заглушить удары копыт, неотступно следовали кузнец Перчик и разведчик Гаманец.

45

Много потрясающих событий и перемен произошло в разведывательном дивизионе в ночь на 19 августа, накануне второго, Стрыйского рейда.

Перчик с Гаманцом, получив еще с вечера секретное задание Квитеня, неотступно следили за Черноусом. Самойло, узнав, в чем дело, со всем рвением человека, стремящегося везде и всюду показать свое превосходство, старался как можно лучше оправдать доверие начальства, которое не очень-то давно он иначе не величал, как «комиссаром паники». Для кузнеца же вся

эта история, задевшая его за живое, представляла не что иное, как дело чести. При некотором прояснении кое-каких обстоятельств он сможет воздать по заслугам не только злейшему врагу Советской власти, но и своему личному недругу.

Основательным толчком всему делу послужило возвращение в дивизион одного из малозаметных земляков Перчика — подносчика патронов, поступившего добровольцем во взвод Балабана еще в Чабанах. Когда его ранило в памятных для всех разведчиков Михеринцах, казаки, простившись с ним, говорили между собой: «Отвоевался Юрко. Теперь, как герой Червонной Армии, застрянет в Чабанах, обратно до хлеборобства вернется». Но тот, кто хоть неделю провел в горячих делах с червонными казаками, уже срастался с ними навеки. И подносчика патронов, поправившегося после ранения, неудержимо потянуло к своим боевым братьям. Когда в теплушке, когда на случайной подводе, а где, с горечью стирая подметки новых сапог, пешком, Юрко Дубенко все же нагнал все время уходивших из-под его носа разведчиков.

В своей сотне встретили его радостно ребята из родных Чабанов. Кормили наперебой галетами и шоколадом, которыми были полны походные вьюки казаков после захвата в Перемышлянах большого обоза легионеров. Подносчик патронов битый час передавал поклоны от земляков и рассказывал сельские новости. Полевая почта в то время почти не работала, и чабановцы впервые от Юрка узнали все, что происходило в селе после того, как они, став в ряды Червонного казачества, покинули его. Председатель ревкома, несмотря на страшную занятость, черкнул несколько строк от себя. Курочка, друг детства Антона, — ему было адресовано послание из Чабанов — читал письмо вслух.

— «Здорово, Пантюша, — начал он, — поклонов тебе от всех полный лантух. Пересказывать не буду, тороплюсь. Отправляю последние хвостики продразверстки. Сейчас все касаемое Чабаны сдают нашей державе полностью, и еще с добавком. Как взяли к ногтю старого Ушняка и разогнали его кубло кого куда, дело наше двигается в ход. Дошло до нас и про ваше геройство. Молодцы, чабановцы. Добейте до ноги легионцев и поскорей вертайтесь. Дел всем хватит. Постарайтесь там, все даже просим, прикончить и отросток на-

шего неимоверного гада — Семку, или, как он теперь зовется, Симона Ушняка. Как вы его пужанули под Проскуровом — знаем. Жаль только, что тот ваш Гаманец окалечил его на один глаз. Что касаемо его хвастанья, что меня ихние бандюги побили в живот, — то это брехня. Правда, пришлось мне от них чесать — застукали одного на дороге, чуть чиркнуло меня пулей. А в какое место, того в письме стесняюсь писать. С неделю пришлось и писать, и жрать стоя. А потом и это прошло. Зажило, как на кошке. Еще видел я, Пантюша, Христю. Это она пожалела Мотьку Перчика и приняла его до своей хаты. Пацан не ужился с теткой в Вознесенске, сбежал и вернулся в Чабаны. Как и раньше, ходит до кузни, помогает новому ковалю. Христя просила передать Сероштану, значит, вашему...»

На этом, на самом интересном, месте Курочка прервал чтение. Шурка затрубил «По коням», и разведчики, послушные команде, кинулись к своим лошадям. Дивизион продолжал движение на запад. Юрко, прежде чем отправиться к своей тачанке на старое место подносчика патронов, протянул Перчику пакет со словами:

— А это, Шлемка, Антон посылает самолично тебе. Взяли в бумажнике у старого Ушняка.

Перчик, забравшись в седло, разорвал конверт. Достал из него помятую, в трещинах, фотографию. Увидя снимок, кузнец затрясся, побледнел. На фоне плетеного, усыпанного снегом тына он увидел картину, которую не забудет до самой могилы... На окровавленном снегу с торчащей вверх бородой лежал его зарубленный отец. Неподалеку, в длинных чумарках, в серых смушковых шапках, пьяно улыбаясь, торжествующе, стояли оба Ушняка — отец и сын. А над жертвой, придавив ее сапогом, с черным от крови клинком — сам палач, молодой, тонкий хорунжий с отпущенной, как видно для солидности, русой бородкой.

Кузнец, опустив поводья, пристально всматривался в снимок. Затем, словно чем-то осененный, поднял руку, заслонил ею бородку хорунжего. Наглые глаза петлюровца напомнили ему многое. Перчик побледнел еще сильнее. И всю дорогу, сам не свой, то засовывал снимок в складку привьюченной к передней луке шинели, то снова доставал.

— Что случилось, дружище? — спросила его Ганка.

— Да так, ничего, — отвечал расстроенный боец.

В Свирже, улучив удобную минуту, разведчик остановил комиссара дивизиона. Отозвал его в сторону. Показал снимок. Запинаясь, доказывал:

— Это он, чтобы я так увидел своего братика Мотю, это он! Хорунжий Супрун! Вот закройте так вашей рукой эту паршивую бородку. Чтобы нам дойти всем до Львова, это он!

Вот тогда-то Квитень, вызвав к себе Балабана и Гаманца, дал им задание — не спускать глаз с Черноуса.

И вот сейчас, следуя неотступно, как тени, за чубатым, кузнец с Гаманцом очутились у ограды спиртного завода. Привязав лошадей у коновязи, крадучись кошками, направились в глубь двора, к тускло освещенным окнам ветхой хибарки. Заглянули в окно. То, что они увидели, заставило их поторопиться. Они ворвались в тот момент, когда толстый, как цистерна, пан двумя дрожащими пальцами поднес к лампе какую-то бумажку.

Казак одним прыжком очутился возле стола, выхватив из рук толстяка наполовину сгоревшую записку. Сунул ее в карман.

— Что вы делаете, хлопцы? — заревел Черноус, доставая наган.

— Руки вверх! — скомандовал Гаманец.

Пан ударом кулака сшиб лампу. Грянул выстрел. Погрузившееся во мрак помещение озарилось мгновенной вспышкой, и вновь стало темно.

— К дверям, Шлемка! — перекрывая зычным голосом звериный вой раненого пана, крикнул Самойло. — Взять живьем!

Схватив вражеского лазутчика, разведчик изо всей силы толкал его к дверям, где стоял кузнец.

— Хомутай его правой рукой!.. Живей, раззява, живей... а левой хватай за петельки!..

Бойцы, повалив Черноуса, связали его поясами. Гаманец поднял лампу. Зажег огонь. Ткнул ногой неподвижное тело толстяка.

Тяжело дыша и вытирая потный лоб папахой, Самойло нагнулся над связанным:

— Ну, панский наймит, посмотрим, шо у тебя там, в твоих широких кишенях...

В карманах Черноуса нашли только три плитки шо-

колада. Чистый носовой платок засунули обратно в карман гимнастерки.

— Шо, берег? — злорадно рассмеялся помощник взводного. — Пригодится тебе, петлюра, подтирать сопли, как станешь под дуло.

— Если б я эту собаку встретил в бою, — сказал, дрожа от гнева, Перчик, — я б его посек, как он посек моего батька!..

— Ничего, хлопче, не порубаешь ты, я это сделаю... Только попрошу тебя, Соломон, ты мне специально притупи шаблюку... пусть вспомнит, как мучил твоего старика...

— Товарищ Гаманец! — жалобно прохрипел связанный.

— Я тебе, христопродавец, не товарищ, твои товарищи лижут Пилсудскому зад...

— Ладно, Самойло... Что тебе стоит... Я сукин сын... Прихлопни меня из нагана... Ради христа... — Черноус, подтянув связанную руку, сделал попытку перекреститься.

— Ишь чего захотел. От пули каждый из нас, честный боец, может позбавиться жизни. А для таких подлецов пуля-то — великая честь. Собаке — собачья смерть. Стой, стой, это шо у тебя? — воскликнул разведчик, устремив изумленный взгляд на обнаженную грудь петлюровца.

Перчик, у дверей еще схватив Черноуса за петельки, разорвал ему гимнастерку до самого пояса. Самойло опустился на колени, снял с тонкой шейной цепочки, висевшей на груди Черноуса, золотое кольцо. Поднес его к свету, повертел в руке, надел на свой мизинец.

— Тут и зверюка на нем какая-то, — забормотал под нос разведчик, — не то тигра, не то бык, а голова бабы...

Поручив третьего коня Перчику, Гаманец перекинул связанного шпиона через седло и доставил его в штаб. Ганка, давно подозревавшая в Черноусе чужака, подошла к связанному хорунжему, содрала с его фуражки красную звезду:

— Не позорь нашу кокарду, паразит!

Вскоре в помещение нельзя было протолкнуться. Узнав о разоблачении Черноуса, разведчики, невзирая на поздний час, хлынули туда толпой. Заспанный, явился и Терентий Борщ. Необычно волнуясь, протиснулся

сквозь гурьбу казаков и, на ходу сжимая кулаки, нанес страшный удар чубатому.

— Ну-ну, брось! — остановил его Балабан. — Никаких самосудов. Придет комиссар — он скажет, что с ним делать. Паразит от суда не уйдет.

— Со Збруча еще думаю — элемент! В Чабанах это он законопатил мне рот сопливым носовиком!

— Эх ты, «отдай теля», — усмехнулся Гаманец, — побереги свои кулаки для бабы. Тогда она, может, и вернет тебе теленка.

Борщ вынул из кармана замасленную тряпку. Развернул ее:

— Вот, глядите, будь ласка, на память осталась.

Гаманец, пошарив в карманах Черноуса, извлек платочек. Сравнил его с тем, которым продолжал потрясать Борщ.

— Ну да, — зло посмотрел он в сторону шпиона, — как родные братья. Значит, это ты вызволил тогда Ушняка? А ну тряхни языком, панский выскребок.

— Товарищи, — обратилась Ганка к бойцам, — глядите на этого гада и будьте начеку — ходят еще среди нас отпрыски...

— Что здесь происходит, товарищи? — раздался голос Сероштана. Бледный, взъерошенный, в распахнутом мундире, он вошел в вестибюль через полураскрытую дверь столовой.

— А мы думали, товарищ командир, — ответил Балабан, — вы там еще, в Сарниках.

— Ларион, — грустно посмотрел на взводного Сероштан, — я уже не ваш командир. Дивизионом будет командовать товарищ Квитень. Вы сами знаете, он поведет вас в бой не хуже меня...

— Как так? Почему? Через кого? — раздались голоса разведчиков, оставивших без внимания Черноуса.

Сероштан вяло улыбнулся:

— Это, товарищи, приказ самого Шостака. А он, вы знаете, этим не шутит.

— Судьба играет человеком, — с досадой в голосе сказал Гаманец.

— Вот именно, Самойло, — согласился с ним разжалованный командир.

— А вы? — с болью в голосе спросила Ганка. — Куда же вы, Федор Иванович?

— Я, Ганночка, — посмотрел на нее ласково Серо-

штан, — держу еще крепко клинок в руках. Думаю, вы не откажетесь принять меня в свой круг. И вот вашего сотника попрошу об этом. Примешь меня, Ларион?

— Я не сотник, а взводный. А вообще-то с открытой душой.

— Нет, Ларион, Шостак назначает тебя на первую сотню. А ваш сотник пойдет к Квитеню комиссаром.

Пока разведчики, слушавшие Сероштана, оставили в покое Черноуса, он передумал о многом. Так долго работать без всяких помех — и вдруг оказаться разоблаченным! Даже этот выродок, который неоднократно ему говорил, что где-то видел его, дальше этих заявлений не шел. «На чем же все-таки я поскользнулся?» — перебирал чубатый в памяти события дня. Он знал, что многие агенты, не раскрыв себя в крупных делах, проваливались на мелочах. И надо же было ему сунуться в самое пекло! Сидел бы он сейчас в землянках Ушняка, потягивал самогон и получал бы субсидии от батьки Петлюры, как и все атаманы и атаманчики. Сам полез на нож... Сколько времени ходил по острию его лезвия... и сорвался! Не согласись он поехать с поручением черноглазой на спиртной завод, и все обошлось бы. «Хорошо еще, — подумал кулак из Супруновки, — что в горячке этот рябой дьявол засунул записку в карман, а сейчас в суматохе забыл о ней...»

И тут, словно по интуиции, об этом же подумал Гаманец. Вынув из кармана полуобгоревшую бумажку, казак развернул ее на ладони, поднес Сероштану:

— Читай, Федор Иванович...

— «Все огню...» — прочел Сероштан. — И еще подпись осталась: «Сфинкс».

— Это верно, шо собирались они сделать большое свинство, — раздумчиво сказал Гаманец, — подписался бы тот гад просто «свинья», а то с какой-то закорюкою — «свинкс».

— Не свинкс, Самойло, — разъяснил ему Сероштан, — а сфинкс. Вот как на твоем кольце.

— Так этот перстень я взял у Черноуса. — И тут, что-то вспомнив, Гаманец вдруг стукнул себя изваянием сфинкса по лбу: — Это все ничего, только я хотел бы, Федор Иванович, повидаться с той, твоей черноглазой. Слыхать, она гостит здесь...

— Ты этот перстень не теряй, — послышался вымученный голос Черноуса. — Это не простой перстень, он

может еще большую пользу принести. Только отправьте меня в штаб дивизии. Там я кое-что скажу.

Чубатый, все еще связанный, решил любой ценой сохранить жизнь. Став невольным свидетелем исповеди разжалованного командира, он сделал для себя вывод, что при всей непринужденности тона Сероштан сохранил в душе обиду. Надеясь и его использовать в планах своего спасения, зная об отношениях Сероштана с Софьей, понял, что в его же интересах при любых обстоятельствах скрывать истинную роль пани Панчохи. И она ведь не зря неоднократно повторяла ему: «Хлопче, ты не пропадешь, будешь, будешь паном...»

— А зачем она тебе... товарищ Гаманец? — несколько растерявшись, спросил Сероштан.

Разведчик повертел перед глазами Сероштана золотым перстнем.

— Подарил я ей как-то еще в Михеринцах один пустячок. Вот аккурат с такой самой штучкой. — Он показал припаянное к кольцу литое изображение сфинкса.

— А за что ты так расщедрился, Самойло?

— Хотел за что-то, а получилось за ничего... Просто так, по дурости...

Разведчики, следившие с напряженным вниманием за беседой, раскатисто засмеялись:

— Ну и черт! Ну и батько Махно! Ну и мастер на всякие хвокусы!

— Захотела кошка молоко, да рыло коротко, — громче всех смеялся Панас Бунчук.

— Зовите, зовите ее сюда, — настаивал Гаманец. — Мы ей ничего такого не сделаем. Только перекинемся двумя-тремя словечками, и, в том числе, сличу обе эти штучки.

— Ладно! — согласился Сероштан и направился в комнаты.

Когда тяжелая дубовая дверь с протяжным визгом закрылась за Федором, Бунчук, вздохнув, обратился к разведчикам:

— Знаете, хлопцы, что я вам скажу. Жаль мне Сероштана. И все через то, я так понимаю, что его потянуло к бабе не нашей категории. Я сам чуть не погорел на таком деле... Да, чуть не погорел...

— Взял бы да исповедовался перед товарищами! — послышались голоса разведчиков.

— Что ж, — продолжал Панас, — можно! Вот слу-

хайте... Понравилась мне как-то одна миркизетовая мамзелька — дочка почтмейстера. Заведовал он почтой на Журавлевке в Харькове, а по фамилии звался Козюля. И нельзя сказать, чтобы из денежных был, но все же полупанок. Носил мундир с золотыми пуговицами. Получал пятнадцать карбованцев в месяц. А я у Гельфериха-Саде уже четвертную выгонял.

Стал я пришлепывать за молодой Козюлей. В биоскоп ходили вместе. Домой начал к ним заглядывать, знал, что старики ищут для дочки чиновника, из своего же класса. Я одевался подходяще. Имел суконную тройку, твердую шляпу — котелок. Чтобы не спугнуть стариков, назвал себя страховым áгентом. Но белых перчаток никогда не снимал, потому как та чертова окалина насквозь проела кожу. Кто из вас по металлу — знает, что это значит. Все идет у нас ладно. Молодая Козюля уже совсем прилипла до меня. Думаю — пора раскрываться. А главное — понадеялся на миркизетовую мамзель, думал, она потянет мою сторону. Как раз давали новогодний бал в купеческом собрании. Старики разжились билетами на всех. Разоделась моя Козюля в белый миркизет, а сама как цветочек. В косе большой бант, а коса у нее была до самых колен. Ну и я при всей гражданской форме. Даже мохнатую хорзантему приколол до борта. Парочка дай бог всем. На радостях немного принял вовнутрь. Ну и весь вечер крутились мы с Козюлей по скользкому паркету под гарнизонный оркестр. Радости было и не сказать. Думал — нет счастливее меня человека на свете. Кончаем мы это с ней мазурку и идем до стариков. Вижу — господа глаза таращат на спинку Козюли. Горжусь: значит, любуются ее косой. А вышло совсем иное... Моя Козюля аж румяная от танцев. Конечно, кое-чего я ей шептал на ушки, пока кружились. А тут ей как садиться, повернулась она затылком к мамаше. Та как ахнет. Решил — со старухой удар приключился. Но она и не думала про тот удар, а так взглянула на меня — зверь зверем! — и говорит, нет, не говорит, а шипит подколодной змеей: «А ну, господинчик страховой áгент, снимите-ка ваши роскошные перчаточки».

Я взглянул на ту белую свою роскошь, а все ладошки будто в мазуте плавали. Перевел я свои бесстыжие глаза за спину Козюли, а там, как будто припечатанная, черная пятерня на весь миркизет. Значит, как вспотел

я от шибкого танца, вся окалина, что собрал я за пять лет у Гельфериха-Саде, и вышла с тем потом... Ну, тут же мне вышла полная отставка, от ворот поворот, а Козюля даже не посмотрела на меня. С тех пор я и глядеть не могу на миркизетовых мамзелей.

В вестибюль, сопровождаемый Перчиком, вошел, таинственно улыбаясь, Виктор Пуантю. Приблизившись к Черноусу, достал из кармана бутафорскую русую бородку. И, словно перед ним сидел не человек, а манекен, поплевав густо на изнанку бороды, приклеил ее к мелко дрожавшим скулам петлюровца.

Отступив на шаг, вытянул в левой руке снимок, привезенный из Чабанов Юрком Дубенко, и начал его сличать с оригиналом.

— Ню, коман, как? — посмотрел сотенный Фигаро на разведчиков. — Чохнеус? Я дафно дюмал — это плехой шеловек...

Сероштан, обойдя все комнаты, обшарив все закоулки, Софьи не нашел. Когда Федор, привлеченный шумом, вышел в вестибюль, она притаилась за дверью. Как только до ее ушей донесся разговор о сфинксе, «учительница», ступая на носках, проскользнула в спальню. Там, тихо раскрыв окно, спустилась в сад и, пробираясь меж густых яблонь, вскоре исчезла в одном из глухих переулков сонного города.

Квитень, получив задание от самого Шостака, вел взвод разведчиков на станцию Выбрановка.

Справа и слева молчаливыми зрителями застыли громады темных лесов. Пласт густой ночи навалился на дорогу, небо, леса. Впереди виден был лишь кусок дороги в несколько метров, и кони сами, где нужно, умеряли горячий свой ход.

Пять километров, которые отделяли город от станции, отмахали менее чем в полчаса. Остался еще один километр на юг вдоль полотна, где находилась цель вылазки. Вот она, смутная громада насыпи, а там, дальше, чуть выделяясь на темном фоне неба, чернели ажурные переплеты мостовых ферм.

Взвод молча спешился с мокрых, покрытых густым мылом лошадей. За Выбрановкой то и дело вспыхивали розовые зарницы и глухо гудели редкие артиллерийские выстрелы.

Люди, увязая в болоте по самые колени, двинулись вперед. Подрывники, тяжело дыша, тащили на голове громоздкие пакеты динамита.

Бунчук, сдав лошадей коноводам и не выпуская из вида комиссара, тронулся вслед за цепью. Разгоняя страх, рождавшийся мраком и неизвестностью, болтал вполголоса, развлекая товарищей:

— Вот и снится пану сон — в драку лезет эскадрон.

Чей-то приглушенный голос оборвал неунывавшего казака. Малейший шорох вырастал в препятствие, любой звук —в барьер по пути к намеченной цели.

С каждым шагом дно становилось все более вязким. Кое-кто брел уже по пояс в воде. Прошли тягостные полчаса, а мост, словно заколдованный, маня к себе людей, все отступал и отступал в синеватую даль.

Пришлось вернуться назад. Угрюмо, молчаливо выходили бойцы из трясины. Старались не смотреть друг другу в глаза. О чем их комиссар доложит начальнику штаба? Туго придется завтра дивизии от губительного огня бронепоездов.

Совсем близко, на насыпи возле села Хлебовицы, в будке стрелочника, мерцал огонек. Квитень направился в помещение. Перепуганный обходчик без особых препирательств согласился выполнить просьбу начальника отряда.

Среди обязательного инвентаря будки комиссар успел заметить засиженный мухами, выцветший портрет Франца-Иосифа с душещипательной надписью:

Боже, буде покровитель цісарю й його краям.
Кріпкий вірою правитель мудро най проводить нам.

Во главе с проводником взвод тронулся в путь... Снова вязкая жидкость засасывала ноги бойцов. Снова шелестел, рождая страх и опасения за успех операции, беспокойный камыш.

Вот и стена крутой насыпи. Разведчики ступили на твердую землю. От динамитчиков серыми клубами валил густой пар.

Молча шел проводник, едва выделяясь в темноте белизной домотканых штанов. Гуськом осторожно следовала за ним натянутая, как пружина, цепь боевиков. Скоро, скоро блеснет заря, а моста не видно, моста все еще нет. Выросла впереди узкая колонка семафора, силуэты блоков, железнодорожных столбов.

Квитень остановил проводника:

— Где же мост?

— Мне самому дивно, же нема моста.

— Я спрашиваю, где мост?

— Да, да я...

— Вот семафор, — указал проводнику Квитень, — стань возле него и укажи, в какой стороне мост.

Ошеломленный будочник поворачивался то на север, то на юг, отводил одну руку к семафору, другую в темную даль, примерял, ориентировался.

— Так мы ж на станцию идем, — ударил себя по лбу обходчик, — голова закружилась, пан комендант. Ей-бо, присей-бо, пан Езус, голова закружилась...

— Из-за тебя нам всем пропадать, что ли?..

— Так я ж сам... Мы ж ждали вас, пан бог видит, как мы вас ждали. Да разве я думал против своих, да что вы... я бедный хлоп...

Отряд двинулся в обратную сторону. Квитень смотрел на подпрыгивающие узкие плечи проводника, и здравый смысл подсказывал ему: нет, здесь не подвох. Но эта простая потеря ориентации, вызванная страхом и необычностью обстановки, могла обойтись недешево и его взводу, и всей дивизии...

Вскоре показалась высокая надстройка моста и возле нее неподвижные силуэты часовых. Разведчики с зажатыми в зубах клинками, ползком, по-пластунски, двинулись к черневшим на берегу устоям.

Мартын Бубна, напялив на голову конфедератку, шел во весь рост по насыпи.

Посерело небо. С болота повалили густые испарения гниющих вод. Липкий пот проступал на руках, ногах, на всем теле. Где-то тупо гудели удары орудий и гранат.

— Кто идзе?

— Свои, свои, панове. З пулку подхалянцев. От большевицев тикам.

Вскарабкавшись по откосу, за спиной мнимого подхалянца вырос Курочка. Уцепился в горло часовому, другого прибрал Бубна. Хотя военкомдив Павловский велел пленных не убивать, но сейчас, когда каждую минуту могли появиться бронепоезда, отряд не стал обременять себя лишней обузой.

Бубна, припав на колени, приложил ухо к рельсу, вслушиваясь в смутный гул, катившийся со стороны Выбрановки.

И вдруг высоко в светло-голубое небо с гулом и треском взвился огненно-черный фонтан. Страшный грохот, как июльская гроза, прокатился вдоль линии железной дороги. Бурные его шквалы, нагоняя друг друга, пронеслись на Бибрку, отдаваясь многократным эхом в глухих ее лесах.

— Слава пану Езусу! — неистово крестился будочник, пятясь задом от страшного зрелища.

46

День 19 августа страшной тревогой ворвался в город Львов через провалы Бибрских и Золочевских ворот.

Вялым шагом, с понуренными головами, как на убой, шла на передовые позиции бригада львовских добровольцев.

Итак, на фронте будет десять пехотных и три кавалерийских полка. В резерве остался всего один полк.

Эти данные доставил из Львова отправленный туда особым отделом Гаманец, показав на одной из явок Панчохи по улице Мстислава Удалого перстень со сфинксом.

Настежь открыты все храмы, церкви, синагоги. Днем и ночью гудела медь колоколов, не умолкали костельные органы, исполнявшие торжественную мелодию «Ave Maria».

На костелах доминиканцев — по Бляхарской улице, бернардинцев — по Сербской, иезуитов — на Рутавского, на углах, вокзалах, на каждом столбе, на Пороховой башне висели плакаты с черной рукой: «Подпишись на заем возрождения».

На площадях толпился очумелый народ. Попы, ксендзы, раввины, депутаты сейма, профессора, торговцы и учителя — все вылезли на амвоны и наспех сколоченные трибуны и занялись ловлей доверчивых душ.

— Русские генералы и немецкие офицеры ведут орды москалей, башкир, латышей! — надрываясь, кричали они.

— В стенах Львовского университета будет раздаваться дикая русская или гайдамацкая речь!

— Твою земельку, коровенку и лошаденку отберут большевици...

— У тебя, гражданин Львова, русский казак заберет жену и дочь, и никто тебя не защитит, ибо так велит их закон!

— Неужели мы позволим, чтобы миллионы русских переселенцев, которых большевики хотят посадить на галицкие земли, отобрали наш нажитый веками очаг!

Социалисты выходили на те же трибуны. Они взывали к трудящимся осажденного города:

— Большевики не хотят свободной демократической Польши!

— У нас во главе правительства хлоп Витос, а с ним рядом Дашинский — посол рабочих!

— Поддержи же, польский трудящийся, рабоче-крестьянское правительство против большевиков!

Все без различия партий орали:

— К нам приехал Вейган! Вейган приехал — ближайший помощник великого Фоша, разбившего железные кайзеровские полки!

— С нами Франция!

— С нами весь мир!

— Виват Вейгану!

— Смерть большевикам!

Сколько доверчивых душ было отравлено в эти августовские дни 1920 года! Как загипнотизированные, одураченные шовинистическими крикунами, жители Львова шли толпами в пасть очковой змеи.

Школьников не уговаривали. Всем, кому исполнилось четырнадцать лет, заявили: «Винтовку или увольнительный билет».

Добровольческий центр майора Мончевского впитывал в себя сотни людей и, прогнав их несколько раз по притихшим майданам города, формировал из них команды и затем вышвыривал на фронт. Их же гнали на оккупацию вокзалов, почтамтов, банков, телеграфа, на неблагонадежную Русскую улицу и в беспокойные кварталы рабочей нищеты. Добровольцы охраняли тюрьмы, до отказа набитые львовскими рабочими и коммунистами.

Пролетарии, которые не захотели идти в формируемый социалистами львовский «красный» легион, гнили в казематах.

По шести из девяти действовавшим железным дорогам и шести из восьми незанятым шоссе учителя, гимназисты и кулаки из Жолквы, Равы-Русской, Яворова,

Городка, Самбора, Николаева и Бибрки спешили на помощь осажденной столице.

С утра к двум не закрытым еще вокзалам потянулись вереницы экипажей, фаэтонов, подвод, пеших, перегруженных чемоданами, узлами людей. На перемышльском вокзале беженцы каждый дюйм брали с боя. Тысячи обезумевших людей уже в 8 часов 30 минут атаковали первый поезд. Котелки, панамы, тирольки, тросточки, чемоданы — потери небывалого сражения — валялись по всему перрону.

Несколько снарядов, пущенных 6-й кавалерийской дивизией Буденного, упало на привокзальный майдан. Толпа рванулась к ступенькам, буферам, окнам вагонов. Она смяла, затерла станционных жандармов.

Задребезжали, как лафеты орудий, металлические шторы. В жутком страхе захлопывались ставни домов, домишек и особняков. В полчаса замерла вся торговля огромного города.

К полудню в смятении двинулась на юго-восток, на станцию Винники, вокруг которой раскинулись роскошные виллы львовских магнатов, последняя надежда командующего — добровольческая бригада Мончевского, усиленная дивизионом французских броневиков.

Бессарабцы начдива Бунара теснили своими девятью полками две дивизии интервентов вдоль причудливо переплетавшихся магистралей — железной дороги и шоссе Туркоцин — Львов.

Тяжелые бронепоезда и американские летчики громили показавшуюся со стороны Унтерберга советскую пехоту. Сорок девять вылетов совершили в тот день пилоты из дивизии американского майора Фаунта Лероя.

Но не устрашить славных бессарабцев бомбами самолетов и гранатами бронепоездов. Разве не они крошили румынских бояр на Днестре, били Петлюру и Деникина под Одессой, осуществили первый в истории времен и народов пехотный рейд, знаменитый поход Южной группы войск в тылу белых от Одессы к Житомиру? Разве не громили они Юденича под Петроградом? Не они совершили поход от Белой Церкви к Збручу, от границы к Тараще и от нее к великолепным просторам Галичины?

Золотые, опаленные солнцем поля стонали под ударами тяжелых гранат.

Смуглый, тонколицый начдив, бессарабец Бунар, появлялся то на одном, то на другом возвышении, и, завидев его, стрелки отважной дивизии, чей бессмертный подвиг был отмечен приказом Ленина, яростнее шли в атаку, громче звенело их бодрое «ура».

После полудня бессарабцы оттеснили упорные, густые скопления врага к львовским укреплениям, воздвигнутым еще австро-венгерским командующим Бруддерманом в 1914 году.

С макушки Замковой горы — с нее видна равнина, где в XV веке кипели битвы поляков с молдаванами, татарами и турками,— командарм Ивашкевич, ныне покоящийся в мире на Лычаковском кладбище, из подзорной трубы наблюдал за боем, от которого зависела судьба Львова.

Все пространство вокруг Винников и Унтерберга заполнилось черными взметами разрывов и белыми дымками шрапнельных султанов.

Усилился натиск беженцев на перемышльский вокзал. Заметались по оживленным улицам города одиночки легионеры. В темных и тесных подворотнях скопилась масса брошенных винтовок и патронташей. Новенький мундир отдавали за любое гражданское тряпье.

В последнее время, особенно с 13-го по 19 августа, когда дивизии 1-й Конной армии и Золочевской группы обложили с двух сторон Львов, жандармы-пилсудчики изловили в городе сотни дезертиров — «лазиков». Ежедневно их в открытую казнили на Замковой горе.

Обыватели хлынули в подвалы и погреба. Под сводами монастыря святого Онуфрия, где хранится прах первопечатника Ивана Федорова, нашло убежище русское население ближайших улиц.

Дальновидные торгаши раскапывали старые, на русском языке вывески, сохранившиеся еще с 1914—1915 годов.

Из Львова потянулись пестрые обозы на Яворов, Городок, Самбор. У городских ворот преградила им путь толпа дезорганизованных легионеров. Полетели в придорожные кюветы беженцы вместе с их скарбом. Солдаты с диким визгом полезли в панские экипажи.

— На Наварию, а там до николаевского лясу...

— Бунтовщики! Воры! — шумела озверевшая толпа.

— Мы вас защищаем, а вы шматье свое спасаете, пся мать, пся отец! — кричали в ответ пилсудчики.

Затрещали поднятые в небо винтовки. Первая пара коней дернула, и шумная колонна весело помчалась на запад по широкому шоссе.

В десяти верстах от Львова рота охотников, сколоченная из ходоровских мещан и вызванная по телефону из Ширца, на нескольких грузовиках нагнала дезертиров. Действуя прикладами, вышибла легионеров из экипажей, обезоружила, загнала в кюветы и зверски их расстреляла.

Такая же участь постигла 14-й пехотный полк, взбунтовавшийся под Варшавой. Краковские добровольцы — верующие католики — беспощадно истребили весь состав восставшего полка. Во имя отца, сына и святаго духа... разумеется!

Вечером, во время обхода измотавшихся под Унтербергом и Чишками полков, начдиву Бунару вручили телеграмму Реввоенсовета 1-й Конармии:

«Расставаясь с доблестными частями вверенной Вам дивизии, Реввоенсовет просит принять от него самое искреннее товарищеское спасибо за Вашу работу в рядах вверенной нам армии. Красным бойцам, командирам и комиссарам передайте от имени революции благодарность за честную и верную службу коммунистическому Отечеству. Буденный, Ворошилов».

Вместе с этой телеграммой, тронувшей его до глубины души, Бунар получил сообщение, что 1-я Конная армия круто прервала бой за Львов и двинулась с утра 20 августа к Замостью.

Начдив полез в узкий карман выцветшей солдатской гимнастерки, достал папиросу. В глубоком раздумье покрутил ее меж пальцев, хотел взять в рот, но она, в волнении измятая им, оказалась пустой.

Темно-коричневое, опаленное солнцем лицо начдива сделалось суровым. На западе, дразня вечерними огнями, раскинулся близкий и недосягаемый город.

«И здесь кинули, и туда не поспеют», — пронеслось в голове Бунара.

— Машину! — распорядился он.

Через двадцать минут во дворе одной из примостившихся к шоссе почтовых станций, где находился полевой штаб дивизии, Бунар скомандовал радисту:

— Шостака! Во что бы то ни стало дайте мне дивизию Шостака!

Подтянутый, высушенный солнцем и ветрами войны, ходил начдив Бунар, после Блюхера награжденный орденом Красного Знамени № 2, вокруг высокой двуколки искровой станции. Порывисто останавливался. Намечая в уме план завтрашнего боя, разворачивал трескучие листки десятиверстки.

— Может, вам армию, товарищ начдив? — спросил радист.

А зачем ему армия? Зачем ему командарм Молчанов — самое инертное и тупое, что мог воспитать царский генштаб, Молчанов, распыливший у самых львовских ворот бывшую в его, Бунаровых, руках Золочевскую группу... Не случись этого, разве тревожился бы он за судьбу завтрашнего боя?!

— О чем вы мне говорите? При чем тут армия... ежели мне нужен Шостак?!

Сильнее заработала рука радиста. Обильный пот выступил на его молодом лице.

— Не отвечает, товарищ начдив. Вот уже два дня, как не откликается восьмая кавалерийская.

— Тьфу! — плюнул Бунар и впервые за всю кампанию, вопреки своим твердым канонам, правда лишь про себя, многоярусно выругался.

Подрумяненные закатом сумерки вызвали в сердце глухую тревогу. Меж редкими перелесками на сквозных, облысевших полях передвигались, завершая безуспешный бой, стремительные цепи пехоты.

Сердитым, твердым шагом направился начдив Бессарабской в штаб, чтобы наметить новые пути для своих неутомимых полков.

А в сорока километрах к югу, отделенная от 45-й Бессарабской сплошным массивом бибрских лесов и скалистыми изгибами Туркоцинских высот, после тяжелого дня остановилась на ночлег 8-я кавалерийская дивизия.

Так же как и в Унтерберге, в небольшой деревушке, в двух километрах от Днестра, рука молодого телеграфиста, тщетно посылала в эфир позывные сигналы.

Чистый, вымытый, подстриженный и тщательно выбритый, с легким загаром на щеках, бодрой походкой приблизился начдив.

Все полки точно выполнили дневные задания. Но так хотелось сообщить армии об успехе дивизии, о сотнях

захваченных в плен и в то же время поздравить 45-ю дивизию со взятием Львова!

Но эфир упорно не откликался.

Шостак, нахмурив лоб, направился в душистый сад ксендза, чтобы вместе с Нежинским, несколько вялым на отдыхе и неутомимым в боях, наметить пути на завтрашний день. Он знал: сейчас, в данный момент, вокруг Бржоздовцев, в ближайших селах, недалеко от железной дороги Галич — Львов и вблизи Днестра отдыхают, готовые к подвигу, послушные ему, как дети, сотни, полки.

А в Унтерберге неутомимая рука телеграфиста всю ночь безрезультатно искала в эфире дивизию Шостака.

Трепетали в глубоком августовском небе далекие холодные звезды. Постепенно замирала глухая возня уставших разведчиков.

В штабах не угасали огни. Догорала свеча, и ее, как часовой часового, сменяла другая свеча.

Где-то топали одиночные всадники, слышались у коновязей нестрогие окрики дневальных, бряцали трензеля разнузданных лошадей. Проскочил ординарец на огромном коне, с прыгающей за локтем пикой.

Сероштан, разжалованный за срыв важного задания, получил направление в 5-й полк к Чалышеву, так как Шостак не счел удобным оставлять его в той части, которой он командовал. Через Павловского — комиссара дивизии — Федор попросил оставить его в сотне Балабана.

Отправляя его из Сарников, Шостак заявил:

— Вас следовало бы расстрелять, как сотника Мозгового.

— Но я же не насиловал женщину, как он...

— Не хватало еще этого, Сероштан... Учли и вашу проверенную во многих боях личную храбрость...

Старательно неся службу рядового бойца, разжалованный командир, вспомнив свои первые шаги в Червонном казачестве, старался стать со своими товарищами по строю на равную ногу. Но если тогда, в 1919 году, они вначале сторонились его, как бывшего офицера, то сейчас бойцы, не забыв еще его властного голоса, как-то стушевывались перед ним. Только один Балабан относился к нему, как и раньше, по-дружески. Да и Ганка,

копируя во всем нового сотника, не оставляла без участливого внимания бывшего соратника и командира.

Сероштан, отправив не положенного ему теперь вестового в строй, сам, вооружившись скребницей, круглой щеткой и суконкой, до блеска начищал своего коня. Вот и сейчас, протирая холку Бекеша, он вспомнил трогательный привет Христи, переданный ему Курочкой. Она сообщала, что не забывает обещания Федора заехать на обратном пути в Чабаны. И Христя не отвернется от Федора Ивановича, каким бы он ни вернулся.

На эти воспоминания, до глубины души взволновавшие его, набежали тревожные мысли о Софье. Тогда, когда он вернулся из Сарников и сообщил ей о решении Шостака, она, вырвавшись из его объятий, затряслась от гнева:

— Как он смеет героя, кавалера боевого ордена...

Как ни успокаивал ее Федор там, в купеческом особняке, она не унималась.

— Послушай, что я тебе скажу, — задыхалась она от волнения и злости. — Я тебя считаю среди ваших командиров самым боевым... Нет, не смейся, не потому, что ты мой, Федя... Но все вы под гипнозом вашего Шостака. Дальше своего носа никто из вас ничего не видит или не хочет видеть. Вот я слышала: в Карпатах, где-то за Болехувом, действуют партизаны. Будь героем, дерзни, Федя, тебя с орденом Красного Знамени карпатские повстанцы будут носить на руках... Давай скорей на коня, уйдем вместе... Я буду твоей вечной рабой.

— Ты сошла с ума, заболела! — Сероштан дотронулся до ее разгоряченного лба.

— Я здоровее вас всех. Пойми. Польша трещит. В горах много «лазиков» из польской армии, много усусов. Им, как и раньше, нельзя возвращаться домой. Объединишь их. Они тебя признают. Ты у них будешь как бог... Пойми, ты сам не сознаешь своих возможностей. Такие, как ты, созданы для того, чтобы властвовать.

— Чтобы я стал дезертиром!.. Что ты мелешь?

— Почему дезертиром, Федя? Ты станешь вождем повстанцев. О тебе зашумят Карпаты. Заговорит вся Галиция, Европа, весь мир. Большевики пошлют своих людей напомнить тебе, что ты их человек. В сравнении с тобой Шостак будет цыпленок. Знаешь, о десяти лояльных командирах не говорят столько, сколько об одном командире-смутьяне...

— Ну еще, говори еще...

— Я сказала все. Хочу, чтобы избранник моего сердца не влачил жалкого существования пигмея, а стал знаменитым народным героем...

— Слушай, детка, этим делом охотно занялся бы ОО.

— А что это за штука — ОО?

— Особый отдел — наша контрразведка.

— Жаль мне тебя, Федя. Вот только не могу со своим сердцем сладить. Скажу лишь одно: привыкшие ползать летать не сумеют... Правильно сказано, — глубоко вздохнула Софья,— люди рождаются друг для друга. Одни — для радости, другие — для муки.

На этом закончился тогда их последний разговор. Привлеченный необычным шумом, Федор, оборвав неприятное объяснение, вышел в вестибюль к бойцам...

С берега небольшой речушки Бибрки доносилась песня галичан-добровольцев, развлекавшихся с деревенскими девушками:

Гей, на горі дубина,
Край дубини долина,
Край долини ставочок,
Край ставочка млиночок,
А в млиночку мельничка,
А в мельнички дві дочки,
Одна зветься Ганнуся,
А другая Маруся,
Одна пішла за пана,
А другая за Івана,
Що за паном — бідує,
За Іваном — панує.

Сероштан, покончив с чисткой коня, спрятал в седельный вьюк щетку, скребницу и, расстроенный воспоминаниями, отправился спать.

47

В пять утра 19 августа конница Шостака — все его полки и части, обогретые первыми приветливыми лучами пришедшего с Родины солнца, раскинувшись широким веером, двинулись на юго-запад и, преодолев с незначительными боями рубеж Днестра, к вечеру вышли на линию Николаев, Журавно.

После ночевки в районе Жидачева дивизия 20 августа, собравшись в кулак, одной колонной, все больше

удаляясь от Львова, направилась к цели, намеченной во время совещания в Сарниках. В этот день изнуренные бесконечными боями защитники Львова и сам командующий 6-й армией генерал Ивашкевич могли легко вздохнуть. Прекратив атаки по всему фронту, 1-я Конная армия, выполняя требование Ставки, устремилась всеми своими дивизиями на северо-запад, к Замостью, уходя все дальше и дальше от столицы Галичины.

Львов, словно завертевшееся от вихря событий колесо судьбы, отбрасывал от себя те силы, которые могли решить исход галицийского сражения: армию Буденного и дивизию Шостака.

Буденного увела на северо-запад тяжелая обстановка, сложившаяся на Варшавском фронте, а Шостака, уверенного в том, что Львов уже пал, тянула на юго-запад заманчивая перспектива революционного взрыва во всем Закарпатье.

Командарм 14-й Молчанов, ошеломленный стремительным ходом событий, не догадался использовать какой-нибудь самолет для поворота 8-й кавалерийской дивизии от Жидачева на Львов.

Пилсудский, решивший пожертвовать Львовом ради спасения Варшавы, мог ликовать. К исходу дня 20 августа его ударная группа, действуя по тылам войск Западного фронта, отжимала большинство его дивизий к прусской границе, а на юге из-за вялого руководства командарма 14-й устоял и Львов.

Увлекаемая ходом событий к Карпатам, 8-я кавалерийская дивизия непрерывной колонной двигалась вперед по имперскому каменному шоссе вдоль зеленых, поросших ракитником берегов Стрыя. Мягкие клубы тумана, плывя над поймой реки, многоцветными жемчужинами оседали на шерсти лошадей.

Далеко на западе, за Николаевом, и на востоке, за линией Галич, Львов, вились в небо кроваво-черные клубы пожарищ. Помещики жгли скирды хлеба и хлевы со скотом, чтобы они не попали хлопам.

Постепенно редея, растаял туман. Высоко поднялось жаркое августовское солнце. С веселым журчанием, омывая гальку, несла на восток свои светлые воды быстрая речушка Стрый.

Всю дорогу, поднимая дух бойцов, играли полковые трубачи. Сменяя их, заливались во всю мощь молодых голосов сотенные песенники. Та же мелодия, которая со-

провождала походы Максима Кривоноса почти три столетия назад, звучала нынче в славных полках Шостака:

Ой на, ой на горі
Та женці жнуть,
А попід горою, яром-долиною
Козаки йдуть...

Шли за разведчиками горячие головы 1-го полка младшего Шостака. За ними — загорелые, широкогрудые пушкари Гандзюка. Потом тяжелые, грузные сотни «батьки» Остапенко. Не отрываясь от них, с песнями, шутками, веселым шумом следовали грозные рубаки Фостецкого, Карачая, Чалышева, Сидорчука.

Ординарческая братва — эти постоянно сменяемые делегаты частей при штабе дивизии громогласно хвастались успехами своих сотен, полков. Всадники Георгиева не могли забыть лихого налета на Ходоров и его железнодорожный узел, охранявшийся легионом пилсудчиков. Красноармейцы Проня жаловались на стойкость Жидачевского гарнизона, где каждого солдата, как клопа из щели, приходилось выковыривать из-за укрытий.

Наиболее трудная задача выпала Сакулину. Его бригаде пришлось клинками пробиваться сквозь густые цепи противника. С упорными боями захватил 5-й полк Чалышева Николаевский укрепленный район, прикрывавший Львов с востока.

Всадники вспоминали убегавших в панике сельских жандармов, станционных комендантов, очумевших помещиков, сотни пленных, захваченных в Жидачеве и Николаеве, и шумные взлеты железнодорожных мостов. Особенно интересны были рассказы чалышевцев об эшелоне стрыйских охотников. Они спешили на помощь осажденному Львову и запросились у 5-го полка на станцию Николаев... Чалышев встретил их дюжиной «максимов». А пленные, захваченные под Николаевом, передушили весь командный состав добровольцев за их пулеметы, подгонявшие армию в бой.

В ясном августовском небе появилось звено самолетов со стороны Львова. Начав заход от николаевского леса, они закружились над растянувшимися в долине Стрыя кавалерийскими полками. Чтобы сбить летчиков с толку, Шостак повернул голову колонны на Журавно.

Двенадцать бомб — весь боезапас самолетов, входивших в состав авиагруппы Лероя, — вывели из строя од-

но орудие Гандзюка с упряжкой и лошадьми, одну санитарную тачанку для раненых вместе с тройкой лошадей и двадцать легионеров из колонны пленных.

Павловский дал Рынве-Рынальскому задачу: отвести захваченных накануне легионеров подальше от колонны, чтобы, очутившись на воле, никто из них не вздумал интересоваться дальнейшим маршрутом полков. На опушке леса под Дашавой Рынва-Рынальский, раскурив с пленниками трубку, произнес речь об их заблуждениях и, взяв с них слово не воевать против братьев трудящихся, пожелал им доброго пути.

И Вальтеру предложили уйти вместе с пленными. Но познанский фельдшер давно уже щеголял в смушковой папахе и чувствовал себя неотъемлемой частицей первой сотни дивизиона разведчиков.

Самолеты, исчерпав свои возможности, взяли курс на Львов. Бригада вновь повернула на юго-запад.

Все новые и новые километры оставались за колонной дивизии. И каждый десяток километров, оставленный позади, давал тысячи союзников впереди.

Боковая походная застава 1-го полка задержала на опушке дашавского леса подозрительного всадника. Сначала он предложил документы землемера из Бибрки, а потом, присмотревшись к казакам, назвал себя большевиком и потребовал, чтобы его срочно доставили к комиссару дивизии.

Настюк, вернувшись из Дрогобыча и препровожденный по его настойчивому требованию к Павловскому, доложил, что им установлена связь с революционным подпольем. Друзья Коцко, осужденного за дрогобычское восстание 1919 года, сообщили ему, что дефензива сильно опустошила их ряды. Но кое-кто еще держится. И не только держится, но и действует. Хотя часть бориславских и дрогобычских нефтяников и идет за националистическими лозунгами полупетлюровской газеты «Вперед», но все же подпольщики добились того, что рабочие не дали вывезти ценное оборудование нефтеочистительных заводов Линденбаума — австрийского подданного и всесильного царька на Дрогобыччине. Как только красные силы возьмут Стрый и двинутся в глубь Карпат, подпольщики попытаются кое-что сделать сами. Это будет не так сложно, так как в самом Дрогобыче из-за отсутствия достаточного количества питьевой воды еще со времен Франца-Иосифа не было военного гарнизона.

Павловский, собрав комиссаров бригад и полков, заставил Настюка повторить свою информацию и потребовал, чтобы тут же, на походе, всем бойцам рассказали о положении среди рабочих в нефтяном районе.

Далеко на западе, врезаясь высоко в небо ломаной линией рельефа, показалась какая-то смутная, окутанная голубоватой дымкой желто-зеленая громада.

Ударил по колонне стремительный ток:

— Карпаты... Карпаты!.. Карпаты!..

Взвилась вверх серая, с красной макушкой папаха. За ней — еще и еще.

Балабан, заломив шапку набекрень и повернувшись лицом к строю своей сотни, затянул:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Торжественную и в то же время грозную песню подхватила головная тройка всадников. Кто-то развернул ярко-красное знамя — и вмиг раскрылись все штандарты и знамена полков. Трубачи вступили в общий победный поток голосов, и в долине Стрыя запылал могучий пожар «Интернационала».

С музыкой, песнями, знаменами текла большевистская река на запад, к Карпатам, на Стрый.

Кто-то, вспомнив тех, кто сражался в скалистых провалах Карпат под царскими знаменами, грустно запел:

Горные вершины, я вас вижу вновь,
Карпатские долины, кладбища удальцов.

Сколько в свое время полегло людей в хмурых ущельях Карпат и в этой самой стрыйской долине! Здесь, в этих памятных местах, дивизии русских бородачей сворачивались в батальоны и роты. В водах Стрыя — в первый раз после сокрушительного удара макензеновской гвардии и тирольских стрелков — смывали кровавые раны.

Сакулин, зажав под мышкой тонкий стек с изящной конской головкой из мельхиора, потуже натянул повод своего коня. Очарованный живописным видом приближавшихся гор, повернулся с сияющим лицом к своему комиссару и продекламировал:

В Карпаты, в Карпаты, где спит Святогор,
Откуда виднеется русский простор...

Рынва-Рынальский перебил комбрига:

— Для удовольствия господина Милюкова — русский, а пана Пилсудского — польский... Спросишь наших казаков, скажут — украинский. И это вернее всего.

— Это значит, — ответил Сакулин, — Польша — «от можа до можа», а Украина — от Кавказа до Карпат?

— Зачем так широко шагать, Владимир Иосифович? Галиция почти вся заселена украинцами. И, как западная земля Украины, она должна объединиться с Украинской Советской Социалистической Республикой.

Все явственней и явственней в сиянии полуденного солнца выступала даль, причудливые контуры лесистых хребтов и затянутые непрочной дымкой величественные вершины легендарных Карпат.

Настюк рассказывал разведчикам легенду о венгерской королеве Кинге. Венценосная госпожа, спасаясь бегством от настигавших ее монголов, кинула пояс, и между нею и преследователями заиграла Дунаец-река. Азиаты преодолевают это препятствие — королева роняет посох, и между нею и всадниками зашумел девственный лес. Наездники проскакали лес — тогда Кинга бросает самое дорогое сокровище, свою корону. Из царственного венца выросли Карпаты, и среди них — непреодолимый для преследователей Татрский хребет, Татры.

Карпаты! Карпаты!

48

Дивизия вступила в тучный, дышавший изобилием край. Среди густых фруктовых садов, похожие на дворцы, крытые черепицей, белели просторные дома немецких колонистов.

После полудня, казавшийся на фоне зеленых карпатских отрогов ярко вышитым полотенцем, возник Стрый.

— Богатый, широкий край, — восторгался Мартын Бубна, — а наш хлоп без земли мается.

— Я думаю, — поправила его Ганка, — богаты наши мужицкие ланы, да попали они не до мужицких рук.

— Откуда такие вьюки у твоих молодцов? — обратился начдив к Гандзюку, пропуская мимо себя дивизионную артиллерию с ее тяжелыми упряжками.

— Откуда? Это подарки от мсью Пуанкаре... Или тебе жалко буржуйского добра?

— Какой жалко! Но ты не забудь, нам еще идти и идти... И драться... И бросаться в атаки...

Пухлые вьюки, перетянутые тугими ремнями, выси-

лись над отощавшими крупами лошадей. И не только в строевых единицах... Патронные двуколки, пулеметные тачанки стараниями заботливых начхозов наполнились тюками французского обмундирования.

— Стой, слезай! — Шостак поднял руку.

— Что это у тебя, парень?

— Это ж там... в обозе легионцев...

— А коня тебе не жалко?

— Все брали, и я брал. И старшина велел...

Проворными пальцами всадник быстро отторочил вьюк. В нем — не распакованная еще пачка суконных брюк, три мундира, одеяло, два пары новых бутсов.

— Одного комплекта хватит? — улыбаясь, спросил начдив.

— Так я шо, мне не жалко! — рассмеялся в ответ всадник. — И за то спасибо пану Пилсудскому.

Пошла чистка вьюков, тачанок, боевых передков.

Артиллеристы и наводчики — вся неустрашимая дюжина Иванов, — с великим смущением посматривая на Шостака, неохотно расставались с законными, по их мнению, трофеями. На их взгляд, звероподобные упряжки Гандзюка не то что сотню лишних брюк, а весь стрыйский вокзал могли бы сдвинуть с места, если б это только потребовалось обстановкой.

После артиллерии начдив со своими адъютантами, при помощи брата Владимира, облегчил и 1-й, головной полк дивизии.

Горы новенького обмундирования выросли на обочинах большака. Его б хватило еще на три дивизии конницы. Какие бы это были трофеи, если бы только они могли очутиться по ту сторону Золотой Липы!..

Не пощадил Шостак и разведчиков.

Панас Бунчук, примостившись к головному звену, хвалился без конца:

— Его броневик как долбанет, а мы с командиром взяли да повели сотню аккурат в лоб...

— А это что за чемоданчик? — оборвал размечтавшегося ординарца начдив.

Откуда-то, как будто из нутра лошади, загробно загудел голос:

— Забрал у злодия, офицерского благородия. И в нем вещи — шиш да клещи. Да еще рукав от мундира Квитеня — командира...

Фомичев, поражаясь способности чревовещателя, все же велел отвьючить чемодан. В нем оказалась пара чистого белья, стираные портянки, книжка Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», французско-русский словарь, раздобытый Квитенем в Збараже, специально для объяснений с Виктором Пуантю.

Шостак, взяв из рук Фомичева словарик, полистал его, полистал и, посмотрев с грустью на нового командира дивизиона, спросил:

— Ну как, Леня, ça va? [1]

— Comme çi, comme ça [2], — ответил, покраснев, Квитень.

— Опять покраснел, — улыбнулся Шостак, — рубака, а смущается, как красная девица. А как ваш Фигаро? Не скучает по Армантьеру?

— Что вы, товарищ начдив, оказачился с головы до ног!

Шостак поздравил Квитеня с представлением к ордену, вызвав этим еще большую краску на лице молодого командира.

— Что вы, Анатолий Маркович, я его не заслужил. Вот кому надо — Балабану, Ганке, Гаманцу.

— И их не обидели. Можете им передать от моего имени.

В одном из вьюков Шостак заметил суконный кунтуш, туго перетянутый ременными тренчиками.

— А это что? — спросил строго начдив.

— Да это полушубок товарища Курочки — бойца из разведсотни. Вон на фургоне лежит, — ответил несмелым голосом Бунчук.

— Борис, раздать по комплекту раненым, — Шостак указал на горы сваленного у обочины добра, — а остальное пусть разберут вон те товарищи.

В отдалении, у полуразвалившихся халуп, группа крестьян в пестрых войлочных шляпах окружила Настюка.

Что, кроме терпения, мог порекомендовать селянам их юный земляк?

В этот самый момент, обнадеженные раскатами стрыйских взрывов, готовились подняться дрогобычские и бориславские рабочие. Но так и не развернулись во

---

[1] Все в порядке? *(фр.)*
[2] Так себе *(фр.)*.

встречном порыве революционные знамена карпатских нефтяников.

Давно уже не дымили стрыйские заводские трубы, но зато золотые кресты над многочисленными храмами искрились вовсю. Ослепительно белые особняки мелькали в просветах линий светло-зеленых чинар. Но не эти особняки привели сюда, к Карпатам, боевые колонны красноармейцев.

Необычной тишиной встретил их загадочный пригород с его светлыми виллами и тенистыми парками.

Дозор с гулким топотом проскочил первый из мостов, перекинутых через многожильную речку. Следом лихой рысью тронулась головная сотня 3-го полка.

— Даешь Стрый!

И вдруг черным пламенем вспыхнула земля. Взметнулся, подскочив в воздух, исковерканный металл. Тяжело падали в провал кони. Вышибленные из седел всадники летели на каменистое дно Стрыя.

Жерла орудий бронепоезда, курсировавшего по Болеховской линии, изрыгали смертоносный огонь.

Зеленой долиной, по вязким топям, заполнив углубления оросительных каналов, поползли вперед спешенные цепи 2-го полка.

3-й полк, разъяренный неудачей головной сотни, готовился к атаке в конном строю.

Тем временем одна из сотен разведывательного дивизиона, перекрывая переменным аллюром пройденный дивизией маршрут, выполнив задание в долине Днестра у Журавно, разметав там роту легионеров и тысячный обоз шляхты — беженцев, возвращалась в дивизию.

Под самым Стрыем, в деревушке Гельзендорф, где остались передки дивизионной артиллерии, спешились, расседлали коней, пустив их пастись на сочную траву предгорья. Квитень, чувствуя себя еще политработником, предложил Балабану — секретарю партбюро — собрать коммунистов-разведчиков.

В просторной клуне богатого колониста Настюк сообщил товарищам результат своей вылазки к рабочим Дрогобыча. Квитень информировал их о том, что дивизия после разрушения Стрыйского железнодорожного узла в городе не останется. Полки отойдут к востоку, чтобы установить контакт с наступавшими частями 14-й армии, а после выяснения обстановки решится вопрос о дальнейших действиях дивизии.

Квитень и новый комиссар, бывший сотник, призывали членов партии, поддержать дух красноармейцев, так как уход из Стрыя может вызвать нездоровые настроения.

Несколько коммунистов, в том числе и Настюк — не коммунист и даже не кандидат в члены партии, а лишь сочувствующий — симпатик, как он называл себя по-польски, — ссылаясь на случай с Черноусом, предлагали проверить всех добровольцев. Ганка возмущалась. Она говорила, что завоеванное всем дивизионом ценой крови может пойти прахом из-за одного негодяя.

В клуне немецкого кулака продолжалось собрание партийной ячейки. Сорок человек с расстегнутыми воротниками, с напряженными лицами говорили, спорили, кричали, чтобы в горячем столкновении мнений принять необходимое решение.

Квитень, помня пребывание разведчиков в Бибрке, предостерегал товарищей:

— В любом городе много соблазнов. Чем больше город — тем больше в нем ловушек. Как ни прискорбно об этом вспоминать, но Бибрка и Выбрановка должны послужить для нас всех поучительным уроком.

— Да,— сказала Ганка,— как выпьет человек рюмок десять, они его и взбесят...

Встал, застегивая пуговицу гимнастерки, сняв серую казачью папаху, давно уже заменившую синий берет, черноглазый Виктор Пуантю. Сбиваясь, подбирая с трудом слова, начал:

— Ми, камрад, резерв... Ми... с большой день... на седло... семидесят километр... вуаля...

Пуантю по рекомендации товарищей недавно в Манаюве приняли в сочувствующие.

— Что с того, что семьдесят! — хлестнула плеткой по сапогу Ганка.— Если нужно, я еще семьдесят отмахаю.

— Ти, Аннет, мой не понимай... Я не контр... Не обратно... Не качу резерв... Надо вся сила,— обвел он рукой собравшихся,— офензив... атака Стрый...

Поднялся Балабан — левая рука за ремнем.

— Верно предлагает камрад Пуантю... Я предлагаю помериться нашей сотне с третьим полком. Кто скорее будет в Стрые!

— Правильно,— поддержала Балабана Ганка.— Товарищу Квитеню попросить Шостака, а мы, партийцы, потолкуем с братвой.

— Правильно!

— Никто не откажется.

Отмечая наступление сумерек, шли из долины реки вместе с теплыми запахами коровьего помета гнилостные испарения болот.

Бритый толстоусый немец в высоких сапогах вместе со своим форналем-батраком ладил паровик молотилки. На открытой веранде дома краснощекая хозяйка сбивала масло в высокой конусообразной кадушке.

Бойцы ходили по двору, осматривали невиданные по добротности постройки, сытых лошадей, машины зажиточного колониста. Долго любовались красочным видом цветущего огорода.

— Вот это так земля!

— Это, брат, обстоит от человека,— авторитетно заявил Терентий Борщ.— Вот я был в немецком плену: каждая десятина, или, по-ихнему, гектар, двести и больше пудов печатает. Вот гектар — вот двести пудов, вот гектар — вот двести пудов.

— А у нас от силы двадцать пять — тридцать, а то и десять,— грустно ответил Гаманец.

— Здесь люди веками мучились, пока дошли до своего,— вмешался в разговор Настюк.

— Мы за десять лет дойдем,— улыбаясь, присоединилась к спорящим Ганка.

— Как же так, товарищ Шамрай?

— Очень просто... Освободим деревню от пауков. Вот помещиков выгнали, а мироеды остались. Это все те, которые, пока мы с вами воюем, там, в тылу, наживаются, хлеб прячут, сдирают с народа втридорога, вроде Ушняка в Чабанах. Рабочие, наши заводы дадут тысячи, десятки тысяч новых машин, получше этих,— вытянула она руку, показывая на красную лобогрейку колониста,— и начнем работать сообща.

Квитень, получив согласие Шостака на атаку, приказал играть сбор. Сдерживая горячих коней, построились разведчики, вытянулись в походную колонну и тронулись из Гельзендорфа в сторону Стрыя. У головного моста встретил их начдив. Приподнявшись на стременах, поздоровался:

— Здорово, разведчики!

Сливаясь в сплошном гуле, прозвучал ответ:

— Здрас... тащ... чдив...

— За мной! — скомандовал Шостак, откинув в сторону тяжелую полу мохнатой бурки.

Звонко застрекотал копытами бешеный Сокол. Словно крылья, разметалась бурка начдива. Разведчики видели перед собой как бы зовущий их в бой алый верх папахи Шостака.

Ни один фонарь, ни одна лампа не зажглись этим вечером в Стрые. Его погруженные в тяжелый мрак улицы непрерывно освещались лишь вспышками винтовочных залпов и пулеметных очередей.

5-й полк издали заметил колышущуюся, как штандарт, фигуру начдива. Чалышев скомандовал атаку.

Гулко задребезжал мост под тяжестью хлынувших на его деревянный настил всадников, встреченных прицельным огнем легионеров. Пошли на штурм города, двигаясь по колено в холодных водах Стрыя, спешенные казаки 2-го полка.

Рыжеусый Остапенко, косясь на мосты — а их всего три,— торопил своих молодцов:

— Паняй, паняй, хлопцы, с Карпат их в печенки!..

С грохотом металла и топотом злых лошадей примчались батареи Гандзюка.

— В броневик, в броневик, калена матрена! Трубка — ноль-ноль, дистанция пять. Огонь!

Черные фонтаны земли, едва заметные из-за сгущавшихся сумерек, возникли над откосами высокой насыпи.

Горбатый бронепоезд, прячась от пушек Гандзюка, ушел в ближайший туннель. Повторенные эхом в глубоких ущельях, долго не умолкали глухие отзвуки артиллерийских раскатов.

Торопливыми гонцами катились они по всем семи железным дорогам, восемнадцати шоссе, двадцати двум колесным дорогам, узкими лентами перехватившими могучий Карпатский хребет.

Высланные вперед саперы рвали мосты на всех линиях, расходившихся лучами от Стрыя на Львов, Дрогобыч, Мукачево, Станислав. Из Мукачево «пан комендант» ждал прихода нанятой генералом Галлером подмоги. Две пехотные дивизии и две дивизии гусар продал шляхте венгерский диктатор Хорти для борьбы с большевиками. Буржуазное правительство Праги предоставило для их перевозки подвижной состав. Но чехословацкие железнодорожники на станции Люденбург загнали в тупик четыре состава с военным грузом, купленным на заводах Шкода агентами Пилсудского, наве-

сив на всех вагонах плакаты с лозунгами «Руки прочь от Советской России!».

На подступах к городу резко оборвался тяжелый топот конских ног. Зацокали копыта по каменному шоссе. Сумрачным силуэтом показался впереди третий мост.

Пропал, растаял в темноте загадочный Стрый. Был — и не стало его. Да никто и не думал о нем. Весь город казался собранным на том узком пространстве, где высилось последнее препятствие — забаррикадированная переправа.

Впереди чернели далекие громады Карпат, а на их склонах мерцали похожие на застывших светлячков огоньки гуцульских хижин.

Виктор Пуантю привел группу хныкавших мальчиков в больших, не по голове, конфедератках, с патронташами на гимназических поясах.

— Вам карандашами надо действовать, бисово семя! — напустился на подростков Балабан.

— Мы не воевали, пан.... Нас пан директор записал до охотничьих команд...

Всадники ринулись к мосту. Из-за громоздких укрытий злее захлестали винтовки легионеров. Пораженный близким выстрелом в грудь, упал с коня Панько Курочка. Чалышев, а за ним Квитень, Балабан, Ганка, Сероштан — все головные всадники 5-го полка и разведдивизиона — повалились из седел и в пешем строю кинулись разбирать баррикады. Полетели в воду бревна, шпалы, брусья. Падали у наспех воздвигнутых препятствий казаки, но другие, прорвавшись сквозь узкую щель в преграде, полетели вперед. Сотрясая мощным «ура» мрачные громады кварталов, будоража тяжелую тишину стрыйской долины, ворвался в город неудержимый конный поток.

Короткой атакой казаки Остапенко и шедшие за ними во втором эшелоне сотни Сидорчука опрокинули и захватили в плен белогвардейский полк, защищавший подступы к городу. Генерал Перемыкин, подвизавшийся ранее в армии Юденича и ограбивший дотла Гатчинский дворец, по заданию Савинкова и с согласия Пилсудского из деникинского сброда формировал в районе Стрыя дивизию для Врангеля.

Батальон перемыкинцев пригнали всадники 4-го полка, посланные до начала атаки на Сколе, чтобы прикрыть с юго-запада действия дивизии.

Стрый пал. Горячие, кровопролитные бои не стихали ни на миг и в районе Львова.

На хуторе Унтерберг, в гуще верного галицийского полка и коммунистического отряда, прибывшего из Ростова, начдив 45-й готовил новый удар.

Галичане — крепкое ядро, которое не пошатнула майская измена Галкорпуса,— своим героизмом пытались искупить вину собратьев, открывших интервентам дорогу на Киев. Имея во главе Галицийский полк, коммунистический отряд ростовских рабочих, тилигулоберезанцев, дивизия отбила многочисленные атаки добровольцев Мончинского и французских броневиков.

От бешеных наскоков бронемашин, под ударами бронепоездов, самолетов, как туман под лучами солнца, таяли лучшие кадры. И сколько их осталось в частях!.. После атаки из одной кухни обедал целый полк...

Галичане ударами прикладов гнали от Острова до Унтерберга добровольческие полки белополяков. Начальник той дивизии, член ППС, утверждал, что его людей не затронет большевистская «демагогия». Он ссылался при этом на немецкую армию. Хотя она состояла на одну треть из социал-демократов, но дружно пошла в штыки против бельгийских солдат, встретивших ее у Льежа пением «Интернационала»... При переброске с северной окраины Львова к Золочевским воротам одна треть пепэсовской дивизии разбежалась.

По городу на всех углах и перекрестках невидимая бесстрашная рука развешивала революционные призывы и прокламации, обнадеживая пролетариат Львова и ввергая в панику его толстосумов.

«Льется ручьями кровь рабочих и крестьян польских, русских, украинских. Сейм решил пожертвовать несколько десятков марок для обеспечения наших старых матерей — сумму, которой хватит на покупку хорошей веревки, на которой могли бы повеситься...»

И все-таки тяжело 45-й и 47-й дивизиям Бунара. Трудно приходится красноармейцам. Правда, противник делал последние усилия — усилия отчаяния. Вот-вот лопнет струна. Но чья струна окажется крепче? Бунар, бросив в бой последний резерв, вспомнил об одном факте. Полтора года назад, тогда ему только лишь исполнилось двадцать три года, он явился в штаб полубандита Сахарова и заявил ему: «Я приехал с приказом

ВЦИК предложить вам подчиниться военному командованию, а если вы откажетесь, то застрелить вас...»

Теперь ли ему, после железного Южного похода 1919 года, во время которого он вывел из-под Одессы большую группу отрезанных войск, сомневаться в крепости нервов, в бодрости сил и бесстрашии воинов 45-й дивизии!..

Но где же Шостак?

Может быть, и он с полным напряжением сил решает судьбу какого-нибудь важного галицийского узла? Но ведь здесь, только здесь, у Львова, и нигде больше, могла бы дать необходимый эффект его кавалерия.

Зачем он, Бунар, передал дивизиям приказ Молчанова о расформировании Золочевской группы? Разве не сидел бы он сейчас в городской ратуше, давая Галревкому и Ленину телеграммы о взятии столицы Галичины?!

Хотя бы один самолет... Какое-нибудь летающее корыто, способное найти 8-ю дивизию и немедленно повернуть ее в тыл Львову — ударить на него с запада, со стороны Городка.

— Начальник штаба!

Начальник штаба, на всякий случай готовивший донесение о взятии Львова, встрепенулся.

— Валяйте на радио, настойчиво просите армию снарядить с утра какой-нибудь самолет, найти Шостака и направить его на Комарно, Городок.

От Львова, с каждым часом удаляясь от него, катилась на северо-запад могучая конная рать. С чувством горечи за смятый, скомканный порыв двадцать тысяч всадников шли широким фронтом, лились бурным морем, стремясь настигнуть голубую лавину, обрушившуюся как снег на голову на зыбкий Мозырский фронт.

Но 1-я Конная армия, рано снятая с чаш одних — львовских — и поздно брошенная на чашу других — варшавских — весов, при всех ее высоких достоинствах не могла уже сорвать то «чудо на Висле», которое, по словам Пилсудского, спасло буржуазную Польшу.

Другое дело, если б 1-ю Конную армию двинули на северо-запад 12 августа. Через два дня — 14-го, появившись в районе Замостья на тылах ударной группировки Пилсудского, она бы перетянула на себя чашу варшавских весов.

3-я кавалерийская дивизия, обеспечив себя со всех сторон разъездами и охранением, до полуночи оставалась в Стрые.

Пользуясь ночной обстановкой, ринулись в горы остатки полков Пилсудского и Перемыкина.

Где-то совсем близко, освещая Стрый, вспыхнуло яркое зарево. Как и полтора месяца назад в Черном Острове, здесь, на линиях Стрыйского узла, отдаваясь гулким эхом в Карпатах, рвались подожженные казаками поступившие из Франции и Англии боеприпасы. Озаряя глубокое августовское небо, пылали составы с импортным интендантским добром.

Рано утром 21 августа, дав полкам короткий отдых после напряженного марша от Днестра к Карпатам и тяжелого ночного боя в районе переправ и железнодорожной станции, Шостак уводил свою конницу от Стрыя на восток. Подтянулись передовые отряды: один, шедший на Дрогобыч, вернулся с полпути. Другой успел забраться до Болехова и установить связь с карпатскими партизанами.

Дивизия не только не смогла двинуться по следам своих, далеко ушедших передовых отрядов, выполнявших принятое в Сарниках решение, но и силой новых обстоятельств вынуждена была без давления противника оставить взятый с боя Стрыйский район.

От подпольщиков, работавших на станции Стрый,— да об этом писалось и в местных газетах — стало известно не только то, что Львов все еще оставался в руках врага и Буденный, прекратив атаки города, ушел на север, но и о катастрофе, начавшейся 16 августа между Брестом и Ивангородом и закончившейся 20 августа между Варшавой и прусской границей.

Уводя из-под Карпат червонных казаков, за три дня истративших весь свой огнестрельный запас, Шостак, как и после Проскуровского рейда, искал контакта со своими тылами. Из захваченных в Стрые эшелонов и складов можно было на несколько лет обеспечить дивизию, но среди снарядов и патронов, оставленных врагом, не находилось подходящих калибров.

Разведчики, как обычно, освещая маршрут и оберегая колонны главных сил от всяческих неожиданностей, двигались впереди.

До ушей Квитеня, следовавшего в голове дивизиона, донесся ворчливый голос Борща:

— На тебе, отмахнули от Золотой Липы двести верст, разведчики и того более сделали, а теперь обратно топаем.

— Эх ты, «отдай теля»! — вразумляла его Ганка.— А разве ты с нами не драпал от Полтавы до самой почти Тулы, а что получилось? Чья взяла? Помнишь, как тогда говорили: они нас на танках, а мы их на санках. Нашим командирам виднее, как поступать.

— Оно-то виднее,— все еще роптал Борщ,— а уж очень хотелось побывать в тех Карпатах. Красота, а не места!

Квитень, сдержав широкий ход коня, сравнялся с сотней. Помня наставления Шостака и Павловского, разъяснил бойцам, что произошло под Варшавой и Львовом, и добавил:

— Что касается нашего Стрыйского рейда, то он, как и Проскуровский, проделан нами не зря. Не одна неделя пройдет, пока враг исправит взорванные мосты, станции. А тысячи пленных, отпущенных на все четыре стороны? А разбитые полки и батальоны в Николаеве, Рогатине, Ходорове, Жидачеве, Журавно, Стрые? А паника во Львове? А тысячи помещиков, спугнутых с насиженых гнезд? А то, что мы не дали врагу закрепиться на Золотой Липе?

— Шо говорить, хлопцы! — вздохнул глубоко Гаманец с белой повязкой на лбу — накануне у баррикад третьего моста фланговая пуля, пробив папаху, словно острым ножом, распорола кожу на лбу разведчика.— Шляхта долго будет помнить казаков! И не только шляхта. Не забудут наше геройство браты галичане.

Колонны быстро, как легкая туча, удалялись от Стрыя. Никем не занятый, заслоненный от взоров широкими рощами город оставался где-то позади. И все дальше и дальше, окутываясь дымкой, отодвигались, озаренные ранним солнцем, сказочные вершины Карпат.

С пригорка у гельзендорфской рощи Шостак, с душевной болью переживая отход, наблюдал за движением колонны. На несколько верст, чуть ли не до окраин Стрыя, растянулись, появляясь из леса, полки.

Внешне спокойный, с улыбкой на лице, начдив своим невозмутимым видом показывал всем, что все идет так, как положено.

— Я бы дулю с маком отдал бы им Стрый! — возмущался Гандзюк.— Я бы раздул восстание на их голову по всем Карпатам. И пошел бы туда, на Дрогобыч, на Борислав, к нефтяникам. Там, слыхать, в горах какие-то отряды из бывших «сечевиков» орудуют. Или, может быть, мы панов, Анатолий, стали бояться, холера ей в бок, антантовской шпане?!

— Брось, Иван! Вчера еще это было верно, а сегодня это фантазия.

Под охраной казачьей полусотни шел обоз раненых. Широкогрудые кони, с откинутыми назад головами, по три в упряжке, без напряжения везли санитарные тачанки. В лучших батарейных упряжках и то не было таких лошадей. На мягких подушках, зная, что их ни за что не оставят на произвол судьбы, лежали раненые казаки.

Вот побледневшее, почти безжизненное лицо старого большевика Реглиса. Увлекая за собой всадников, он первый бросился в атаку на батальон легионеров, окопавшихся на Жидачевском кладбище. Меткая пуля пилсудчика угодила в коленный сустав. Рядом лежал Курочка с простреленной грудью. Заметив нагнувшегося над ним Шостака, разведчик бледными губами прошептал:

— Товарищ начдив, мне помирать вышло, хочу принять коммунию, товарищ начдив... И хороните меня где-нибудь в холодку, а то дуже жарко мне. Ох, печет в середке... В холодку и без креста, товарищ начдив... И пропишите домой в Чабаны... Панько Курочка ошибался против Советской власти... А хорошие люди помогли...

— Не журись, Пантюша,— успокоил тяжелораненого Шостак,— было бы больше таких, как Курочка...— Начдив хотел продолжить, но сразу же осекся. Навернулась слеза... Он пропустил мимо и следующую тачанку с ранеными. На ней он увидел Бубну, а рядом с ним, на одной подушке, грозный нос Качкарьянца.

Заметив бывшего ксендзовского батрака, начдив улыбнулся, подбодрил его:

— Крепись, Мартын, крепись. Вот махнем отсюда на Львов, в буржуйский лазарет тебя поместим.

— Анатолий,— тихо окликнул начдива Реглис, — следите за настроением людей. Отход действует и на самых сильных.

— Ничего, не беспокойся, Август Карлович, — ответил Шостак, с большим уважением относившийся к стар-

шему и по годам, и по партийному стажу товарищу,— все меры приняты...

— И смотри, Анатолий, сейчас, из этого рейда, выходить будет вам труднее, чем из Проскуровского. Так в случае чего пусть вас не связывает наш обоз...

— Ну ты это зря, Август Карлович... Кого-кого, а вас не оставим...

— Эх, товарищ начдив! — посмотрел на него затуманенными глазами Бубна и внезапно тихо запел:

Не усі сади родять, котрі вже зацвіли,
Не усі побралися, котрі ся любили.

Освещенные ярким солнцем, грозно высились там, на западе, многоцветные скаты Карпат. А от них до скалистых днестровских берегов по пологим буграм и увалам протянулись темно-зеленые и светло-голубые массивы панских лесов.

Шостак, заметив в строю Сероштана, спросил:

— Как дела, Федор Иванович?

— Как гвозды! — улыбнулся разжалованный.

— Держимся?

— А чего мне не держаться, товарищ начдив, у меня грудь казака и спина грузчика.

— Вот это правильные слова,— сказал Гаманец, обращаясь к своему товарищу по звену — Перчику. — А все-таки мне жаль Сероштана: хоть и не партейный и их благородие, а геройский хлопец.

После стольких дней тяжелого странствования по тылам противника, после многочисленных кровавых боев у всех бойцов Червонного казачества зародилась тоска по славным боевым соратникам, оставшимся где-то там, на подступах к Стрыю и на Золотой Липе. Романтика уступила место реальной действительности. Хотелось все опасности, лишения и удары, каких еще предстояло немало, встретить единым фронтом, общей стеной. Хорошо пожинать лавры плечом к плечу, а грозу, удар тем более необходимо встречать вместе.

Три разъезда, силою в двадцать пять коней каждый, во главе с лучшими командирами устремились боевой рысью на восток. До Галича — древней столицы Галицийского княжества, до Рогатина, Бибрки — конечных пунктов разведки — более шестидесяти верст. А сколько неизвестного и опасного таит в себе каждая верста!..

Кто-то первый сомкнет дивизию с фронтом, кто-то

найдет щель в линии интервентов, а кто-то уже никогда не вернется в свой полк, никогда не займет своего места в строю...

Вот в низине, у Журавно, сверкая на солнце, извиваются среди приднестровских ярко-зеленых лугов серебристые петли реки. Показались ярко-красные черепичные крыши городских домиков. Безрадостные, угрюмые селяне, прячась в халупах, с замиранием сердца прислушивались к цокоту копыт. Лишь вчера утром с бурной радостью встречавшие разведчиков, растерянные жители Журавно никак не могли себе уяснить значение происходящего.

Из-за темного лесного массива, со стороны Раздола, с протяжным завыванием появился самолет. Приняв его за вражеский, казаки без всякой команды встретили его дружным огнем. Неистово заливались штаб-трубачи, сигналя «Отбой», но самолет, ввинчиваясь в голубую высь, уменьшаясь и тая, как одинокая птица, уже потянулся к солнцу. Летчик увел машину обратно на Золотую Липу, за Збруч.

Дивизия всеми своими бригадами потянулась на Ходоров. Там и еще севернее нужно было искать части 14-й армии, сгусток дивизий которой, очевидно, устремился на Львов.

На одном из привалов Шостак обратился к командиру полка:

— Что ж, Пантелеймон Романович, выступать?

— Выступать не шутка, товарищ начдив, а кони, мона сказать, попристали, без печенок остались. Дай бог еще с десяток верст протянуть...

— Что, овса мало?

— Что с того овса? Овса нажрались и одно смердят, а ног не тянут. Шутка сказать, пять суток гоняем...— Остапенко покосился на начдива.— О, посмотрите, Анатолий Маркович,— брюзжал командир полка, показывая на одного из ординарцев, тщетно пытавшегося поднять свою лошадь на рысь,— видите, морда у коня ниже колен. Теперь весь овес в плетке.

Едва волоча ноги, еще недавно упитанные кони не справлялись с бесконечной гонкой. Им нужно было всего пятнадцать—двадцать часов отдыха для восстановления утраченных сил.

— Не мешало бы, товарищ начдив, устроить дневку. Поспать, перековаться надо...— предложил Чалышев.

Почти без отдыха, без сна, в боях, в непрерывной тревоге прошли более двухсот километров. А сколько еще предстоит сделать, пока доберешься до своих! Каждая последующая верста равна десяти предыдущим.

Торжественна медленная поступь полков. Усталыми реками растекались по селам обкуренные пылью колонны. В стодолах, хлевах, в радушных халупах галичан ожидал их заслуженный отдых.

И вот зазвенела в рядах песня:

Оседлал улан коня
Шелковою уздою,
Дал он шпоры под бока,
Конь, лети стрелою...

Никогда и ни за что не поет армия, которая не верит в свой завтрашний день.

50

Решалась судьба Львова. С рассвета 22 августа поредевшие полки 45-й и 47-й дивизий пошли в решительное наступление. В реве пулеметов, в треске ружейных выстрелов, в ослепляющих взрывах тяжелых снарядов, под свист авиабомб с самолетов Фаунта Лероя, под грохот артиллерийской канонады с осмелевших бронепоездов с хриплыми криками «ура» протискивались, врывались роты и батальоны красноармейцев в укрепленные линии надломленного врага.

Начдив Бунар, прихрамывая после ранения, полученного под Унтербергом, опираясь на палку, лично водил полки врукопашную. При виде его еще яростней разгорались сердца измученных стрелков. Один за другим, врываясь в гущу атакующих, прибывали гонцы с разных участков боя.

— В Перемышлянах шляхта.

— В Бибрках легионеры.

Раскиданные при бурном движении красных дивизий на запад, отдельные батальоны врага, опомнившись, теперь уже действуя крупными отрядами, включились в борьбу. Они-то заняли в тылу советских дивизий и Перемышляны, и Бибрку.

Не устояли бессарабцы против натиска одуревших от шовинистического угара добровольцев и новых подкреплений. Галицийские магнаты вновь подняли свой

голос. Вторя им, нефтепромышленники Борислава требовали через Вейгана все новых и новых подкреплений для Галиции.

В это время там, в Кремле, за зубчатыми его стенами, великий Ленин с не зажившими еще от эсеровских пуль ранами, как всегда не боявшийся сказать своему народу правду, как бы горька она ни была, говорил, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома врага, но в решительный момент у нас не хватило сил.

Вражеские самолеты разбрасывали тучи листовок: «Пан комендант прижал пять большевистских армий к прусской границе», «Сдавайтесь, обманутые бойцы Красной Армии», «Мы воюем не против России, а против большевиков».

Медленно, шаг за шагом, ожесточенно отбивая удары, бросаясь в короткие контратаки, под нажимом с запада и со стороны туркоцинского леса — с юга, выбиралась 45-я дивизия из львовского мешка.

Рота измученных, изможденных галичан остановилась у шоссейной будки. Командир роты, весь заросший, с помятой бородой, стремясь утолить жажду, приблизился к колодцу.

— Здравствуйте, пан Хустка!

Комроты вздрогнул. В фартуке шоссейного рабочего и с метлой в руках, смотрел на командира горбатенький человек.

Комроты оглянулся. Рабочий, по-приятельски хлопнув его по плечу, успокоил:

— Никто не слышит, иначе я бы вас не назвал Хусткой.

— Послушайте! — начал быстро командир.— Настроение у хлопцев из Галиции не цофать. Они говорят: с поляками мы сможем бороться из лесов. Только скажу пару слов кое-кому из надежных ребят, и вся рота останется, а за ней, может, и весь батальон...

— Ни в коем слу ае! — остановил командира горбач.— Вы нам нужны у них, а не здесь. Вы уже имеете заслуги. Смотрите, станете командиром полка; а если демобилизуетесь — вас сразу могут сделать вице-наркомом в Харькове даже, больше пользы принесете.

— Это как Таращук?

— О, Таращук — молодец... Стал видным коммунистом в Тернополе. Чуть что — все сразу: товарищ Судаков, товарищ Судаков. Это его новая фамилия. Тонко, бестия, работает. Вчера Бунар просил командарма направить восьмую дивизию на Комарно, Городок, а сегодня я уже знаю дословно приказ. Много за него отвалят Таращуку. А это красное казачество,— пренебрежительно скривил рот горбатый,— хорошо встретят в николаевских лесах.

— А что с Королем?

— Дурак, коцнули его. Начал он правильно, с национальной политики. Имел успех, а потом ударился в спекуляцию. Стал торговать пайком красных «сечевиков» и их же разжигать из-за нехватки продуктов, провалился, скотина... А с братом вашим встречаетесь?— спросил горбатый...

— Негодник, продался Богдан большевикам! Как утвердили его командиром полка, готов забыть он и отца, и мать. Меня — родного брата — не захотел взять к себе... Пришлось идти в Тернополь, в военкомат... Ну ничего, я это «циклопу» попомню!

Подходили к колодцу красноармейцы. Хустка умолк.

Бунар, устремившись на машине к Туркоцину (оттуда на дивизию ползла катастрофа), обдумывая план отпора врагу, окинул прощальным взглядом залитые ярким солнцем город, равнины, поля.

Разъездам Шостака не довелось дойти до Галича, Рогатина, Бибрки. Ближайшие подступы ко всем этим населенным пунктам охранялись легионерами, отступившими с Золотой Липы под натиском полков 60-й и 41-й дивизий.

Основные силы 8-й кавалерийской дивизии, воспользовавшись уцелевшими переправами через Днестр, форсировали его и направились к Ходорову. Вдали показались четкие линии железнодорожных насыпей, а за ними, отражая небесную синеву, засверкала гладь ходоровских озер.

Ходоров заботами своего молодого ревкома готовился к обороне. С лопатами и топорами, под охраной милиции, пестрая толпа людей возилась с непривычным для них делом: приводила в порядок старые окопы.

С обывательских повозок кто-то улюлюкнул. Кто-то захохотал. Подводчики-галичане по-своему приветствовали ходоровских буржуа:

— Ото файно, дуже файно. Работали мы на вас, а теперь вы на нас.

Целый день кавалеристы, выслав из Ходорова сеть новых разъездов, провели на окраине города. 23 августа самолет, очевидно тот, что был отогнан под Журавно выстрелами казаков, показался высоко в небе. Вот он, сверкая на солнце вибрирующим диском пропеллера, закружился над расположением червонноказачьих полков. Показывая, словно развернутый пропуск, красные пятиконечные звезды на крыльях и ревом пропеллера расшвыривая испуганных коней, промчался он над походным порядком 8-й кавалерийской дивизии.

Пилот, целясь в голову одной из колонн, сбросил яркий вымпел.

Командарм через летчика, обнаружившего наконец Шостака, извещал, что Бунар атакует Львов, и требовал решительного движения шостаковских полков в тыл галицийской столице, на Комарно, Городок.

Дивизия, выполняя запоздалый приказ командарма, устремилась к Николаеву. Двигаясь по лысым возвышенностям параллельно Днестру, разгоняя небольшие отряды противника, оставила позади себя лабиринт высоких железнодорожных насыпей, сеть ходоровских озер, Раздол и Верин, с близко подступившими к ним лесными массивами.

Вдали, раскинувшись над берегами Днестра, показался Николаев, пять дней назад взятый полком Чалышева. От Николаева до Комарно двадцать километров, и столько же от Комарно до Городка. Это расстояние ничего не значило в сравнении с теми двумястами пятьюдесятью, которые проделаны от Золотой Липы.

Но... в это время, когда Шостак, стремясь помочь Бунару, рвался на Городок, в тыл Львову, 45-я дивизия под натиском превосходящих и свежих сил противника, его бронемашин, бронепоездов и самолетов, оставив Туркоцинское плато, отошла на сорок верст к северо-востоку — к Каменке.

На станции Бориничи бронепоезд разогнал заставы 6-го полка. Враг уже успел наладить взорванный Квитенем мост под Выбрановкой. Два свежих пехотных полка, брошенных генералом Ивашкевичем к Николаеву, не только сдержали натиск бригады Дмитрия Проня, но, кинувшись в контратаку, оттеснили ее к Веприну. Шостак, отражая удары легионеров, хлынувших из леса

на остальные силы дивизии, по чистым раздольским полям отходил к Бржоздовцам. Прикрывшись небольшим притоком Днестра, отстреливались спешенные полки. Зажатая с запада Днестром, с востока железной дорогой Ходоров—Львов (по ней победно курсировали вражеские бронепоезда), с севера и северо-запада несколькими легионами врага, дивизия в Бржоздовцах свернулась ежом. Оставался открытым один путь — на юг, на Журавно. Но безумец решил бы ринуться в эту заманчивую пустоту, которая вот-вот должна была заполниться новыми силами противника.

С восточных возвышенностей спускались к Бржоздовцам свежие цепи пилсудчиков — десант бронепоезда. Поддерживая его, показалась на фланге голубых цепей редкая лава уланов.

Главные силы в тревоге скучились за Бржоздовцами в глубоком холодном логу. Остерегаясь неожиданного нападения, подтянулись к полкам громоздкие колонны обозов. Никто не слезал с повозки, с коня.

Замкнув дивизию полукольцом, неистово палили из пулеметов вражеские силы. Всеми орудиями правого борта обрушился на конницу бронепоезд «От можа до можа».

Где-то на библиотечной повозке захлебывался полковой граммофон. Рязанская старушка заливчатым тенором умоляла сына:

В Красной Армии штыки, чай, найдутся-а-а-а...
Без тебя большевики обойдутся-а-а-а...

Шостак вызвал помощника командира 2-го полка.

— Тебе оставаться с дивизионом и прикрывать выход дивизии.

— Но мои люди весь день... в бою...

— Товарищ командир, бейтесь здесь, у Бржоздовцев, до последнего патрона.

Шостак, отвернувшись, украдкой следил за командиром.

Помкомполка звякнул шпорой:

— Слушаюсь, товарищ начдив!

И вдруг что-то вспомнив, Шостак скомандовал:

— Отставить!

— Есть, отставить! — брякнул каблуками помкомполка-2.

— Вызвать ко мне командира первого полка!

Спустя минуту, вытянувшись в струнку, стоял перед Шостаком его младший брат Владимир.

— По вашему приказанию, товарищ начдив...

— Товарищ командир,— строго отчеканил Шостак,— займите все подступы к Бржоздовцам. И если придется — бейтесь здесь до последнего человека, но с полком прикроете выход дивизии из окружения. Ну а если эту задачу выполните и вам удастся вернуться —честь и хвала вам...

— Есть, товарищ начдив!

Подошел Нежинский. Обратился к Шостаку:

— Анатолий, зачем Володька? Ты же хотел второй полк.

— Товарищ наштадив,— официально и сухо прервал своего помощника Шостак, — в арьергарде оставаться первому полку. Понятно?

Шостак подошел к брату, протянул ему руку:

— Смотри ж, Володя, я надеюсь... Ты не способен подвести дивизию, наших людей.

Остапенко отбирал у бойцов патроны и ленты для арьергарда. Младший Шостак энергично принялся за работу. Под его руководством селяне, воздвигая баррикады, волокли к переправам и выходам из села плуги, бороны, возы.

А Остапенко, поцеловавшись с коллегой, годившимся ему в сыновья, напутствовал его:

— Смотри ж, держись, товарищ, не подгадь первой, коренной нашей бригады!.. И самоокапуйся, Володька... С ними иначе нельзя, с бугра их в ноздрю.

Против бронепоезда, жерлами к полотну железной дороги, в полукилометре от того места, где дивизия собиралась перемахнуть через линию Ходоров, Львов, замаскировали одну из батарей Гандзюка. Начальник артиллерии умолял начдива оставить и его с кинжальной батареей. Но на это Шостак не пошел.

2-й полк, во главе с Остапенко, ринулся против зарвавшегося десанта. В первый раз самую сложную задачу поручили не Чалышеву, а 2-му полку. В этом сказались и такт, и чуткость Шостака.

В прорыв, обеспеченный с флангов всадниками Фостецкого, пустили санитарные тачанки дивизии с ранеными.

На восток устремилась масса конницы. Шли сотня за сотней, полк за полком.

Дивизия, перемахнув через железнодорожное полотно, очутилась на узких, переплетенных густой сетью корней лесистых тропках бибрского леса. Колючие иглы насупленных елок хлестали бойцов и лошадей. Глухо зарокотали колеса пушек, подвод, пулеметных тачанок. Спотыкаясь на каждом шагу, шарахались, храпя, испуганные кони.

Колонна остановилась. Оборвалась дорога, и дозоры ринулись по тропинкам искать проводника.

Вокруг тихо, боязливо зашептались. Кони жались друг к другу. Кто-то спешился и, взяв в руку обвислый повод коня, опустился на мокрую землю. Еще пять минут — и сотни тел застыли в беспокойном сне у подножия молчаливых елей.

— Эй вы, хлопцы, — тормошил разведчиков Балабан,— разоспались, и не остановишь вас...

Со смолистыми факелами в руках, как чудовищные видения, заметались по лесу колонновожатые. Стреляя яркими искрами, причудливые султаны огня вырывали из тьмы золотистые стволы деревьев и бронзовые маски угрюмых людей.

Рядом с колонной, совсем близко, блеснул огонек. Хлестким бичом ударил винтовочный выстрел, покатились, множась эхом, беспокойные крики: «Лови!»

Метались люди, шарахались кони. Вслед за чудовищными факелами прыгали то тут, то там косматые багровые тени.

Погоню оборвали... Сзади растянувшуюся в чужом лесу колонну настигал враг...

Хрустя ветками, непрерывно храпя, шли кони. Упала, загоревшись кровью в языках огня, тяжелая капля дождя. За нею полетела другая, третья... десятая... Боязно зашептались колючие ветки деревьев. Зашумел ливень. Спустя полчаса люди, напрягаясь изо всех сил, вытягивали из вязких луж застрявшие в них орудия, тачанки, повозки.

Тяжело повисли мокрые шинели на измученных плечах. Поникли конские уши. Усталость жадным удавом обвилась вокруг тела, могучими баграми тянула с седла. Хотелось упасть вместе с лошадью прямо посреди дороги и уснуть...

Всадники, не убавляя скорости, насторожились, чутко прислушивались к каждому постороннему звуку, врывавшемуся в тоскливый гул мрачного бора.

В безрадостно мокрое, сырое утро авангард вступил в село Хлебовицы-Свирские. Вытянувшись в ряд, угрюмо насупились почерневшие от дождя крестьянские халупы. Брели на луга по тихим улицам унылые коровы.

На площади, рядом с костелом, на черных сучьях явора плавно раскачивалось на ветру тело повешенного. Оно будет висеть до тех пор, пока не доставят на фольварк разобранный крестьянами хлеб помещика. Черная стая не дремала! А недавно еще Хлебовицы-Свирские, встретив с красным знаменем и хлебом-солью разведчиков Шостака, создали свою новую власть — ревком. Вот когда лишний раз подтверждался железный закон: политика, как и природа, не терпит и не может терпеть пустоты.

Разъяренные всадники ринулись к фольварку, охранявшемуся жандармами и каким-то львовским отрядом охотников.

51

Отцвел вместе с гречихой беспокойный август. Словно скошенные валки трав, лежали позади, вдоль пройденных маршрутов, первые дни сентября.

Увядая, исходили сладкими испарениями тимофеевка, клевер, подорожник и золототысячник. На печальных лугах пожелтели лисий хвост, медвежье ухо, козлобородник и дрок. Носились над оголенными полями медовые ароматы поникших гречих.

Участь кампании давно уже решилась у прусской границы. Малочисленные полки красноармейцев не в силах были сдержать двойное и тройное превосходство врага. Отрезанные дивизии, вырываясь из окружения и потеряв в этих боях больше людей, чем на подступах к Варшаве, перешли границу Германии. «Окруженная 4-я армия защищалась, как загнанный зверь» (Пилсудский).

И все же не прошло и двух месяцев, как вооруженные силы Советской республики, залечив тяжелые раны, нанесенные им под Варшавой, удивили весь мир, вписав в золотую книгу своей боевой славы во веки веков незабываемое слово — Перекоп.

Сдерживая натиск интервентов, закаленные в боях кадры приняли двинутое на фронт пополнение. Недешево дались стране эти резервы. Нелегко было их одеть

и обуть. Ведь в те тяжелые годы легче было собрать миллион бойцов, чем тысячу шинелей. Ряд лучших дивизий, десятки тысяч красноармейцев спешно перебрасывались не только на запад, но и на юг, чтобы покончить с бароном Врангелем — одной из загребущих рук коварной Антанты.

Советская страна, тщетно добиваясь мира с Пилсудским, готовилась по зову Ленина к четвертой военной зиме.

Пилсудский, отстояв Варшаву, под натиском нефтепромышленников и львовских магнатов оттягивал переговоры, дожидаясь исхода галицийской битвы. Но лидеры Антанты, не желая верить в очевидный крах своего третьего похода, всячески разогревали шовинистические планы Пилсудского. Убеждали его в том, что большевики не выдержат еще одной военной зимы, а свои, варшавские, не потерявшие еще благоразумия советники докладывали, что Польша находится на грани развала. Тем не менее Пилсудский потребовал от совета обороны реквизиции у населения трехсот тысяч комплектов теплых брюк, одеял, сапог.

Генерал Вейган внушал Пилсудскому:

— Варшава и все ваше дело, мосье Пилсудский, висели на волоске. Мы с вами знаем это лучше всех. Значит, пользуйтесь посланной вам самим мосье Христом удачей. Миритесь. Миритесь поскорее с большевиками. Не вздумайте воевать с ними зимой. Помните: зимой они разбили Юденича, Колчака, Деникина. Зима — это их великий союзник, против которого бессильны все армии Антанты. Все наши танки Риккардо и Виккерса никого не спасут, потому что зимой их санки во сто крат сильнее всех наших танков. А к лету мы приготовим не такой сюрприз большевикам...

Последние дни августа и первая половина сентября прошли в бесконечных боях. Нелегко далась Галиция заносчивому, опьяненному успехом под Варшавой врагу.

Червонное казачество, связавшись под Свиржем с полками 60-й дивизии, помогло им выбить из города легионеров и, двинувшись из-под Свиржа к Подгайцам, прогнало за Днестр зарвавшуюся конницу Тютюнника.

В одном из боев с петлюровским мазепинским полком новый взводный Гаманец встретился наконец со своим знакомым — Симоном Ушняком. Он его узнал по черной повязке на глазу. Выстрелом из маузера Ушня-

ку удалось подстрелить Сократа — коня разведчика,— но когда хорунжий, ликуя, занес над упавшим Гаманцом шашку, Перчик, с полного карьера ткнув петлюровца пикой, спас своего взводного.

У Ходорова, под селом Княжнице, младший Шостак отбил у улан двенадцать пулеметов и триста лошадей вместе с коноводами. Там же Остапенко, подпустив близко львовский «черный» легион, шедший во весь рост в своих длинных, похожих на рясы, черных шинелях, бурной атакой опрокинул их строй и четыреста чернорясцев захватил в плен. Успела уйти, спешно бросившись к Ходорову, лишь резервная, женская рота «черного» легиона.

Савва Захарович Степанина, считавший 2-ю бригаду родной семьей, привык немедленно реагировать на малейшие изменения настроения ее бойцов. И сейчас, уловив одним ухом, что в 4-м полку — том самом, на глазах у которого деникинским снарядом убило под Перекопом командира полка Черненко, а его тяжело ранило,— появились нездоровые разговоры, он помчался на передовую, где сотни Карачая, сдерживая натиск петлюровских сил, прикрывали отход дивизии.

Сложная ситуация на фронте, как всегда, давала пищу ворчунам. А они находились в каждой части. Подскочив на галопе к всаднику, кутавшемуся в кавказскую бурку, Степанина, отдав коня вестовому, сразу приступил к расспросам:

— Что у тебя, Карачай, неладно? Давай крой начистоту! Знаешь, я не люблю, когда крутят.

— Я и не думаю крутить, товарищ военкомбриг. Дело неладно, вы верно заметили,— ответил, глядя в сторону, командир полка.

— Что, ударились по барахлу?

— Хуже.

— Тьфу! — сплюнул сквозь редкие зубы комиссар. А зубы его впрямь не отличались густотой. Между передними двумя резцами свободно умещался мундштук папиросы.— Что же может быть хуже этого, Карачай? Дезертирство? Так сегодня же устроим показательный суд и откроем митинг. Закачу хлопцам речугу.

— Хуже, чем дезертирство, Савва Захарович.

— Ну говори, не тяни душу.

— Скажу. Хлопцы порешили связать вас, Савва Захарович.
— Меня? За что? Что, как казаки связали Пугачева? Кому же они хотят меня сдать? Шляхте или Петлюре?
— Хотят они вас сдать... Шостаку. А за что — тоже скажу. Чтобы не лезли в бой с каждым разъездом.
К Карачаю, заложив руки назад, приближался пожилой казак. Степанина, заметив его, скомандовал:
— А ну повернись, товарищ. Это ты на меня прячешь мотузку?
Казак выполнил команду, показал пустые руки. Подойдя поближе к комиссару, обратился к нему:
— Что же вы, товарищ военком, себе думаете? Еще не успели растерять перекопские осколки, а уже норовите подхватить новые? Что вам скажет Шостак? Четвертый полк имеет и сотенных военкомов, и комиссара полка, и командиров, а без няньки — Саввы Захаровича в бой не идет. Вашу храбрость хлопцы знают добре. И не желают они, чтобы вы зря лезли в бой. Большевик с четвертого года, вы у нас один на всю дивизию. Так что поберегите себя. А не послушаетесь, ей-богу, окрутим мотузкой или же чомбурами и отвезем Шостаку. Держитесь ближе к комбригу. Что, вам скучно с товарищем Пронем?
— Вы за меня, хлопцы, не переживайте! — рассмеялся, взявшись за бока, Савва Захарович. — Я заколдованный. Меня не убьют.
— А почему вы так располагаете? — спросил один из вновь подошедших казаков.
— Скажу. Знаете, я хотя и партийный, как вам известно,но все же человек крещеный. Вот когда повезли меня крестить, это было двадцать пятого января — у нас на Глуховщине самые морозы,— кумовья перепились и сбились с дороги. Заночевали в поле. Меня простудили. На шее выросла гуля с яблоко. Докторов у нас на селе не было. Лечила мужиков наших помещица — генеральша. Долго я мучился, кричал, не давал спать детворе. Нас была целая дюжина. Надоел я своим криком, видать, всем. Мамаша и кинула на меня большую подушку, да еще поднажала. Видит, что лечение генеральши впрок не идет, решила сразу избавиться от крикуна. Подержала она меня, подержала под перьями и говорит: «Теперь, верно, Савка готов». А когда сняла подушку, я обратно закричал. Она тогда вздохнула:

«Раз такое дело, то живи, Савка». И генеральша, прослышав об этом, также сказала: «Такой долго будет жить». Видите, факт. Командира Черненко под Перекопом убило, а меня только поранило. Ну и под расстрелом все же посидел в черниговской тюрьме, а не расстреляли...

— А вы ту генеральшу за лечение отблагодарили?— поинтересовались казаки, столпившиеся возле штаба.

— У меня с ней получилась большая война,— продолжал Степанина.— Держала она большой сад, а яблоки у нее росли на всю Глуховщину первые. Мы, ребятишки, знали: она ставила специальные капканы в саду. Не думайте, не на лис или зайцев, а против нас, деревенских хлопчиков. Один из нас попался, оттяпало ему полступни. Я решил отплатить ей за это. Залез в сад и в одну ночь надкусил все лучшие яблоки, они и погнили.

— Здорово вы с ней рассчитались, — глядя любовно на комиссара, сказал Карачай.

— Здорово-то здорово, но моей мамаше за это попало.

— А почему вашей мамаше? — спросил кто-то.

— Скажу и об этом. Вызвала ее генеральша и давай шлифовать: «Ну и пакостник твой Савка. Всю фрукту мне перевел». «Почему мой? — спрашивает мама.— На деревне много бегает ребят». «Нет, твой Савка,—напирает генеральша и тычет маме надкусанное яблоко,— я это узнала по его зубам».

— За сказку, Савва Захарович, вам след бубликов связку,— сказал какой-то высокий тонкий казак.

— Почему же сказка? — уставился на него Степанина и, широко раскрыв рот, показал свое редкозубье.

— Ну и ну! — заахали казаки.

— Вот вам и ну! Улика, как видите, налицо.

— Знаете,— обратился к Савве Захаровичу Карачай среди общего смеха,— это мне напомнило мое детство, когда я с дедом сторожил казачьи баштаны на Ставропольщине. Не так нам страшны были люди, как дикие кабаны. С десяток бросится на тебя, ты от них отбиваешься, а все стадо, или, по-военному сказать, главные силы, ударят в тыл, и пока ты возишься с ихним заслоном, кабаны клыками перепорят все кавуны. Съедят какой-нибудь пустяк — полсотни, а перепортят тысячу. Одним словом, напакостят здорово...

— Так ты что, Карачай,— перебил командира полка Степанина,— меня с дикими кабанами на один салтык меришь?

— Нет, почему, по-моему, дикий кабан — это ваша генеральша, которая на ребятишек ставила капканы. А вы у нас, Савва Захарович, видать, сызмальства героем себя показывали.

— А у нас на Старобельщине,— вставил свое слово высокий тонкий казак, — волки тоже налетают на баштаны. Особенно в пекло. Но они не чета вашим кабанам, товарищ комполка, не переводят добро. Берут только по одному арбузу, чтобы напиться, значит. И клыком так ударит, что кавун сразу надвое ломится. Ты ножом так не управишься, как он своими клыками...

Что говорить? Настроение у казаков в связи с отходом нельзя было считать блестящим. Но всегда вот такой, казалось бы пустяковой, беседой Савве Захаровичу удавалось отвлечь бойцов от тяжелых дум и подбадривать их на новые дела, на новые подвиги.

16 сентября дивизия Шостака двинулась от Рогатина на юго-восток — к Золотой Липе. Дорога то взмывала вверх, то шла вниз с крутых склонов рогатинской возвышенности, густо покрытой зелеными пластами панских лесов.

Вслед за дивизией, стремясь обрушиться на нее, тронулись и колонны пилсудчиков.

Свежие силы врага двигались форсированным маршем от Львова на Золочев, от Бибрки к Перемышлянам, от Ходорова на Рогатин, от Журавно вдоль Днестра на Галич, а продажная кавалерия Петлюры, научившаяся у Шостака рейдам, громила у Подгайцев ничем не прикрытые тылы. Передовые отряды Тютюнника, ворвавшись в Теребовлю, захватили штаб 41-й дивизии.

А от Тернополя на Волочиск по прямому шоссе от наседавших петлюровцев уходил из страны Галицийский ревком.

Его глава — Владимир Петрович Затонский вместе с последними цепями пехоты оставлял Тернополь. В течение двух месяцев и двух дней Тернополь был столицей первого рабоче-крестьянского правительства Галичины... Замыкалось огненное кольцо вокруг славных дивизий 14-й армии, а мстительная рука шляхты, разъяренной за Проскуров и Стрый, тщетно старалась накинуть аркан на шею Шостака.

Дивизия пересекла шоссе Галич — Брзежаны, а левее, оберегаемая червонными казаками, текла по лесным дорожкам к Золотой Липе 123-я бригада 41-й дивизии.

Колонна 1-го полка остановилась на привал в большом, окруженном балками селе Шумляны. Фуражиры подвозили сено, а члены ревкома снаряжали под войсковое добро селянский обоз. Ждали с тыла, из дивизионного транспорта, хлеб и другие продукты. Давно уже в районе боевых действий сами части, кроме кукурузы и трав, ничего не могли получить от местных властей.

Селяне, показывая, как святыню, приказ армиям Юго-Западного фронта, жаловались:

— А нам землю не разделили. Как был фольварк, так и остался.

— Сказали, паны больше не придут, а вы цофаете...

Ехидно улыбаясь, вступил в разговор прилично одетый пожилой мужчина:

— Не знает Россия галичан. Вот согнали в ревком одних халупников — их никто и не слушает. Посадили бы туда поважных людей — их бы слушали хлопы.

Подошел и член ревкома — батрак из ближайшего фольварка:

— Пан учитель недоволен — мы выдали должникам его батька такие квитки, чтобы не возвращали ему пенёнзов. Можно сказать, кто был должен — тот уже не должник...

За селом 1-й полк вступил в бой с наступавшими на Шумляны легионерами.

Владимир Шостак, пережевывая черствый кусок черного, густо посыпанного солью хлеба, влез на блестящего тракена и помчался к цепям.

Конная лава 1-го полка, сбитая с южных подступов к селу, медленно откатывалась к Шумлянам. Голубые фигуры солдат бегом, с винтовками наперевес, преследуя казаков, спускались в лог.

Владимир расставлял пулеметы на окраине Шумлян. Легионеры, пренебрегая опасностью, лезли вперед.

Сотня Имама Шалаева, нарвавшись на пулемет пилсудчиков, бросилась к соседнему селу Славентин. Карачай, негодуя, послал за беглецами адъютанта полка.

Через Славентин брела изнуренная, измученная тяжелым отступлением пехота. Еще один бой, еще одна схватка — и не видать никому Золотой Липы. Все они

останутся в этих густых галицийских лесах, таящих в себе много опасностей.

Курды, придя в себя, подбадривали пехоту:

— Эй, пэшка, пэшечка, поднажмы, поднажмы...

Красноармейцы, отмахавшие от Збруча более четырехсот верст, разутые, на босу ногу, с ранами на окровавленных ступнях, терпеливо шагали по раскаленному шоссе, продвигались по колючим от стерни галицийским полям. Донести бы им усталые головы до Золотой Липы, а там... там лишь бы полдня передышки — и неустрашимая «пэшка» вновь готова на все...

Остапенко, перескочив через мелкий ручеек, ударил во фланг наступавшим. Легионеры, не ожидавшие такого маневра, отхлынули от Шумлян.

С высокого плато, окруженного Шумлянами, Быбло и Бокувом, пилсудчики открыли ураганный огонь по коннице Шостака. На путях отхода дивизии вырос грозный редут, накрывший смертным огнем все подступы к реке, ее броды и переправы, возле которых скопились стремившиеся на восток части 41-й дивизии.

Напоровшись на плотную стену огня, бросились вспять всадники 1-го полка. Срывались с откосов подкошенные свинцом кони, плелись с поля боя раненые бойцы. А Владимир, застыв на месте, словно мраморное изваяние, передавал сигналисту все новые и новые команды.

«Та-та-та-та...» — пела труба.

Стремглав, друзья, постройтеся,
Чтобы фронтом идти на врага...

Всадники Имама Шалаева вихрем черных бурок налетели на батарею. Пулеметы пилсудчиков в упор встретили курдов, и они, как черные тени, вновь уже закружились у подножия редута.

Остапенко, собрав спешенных казаков, вызвал коноводов. Вскочив в седла, всадники «батьки Остапа», пришпорив коней, грозным ураганом пронеслись над руслом Быбелки. Волна за волной катились они на укрепления врага.

Но где это Чалышев? Почему вся тяжесть боя выпала на 1-й и 2-й полки? Где разведчики?

Володя Шостак уже скакал на третьем коне, а сигналка его штаб-трубача без конца взывала к бойцам: «Стремглав, друзья, постройтеся...» Слившись воедино

с конем, полетели в атаку казаки. Легионеры, прильнув к ложам немецких винтовок, палили вовсю, но где уж затуманенным от страха глазам уловить цель!

Блеснуло молнией узкое лезвие шашки сотника Балабана. Яркий штандарт разведчиков, раздуваемый ветром, уже замаячил на самой верхушке возвышенности. С Быбло, отражая атаку конников, сплотившаяся в каре масса голубых мундиров полоснула огнем кольтов...

Сероштан, оторвавшись от своих, как и тогда, во время боев со шкуровцами под Карловкой, рубился в гуще врага.

Что это за бледные, вытянутые лица солдат?.. Почему так широки их бедра и высоко вздымаются груди? Это ввязалась в бой женская рота львовского «черного» легиона...

Внушая ужас шляхтянкам, засверкало на солнце острое лезвие клинка. Не успев опомниться, падали девушки — цвет заносчивой знати из львовских и варшавских палаццо.

— Разойдись, паненки! — покрывая звуки боя, раздалась звонкая команда.

С карабином у плеча, с белым орлом на черной конфедератке, с брошкой-сфинксом на черном мундире поджидала Сероштана одна из легионерок... То была Софья-Бронислава. Но загудели в небе машины Фаунта Лероя. Со свистом неслись к Шумлянским высотам тяжелые бомбы. Загрохотали разрывы. Горячие осколки чугуна не пощадили ни Софьи, ни Сероштана...

Пехота 123-й бригады, заслоненная полками Шостака, повалила к реке. А вокруг редута, готовясь к новой атаке, переводили дух полки лихой конницы.

Начдив с пологой высоты, заслонявшей с юга Шумляны, разглядывал в бинокль пересеченное глубокими складками поле сражения. Нежинский, распластавшись на земле, изучал карту. Сакулин, недавно переведенный в помощники к Нежинскому, обычно спокойный, волновался. Ярким румянцем покрылись его щеки.

— Вот бы ударить, Анатолий Маркович! Такая обстановка случается раз в сто лет.

Шостак, решив осуществить мгновенно созревший в его голове план, скомандовал:

— Иван, немедленно собрать в кулак артиллерию! Обрушиться всем огнем на батарею — вон там, видать, под леском.

За редутом у Быбло вспыхнуло облако пыли. Освещенная золотом заходящего солнца, показалась там двигавшаяся в линии резервных колонн 3-я бригада во главе с Чалышевым, сменившим Сакулина.

— Чалышев! Ура! Чалышев! — загремел Гандзюк.

— Я поеду туда,— предложил Сакулин.

— Не стоит,— удержал его Шостак.— Можете попасть в лапы пилсудчикам.

— Проскочу.

Грохнул залп из двенадцати орудий. И вдруг зашевелились люди вокруг пушек шляхты. Подымая панику, бросились в лощину передки.

— Еще, еще, едрена-калена! — подбадривал Гандзюк своих казаков.— А ну, за одну шестую часть суши, коммунар-р-ры, огонь!

Но почему Чалышев идет в сомкнутых колоннах? Это же безумие... Погубить сразу всю 3-ю бригаду!

Опять затрубил сигналист 1-го полка. На вспененных конях рванулись к редуту всадники. Снова — в который уже раз! — промчались вслед за ними черные бурки курдов.

Пуля, угодив в лоб, сразила сотника Имама Шалаева. Но и враг бросился в панику. На бегу сбиваясь в плотный комок — прекрасный объект для конной атаки, Чалышев, развернув фронт из резервных колонн, пошел в атаку. Легионеры, предвкушая легкую добычу, устремились навстречу сомкнутым лавам бригады. И верно, не выдержали кавалеристы.

Полк хлынул назад. Но не так удирают от врага воины, одержимые страхом и паникой. Всадники, не ломая строя, все дальше и дальше увлекали за собой легковерных пилсудчиков. И вдруг тугая линия развернутого фронта, как бы не выдержав напряжения, раскололась на две половины, и в провале между ними, разворачиваясь на бешеном скаку, показалось грозное оружие советской кавалерии — знаменитые пулеметные тачанки, скрытые до того конным строем полка.

Припав к «максимам», шестнадцать лихих наводчиков встретили густые цепи интервентов шквальным огнем.

И сразу же, как только застрекотали свои пулеметы, всадники Чалышева, развернувшись налево кругом, обогнали тачанки и с криками «ура» врезались клинками в голубые спины пехотинцев.

Еще раз поднялись в атаку вместе с галицийской сотней казаки Остапенко и одновременно с полком Чалышева ворвались в редут. Ринулся в бой со стороны Шумлян 4-й кавалерийский полк Карачая. Два бородатых наездника, положив руки Имама Шалаева на свои шеи, мчались с ним, как со знаменем, впереди сотни рассвирепевших сынов далекого Курдистана.

Давно уже умолкли пулеметы. Кое-где лишь раздавались выстрелы винтовок. Со снятыми замками и разбитыми панорамами сиротливо торчала на высоте 375 линия неприятельских пушек. На нее и повел своих разведчиков Квитень.

Не было среди них Мартына Бубны, но его коломыйки все еще звенели в их славных рядах.

Квитень скакал рядом с сотником Балабаном, и, не отрываясь от него, с обнаженными клинками летели Гаманец, Ганка, Борщ, Перчик и лекальщик из далекого Армантьера — Виктор Пуантю.

Железной стеной застыв впереди батареи, крепко отбивался последний оплот редута. Разведчики на полном карьере врезались в гущу познанцев.

Гаманец, ловко соскочив с коня, сорвал с груди Софьи брошь со сфинксом. Поднес ее разведчице:

— Возьми, Ганка. Будет нам с тобой память не от кого-нибудь, а от грахвов. Тебе — эта шпилька, а мне, в том числе, кольцо.

Не спас Брониславу Панчоху талисман-сфинкс, как и не уберегли Сероштана наивные благословения скромной Христи.

Вымотанные кони едва двигались. Шагом собирались под боевые знамена поредевшие взводы, сотни, полки.

На Шумлянской горе, в тени буков и белоснежных берез, отметив могилы красной звездой, похоронили погибших. В могилу опустили армантьерца Пуантю и следом за ним Шалаева и Сероштана. Боевой орден с его окровавленной гимнастерки сняла Ганка. Затуманились глаза Балабана.

— Потеряло Червонное козацтво лучшего своего рубаку. Эх, хоть и крученый был человек, а все же нашей шел он дорожкой... Шел и не дошел до конца... И на ком споткнулся...

Смахнув клинком несколько веток березы, передал их Ганке. Она их бережно сложила на свеженасыпанный холмик вместо венка. Солнце, уходившее за Днестр

в багровом пламени заката, посылало на братскую могилу свои прощальные лучи.

Чалышев, изможденный жестоким боем, потеряв под собой, как и Сидорчук, трех лошадей, проникновенно сказал своему комиссару Рынве-Рынальскому:

— Поставь, брат, вопрос о партии. Кто его знает, сколько еще будет таких Шумлян впереди. Не хочу умирать беспартийным.

В это же время на окраине Шумлян, где стоял штаб Шостака, бывший тверской дворянин Сакулин, достав из кармана французского мундира аккуратно сложенную бумагу, протянул ее комиссару дивизии Павловскому.

— Хочу в партию,— глядя в упор на комиссара, заявил он.

— А кто ручается?

— Рынва-Рынальский, Реглис, Карачай.

— А что вас побудило, Владимир Иосифович?— спросил Павловский.

— Верю, что большевики — единственная сила, которая спасет Россию и поведет за собой народ.

Шостак, слушавший эту беседу, пожал руку Сакулину:

— Да, Ленин сказал, что война рождает героев. Но она рождает и большевиков.

Три дня хоронили местные жители тела захватчиков, преградивших путь червонным казакам. До сих пор вспоминают шумлянские старики ту знаменитую сечу...

Вырвавшийся из шумлянского кольца легион перемахнул через Золотую Липу. Опасаясь погони, направился к лесу, примыкавшему к селу Волощизна. А навстречу пилсудчикам под новеньким красным штандартом уже неслась свежая колонна кавалеристов. Красноармейцы в серых, с красными верхами папахах, поднявшись с ходу в галоп, ринулись на интервентов.

Это Волынский — друг Шостака — привел с Украины запасной полк Червонного казачества. Основу его составляла молодежь, откликнувшаяся на зов партии и комсомола: «Незаможник, на коня!»

Однорукий Волынский и рядом с ним небольшой черноволосый полтавчанин Гарон вели молодых, необстрелянных всадников в первую атаку.

Кто-то из легионеров завопил:

— Панове, до лясу!
— Большевицка язда!
Запасной полк Волынского гнал пилсудчиков на запад, туда же, откуда они, спасаясь от казачьих клинков, недавно пришли. А от Шумлян на восток, к Волощизне, спускался грозный, как водопад, конный поток. Красные знамена дивизии приближались к реке в то время, когда тупые, не отточенные еще клинки незаможницкого полка, совершая возмездие, зазвенели над тихими берегами Золотой Липы.
Выйдя из-под удара, мирно отдыхали за Волощизной красноармейцы 123-й пехотной бригады. Там же червонные казаки с ликованием встретили свежее подкрепление и продовольственный транспорт, прибывший под прикрытием казаков Волынского.
Ганка, окруженная бойцами, читала им «Правду», доставленную с тыла запасным полком.
— А вот и про наш Стрыйский рейд сказано.— С волнением в голосе начали читать: — «Оборона Советской России. 25 августа. Наша конница прорвалась в тыл противника и 20 августа достигла города и узловой станции Стрый, где уничтожила 10 эшелонов и 18 паровозов противника и отошла в восточном направлении».
— Вот про паровозы сказали, а про бой на мостах забыли прописать,— покачал головой Гаманец.
Получив от нового старшины Терентия Борща положенные порции, разведчики приступили к ужину. Спокойной и торжественной была вечерняя трапеза казаков. Подошел начдив. Молча расступились красноармейцы.
Борщ протянул Шостаку ломоть черного хлеба с густо посоленным куском мяса:
— Вместе дрались, вместе и попразднуем, товарищ начдив. Слыхать, как поранило вашего Исмаила под Ходоровом, то и чебуреков некому стало жарить...
— Что ты, товарищ Борщ, про чебуреки. Ты лучше скажи, где твоя кухня с борщом? — наступая на старшину, лукаво спросил Перчик.— Самого начдива сухомяткой кормишь.
— Имел такую думку, товарищи, сварить вам настоящего украинского борща, так, будь ласка, нечем заправить походный котел — уж больно много нынче шляхетской крови в Золотой Липе...
Бойцы, медленно прожевывая пищу, с любовью поглядывали на своего командира.

— Товарищ начдив, — выдвинулся вперед Гаманец, — «солдатский голос» лопочет, будто «вільне козацтво» уже в нашем тылу и захватило Тернополь...

— Ну и что же,— ответил Шостак, — не впервые Червонному казачеству крошить «вільне козацтво» Петлюры. Знаете, товарищи, в ссылке, в Сибири, наблюдал я перелеты птиц. Иногда их настигала зима. Они спускались на покрытые снегом поля. Падала в изнеможении то одна, то другая птица, но вся стая, сильная своей сплоченностью, при первой же возможности подымалась в воздух и уходила в теплые края. Сильны, товарищи, законы природы. Так же как и законы природы, сильны законы классовой борьбы. Остался здесь, отражая удары интервентов, наш славный Новиков. Убит киевский комсомолец Данило Самусь. Скончался от ран паренек из Чабанов Курочка. И французский рабочий Пуантю сложил здесь свою голову, борясь вместе с нами за наше общее рабочее дело. Дело трудового народа жило и будет жить. Я, вот Ганка Шамрай, Гаманец, мы все, товарищи, смертны, а наш народ, как и слава о вас, никогда не умрет.

Товарищи, не вечно царствовать шляхте. Подымется трудовой народ Польши. Он скажет свое веское и доброе слово. И никто, никакие черные силы не в состоянии будут помешать нашей светлой дружбе с народной Польшей. Москва станет родной сестрой Варшавы, а Киев — ее верным братом. И кровь, что сейчас легла между нами, научит оба народа дорожить той дружбой, которая не за горами. Видать, товарищи, не сегодня завтра будет подписан мир.

...Пять колонн пилсудчиков, спешивших на восток, остановились. Пехота 14-й армии, благодаря мужеству ее кавалерии, могла спокойно продолжать свой отступательный марш.

Червонные казаки расставались с Западной Украиной в грохоте арьергардных боев. Раскаты шумлянской грозы, разогревая надежду угнетенных, долго неслись над галицийскими просторами от Золотой Липы до отрогов Карпат...

Илья Владимирович Дубинский

ЗОЛОТАЯ ЛИПА

Редактор *И. Ф. Петрова*
Художник *Б. А. Мокин*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Т. Г. Пименова*
Корректор *И. В. Луговая*

ИБ № 2379

Сдано в набор 28.10.82 г. Подписано в печать 28.02.83.
Формат $84\times108/_{32}$. Бумага тип № 2.
Гарн. литерат. Печать высокая.
Печ. л. $12^{1}/_{2}$. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21.
Уч.-изд. л. 22,00. Изд. № 4/9192. Тираж 100 000.
Зак. 224. Цена 1 р. 70 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3